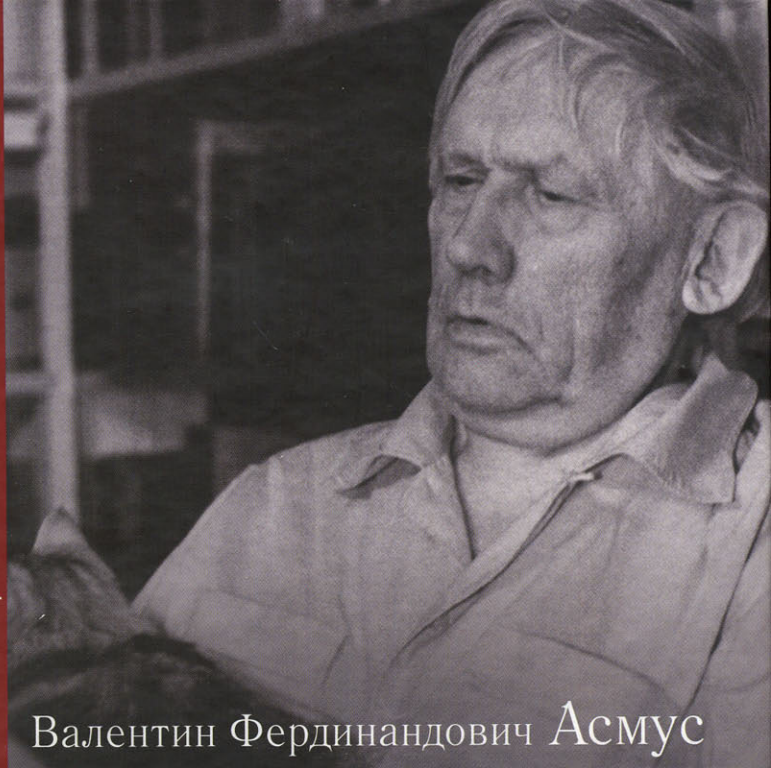


В. Ф. Асмус

ФИЛОСОФИЯ РОССИИ

второй половины XX века



Валентин Фердинандович Асмус

ФИЛОСОФИЯ РОССИИ
второй половины XX века

В. Валентин

**ФИЛОСОФИЯ РОССИИ
второй половины XX века**

Институт философии РАН

Некоммерческий научный фонд
«Институт развития им. Г.П. Щедровицкого»

ФИЛОСОФИЯ РОССИИ
второй половины XX века

Редакционный совет:

В. С. Стёпин (*председатель*)

А. А. Гусейнов

В. А. Лекторский

В. И. Толстых

П. Г. Щедровицкий

Главный редактор серии В. А. Лекторский



Москва
РОССПЭН
2010

Институт философии РАН

Некоммерческий научный фонд
«Институт развития им. Г.П. Щедровицкого»

ФИЛОСОФИЯ РОССИИ
второй половины XX века

Валентин
Фердинандович
Асмус

Под редакцией В. А. Жучкова и И. И. Блауберг



Москва
РОССПЭН
2010

УДК 14(082.1)
ББК 87.3(2)6
А90

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
Некоммерческого научного фонда
«Институт развития им. Г. П. Щедровицкого»*

А90 **Валентин Фердинандович Асмус** / В. Ф. Асмус; [под. ред. В. А. Жучкова, И. И. Блауберг]. — М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 479 с. : ил. — (Философия России второй половины XX в.).

ISBN 978-5-8243-1239-3

В первой части книги коллеги и ученики Валентина Фердинандовича Асмуса (1894–1975) рассказывают об этом замечательном философе и педагоге, сыгравшем важную роль в развитии отечественной философии XX века. Во второй части публикуются поэтические посвящения В. Ф. Асмусу. В третьей части помещены воспоминания В. Ф. Асмуса о детстве, годах учебы в реальном училище и Киевском университете. В приложение вошли материалы В. В. Зеньковского и Н. А. Бердяева, освещающие некоторые аспекты раннего творчества философа, а также работы В. Ф. Асмуса разных периодов. Книга дает представление об этапах жизни В. Ф. Асмуса, обширной сфере его интересов и созданных им научных трудах, о конкретных направлениях его исследований, до сих пор не утративших своей значимости. В издание включены фотографии из семейного архива.

УДК 14(082.1)
ББК 87.3(2)6

ISBN 978-5-8243-1239-3

- © Лекторский В. А., общая редакция серии, 2010
- © Жучков В. А., Блауберг И. И., составление и общая редакция тома, 2010
- © Коллектив авторов, 2010
- © Наследники В. Ф. Асмуса, публикации из архива В. Ф. Асмуса, 2010
- © Тахо-Годи А. А., письма А. Ф. Лосева, 2010
- © Наследники А. Т. Твардовского, письмо А. Т. Твардовского, 2010
- © Наследники Б. Л. Пастернака, письма Б. Л. Пастернака, 2010
- © Институт философии РАН, 2010
- © Некоммерческий научный фонд «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого», 2010
- © Оформление. Издательство «Российская политическая энциклопедия», 2010

От редакторов

Первоначальная идея издать данную книгу возникла очень давно, еще в 1994 г., когда отмечался 100-летний юбилей Валентина Фердинандовича Асмуса и мы с проф. В. В. Соколовым подготовили и опубликовали в журнале «Вопросы философии» подборку воспоминаний друзей, коллег и учеников Асмуса. Отдельное издание книги «Вспоминая В. Ф. Асмуса...» удалось осуществить только в 2001 г. К этому времени ушли из жизни А. В. Гулыга, В. А. Смирнов, З. А. Каменский, Г. А. Заиченко. С тех пор этот список, к сожалению, еще более расширился, сократив до минимума круг людей, лично знавших В. Ф. Асмуса, слышавших его лекции и бывших участниками и свидетелями того страшного, нередко трагического времени, когда он жил и работал. Уходят не только люди, но и живая историческая память целой эпохи, а потому данная книга не только воспоминание об Асмусе и его времени, но и дань памяти самим ее авторам.

Перечитывая представленные здесь воспоминания, трудно избежать впечатления внезапно ожившего прошлого. Никакие абстрактные определения и общие рассуждения о сталинизме, тоталитарном режиме, идеологическом диктате, железном занавесе и т. п. не могут передать атмосферы той эпохи, непосредственного переживания ее страшных событий, но их передают бесхитростные описания ее конкретных

деталей, сообщения об отдельных фактах, жизненных эпизодах или ситуациях. Тем бесценнее становятся воспоминания, которыми делятся на страницах этой книги современники ушедшей эпохи.

Хотелось бы надеяться, что для сегодняшнего читателя многое из того, о чем написано в этой книге, может стать нелишним напоминанием о событиях и душевных испытаниях, которые пришлось пережить ее авторам в те сравнительно недавние времена, даст хороший повод еще раз задуматься о том, как много изменилось в нашей жизни и насколько далеко мы ушли от прошлого. Трудно предугадать, как именно многое из рассказанного здесь будет воспринято нынешней молодежью, наверное, в чем-то оно покажется неправдоподобным, а что-то останется непонятым и непонятным. Этому можно было бы только радоваться или, по крайней мере, испытывать определенное удовлетворение от того, что сегодняшняя молодежь не знает и не понимает реалий и «практики» эпохи культа личности и оттепели, «развернутого строительства коммунизма» и «восстановления ленинских норм», «развитого социализма» и застоя и т. д., и т. п. Несомненным достижением минувших с тех пор лет стал тот факт, что наши дети и внуки не представляют себе возможности преследований и гонений за прощальные слова у могилы великого поэта и близкого друга, за приглашение священника на похороны профессора МГУ или просто за адекватное и честное изложение идей какого-либо мыслителя перед студенческой аудиторией или в книге.

Некоторое беспокойство и даже тревогу вызывает другое: а не исчезает ли вместе с исторической памятью и нечто бесценное, в частности понимание того, почему дружеские советы или слова поддержки со стороны эрудированного, мудрого и честного человека и ученого могли иметь значение события, «урока», пробуждения, определявших порой всю дальнейшую судьбу человека. Перечитывая многие из представленных здесь воспоминаний о В. Ф. Асмусе, невольно задаешься вопросом: а каким он был бы сегодня, если бы дожил до наших дней? И когда размышляешь об этом, приходишь к неожиданным заключениям: без всякого сомнения, он оставался бы самим собой, «не меняя под модный галоп ни оценок своих, ни суждений», ни взгляда на мир, ни отношения к науке, жизни и людям.

Однако на вопрос о том, какими за эти годы стали мы и каковым может быть отношение сегодняшней студенческой

аудитории к Асмусу, его лекциям и советам, ответить однозначно было бы непросто. А уж если говорить совсем откровенно, то, задумываясь об этом, трудно избежать серьезных сомнений в том, что из огромного спектра открывшихся ныне возможностей, из всех ставших разрешенными и доступными перспектив нынешнее молодое поколение выберет что-либо именно разумное, доброе и вечное, а не пепси, попсу или Интернет или какой-нибудь новомодный и легковесный «изм». Важно отметить, что все большую популярность набирает тоска по старому «порядку», а фигура тов. Сталина если и не реабилитируется, то активно пропагандируется в современных СМИ.

Однако эта книга воспоминаний совсем не повод для ворчания на современную молодежь, а авторы публикуемых заметок вовсе не стремились реабилитировать прошлое: от представленной и ожившей здесь картины минувших лет становится жутковато, хотя и тогда могли достойно жить и работать столь яркие и удивительные личности, как В. Ф. Асмус. Нам представляется, что основная мысль и пафос этих воспоминаний как раз и состоит в том, что если даже в то страшное время такие личности могли в высоком смысле Быть, служить науке, давать и приносить людям то, о чем они с благодарностью помнят и пишут в своих заметках, то вряд ли у нас есть какие-либо моральные и интеллектуальные основания для старческого брюзжания на современную молодежь и пессимизма по поводу сегодняшней жизни вообще. Думается, что в этом и состоит один из заветов или уроков В. Ф. Асмуса, которые остаются значимыми и через много лет после его кончины, и нам очень хотелось бы надеяться, что данная книга еще раз о них напомнит.

Радует, что в последние годы книги Асмуса вновь стали активно издавать, они пользуются спросом у читателей, среди которых немало молодых. Переизданы его работы «Логика» (2001), «Античная философия» (2005), «Проблема интуиции в философии и математике» (2004), «Платон» (2005), «Декарт» (2006). В. А. Жучковым написано предисловие к его фундаментальному труду «Иммануил Кант» (2005). Представительные конференции, посвященные 110-летней годовщине со дня рождения В. Ф. Асмуса, состоялись в 2004 г. в Московском и Киевском университетах, где он учился и работал долгие годы.

8 От редакторов

Публикации о нем появились в периодической печати и в упомянутой выше книге «Вспоминая В. Ф. Асмуса...», материалы из которой включены в данное издание.

*В. А. Жучков,
И. И. Блауберг*

И наполняет душу горней ясностью,
Когда вокруг промозгло и темно,
Но все-таки не гаснет свет у Асмуса
И прогибает изнутри окно.

Евгений Евтушенко

Валентину Фердинандовичу Асмусу

Ах как мне радостно подписывать эту книгу Вам,
милому другу, человеку фаустовского мира, призвания
и фаустовской складки.

Б. Пастернак

19 декабря 1953*

* Дарственная надпись на книге «Фауст». — *Примеч. ред.*

І. Друзья и коллеги о В. Ф. Асмусе

В. В. Соколов

В. Ф. Асмус: драматические моменты его философского творчества и философской жизни

Обитатели знаменитого «философского корабля» 1922 г., до того как он оставил петроградскую гавань, надо полагать, в надежде на «лучшее будущее» довольно активно предавались педагогической и научной деятельности. В эти годы В. Ф. Асмус только что окончил философское отделение Киевского университета (1919). Его учителя А. Н. Гиляров, В. В. Зеньковский, Е. В. Спекторский (последние два — «белоэмигранты» еще до отплытия корабля) проницательно увидели угрозу философии и свободному творчеству вообще в ранней большевизирующей России. У Асмуса, как и у множества интеллектуалов, появилась тщетная надежда, что активно наступавшая белая гвардия Деникина, овладевшая значительной территорией европейской части России и Украины, в том числе Киевом, одолеет большевиков с их уже весьма агрессивно проявлявшейся идеологией. Можно думать, что в таких ожиданиях в сентябре 1919 г. вчерашний студент опубликовал в местном еженедельнике «Жизнь» статью «О великом пленении русской культуры», которую читатель найдет в предлагаемой книге. Ее содержание свидетельствует как о компетентности и глубине философской позиции еще юного, в сущности, автора, так и о его незаурядной, великолепной стилистике,

которые будут отличать книги и статьи будущего профессора. Позиция эта явно «идеалистическая», ориентированная на констатацию творческой природы человека, несовместимая с марксистским экономическим материализмом, который неотделим от упрощенного механицизма и губителен для подлинного творчества. Очевидны и симпатии молодого автора, созвучные религиозному направлению в русской философии, весьма влиятельному в начале XX в. Начинаящий автор считал неотложнейшей задачей «раскрепощение всей духовной культуры из губительного, смертного пленения, в которое ее ввергло безумие современного коммунистического рационализма и механистического марксистского идолослужения».

Однако марксизм восторжествовал и год от года усиливал свою диктатуру, но отказаться полностью от занятий философией Асмус, конечно, не мог. Он стал преподавать эстетику, которую любил и великолепно знал, в художественных вузах Киева. Не менее сведущ он был и в вопросах логики и философской методологии.

Нацеленность молодого автора на исследование общих и самых принципиальных вопросов философии характеризует уже его первую изданную в Киеве книгу «Диалектический материализм и логика» (1924). Для уяснения роли дальнейшей научно-исследовательской, литературной и педагогической деятельности В. Ф. Асмуса необходимо вспомнить определяющие особенности марксистской идеологии и философии и специфику их преломления в тех суровых условиях.

Первая из таких особенностей состояла в достаточно настойчивой претензии на то, что эта философия продолжает и углубляет предшествующую философскую культуру — прежде всего материализм и диалектику. Вместе с тем в марксизме и в большей мере в ленинизме всемерно подчеркивался революционный переворот, якобы осуществленный в философии. Такой «переворот» в сущности трансформировал философию в идеологию, всемерно политизировал философию на основе пресловутого принципа партийности. Рассмотрение «философского наследия», его исследование в этих условиях, как правило, вульгаризировалось, схематизировалось, а иногда и просто пресекалось.

Но потребность в такой работе — разумеется, с сугубо марксистских позиций — конечно, существовала. К тому же после высылки многих «идеалистов» в стране оставалось крайне

мало квалифицированных специалистов, способных вести серьезную исследовательскую, да и преподавательскую работу в философии. Отсюда относительно терпимое отношение к молодым специалистам, недавно окончившим «старую школу». Одним из них и стал В. Ф. Асмус.

Для его позиции весьма характерна полемика с А. Варьяшем (см.: Под знаменем марксизма. 1926. № 7–8, 10; 1927. № 1).

Специализировавшийся по вопросам логики, методологии естествознания, опубликовавший книги по истории философии, А. Варьяш, видный деятель венгерской революции 1919 г., затем эмигрировавший в СССР, проявил себя в этих книгах как упрощенец и социологический вульгаризатор, пытавшийся однозначно вывести из пресловутого социально-экономического базиса гносеологические и онтологические идеи великих рационалистов и эмпиристов XVII в. Хотя такого рода «идеи» в марксистской философской литературе признавались не вполне (вспомним судьбу книги В. Шулятикова «Оправдание капитализма в западноевропейской философии», 1908), но их снова и снова повторяли в той или иной мере множество авторов, что было закономерным в силу марксистской идеологизации философии. В своей рецензии на книгу А. Варьяша, а затем и в ответе на его реакцию (в том же журнале) В. Ф. Асмус с блеском эрудиции, силой аргументации, опиравшейся и на логику, и на оригинально осмысленные работы Маркса, с тонкостью ироничной стилистики показал несостоятельность позиций А. Варьяша.

Для утверждения идей о первостепенной важности философии в ее органической связи с историей философии весьма существенны те акценты, которые делал В. Ф. Асмус в интерпретации диалектического материализма. По его словам, диалектический материализм, конечно, является революционной философией, поскольку «отнюдь не развивается вне философской традиции, ибо перестраивает мир он по тем принципам, которые находит в этом же самом мире как тенденции его развития»*.

По-видимому, эта полемика, выявившая недюжинную теоретическую и литературную силу киевского философа (как и две его глубокие статьи «Бергсон и его критика интеллек-

* Под знаменем марксизма. 1926. № 7–8. С. 206.

та» и «Алогизм Уильяма Джемса», опубликованные в ПЗМ в 1926–1927 гг.), произвели сильное впечатление на А. Деборина и И. Луппола, тогдашних руководителей Института красной профессуры, и они пригласили его в качестве преподавателя этого главного в то время центра философского образования. Здесь (а затем и в других московских вузах) в течение ряда лет развертывалась профессорская деятельность В. Ф. Асмуса, великолепного лектора, точного и изящного в своей речи (о чем автор настоящей заметки судит и по рассказам своих старших коллег, и по собственному, уже более позднему опыту).

Продолжалась, расширялась и углублялась литературная деятельность В. Ф. Асмуса. Одно из главных ее направлений было зафиксировано в «Очерках истории диалектики в новой философии» (1930), в которых автор развивал и углублял ту же идею «синтетичности» диалектики Маркса и Энгельса по отношению к диалектике Декарта, Спинозы, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Широта термина «диалектика», как он трактовался в гегелевско-марксистской традиции, представляла автору дополнительные возможности рассмотрения основных вопросов философии. Это особенно очевидно в «Диалектике Канта» (1929); переработанная и дополненная, эта работа легла в основу солидного тома «Иммануил Кант», опубликованного в 1973 г. Многие годы В. Ф. Асмус оставался в нашей стране главным кантоведом, и есть все основания утверждать, что именно философия Канта составляла для него самую убедительную основу мировоззрения.

На публикацию «Очерков истории диалектики» откликнулся рецензией Н. А. Бердяев, один из главных пассажиров того самого корабля, теперь издававший в Париже журнал «Путь»*. В молодости увлекавшийся марксизмом и ставший впоследствии его непримиримым критиком, Бердяев сумел рассмотреть как философскую силу автора «Очерков», так и те моменты, в которых он был вынужден наступать на горло своей философской песне. Прежде всего рецензент констатирует, что «книга В. Асмуса есть показатель существования философской мысли в Советской России», ее автор «знает историю философии, имеет вкус к философствованию, любит великих немецких идеалистов» и явно образовался «еще

* См.: Путь. 1931. С. 108–112.

на старой русской культуре». Вместе с тем умудренный философский «волк» с горечью отмечает, что «автор свободно и по существу философствует только тогда, когда он забывает, что он марксист и что советская власть требует от него материализма». Давление марксистской религии, с которой автор вынужден считаться, лишает его подлинной философской свободы. Тем не менее достоинства «Очерков» таковы, что Бердяев пишет в заключение о том, что «г. Асмус производит впечатление случайного человека в коммунизме».

Это была весьма опасная «похвала». Если о статье «Великое пленение русской культуры» «в верхах» явно не знали (она была обнаружена лишь в последние годы), то за «белоэмигрантской литературой» следили достаточно внимательно. В 30-е гг. XX в. развернулась известная кампания против «меньшевистствующего идеализма». В. Ф. Асмус, как можно судить, не был близок с А. М. Дебориным, но дружил с одним из лидеров того же «направления» Я. Стэнном. Но, по-видимому, главную роль сыграли не личные отношения со Стэнном, а увлеченность Асмуса Кантом (к которому отношение официальной марксистской философии было тогда в целом отрицательным, поскольку Гегель, высоко ценимый Лениным, трактовался как «на голову поставленный материалист», чья диалектика якобы полностью перечеркнула диалектику трусливого Канта). Впрочем, были и другие придирки довольно невежественных критиков. Весьма возможно, что в этой ситуации «помогла» и рецензия Бердяева. Так или иначе Асмуса тоже стали причислять к «меньшевистствующим идеалистам».

Здесь имел место один эпизод, весьма показательный для характеристики «философской борьбы» тех лет. К В. Ф. подошел Е. П. Ситковский и предложил ему руку помощи: «В. Ф., — сказал он, — обвинение в меньшевистском идеализме содержит политический подтекст, он не безопасен, и я буду вас защищать». «А как вы, Евгений Петрович, будете меня защищать? — спросил его В. Ф. — А я буду доказывать, что вы не меньшевистствующий, а буржуазный идеалист!» В. Ф. отказался от такой «помощи», заметив: «Хотя и неверно, что я — меньшевистствующий идеалист, но уж лучше оставаться им, чем стать буржуазным идеалистом».

Продолжались проработки В. Ф. как меньшевистствующего идеалиста. Его изгнали из Академии комвоспитания, где он читал лекции, но его беспартийность, стремление держаться

вне политики и сугубая осторожность спасали его от более горькой участи (большевики Карев и Стэн, как известно, были арестованы, а затем расстреляны). В один из дней группа слушателей Академии явилась в общежитие Института красной профессуры (ИКП), в одной из комнат которого проживал В. Ф. с семейством, и стала выбрасывать его вещи в коридор. В такой гнетущей атмосфере, оставаясь лектором ИКП, В. Ф. Асмус опубликовал одно из самых значительных своих исследований «Маркс и буржуазный историзм» (1933). В работе вновь учение Маркса об обществе представлено как итог и преодоление предшествующей философско-исторической традиции Бэкона, Гердера, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Вместе с тем оно как учение рационалистическое было противопоставлено алогическому историзму А. Шопенгауэра и О. Шпенглера, методологическому дуализму Г. Риккерта. Эта книга В. Ф. Асмуса была единственной философской книгой, вышедшей в год 50-летия со дня смерти Маркса, тем не менее это обстоятельство не удержало М. Б. Митина от публикации в «Правде» разгромной рецензии на нее. В рецензии доказывалось, что автор игнорирует основной вопрос философии! В последующие годы непродолжительное литературное сотрудничество с Н. И. Бухариным снова подвело В. Ф. Асмуса к опасной черте (в стенной газете Института философии после известного политического процесса в марте 1938 г. появилась статья Кеменова, видного тогда литературно-политического деятеля, утверждавшего, что Асмус был «тенью Бухарина»).

В эти годы В. Ф. Асмус переключился на изучение истории и теории эстетики. Среди наиболее значительных публикаций этого периода — «Гёте в “Разговорах” Эккермана», «Философия и эстетика русского символизма», «Чтение как труд и как творчество», «Круг идей Лермонтова». В послевоенные годы были опубликованы такие значительные работы, как «Шиллер об отчуждении в культуре XVIII в.», «Мировоззрение Толстого» (отдельные статьи о нем публиковались и в 30-е гг.). Будучи членом Союза советских писателей с 1935 г., В. Ф. Асмус немало писал и по вопросам литературоведения. В частности, он первым заметил большой поэтический талант А. Т. Твардовского, когда появились его первые публикации в начале 30-х гг.

В январе 1940 г. В. Ф. Асмус защитил докторскую диссертацию «Эстетика классической Греции» (это была вторая

в СССР публичная защита диссертации и первая в ИФАНе). Он один из авторов многотомной «Истории философии». Первые три тома (из семи намеченных и частично написанных) были опубликованы в 1940–1943 гг., и Асмус стал одним из лауреатов Сталинской премии. Но уже в следующем 1944 г. было принято известное постановление ЦК ВКП(б), осуждавшее третий из вышедших томов (в сущности, самый содержательный из них) за освещение в нем немецкого классического идеализма XVIII–XIX вв. Претензии к этому освещению носили туманно-политический характер (шла война с фашистской Германией), и В. Ф. Асмус наряду с Б. Э. Быховским и Б. С. Чернышёвым был назван в этом постановлении одним из виновников политически неверного изображения немецких идеалистов. Последовали новые проработки на философском факультете МГУ (где В. Ф. Асмус работал профессором, как и Б. С. Чернышёв) и в Институте философии.

Так называемая дискуссия 1947 г. по книге Г. Ф. Александра «История западноевропейской философии» стала новым этапом в идеологизации и политизации философии. Она сводила к минимуму преподавание истории классической (домарксистской) философии, максимально увеличив долю истории марксистской философии, которая включала теперь не только ленинский, но и сталинский этап. Исследования по истории домарксистской философии фактически прекратились. В эти годы В. Ф. Асмус переключился на работу в области логики, которой он занимался с молодых лет и которую теперь начали преподавать в ряде вузов. Уже в 1947 г. вышел его солидный труд «Логика», где систематически рассматривалась традиционная формальная логика. В дальнейшем в новой коллективной монографии «Логика» (1956) им были написаны главы «Понятие», «Аналогия», «Гипотеза», «Доказательство».

Но когда в логике возобладала ориентация на математическую логику, В. Ф. Асмус посчитал, что в его годы уже поздно переключаться на новую исследовательскую область. К тому же наступило время XX съезда КПСС, знаменовавшего определенную оттепель и в философии. Перемены в обществе дали проф. Асмусу возможность перейти с кафедры логики на кафедру истории зарубежной философии, на которой он работал последующие двадцать лет. История философии оставалась главной научной любовью В. Ф. Асмуса. Он читал общие

и специальные курсы по истории античной, новой и новейшей истории философии в студенческой, аспирантской, преподавательской аудиториях. Как всегда, эти лекции отличали ясность, содержательность, непринужденная и изящная стилистика. Из книг, опубликованных в этот период творческой деятельности В. Ф. Асмуса, назовем монографии «Декарт» (1956), «Проблема интуиции в философии и математике» (1963; изд. 2-е, 1965), «Платон» (1969; изд. 2-е, 1975), учебное пособие «Античная философия» (1968; изд. 2-е, 1976).

Здесь названы, разумеется, далеко не все публикации философа-энциклопедиста, охватившего фактически все разделы истории как зарубежной, так и русской философии XIX—XX вв., написавшего по проблемам эстетики и литературы, русской и зарубежной, множество статей в Большой Советской, Литературной и Философской энциклопедиях.

Возвращаясь к названной выше монографии «Проблема интуиции в философии и математике», в которой исследуется проблема непосредственного знания в западноевропейской философии XVII—XIX вв. и математике XIX—XX вв., необходимо подчеркнуть высокий философский профессионализм ее автора. А такого рода профессионализм невозможен без способности к логико-гносеологическому анализу: им наш маститый автор владел в высокой степени.

Последние 15—20 лет жизни и деятельности В. Ф. Асмуса были не только творчески насыщенными, но и довольно счастливыми по сравнению с предшествующими годами. Правда, появилась одна тучка, когда в 1960 г. на похоронах Б. Л. Пастернака, травля которого за публикацию «Доктора Живаго» продолжалась и посмертно, В. Ф. Асмус, его близкий друг, построил свою надгробную речь вокруг идеи, согласно которой конфликт большого поэта и писателя не был конфликтом только с советской эпохой, но и со всеми эпохами. Руководящие профессора философского факультета МГУ на заседании Ученого совета устроили агрессивную проработку коллеге за то, что он в своей речи не осудил покойного «клеветника» на советскую действительность. В процессе проработки один из профессоров убежденно доказывал, что не обязательно читать «Доктора Живаго», ибо антисоветская суть автора сформулирована во многих его стихах. Прорабатываемый не посыпал свою голову пеплом, умело защищался, но, имея богатый опыт прошлых проработок, решил было покинуть философ-

ский факультет МГУ и перейти в сектор эстетики Института мировой литературы (где он работал по совместительству). Однако времена все же изменились, «высшие инстанции» не поддержали проработчиков, и все сделали вид, что Асмуса никто не трогал. В 1969—1971 гг. в издательстве Московского университета были опубликованы два тома его «Избранных философских трудов».

С 1943 г. и в каждые новые выборы В. Ф. Асмуса выдвигали в состав АН СССР по Отделению философии. Однако члены этого отделения, руководимые фанатичными марксистами-ленинцами и старыми партийцами, не могли простить ему ни «меньшевистствующего идеализма», ни последующих «вихляний». У автора этого очерка есть все основания полагать, что они перед Асмусом, как ни перед кем другим, испытывали чувство профессиональной неполноценности. Научное содержание его трудов им было попросту непонятно. Впрочем, и сам «непроходимец» с 1962 г. не подавал больше документов. («Не хочу я разыгрывать демократию для Ильичёва», — сказал он в этот год, когда секретарь ЦК КПСС сразу прыгнул в академики.)

Но к этому времени выросли новые поколения философов, формировавшиеся уже в предвоенные и тем более в послевоенные годы. Многие из них оценили уникальный талант В. Ф. Асмуса, глубокого и разностороннего исследователя и стилиста. Если поколение икапистов и других работников «философского фронта», сформировавшееся в 20—30-е гг., видело, как правило, в Асмусе «индивидуалиста» и «аристократа» (приходя на лекции, он не снимал с пальца обручального кольца), всегда замкнутого и идеологически ненадежного, то многие представители нового поколения убедились, что его замкнутость — своего рода защитная броня, позволившая ему выжить в жестокие годы идеологической бдительности, проработок и арестов. И стоило уже стареющему профессору убедиться, что его слушатель, студент и аспирант — искренний поклонник философии, как он раскрывался в своей подлинной сути — в желании максимально помочь молодому коллеге, наделяя его толикой своих громадных знаний. Его слушатель быстро убеждался в огромной доброте и безупречной интеллигентности Валентина Фердинандовича. И когда он умер (4 июня 1975 г.), на его похороны в Переделкино пришло множество его учеников, друзей и почитателей.

Здесь многие увидели, что В. Ф. был религиозен (до этого события лишь члены семьи и близкие друзья знали или догадывались об этом). На даче в Переделкине тайно приглашенный священник провел обряд отпевания усопшего, на котором присутствовал лишь ограниченный круг лиц. В соответствии с ранее выраженным пожеланием В. Ф. в его гроб положили портрет Канта*. Когда же близкие друзья, сопровождавшие гроб с телом покойного, подъехали к церкви, автор этих строк, декан философского факультета МГУ С. Т. Мелюхин и редактор «Литературного наследия» Макашин на гражданской панихиде произнесли свои прощальные речи. Священник стоял здесь же, и многие присутствующие «от греха» повернули тыл, удаляясь к станции. От церкви к могиле под псалмы священника (им был сын покойного Валентин) и его жены Инны шли лишь несколько учеников и друзей. Уже через день мы с С. Т. Мелюхиным писали по требованию парткома объяснительную записку, почему и как произошло такое «позорное» событие.

В заключение автор этих строк выражает давно сложившееся у него убеждение, что за все наши пореволюционные годы никто в нашей стране не сделал для философского просвещения и образования в России и во всех странах бывшего СССР столько, сколько сделал Валентин Фердинандович Асмус.

* Родственники В. Ф. Асмуса не подтверждают этого обстоятельства, но в сознании философской общественности имена Асмуса и Канта были настолько тесно связаны, что такое суждение вполне объяснимо. — *Примеч. ред.*

Б. В. Бирюков

**Валентин Фердинандович Асмус.
Творческий путь выдающегося русского
философа и логика**

Опустошение, произведенное коммунистическим переворотом в России, было столь сильным, истребление и изгнание высшего слоя образованного общества, включая деятелей культуры и науки, столь всеобъемлющим, что оставшихся в стране ученых и мыслителей, которые были способны сохранить завоевания русской научной и философской логической и методологической мысли, можно без преувеличения сосчитать по пальцам. Среди них одним из первых следует назвать профессора Московского университета Валентина Фердинандовича Асмуса (1894–1975). Он принадлежал к небольшому числу тех мыслителей советского времени, которые успели впитать дух философии Серебряного века русской культуры и сумели передать его последующим поколениям; к тем, кто готов был воспринять интеллектуальное наследие исторической России.

Творчество В. Ф. Асмуса — впечатляющий пример того, как в трудных условиях ленинского, сталинского и послесталинского времени можно было, идя на неизбежные компромиссы, поддерживать философскую традицию, восходящую к великим мыслителям России начала XX в., в 1922 г. изгнанным из нашего отечества по требованию главы коммунистического

государства. По единодушному мнению философов, которых я уважаю, В. Ф. Асмус был *крупнейшим* отечественным мыслителем прошлого века, творившим в своем отечестве. Он был первым — и в течение многих лет единственным — советским философом, избранным действительным членом Международного института философии в Париже*. Правда, его не избрали в Академию наук СССР — по философским наукам преимущество имели деятели с красной книжкой в кармане, — но звания заслуженного деятеля науки РСФСР удостоили. Тем не менее его не выпускали за границу на международные философские конгрессы и конференции.

Валентин Фердинандович был потомком обрусевших немцев-лютеран, мать его была русской, и по законам Российской империи он был крещен в православии. Высшее образование Асмус получил на историко-филологическом факультете Киевского университета Св. Владимира, который окончил в смутном 1919 году. Еще до этого события, в 1918 г., за исследование философских взглядов Л. Н. Толстого и Б. Спинозы университет присудил ему премию имени Л. Толстого**.

Свою преподавательскую и научную работу молодой Асмус начал в Киеве, но с 1927 г. мы видим его уже в Москве, где разворачивается его активная деятельность — преподавание в Институте красной профессуры, в Академии коммунистического воспитания, в Московском институте истории, философии и литературы (МИФЛИ). Со дня «воссоздания» в 1941 г. философского факультета в МГУ он был его профессором.

Асмус первым в СССР защитил докторскую диссертацию*** по специальности «философия». Произошло это еще до войны с Германией, в 1940 г. Ее название — «Эстетика классической Греции». К тому времени В. Ф. Асмус был сложившимся философом — историком философской мысли и логиком, а также литературоведом; диапазон его научных и общекультурных интересов был чрезвычайно широк.

* В. Ф. Асмус — педагог и мыслитель (Материалы «круглого стола»)// Философия не кончается. Из истории отечественной философии. XX век. Кн. 2: 1960–1980-е годы. М., 1998. С. 304.

** См.: Алексеев А. П. Асмус Валентин Фердинандович //(Алексеев П. В.) ред. Философы России XIX–XX столетий. Биографии, идеи, труды. М., 2002. С. 68–70. В дальнейшем при ссылках на этот источник: Философы России.

*** До этого по философии защищались только кандидатские диссертации, причем в МИФЛИ.

Еще в 1920-х гг. Валентин Фердинандович опубликовал работы об этике Спинозы, диалектике Декарта и Канта*. К анализу философского и логического наследия этих мыслителей и ученых В. Ф. впоследствии не раз возвращался. В МГУ он читал лекции и проводил спецсеминары по самым разным темам, например по истории логики. В. Ф. опубликовал труд о непосредственном знании в Новой философии, а через четыре года — фундаментальную книгу о Декарте**. В этих работах нашли развернутое изложение те идеи, которые он высказывал в лекциях по истории философии и логики.

* * *

На рубеже 1920—1930-х гг. вышел труд «Очерки истории диалектики в новой философии»***, а затем — нашумевшая книга «Маркс и буржуазный историзм»**** — одно из лучших его произведений. Труд Асмуса об основоположнике марксизма и о «буржуазном историзме» был *единственной* книгой, выпущенной в СССР в год 50-летия со дня смерти Маркса. И тем не менее для нее не нашлось тогда добрых слов: в «Правде» появилась необоснованная критическая рецензия на эту работу, автором которой был небезызвестный М. Б. Митин.

Валентин Фердинандович был замечательным исследователем литературы и искусства. Ему принадлежат работы о Шиллере и Гёте. Его статья «Шиллер как философ и эстетик» увидела свет в «Собрании сочинений» этого великого немецкого писателя, а статья о Гёте — в русском издании известных «Разговоров» Эккермана*****. Мой учитель Софья Александровна Яновская говорила об Асмусе, что он обладает большим литературным даром.

* Асмус В. Ф. Этика Спинозы//Под знаменем марксизма. 1927. № 2—3; его же. Диалектика в системе Декарта//Вестник Коммунистической академии. 1928. Кн. 25; его же. Диалектика и антиномии Канта//Там же. 1929. Кн. 29.

** Асмус В. Ф. Учение о непосредственном знании в истории философии Нового времени. М., 1955; его же. Декарт. М., 1956.

*** Выходные данные: М. — Л., 1929; книга переиздана в 1930 г.

**** Выходные данные: М. — Л., 1933.

***** Асмус В. Ф. Гёте в «Разговорах» Эккермана//Эккерман И. Н. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М. — Л., 1934.

Валентин Фердинандович был прежде всего историком философии. Но когда в 1947 г., после армии, я вернулся на философский факультет МГУ, В. Ф. был профессором *кафедры логики*. По идеологическим соображениям ему не доверили преподавание истории философии. Как вспоминал Т. И. Ойзерман, декан факультета Д. А. Кутасов высказывался в том смысле, что преподавать логику — «беспартийную» дисциплину — Асмус, конечно, может, но иное дело история философии, дисциплина партийная*.

...Странные то были времена, многое в них выглядит как некий театр абсурда. Дважды в год, на советские майские и октябрьские праздники, во всех городах и весях все «трудящиеся», т.е. лица, состоящие на государственной службе (а какая иная могла быть тогда служба?), обязаны были — разумеется, добровольно, — участвовать в *демонстрациях*: проходить на предназначенных для этого площадях перед трибунами, на которых их приветствовало партийно-государственное руководство соответствующего ранга. В Москве демонстранты шествовали по Красной площади перед мавзолеем В. И. Ленина, на трибунах которого стояли руководители партии и правительства. Парткомы и партбюро на предприятиях и учреждениях, следуя указаниям райкомов и горкомов, в условиях строгой ответственности организовывали колонны «демонстрантов»; последние разбивались на «пятерки», и в каждой из них назначался *правофланговый*. На него возлагалась задача следить на демонстрации за поведением членов своей пятерки. Глубокий смысл этого назначения состоял в том, что, проходя по Красной площади, правофланговый оказывался ближе всего к трибунам Мавзолея, и если бы в его пятерке нашелся кто-нибудь, решившийся покуситься на стоящих на трибуне «вождей» (на самом деле имелся в виду Сталин), да хотя бы выкрикнул что-то непопозволенное, он обязан был это немедленно пресечь.

Почему я об этом рассказываю, какое отношение это имеет к Валентину Фердинандовичу? Оказывается, самое прямое. Суть в том, что назначение правофланговым означало *политическое доверие* со стороны власти. А таковым на философском факультете Московского университета в послевоенное

* См.: В. Ф. Асмус — педагог и мыслитель. С. 301.

сталинское время Асмуса как раз и не достаивали, и когда однажды на факультетском парткоме был поставлен вопрос о переводе В. Ф. из сектора логики в сектор истории философии (об этом настойчиво хлопотал Т. И. Ойзерман), один из членов парткома высказался «против», потому что Асмус «не заслуживает в полной мере политического доверия, так как его недавно не утвердили правофланговым на предстоящей праздничной демонстрации»*.

Со временем, после кончины «великого кормчего» и XX съезда компартии, В. Ф. перевели-таки на кафедру истории зарубежной философии, хотя на один год (1956) ему пришлось вернуться на кафедру логики, чтобы ею руководить; это было для него явно нежелательной обузой, и скоро он ее с себя снял.

Надо, однако, сказать, что пребывание В. Ф. на кафедре логики во второй половине 40-х и 50-х гг. не было чем-то не оправданным. Дело в том, что логика была давней сферой его научных интересов. Логика его интересовала, по-видимому, еще в пору, когда он учился в Киеве. Именно там, в Университете Св. Владимира, 7 марта 1922 г. он прочитал лекцию *pro venia legendi* (т. е. на право преподавания в университете), и тема ее была «Философские задачи логики»**. В 1928 г. молодой Асмус выступил со статьей об общей и трансцендентальной логике Канта, а также с рецензией на книгу А. Варьяша «Логика и диалектика»***. Вскоре он опубликовал статью о логике науки****.

В МИФЛИ, где я учился в 1940/41 учебном году, В. Ф. кроме лекций по истории философии читал факультативный лекционный курс формальной логики. Что касается Московского университета, то в 1939 г. он там читал лекции по истории логики; они предназначались для аспирантов кафедры диалектического и исторического материализма, которой руководил профессор З. Я. Белецкий, и их слушал З. А. Камен-

* См.: В. Ф. Асмус — педагог и мыслитель. С. 30.

** Напечатано в журнале «Путь». 1995. № 7.

*** Статья была опубликована в журнале «Под знаменем марксизма» (1928. № 11) рецензия под заголовком «Формальная логика и диалектика Канта» появилась в том же журнале (1929. № 4).

**** Асмус В. Ф. К вопросу о логике естественных и исторических наук // Научное слово. 1930. № 6.

ский*. Спустя десятилетие с лишком, в феврале — мае 1951 г. Захар Абрамович посещал лекционный курс Асмуса по формальной логике и в своих воспоминаниях отметил, что в нем большое внимание уделялось историко-философским вопросам**. В 1952 г. Асмус читал на факультете лекции по истории логики, и сохранившаяся у меня застенографированная часть этого курса, отредактированная мною, теперь увидела свет***; я еще вернусь к этому курсу.

* * *

Еще в 1941 г., перед самой войной, власти задумали восстановить логику как предмет преподавания — и, стало быть, как сферу научных исследований. В военные годы это решение не проводилось в жизнь, хотя изменение отношения к науке о логических рассуждениях со стороны партийно-государственного руководства чувствовалось все более явно: об этом свидетельствует создание в МГУ кафедры логики в 1943 г. Но полная «реабилитация» этой дисциплины произошла в 1946 г., когда ЦК ВКП(б) принял постановление о введении преподавания логики и психологии в средней школе. Проведение этого решения в жизнь потребовало подготовки соответствующих профессорско-преподавательских кадров в вузах страны и разработки связанных с этим теоретических и методических проблем.

Существует взгляд, что восстановление логики и психологии как учебных предметов в средней школе, повлекшее за собой введение логики в вузах в качестве объекта изучения и исследования, было инициировано Сталиным. Во всяком случае на «философской дискуссии» 1947 г. (о ней речь пойдет ниже) известный психолог С. Л. Рубинштейн сказал: «Лишь специальное указание товарища Сталина и постановление

* Каменский З. А. О «Философской энциклопедии» // Философия не кончается. Кн. 2. С. 64.

** В. Ф. Асмус — педагог и мыслитель. С. 311.

*** Асмус В. Ф. Лекции по истории логики. Авиценна. Бэкон. Гоббс. Декарт. Паскаль/под ред. и со вступ. ст. Б. В. Бирюкова. М.: URSS, 2007. (Далее: Асмус В. Ф. Лекции...)

ЦК напомнило о существовании логики и психологии»*. Мне представляется, что Сталин был озабочен прежде всего «реабилитацией» логики, психология же (которая и так занимала определенное место в высшей школе) была к ней естественным образом «подверстана». В послевоенное время наука, культура и идеология находились под неусыпным оком генсека, и постановление о логике и психологии это ясно демонстрировало. Именно потребностью введения учения о логическом мышлении в качестве одного из важных компонентов философского образования объясняется привлечение на философский факультет МГУ в 1942—1943 гг. профессоров А. Ф. Лосева и П. С. Попова, а также подготовка учебника логики для средней школы (С. Н. Виноградов) и вузов (Э. Кольман).

Известно, что летом 1946 г. Министерство высшего образования СССР организовало в Москве Курсы подготовки преподавателей логики. На них с большой речью выступил Г. Ф. Александров, тогда заведующий Управлением пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). В своей речи он привел основные высказывания Ленина и Сталина, касающиеся логики, и их потом постоянно использовали участники дискуссий, развернувшихся вокруг логики. Александровым были также сформулированы основные положения, касающиеся содержания логики, — положения, которые в 40—50-е гг. стали предметом острых споров. Учитывая заданные идеологические рамки, выступление Георгия Федоровича** следует признать весьма взвешенным: это был знающий философ и умный человек.

Валентин Фердинандович Асмус активно включился в движение по восстановлению логики как предмета преподавания и научного исследования. В 1944 г. он выступил со статьей на логические темы*** и, популяризируя логику, подготовил публикацию, адресованную пропагандистам****. В 1947 г. вышла его

* Вопросы философии. 1947. № 1. С. 423.

** См.: Александров Г. Об изучении логики // Культура и жизнь. № 3. 1946; перепечатано в «Учительской газете» (1946, раньше декабря м-ца). В подстрочном примечании к этой публикации сказано: «Из выступления на курсах преподавателей логики 16 июля с. г., созванных Министерством высшего образования».

*** Асмус В. Ф. Логические законы мышления // Под знаменем марксизма. 1944. № 4—5.

**** Асмус В. Ф. Для чего нужно изучать логику // Агитатор. 1944. № 17—18.

«Логика»*, учебник, явно выделявшийся своей фундаментальностью из ряда книг по нематематической логике, которые в те годы публиковались одна за другой. И тем не менее пособие по логике, написанное Асмусом, несло на себе отчетливую печать «логической традиционности»**. Уже в самом начале книги утверждалось, что логика является теоретической наукой, нормативная же ее сторона — нечто вторичное. Теоретичность логики усматривалась в том, что она изучает логические формы мысли, наиболее отчетливо проявляющиеся в умозаключениях; формы эти, в отличие от того что утверждают о них «логики-идеалисты», в определенном смысле зависят от содержания мышления: «Возможность прилагать одни и те же логические формы к различному содержанию, — писал В. Ф., — доказывает только то, что наряду с содержанием *частным*, свойственным *только данной* области знания или данной науке, существует также содержание, общее *целому ряду* наук или даже *всем* наукам. С этой точки зрения логические формы следует рассматривать не как формы, *не зависящие* ни от какого содержания, а как формы *чрезвычайно широкого* содержания»***.

Хорошо известные в традиционной логике свойства «правильного мышления» — определенность, последовательность и доказательность — В. Ф. связывал с четырьмя «логическими законами мышления»: законом тождества, законом противоречия, законом исключенного третьего и законом достаточного основания. Они передавались следующими «формулами»: « A есть A »; « A есть B » и « A не есть B » не могут быть в одно и то же время истинными»; « A есть либо B , либо не- B »; и «Если есть B , то есть, как его основание, A ». Законы противоречия и исключенного третьего (последний истолковывался как утверждающий невозможность какого-либо «третьего» суждения об отношении между A и B) пояснялись путем обращения к контрарной и контрадикторной противоположностям, что неявно содержало в себе «круг в определении». Весьма уязвимым было истолкование закона достаточного основания:

* Асмус В. Ф. Логика. М., 1947.

** На это обстоятельство стоит обратить внимание хотя бы потому, что данная книга, как указывалось выше, ныне переиздана в издательстве URSS.

*** Асмус В. Ф. Логика. С. 1—11.

«Для всякого истинного утверждения существует и поэтому должно быть указано достаточное основание, в силу которого это утверждение является истинным»^{*}. Это истолкование, конечно, несостоятельно, поскольку следование ему означало бы «уход в бесконечность» все новых и новых «достаточных оснований»; противореча самому себе, В. Ф. в конце книги указывал на аксиомы (математики), которые положены в основание доказательств, но сами не только не доказываются, но могут быть и не «очевидными»^{**}.

Вероятно, мы не ошибемся, если предположим, что основное содержание своего учебника «Логика» В. Ф. продумал, когда читал лекции по логике в МИФЛИ. По-видимому, в 40-х гг. В. Ф. был еще не знаком (или недостаточно знаком) с основными понятиями математической логики и философско-математической проблематикой. Об этом свидетельствует содержащееся в его книге утверждение, будто математические доказательства (которые, по словам В. Ф., не требуют «привлечения *прямых* данных опыта *в самом ходе доказательства*») опираются на опыт «через посредство тех элементов опыта, которые содержатся в основных понятиях, определениях и аксиомах» математических наук^{***}. Несостоятельность этого утверждения очевидна. Наивно выглядели рассуждения В. Ф. о «логической формуле выводов о вероятности», а его изложение апагогических доказательств свидетельствовало о том, что он не различал доказательств путем «сведения к нелепости» и «от противного»; между тем различать их очень важно, потому что второе доказательство в отличие от первого не проходит в интуиционистской (конструктивной) логике. Читая теперь слова В. Ф. о том, что «закон исключенного третьего объясняет, почему, придя к убеждению в ложности известного утверждения (как это имеет место в некоторых доказательствах), мы тем самым оказываемся вынуждены признать истинность противоречащего ему утверждения»^{****}, мы должны учитывать, что это «объяснение» не принимается логико-математическими интуиционистами и конструктивистами.

^{*} Асмус В. Ф. Логика. С. 24–25.

^{**} См.: Асмус В. Ф. Логика. С. 366 и далее.

^{***} Там же. С. 361 (курсив автора. — *Примеч. ред.*).

^{****} Там же. С. 26.

Ныне широко известна «воображаемая логика» Н. А. Васильева. Была она известна и Асмусу, хотя бы по ее изложению в журнале «Логос»*. Но никаких следов ее влияния ни на оценку закона противоречия, ни на истолкование смысла квантора «некоторые» мы в книге Асмуса не находим. Между тем истолкование термина «некоторые» в значении «только некоторые» так и просится в его книгу. Но, зная об этом истолковании, В. Ф. его почему-то не рассмотрел, как не рассмотрел и васильевский «треугольник противоположностей».

Однако надо отдать должное Валентину Фердинандовичу как логик. Впоследствии он многое исправил и обогатил в своем изложении логики, что видно из небольшой его книги «Учение логики о доказательстве и опровержении» (1954)** и особенно труда «Проблема интуиции в философии и математике»***.

Я помню, как в 1952 г. лекторий МГУ организовал курс лекций по логике. В. Ф. Асмус участвовал в нем наряду с математиками П. С. Новиковым и С. А. Яновской. Слушатель этого лектория, я тщательно записывал читавшиеся лекции, и в их числе лекцию Валентина Фердинандовича.

К сожалению, преподавание логики и психологии, а также разработка логико-психологических проблем с самого начала находились под сильным давлением официальной идеологии. Деятели «философского фронта», как тогда говорили, были прежде всего озабочены борьбой против «аполитичности» логической науки. Для последней ситуация осложнялась дискуссиями вокруг соотношения логики «формальной» и логики «диалектической», а также критикой математической логики.

Важным идеологическим событием первых послевоенных лет была состоявшаяся в 1947 г. пресловутая «философская дискуссия» по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии», и уже на ней звучала критика в адрес тех, кто обратился к вновь «разрешенной» науке. В журнале «Вопросы философии», организованном после этой дискуссии, появился раздел логики, и во втором номере журнала

* Васильев Н. А. Логика и металогика // Логос. 1912–1913. Кн. 1–2.

** Ныне эту публикацию Валентина Фердинандовича можно найти в его «Избранных философских трудах» (тт. 1–2. М., 1969–1971).

*** Асмус В. Ф. Проблема интуиции в философии и математике (Очерк истории: XVIII — начало XX века). М., 1963; изд. 2-е. М., 1965.

за этот же год в разделе «Философское образование» со статьей выступил некий П. Е. Вышинский. Статья называлась «Об одном из недостатков в преподавании логики». В ней подвергались критике многие отечественные авторы, писавшие учебные пособия по новому для того времени предмету. Вышинский ополчился на тех, кто «смешивал формальную логику и диалектику», кто, иллюстрируя логические закономерности, приводил «аполитичные» примеры. О В. Ф. Асмусе как авторе книги о логике, вышедшей в том же году, утверждалось, будто он прибегает к «выкрутасам», навязывает нашему мышлению «искусственные схемы». «Пора бы советским логикам, — поучал П. Е. Вышинский, имея в виду Валентина Фердинандовича, — перейти от подробных описаний практически бесполезных фигур и модусов силлогизма к разъяснению познавательного значения силлогизмов и основных правил логического мышления». Этот блюститель чистоты марксистской идеологии в сфере логики оставлял читателя в недоумении: как можно показать «познавательное значение» силлогистики, не объяснив, что это такое. Еще более странно звучит назидание — учесть «опыт применения нашими людьми логики в их идеологической борьбе с представителями буржуазного мира»*.

Этот Вышинский был, судя по всему, воинствующим невеждой. Прочитав его назидания, можно было только развести руками. Но в том же номере журнала была опубликована рецензия на книгу В. Ф. Асмуса, написанная Е. К. Войшвилло**. В книге Валентина Фердинандовича рецензент нашел «весьма крупные недостатки». В чем же они заключались? Оказывается, в отсутствии «критики идеалистических извращений в логике». Профессор Асмус должен был «вскрывать гносеологические корни тех или иных идеалистических ошибок в трактовке вопросов логики». Кроме того, рецензент считал, что В. Ф. отнесся «недостаточно критически к отдельным неверным положениям прежней логики и не избежал идеалистических ошибок». Асмуса критиковали за «отрыв логических закономерностей от отношений действительности, стремление вывести законо-

* Там же. С. 370—371.

** Войшвилло Е. К. О книге «Логика» проф. В. Ф. Асмуса // Вопросы философии. 1947. № 2. С. 226—234.

мерности в отношениях между мыслями из свойств и наиболее общих законов самих мыслей». Этому «отрыву» противопоставлялось положение, согласно которому «необходимость вывода обусловлена, конечно (!), теми отношениями действительности, которые выражены в посылках», — положение, несостоятельность которого рецензент, должно быть, вскоре осознал. Далее последовали упреки в отрыве формы от содержания и в игнорировании отношения сходства, на котором, по Войшвилло, основано обобщение, приводящее к образованию понятия; осуждалось «резкое отделение» научного мышления от мышления повседневного; и, наконец, указывалось на то, что автор «Логики» (1947) «механически объединяет» в своей книге разные точки зрения на вопросы логики.

Если такое мог писать специалист, выросший вскоре в крупного ученого, развивший оригинальные философско-логические концепции и имевший много учеников, которые стали авторитетными специалистами*, то можно себе представить, в каком разносном стиле критиковали Валентина Фердинандовича «образованцы» — ревнители чистоты марксизма-ленинизма.

Стоит, однако, сказать, что одно из критических замечаний, которые Е. К. Войшвилло адресовал Асмусу, имело свое основание. Касалось оно попытки В. Ф. совместить традиционное представление о субъектно-предикатной структуре суждений с их трактовкой в терминах отношений. Асмус в своей книге дополнял традиционное понимание суждений (как имеющих структуру $S — P$) суждениями, имеющими форму aRb , т. е. суждениями отношения. Поэтому ему пришлось помимо хорошо известных в логике силлогистических умозаключений ввести в рассмотрение «несиллогистические» выводы. Выводы эти он основывал на переносе отношений с одних понятий на другие. Такой подход, конечно, возможен, но утверждение В. Ф. о том, будто умозаключения об отношениях не могут быть сведены

* О вкладе Е. К. Войшвилло в науку см.: Болотов А. Е., Зайцев Д. В. Ученый и время // Логика и В. Е. К. К 90-летию со дня рождения Войшвилло Евгения Казимировича. М., 2003 [К 250-летию Московского ун-та]; Бирюков Б. В. Борьба вокруг логики в Московском государственном университете в первое послесталинское десятилетие (1954—1965) // Там же. На с. 250 данной книги помещено проникновенное слово о Евгении Казимировиче его учеников и коллег.

к силлогизмам, было ошибочным*. Между тем теория дедукции в философской формальной логике не нуждается в умозаклЮчениях, базирующихся на суждениях об отношениях, — подобные выводы вполне представимы силлогизмами. Кроме того, в случае несиллогистических умозаклЮчений следует учитывать характер отношения R — оно должно обладать свойством *транзитивности*, т. е. свойством, состоящим в том, что из суждений aRb и bRc следует суждение aRc . Не все отношения транзитивны. Например, отношение «любить» — бинарное (двучленное) отношение « x любит y » — нетранзитивно: из того, что x любит y , а y любит z , не следует, что x любит z . Поэтому в несиллогистических умозаклЮчениях всегда надо предполагать дополнительную посылку, утверждающую транзитивность отношения R . Между тем несиллогистическое умозаклЮчение (например, для отношения равенства) легко представимо соответствующим категорическим силлогизмом: вывод «Из посылок $a = b$ и $b = c$ следует, что $a = c$ » представим в виде: « a есть то, что равно b , b есть то, что равно c , значит, a есть то, что равно c ». Читая теперь переизданную «Логика» Асмуса, мы должны это принимать во внимание.

На отмеченный Е. К. Войшвилло изъян учения о суждениях и умозаклЮчениях, как оно было представлено в книге Асмуса, в дальнейшем часто указывали многочисленные критики его книги.

Таким образом, «Логика» Валентина Фердинандовича была отнюдь не безупречна. Тем не менее это была *лучшая* для того времени книга по *философской* (нематематической) логике.

Спустя десятилетие в русском переводе была выпущена книга Ш. Серрюса, французского философа, отстаивавшего *логику отношений* как наиболее оправданную форму философской логики; в ней уже не было места субъектно-предикатной трактовке суждений и умозаклЮчений. Вступительную статью к книге написал В. Ф. Асмус**.

Книга Серрюса вызвала оживленные дискуссии. Перед лицом альтернативы, которую поставила на очередь дня эта книга, — «атрибутивная логика или логика отношений» боль-

* См.: Асмус В. Ф. Логика. М., 1947. С. 73–74, 156, 238–239.

** Асмус В. Ф. Шарль Серрюс и логика отношений // Серрюс Ш. Опыт исследования значения логики. М., 1948.

шинство советских философских логиков того времени высказались в пользу первой, т. е. логической теории, согласно которой универсальной формой суждений следует считать их субъектно-предикатное строение. Как все дискуссии того времени, спор этот был идеологизирован: противоположный взгляд подлежал осуждению как «идеалистический»*.

В последующие годы «логика отношений» стала объектом все более резкой критики. В чем же усматривалась «идеалистичность» этого направления? В том, что в нем отношения между предметами будто бы рассматриваются как нечто первичное по сравнению с соотнесением предметных реалий и их свойств (предикатов). На этом основании критике подвергалась как книга Серрюса, так и вступительная статья Валентина Фердинандовича. В частности, против «логики отношений» выступил Е. К. Войшвилло**, который указывал, что В. Ф. напрасно пытается совместить субъектно-предикатное (традиционное) понимание суждений с их трактовкой в духе «логики отношений». В этих условиях неудивительно, что Асмусу пришлось «отмежеваться» от логики, основанной на категории отношения.

Критическая оценка «логики отношений» была действительно оправданна, и поэтому нас не должно удивлять, что и Евгений Казимирович, и Валентин Фердинандович ее отвергли. Дело в том, что логика отношений была половинчатой попыткой преодоления ограниченности наследия философских логических учений. В действительности такого рода преодоление было уже осуществлено. Произошло это в рамках развития математической логики. Не очень заметное, когда математико-логические конструкции имели форму *алгебры логики*, оно стало явным, когда логика приобрела тот вид, который ей

* См., например: Таванец П. В. Об идеалистической критике аристотелевской теории суждения // Изв. АН СССР. Сер. истории и философии. 1947. Т. 6. № 4; его же. Против идеалистического истолкования природы суждений // Вопросы философии. 1948. № 1 (3).

** Е. К. Войшвилло посвятил разоблачению идеализма «логики отношений» свою кандидатскую диссертацию. Она была опубликована в виде большой статьи, озаглавленной «Критика логики отношений как релятивистского направления в логике» (опубликована в «Философских записках». Т. 6. М., 1953). Критика «логики отношений» надолго стала «общим местом» в советской философской литературе.

придали Готтлоб Фреге и Бертран Рассел, — вид исчисления высказываний и исчисления предикатов. И оба отечественных философских логика — прошедший большой путь в науке Асмус и только начинающий его Войшвилло — это признали.

* * *

Благородный образ Валентина Фердинандовича навсегда остался в памяти тех, кто знал его, слушал его лекции, участвовал в его спецсеминарах, общался с ним. Например, ученик В. Ф. Асмуса в области истории философии Г. А. Заиченко, характеризуя Валентина Фердинандовича, писал, что «в страшные годы коммунистического диктата он имел мужество отстаивать критерии честного, глубоко профессионального служения философской науке, служения истине»*. Он воспитал целое поколение советских историков западной философии, а также некоторых логиков (А. И. Уёмов, В. А. Смирнов). Для них, учеников Валентина Фердинандовича, «решающим был фактор образца, готовность совершать поступки. В 1960 г. на Ученом совете философского факультета МГУ, когда В. Ф. Асмуса подвергали идеологической проработке и разносной критике за речь, произнесенную им на похоронах его друга, автора романа «Доктор Живаго» — Б. Л. Пастернака, он сказал: «Не мог же я плюнуть человеку в могилу!»**

Речь В. Ф. Асмуса на похоронах Б. Л. Пастернака была мужественным поступком: ведь он понимал, что его подстерегают большие опасности. В это время он был членом редакционной коллегии пятитомной «Философской энциклопедии», начавшей выходить в 1960 г. Главным редактором энциклопедии был академик Ф. В. Константинов, в то время главный редактор официального органа компартии — журнала «Коммунист». Проявляя «политическую бдительность», этот партфункционер поставил перед ЦК партии вопрос о выведении В. Ф. из состава редколлегии, однако, как рассказывает З. А. Каменский со слов самого Константинова, секретарь

* Заиченко Г. А. Взаимозависимость теории познания и истории философии: Вклад В. Ф. Асмуса // Вестник Международного славянского университета. Вып. 4. М., 1998. С. 50.

** Заиченко Г. А. Цит. соч. С. 51.

ЦК ВКП(б) М. А. Суслов, которому Ф. В. доложил об этой своей инициативе, отверг ее, сказав, что в отношении ученых такого рода действия совершать нельзя*.

В связи с речью Валентина Фердинандовича на похоронах Пастернака в аппарате ЦК тоже нашлись работники, которые, по свидетельству А. Д. Косичева, требовали «принятия к Асмусу самых решительных мер — вплоть до увольнения с работы». Поэтому вопрос был поставлен на Ученом совете философского факультета, но декан факультета В. С. Молодцов «очень умело вел заседание», на котором обсуждалось «поведение» Валентина Фердинандовича, не давая ходу «обличительным» выступлениям. А сам Асмус в своем кратком слове фактически взял под защиту великого русского писателя**. Тем и обошлось.

Сколь тернистым был путь Валентина Фердинандовича в кругу советской философии, можно судить по следующим словам З. А. Каменского. Захар Абрамович писал, что Асмуса всю жизнь за что-нибудь «прорабатывали» — в 20-е гг. за симпатии и даже солидарность с «меньшевистствующим идеализмом», в 30-е — за «буржуазный объективизм», будто бы содержащийся в книге «Маркс и буржуазный историзм», в 40-е — за мнимые ошибки в III томе «Истории философии», в 50-е — за «беспартийную позицию» в области логики, в 60-е — за речь о Пастернаке***.

Следующий красноречивый штрих дополняет картину, нарисованную З. А. Каменским. На заседании президиума Академии коммунистического воспитания в Москве в октябре 1930 г. проходила «философская дискуссия», на которой вспомнили об Асмусе. С докладом выступил некий П. П. Милютин — один из руководителей этой «академии»; содокладчиком был директор Института философии академии А. М. Деборин. Между докладчиком и содокладчиком — и их сторонниками — произошла резкая перепалка. Деборина и деборинцев обвиняли в «формализме в философии». А. М. Деборин, ответственный

* Каменский З. А. Указ. соч. С. 50—51.

** Косичев А. Д. Философия, время, люди. Воспоминания и размышления декана философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 2003. С. 277—278.

*** Каменский З. А. Указ. соч. С. 66.

редактор журнала «Под знаменем марксизма» (ПЗМ), вынужден был защищаться. Он говорил о формализме еще задолго до конференции*, на страницах «ПЗМ» была напечатана передовая статья, в которой шла речь об опасности формализма.

«Голос. А т. Асмуса защищали!

*Деборин. Тов. Асмуса я никогда не защищал — это чистейшая ложь, а если печатал его, то с примечаниями»**.*

Вспомним, какое это было время. Великий русский экономист Н. Д. Кондратьев, уволенный из созданного им же Конъюнктурного института в 1927 г., в 1930-м был арестован. ОГПУ состряпало «дело» мнимой «трудовой крестьянской партии», и Кондратьева «назначили» ее руководителем***. Велась активная травля старой инженерной профессуры как так называемых вредителей. Сталин усиливал идеологический пресс: в январе 1931 г. по его указанию ЦК ВКП(б) принял постановление «О журнале “Под знаменем марксизма”», в котором «линия Деборина» квалифицировалась как «меньшевистствующий идеализм». «Деборинцев» арестовали, и они погибли в ГУЛАГе. Достаточно вспомнить судьбу «меньшевистствующего идеалиста» Н. А. Карева, арестованного в 1933 г. и расстрелянного в 1936-м. Пощадили только самого Абрама Моисеевича...

Отсвет квалификации «меньшевистствующий идеалист» пал и на Валентина Фердинандовича. И хотя полоса арестов «деборинцев» обошла его стороной, его недоброжелатели, например профессор философского факультета МГУ З. Я. Белецкий, не раз впоследствии бросали ему обвинения в «меньшевистствующем идеализме».

Смертельно опасных ситуаций в жизни В. Ф. было немало, и это объясняет известную замкнутость Асмуса, его необычайную осторожность в формулировках и учет — однако чрезвычайно взвешенный — «текущего момента».

Неотъемлемой чертой советского бытия, особенно в сталинские времена, были *слухи*. И до войны, и после нее погово-

* Имелась в виду Вторая всесоюзная сессия марксистско-ленинских научных учреждений, состоявшаяся в апреле 1929 г.

** Из истории философских дискуссий // Философские науки. № 5. 1991. С. 153.

*** В 1932 г. его осудили на восемь лет тюремного заключения, а в 1938 г. расстреляли.

ривали об аресте Валентина Фердинандовича. Как утверждал В. А. Смирнов, арест В. Ф. планировался «перед войной», но, предупрежденный друзьями, он успел «отбыть в Минск»^{*}; а согласно В. В. Соколову (устное сообщение), слухи об аресте Асмуса ходили в первом послевоенном году.

В посткоммунистические времена, когда многие члены прежнего советского «философского сообщества» принялись сочинять воспоминания, раздавались голоса сожаления о том, что Валентин Фердинандович-де не занимался «теоретической философией». Объяснялось это тем, что он был слишком придавлен партийно-идеологическим прессом. Так, З. А. Каменский с разочарованием писал, что среди оставшихся после кончины В. Ф. его манускриптов не оказалось «собственно теоретических работ». В литературе приводятся слова А. Ф. Лосева, что В. Ф. «очень талантлив, но он во многом растерял свой талант»^{**}. Я убежден, однако, что этот взгляд несостоятелен. Просто В. Ф. был достаточно умен, чтобы не заниматься «теоретической философией», вещью совершенно непонятной. В нашей стране в XX столетии она свелась бы к толчее диалектической воды в материалистической ступе. Да и на Западе — где она была — «теоретическая философия»?!

Время создания «философских систем» прошло, и это отлично понимал В. Ф. Асмус.

* * *

В 1940/41 учебном году автор настоящей статьи был студентом Московского института истории, философии и литературы (МИФЛИ). *Логики* как обязательного предмета в учебном плане МИФЛИ не было. Но В. Ф. Асмус, как уже говорилось, читал в институте факультативный курс, называвшийся «формальная логика». Я его не посещал — для этого у студента Бирюкова просто не было времени: полгода учил-

^{*} В. Ф. Асмус — педагог и мыслитель. С. 319. Впрочем, подтверждения этого факта в иных источниках мною не обнаружено.

^{**} Садовский В. Н. Философия в Москве в 50-е и 60-е годы // Философия не кончается. Кн. 2. М., 1998. С. 19. Эта статья впервые опубликована в журнале «Вопросы философии» в 1993 г.

ся на историческом факультете, потом, переведясь на философский, догонял своих соучеников. Но лекции Валентина Фердинандовича слушать мне, к счастью, довелось. Правда, это были лекции не по логике, а по эллинской философии. В начале 1942 г. на философском факультете МГУ, в основном находившемся в эвакуации, сначала в Ашхабаде, а затем Свердловске, возобновились занятия — силами тех профессоров и преподавателей, которые остались в столице, и для тех студентов, которые ее не покинули. Полтора месяца, в феврале и марте 1942 г., перед призывом на военную службу, я слушал лекции В. Ф. — он продолжал курс истории греческой философии, который в МИФЛИ начал читать профессор Б. С. Чернышёв. В памяти запечатлелась голова Валентина Фердинандовича с копной седеющих волос, делавшая его похожим на льва.

Что сказать о лекциях Валентина Фердинандовича? Во-первых, они были очень содержательны, отличались отточенностью формулировок. О стиле его лекций ясное представление дает изданный ныне лекционный курс Асмуса по истории логики*. По сравнению с лекциями по той же греческой философии, которые в МИФЛИ читал Борис Степанович Чернышёв, преподнесение материала Валентином Фердинандовичем было суховато. Мне, слушавшему в МИФЛИ лекционный курс Чернышёва, чрезвычайно эмоциональный, это было особенно заметно. Во-вторых, в асмусовском изложении греческая философия представляла прежде всего как история рационализма; логическому дискурсу, как он был представлен у Платона и Аристотеля, элеатов и софистов, уделялось большое внимание. Чернышёв же вводил эллинскую мысль в более широкий контекст орфико-мистических коннотаций, присутствовавший на протяжении всей многовековой истории греческой мысли.

Стиль мысли Асмуса, представленный в его лекциях, вполне объясним. Суть в том, что логический дискурс в истории философии почти всегда был связан с диалектикой, а она была в центре философских исследований Асмуса фактически на протяжении всей его творческой жизни. Во всяком случае, подзаголовок одной из первых его публикаций — о диалектическом материализме и логике — гласит: «Очерк развития диалек-

* См. примеч. на с. 25.

тического метода от Канта до Ленина»*. Подобная тематика, разумеется, вполне отвечала официальной идеологии, но В. Ф. исследовал проблемы истории диалектики отнюдь не из конъюнктурных соображений.

* * *

Когда в конце 1946 г. автор этих строк был демобилизован из армии (точнее, из Балтийского флота)** и в начале 1947 г. вернулся на факультет, в 1950 г. окончил его, а потом, в 50-х гг., учился там в аспирантуре, три личности служили на факультете воплощением наследия историко-философской и философско-логической мысли Серебряного века. Для нас, начинающих философов, их пребывание на факультете было очень важным. Это были профессора П. С. Попов, А. С. Ахманов и, конечно, В. Ф. Асмус. Кафедрой логики, профессорами которой с момента ее основания в 1943 г. были и Павел Сергеевич, и Александр Сергеевич, и Валентин Фердинандович, с 1947 г. руководил доцент В. И. Черкесов, сменивший беспартийного П. С. Попова.

Виталий Иванович был ярким приверженцем «диалектической логики», отвергавшим воззрения на логику «бывших» — Асмуса, Ахманова, Попова. Я помню, как однажды в разговоре со мной он сказал о В. Ф., что его знания «надо использовать»; это было типичное отношение коммуниста к «буржуазному спецу».

Но одно следует поставить в заслугу Черкесову — понимание значимости математической логики для философско-логического образования. То, что он способствовал привлечению Софьи Александровны Яновской, профессора механико-математического факультета, к обучению философов, причем

* Асмус В. Ф. Диалектический материализм и логика. Очерк развития диалектического метода от Канта до Гегеля. Киев, 1924. Впоследствии появилась его работа «Диалектика Канта» (М., 1929; изд. 2-е, 1930). Много лет спустя, незадолго до его смерти, вышла из печати его фундаментальная монография «Иммануил Кант» (М., 1973).

** Мне довелось служить в действующей армии с конца 1942 г. до окончания войны.

не только студентов, но и аспирантов и преподавателей кафедры логики философского факультета, составляет его бесспорную заслугу. И ее не отменяют мотивы, которыми при этом руководствовался Черкесов. Он видел в Яновской союзника в борьбе за «диалектическую логику». Участвуя в дискуссиях о «диалектической логике», Яновская облекала свои философские идеи в диалектико-логическую терминологию, и казалось, что ее взгляды близки воззрениям тех, кто нападал на «формальную логику». Излишне, пожалуй, говорить, что подобный взгляд на воззрения Софьи Александровны ошибочен.

Поступая в 1954 г. в аспирантуру по кафедре логики философского факультета, вступительный экзамен по логике я сдавал вместе с В. А. Смирновым, впоследствии известным философским логиком. В 1949–1954 гг. я преподавал логику в педагогическом училище и материалом традиционной философской логики владел прекрасно, поэтому экзамен никакой трудности для меня не составил — вопросов по математической логике в нем не было. Но тут я обнаружил, что не имею представления о тех вещах в логике, которыми владел Владимир Александрович. Конечно, это было неудивительно, так как он только что окончил факультет (1954) и поэтому слушал лекции Яновской по математической логике и сдавал по ней экзамен; кроме того, он набирался знаний и у Валентина Фердинандовича. У меня же подобной подготовки не было, моя попытка самостоятельно изучать математическую логику по книге Гильберта и Аккермана окончилась неудачей.

Научным руководителем В. А. Смирнова и Б. В. Бирюкова был назначен В. Ф. Асмус, и тут я понял, что, не имея той логической подготовки, какая была у В. А. Смирнова, я в курс современной логики самостоятельно не войду: Асмус здесь ничем по существу помочь не может. В отличие от Смирнова, который во многом был сам себе руководитель, мне надо было прежде всего *учиться*. И я стал прилежным слушателем лекций, которые, по инициативе В. И. Черкесова, много лет на кафедре логики философского факультета читала С. А. Яновская. Поняв, что в основе современной логики лежит логика математическая, и углубившись в ее освоение, я пришел к выводу, что необходима смена научного руководителя. По моей просьбе им стала Софья Александровна Яновская. Мой поступок (я отдавал себе в этом отчет) покоробил Валентина Фердинандовича, но вести себя иначе я не мог. Я понимал бесплодность

традиционной философской логической мысли, а вырваться за ее пределы можно было лишь пройдя школу Яновской.

Мой поступок обидел Валентина Фердинандовича — это я ясно чувствовал. Но, я думаю, он понимал мое положение. Во всяком случае, в 1965 г. он выступил оппонентом по моей докторской диссертации. Защита проходила в непростых условиях. Это был момент, когда разворачивалось «дело Синявского — Даниэля». Публикация за рубежом без разрешения Главлита литературных эссе А. Синявского и Ю. Даниэля, сочтенных антисоветскими и повлекших за собой привлечение их к суду, послужила некоторым «советским товарищам» поводом для соответствующего доносительства. Кто-то из моих «доброхотов» сообщил в Ученый совет Института философии, где должна была проходить защита моей диссертационной работы, что я публикуюсь за рубежом. Действительно, в 1964 г. в издательстве Reidel (Нидерланды) были (без моего ведома) в английском переводе опубликованы в виде книги две мои статьи о Фреге. В дирекцию института и его Ученый совет тут же поступил соответствующий донос. Заведующий сектором логики института П. В. Таванец был сейчас же направлен в «спецхран» Библиотеки им. Ленина для выяснения вопроса. Книга уже там была, и Петр Васильевич удостоверился, что это просто перевод работ, напечатанных в СССР.

Тем не менее на защите все могло случиться — ведь книга была выпущена в серии «Sovjetica», издававшейся Ю. Бохеньским, а он считался «матерым антисоветчиком». Поэтому, доставив на дачу в Переделкине, где тогда проживал В. Ф., три увесистых тома моего диссертационного сочинения (никаких ограничений в объеме диссертаций тогда не было), я рассказал обо всем Асмусу. Он ответил — раз так, в моем отзыве будут даны только положительные оценки, никаких критических замечаний не будет...

Защита прошла хорошо, поданная в президиум записка с запросом, верно ли, что Бирюков публикуется за границей, зачитана не была, так как доносчик не решился ее подписать. Выступление же Валентина Фердинандовича было весьма оригинальным, и акцент он сделал не на кибернетике (которая была в центре работы), а на логике.

Когда вышли в свет упоминавшиеся мной выше «Избранные труды» Асмуса, в разговоре с ним я высказал свое восхищение этим двухтомником и увидел, что эта оценка его по-

радовала. Было острое ощущение того, что неприятный эпизод окончательно забыт.

* * *

В 40–60-е гг. в советском философском (и математико-философском) сообществе шли непрекращающиеся дискуссии о соотношении формальной, математической и диалектической логики. Споры, связанные с логикой, велись с самого момента ее введения в программу средней и высшей школы. Дебаты шли в Институте философии, на философском факультете МГУ, на кафедре логики, на научных совещаниях и учебных семинарах. Дискуссии то обострялись, то затихали. Менялись характеризовавшие их акценты. Не берусь сказать, сколько было дискуссионных пиков икогда именно. Но отчетливо помню, что первый пик пришелся на 1947–1948 гг. Тогда главным объектом критики был «формализм в логике». Его «обличали» в Институте философии АН СССР, на философском факультете Московского университета, в журналах, партийной печати и проч.

Не на всех этих дискуссиях я присутствовал. Так, летом 1948 г. в Москве было проведено Всесоюзное совещание по логике. Занятый студенческими делами, я его пропустил. Но сказать о нем могу. В логическом библиографическом справочнике, опубликованном в Петербурге, содержится выразительный перечень тех обвинений, которые и на этом совещании, и в последующих дискуссиях о логике предъявлялись таким «формалистам» в логике, как В. Ф. Асмус и П. С. Попов. Им вменялась в вину оторванность от практики жизни и мышления, беззубость и безыдейность, схоластика, некритическое заимствование буржуазных теорий; использование «буржуазной символической логики». На тогдашнем советском «новоязе» это означало, что совещание прошло под «знаком борьбы против формалистического направления в логике»*.

«Труды товарища Сталина по вопросам языкознания» — кульминация дискуссии вокруг философско-лингвистического

* См.: Логика. Библиографический справочник (Россия — СССР — Россия). СПб., 2001. С. 11–12.

наследия академика Н. Я. Марра, развернувшейся на страницах партийной газеты «Правда» в 1950 г., — дала новый толчок спорам о логике. Конечно, выступления таких поборников марксистской «диалектической логики», как В. И. Черкесов или М. Е. Алексеев, были вполне бесплодны, но иные логики — и в их числе и П. С. Попов — пользовались случаем, чтобы высказать свои взгляды на связь логического мышления и языка. Валентин Фердинандович специальных статей на эту тему не писал, но в читанных им в 1952 г. на философском факультете МГУ лекциях по истории логики, которые теперь изданы, читатель может найти ссылку на «труд товарища Сталина по вопросам языкознания». Хотя это было обязательным элементом тогдашних «правил игры», следует иметь в виду, что вмешательство генерального секретаря компартии в науку о языке в условиях того времени было явно положительным явлением, так как ставило крест на вульгаризаторских марксистских лингвистических изысках.

Следующее десятилетие было ознаменовано сменой тематики логико-философских диспутов. Теперь на первое место вышел вопрос о соотношении математической и диалектической логики. Резкие наскоки на математическую логику, начавшиеся в конце 40-х гг., сразу же после появления изданных по инициативе С. А. Яновской известных книг Гильберта — Аккермана и Тарского, прекратились, и дискуссия велась в более умеренных тонах. К тому времени появились первые тома «Философской энциклопедии», где математико-логические статьи занимали очень большое место. Отвергать *общелогическое* значение «теоретической логики» (ср. название книги Гильберта — Аккермана) стало уже невозможно. И на состоявшемся в 1962 г. Симпозиуме по логике научного мышления Валентин Фердинандович выступил с развернутым обоснованием логического статуса математико-логических исследований*.

Появление русского перевода широко известного сочинения Людвиг Витгенштейна «Логико-философский трактат»** ста-

* Асмус В. Ф. Выступление на симпозиуме по логике научного исследования // Вопросы философии. 1962. № 10.

** Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958 (перевод с английского был выполнен И. Добронравовым и Д. Лахути).

ло тогда важным событием. Теперь мы знаем, что значимость этого трактата сильно преувеличена*. Но для того времени это был своего рода прорыв в «неведомое».

Написанное В. Ф. Асмусом предисловие к этой книге не только служило оправданием ее издания на русском языке, но и свидетельствовало о том, что Валентин Фердинандович был осведомлен об основных понятиях математической логики. И отрадно, что его взвешенная оценка трактата австро-английского философа не утратила значения и по сей день. Вообще, со временем В. Ф. глубоко вошел в некоторые важные философско-математические проблемы, свидетельством чего является упоминавшийся выше его труд о проблеме интуиции в философии и математике.

* * *

Жизнь Валентина Фердинандовича отмечена двумя очень опасными эпизодами. Первый из них относится к годам Гражданской войны, второй — ко времени, когда нацистская Германия напала на Советский Союз.

Эпизод *первый* относится к годам пребывания Валентина Асмуса в стенах Киевского университета Св. Владимира. Здесь его учителями были отнюдь не марксисты, а такие выдающиеся мыслители, как профессора и доценты Василий Васильевич Зеньковский, Александр Никитич Гиляров и Евгений Васильевич Спекторский. Все они получили образование не только в России, но и за границей, владели древними и новыми языками, классической филологией. В своих лекциях они прослеживали пути развития культуры от эллинского мира до новейших философских течений XX в., и молодой Асмус жадно слушал их лекции — по психологии, философии и ее истории, социальной философии, философии права. Марксизм было чужд его учителям, все они были идеалистами и людьми

* См.: Бирюков Б. В., Бирюкова Л. Г. Людвиг Витгенштейн и Софья Александровна Яновская. «Кембриджский гений» знакомится с советскими математиками 30-х гг. // Бирюков Б. В. Трудные времена философии. Отечественная историческая, философская и логическая мысль в предвоенные, военные и первые послевоенные годы. М., 2006. Приложение.

верующими. Так, Гиляров разделял гипотезу панпсихизма, как ее выдвинул знаменитый немецкий психолог и мыслитель Густав Теодор Фехнер; Зеньковский, оказавшись впоследствии в эмиграции, принял в 1942 г. сан священника, а в 1944 г. был избран (во Франции) деканом Богословской академии. Спекторский — тоже в эмиграции — стал в Нью-Йорке профессором Свято-Владимирской православной духовной академии*. Вряд ли можно сомневаться в том, что начинающий философ Валентин Асмус был далек от материализма и атеизма, а значит, и от марксизма.

Следует помнить, какие события сотрясали Малороссию и ее столицу в годы Гражданской войны. В период развязанной русскими коммунистами братоубийственной войны 1917—1920 гг. в Городе (как называл Киев будущий великий писатель М. А. Булгаков) сменилось множество властей. В ноябре 1917 — августе 1918 г. в Киеве установилась советская власть; ее сменила Украинская Центральная Рада, произошла оккупация Киева (и всей Украины) немцами, которые поставили во главе Украины гетмана Скоропадского. Далее последовали петлюровцы и поляки. С февраля 1918 и до июня 1919 г. Киев испытал второе пришествие большевиков. От них город освободили войска генерала А. И. Деникина, главнокомандующего вооруженными силами Юга России. В это время части белых, выполняя директиву Деникина, стремительно наступали на Москву. Можно было думать, что красные изгнаны навсегда.

Обычно, когда какой-нибудь город занимала Добровольческая армия и другие части белых, население бурно приветствовало освободителей. Так было и в Киеве. Приход белых воспринимался как начало выздоровления России, как приближение конца «всероссийской смуты». Е. В. Спекторский, который в 1918 г. был избран ректором Киевского университета, при власти белых получил назначение (по-видимому, решением правительства Деникина, носившего название «Особое совещание») попечителя Киевского учебного округа.

В великом Городе быстро восстановилась нормальная жизнь. Группа образованных людей — профессора, писатели, журналисты — наладили издание еженедельной газеты-журнала под названием «Жизнь». Об этом издании стало из-

* См.: Философы России. С. 225, 345, 923.

вестно лишь недавно, в результате разысканий М. Н. Громова и Н. А. Куценко. Во втором номере этого издания (датированном 8—14 сентября) они обнаружили статью В. Ф. Асмуса «О великом пленении русской культуры». Теперь она опубликована^{*}, и мы можем убедиться в том, сколь резко антибольшевицкой она была.

Хотя красные в Киеве пробыли недолго, они успели оставить о себе недобрую память. Их пребывание в украинской столице и вообще все их деяния, особенно на «культурном фронте», наиболее важном для образованной части населения, позволили В. Ф. составить четкое представление о том, что несет с собой коммунизм.

Глубина проникновения автора статьи в суть марксизма поражает; Валентин Асмус со страстностью (не очень характерной для последующего его жизненного стиля) говорит о пагубе марксизма. Он убежден в огромном вреде, который несет учение Маркса; вред этот неисчерпаем: «Под тусклым стеклом теории экономического материализма живая, трепетная плоть культурного процесса стала обращаться в мертвенный, скованный железными цепями механистического предопределения феномен. <...> Метафизическая по существу и догматическая по методу, теория экономического материализма, завладев умами главным образом социал-демократической интеллигенции и полуинтеллигенции <...> приняла вскоре все черты своеобразной религиозной догмы или секты»^{**}.

«Скорбным» называет В. Ф. марксистское учение о культурном процессе, так как от него веет «зным восточного фатализма». Это не может не вызывать решительного отпора со стороны всех тех умов, для которых творчество есть главное в развитии культуры. Указывая, что за границей растет стремление «отстоять самобытность и автономную ценность духовного начала» (и называя в этой связи такие имена, как Бергсон и Риккерт), молодой философ с сожалением отмечает, что когда «великое философское движение», складывающееся на Западе, докатилось до русской культуры и вступило в «живое взаимодействие с глубоко родственными по существу течениями, вышедшими из глубины самобытных традиций русской ре-

^{*} См.: Историко-философский ежегодник 2004. М., 2005. С. 350—355.

^{**} Там же. С. 351.

лигиозной философской мысли», преградой на их пути стали коммунистические комиссары с их установкой на «пролетарские» науку и искусство; это породило бесплодных «пролет-поэтов», «пролетхудожников» и «пролетмузыкантов». Мы не можем с определенностью сказать, какое западное «великое философское движение» имеет в виду В. Ф., но можно предположить, что подразумеваются и интуитивизм, и персонализм, и феноменология.

Решительно осуждая «машину огосударствления духовной культуры», Валентин Асмус убежден, что благодаря марксизму «на все искусство, науку легла тяжелая рука изуверства, рассыпавшая сухой дождь из миллионов декретов, инструкций и листовок»*.

Статья (она была написана в Киеве в августе 1919 г.) завершается словами о том, что после «павшего советского режима» «первая, неотложнейшая задача — раскрепощение всей духовной культуры из губительного, смертного пленения, в которое ее ввергло безумие современного коммунистического рационализма и механистического марксистского идолослужения»**.

Трудно представить себе, как переживал Асмус свою горькую ошибку — убеждение в том, будто советская власть пала. Слишком много у России было врагов, друзей же не было. Союзники России в войне с Германией и Австро-Венгрией опасливо смотрели на успехи Белого движения. Их страшил его лозунг — «За Россию единую и неделимую!» Они были заинтересованы не в укреплении, а в ослаблении русского государства. Отсюда двусмысленный и иллюзорный характер их помощи белым правительствам. Наивно полагая, что большевики пришли в Россию ненадолго, они не спешили помогать их врагам. Созданные в результате Версальского договора на окраинах Российской империи «независимые» государства боялись больше белых, чем красных. Отсюда такой эпизод: Польша пана Пилсудского, дабы не допустить успеха похода Деникина на Москву, прекратила активные военные действия против Красной армии, что позволило Троцкому снять с западного фронта наиболее боеспособные части, и они ударили

* Историко-философский ежегодник 2004. С. 355.

** Там же.

по силам Деникина. Это были «латышские стрелки» — им особенно доверял Ленин.

Публикаторы статьи В. Ф. Асмуса 1919 г. ставят вопрос, была ли она известна «компетентным советским органам» или нет. Они допускают возможность того, что власти закрыли на нее глаза*. Я считаю это невозможным. У Валентина Фердинандовича было достаточно недоброжелателей, и, узнай любой из них о статье Асмуса, он не преминул бы об этом объявить. Просто заинтересованные лица постарались уничтожить компрометирующие их в глазах советской власти экземпляры газеты-журнала «Жизнь». Как иначе могли бы поступить авторы типа Ильи Эренбурга, который в своей статье в этом издании едко высмеивал «пролетарское искусство»?** Нетрудно представить себе, какие последствия повлекло бы за собой обнаружение этой статьи Асмуса, когда происходили гонения на «меньшевиствующих идеалистов» и их аресты.

Как я уже говорил, после поражения Белого движения Е. В. Спекторский в 1920 г. оставил Россию. А годом раньше за рубежом оказался В. В. Зеньковский. Что касается А. Н. Гилярова, то он из России не уехал и в 1922 г. был даже избран членом Всеукраинской Академии наук. Двадцатичетырехлетний Асмус остался на Родине, и для русской культуры это было отрадным событием. Но каких внутренних борений, какой ломки мышления стоило это Валентину Фердинандовичу, об этом можно только догадываться. Приспособление к коммунистической идеологии было для него, скорее всего, мучительным делом. Но он сумел приспособиться, тщательно разыскивая в трудах марксистских «классиков» такие идеи, повторять которые было не стыдно.

* * *

Теперь о *втором* эпизоде, грозившем Валентину Фердинандовичу серьезными неприятностями. Как известно, когда Германия напала на Советский Союз, все немцы из европейской

* Громов М. Н., Куценко Н. А. «Это скорбное учение...» (Заметки к статье В. Ф. Асмуса)//Историко-философский ежегодник 2004. С. 345.

** Там же. С. 347.

части России были депортированы в Среднюю Азию и Сибирь либо арестованы. Например, мой родственник — остзейский барон Герман Христофорович Майдель, муж моей двоюродной бабушки, до замужества Е. З. Бирюковой, был арестован. Он погиб в чекистских застенках. В школе я сидел за одной партией с Эрвином Фрезе — из немцев. Его сослали в Караганду.

Валентина Фердинандовича не тронули, хотя, по свидетельству его сыновей — Валентина и Василия, с началом войны *страх* не отпускал Асмуса. Конечно, в паспорте он был записан русским. Но чего стоило хотя бы следующее переживание — о нем мне поведал его сын Василий Валентинович Асмус: по радио прозвучало и в печати появилось имя германского генерала Асмуса, отличавшегося своей жестокостью. И случилось это в то время, когда В. Ф. должен был читать в университете очередную лекцию!

Я считаю: Валентину Фердинандовичу позволили остаться в Москве (к которой приближались немецкие войска!) только потому, что Сталин, судя по всему, *знал и ценил* Асмуса, и тронуть его советские карательные органы не решились.

* * *

Известно, что решение о широком введении логики в систему образования было принято еще до войны. В мемуарах В. А. Смирнова и А. И. Уёмова упоминается такое событие, как приглашение Валентина Фердинандовича прочитать лекцию о логике на заседании Совета Министров, где присутствовал Сталин. Приглашение пришло внезапно: В. Ф. привезли на это заседание, и Молотов встретил его такими словами: «Дело в том, что товарищ Сталин сказал, что мы совсем не знаем логики. И мы хотели бы узнать, что это такое». И Асмус стал рассказывать сталинским министрам о логике и о том, почему ее нужно изучать*.

К какому времени относится этот эпизод? Мне кажется, что произойти это могло только до войны, скажем, в 1941 г. Ведь именно тогда ЦК ВКП(б) принял решение о восстановлении

* Вспоминая В. Ф. Асмуса... С. 41, 92, 93.

логики как предмета преподавания*. Во время войны Сталину, скорее всего, было не до логики. А после победы над Германией убеждать кого-то в важности науки о дискурсивном мышлении было уже незачем: новое постановление о введении логики и психологии в учебный план старших классов средней школы было уже подготовлено в аппарате ЦК ВКП(б).

Мы никогда не узнаем, почему Сталин вспомнил о логике. Здесь могут быть только предположения. Во-первых, он изучал ее в духовной семинарии — знал, что это такое. Во-вторых, ему, наверное, доставлял внутреннее удовлетворение сам факт введения в учебный процесс в школе и вузе предмета, по которому у Ленина была единственная четверка. Третью же причину можно видеть в том, что генерального секретаря, возможно, раздражали многословные и недостаточно обоснованные доклады его министров — ведь мысль самого Сталина отличалась четкостью и последовательностью. Если при подготовке своих печатных текстов и выступлений он и обращался к своим советникам, то окончательные решения принимал сам: никаких «спичрайтеров» у него не было. То, что выходило за его подпись, отличалось своей, как говорится, внутренней логикой, — это был человек, опровергавший известную мысль о том, что «гений и злодейство — две вещи несовместные».

Можно не сомневаться, что «непотопляемость» беспартийного Асмуса раздражала многих «партийных товарищей». Отсюда их стремление отравлять ему жизнь, а для этого у них было немало возможностей.

Я вспоминаю, как во второй половине 50-х годов мы, ученики и младшие коллеги профессора Московского университета Софьи Александровны Яновской, помогали ей переезжать в новую квартиру. Только что на Ломоносовском проспекте был построен дом для профессоров и преподавателей МГУ. Преподаватели университета получали квартиры и в главном здании МГУ. Так, доцент Евгений Казимирович Войшвилло получил квартиру в одной из его «зон». Но Яновская и Войшвилло были оба «партийными товарищами». А беспартийный Асмус, несмотря на то, что он был доктором наук, профессором (а профессоров на философском факультете тогда было не-

* См. мою книгу «Трудные времена философии» (М., 2006. С. 142). Там же читатель найдет указание об источнике, на который я опирался.

много), новой квартиры не получил, и он с женой и четырьмя детьми остался в небольшой трехкомнатной квартире (56 кв. метров); квартиру эту он приобрел в жилищно-строительном кооперативе, а не получил от государства. Чтобы решить свой «квартирный вопрос», В. Ф. в 1962 г. приобрел дачу под Москвой — в Переделкине, где подолгу жил с семьей и где обретались его друзья, в том числе и Б. Л. Пастернак.

* * *

Мне кажется, что мой рассказ делает понятной выработанную Асмусом манеру поведения как ученого и преподавателя. Пиетет перед высшими духовными ценностями, конечно, остался, но он был приспособлен к условиям бытия советских времен. Валентину Фердинандовичу приходилось опираться на многообразие высказываний марксистских «классиков»: в их словах было много верного, и ссылка на них и цитирование их высказываний позволяли сказать многое из того, что было близко Асмусу. В качестве примера можно привести оброненные Лениным в «Философских тетрадах» слова о том, что сознание человека не только отражает мир, но и творит его. При этом, конечно, Асмусу приходилось тщательно следить за тем, чтобы приводимые им формулировки не допускали злонамеренного перетолкования. Отсюда выверенность до виртуозности асмусовских высказываний, их документальная точность.

Я думаю, не случайно было то, что Валентин Фердинандович не создал собственной школы, что он скупой делился своими соображениями с аспирантами и студентами-дипломниками. Это служило щитом, оберегавшим внутренний мир большого мастера от посторонних вторжений. Зато он всячески поддерживал все новое в отечественной философской мысли, содействовал тому, чтобы молодые силы находили свой путь в науке — в логике, истории философии, эстетике.

Верно было сказано о В. Ф.: «Остался высокий профессионализм, ушла непосредственность, глубоко укрылась искренность и тщательно скрывалась вера в совсем иные ценности и идеалы, несовместимые с коммунистической идеологией»*. По-

* Бирюков Б. В. Трудные времена философии. С. 345.

этому слова официозного некролога, посвященного В. Ф. Асмусу*, где говорится о его «марксистской убежденности», выглядят ныне издевательски.

* * *

1952/53 учебный год был последним годом сталинского времени, наиболее жутким в политическом и идеологическом плане. В этом году Валентин Фердинандович читал на факультете лекционный курс по истории логики, и в моем личном архиве сохранилась стенограмма части этого курса. Лекции читались в осеннем семестре, это был фундаментальный курс, так как занятия проходили дважды в неделю. Как отметил сам В. Ф., этот курс был продолжением аналогичного курса, читанного до него Павлом Сергеевичем Поповым. Читал ли В. Ф. лекции по истории логики в весеннем семестре упомянутого учебного года, неизвестно.

Лекций Валентина Фердинандовича я не слушал, зато, как говорилось выше, имел возможность ознакомиться со стенографической записью девяти из них, относящихся к ноябрю — декабрю 1952 г. (напомним, что в настоящее время они изданы отдельной книгой).

Неизвестно, стенографировался ли весь курс истории логики, прочитанный В. Ф. Асмусом в 1952/1953 учебном году. Соответствующие стенограммы в архиве философского факультета не сохранились. Возможно, их можно найти в архиве парткома МГУ. Но и то, что имеется в наличии, заслужило публикации: лекции Валентина Фердинандовича ценны не только сами по себе — как работа по историографии логики, но и как выразительный памятник эпохи.

То, что в 1952 г. лекции Асмуса стенографировались, было, видимо, не случайно. В это «смутное» время, в последний год сталинского правления, отмеченный острой внутривнутриполитической ситуацией, участники дискуссий о логике соревновались в изъявлениях верности марксизму-ленинизму, в разоблачении «идеализма» и в приклеивании идеологических ярлыков своим оппонентам. Руководство факультета, а может быть, и

* Напечатан в журнале «Философские науки». 1975. № 5.

университета — и, конечно, партийные органы — решили, видимо, «проверить» Валентина Фердинандовича на «идеологическую выдержанность». Можно не сомневаться, что это обстоятельство учитывалось Асмусом, и уже в первой застенографированной лекции мы находим высказывание о том, что «учение англо-американского прагматизма в экономике и теории познания представляет собой род субъективного идеализма и агностицизма» (с. 13). В дальнейшем мы встречаем «пошлый идеализм современных реакционеров и мракобесов капиталистической лженауки» (с. 81) и другие подобные высказывания. Хотя иные опубликованные тексты В. Ф. содержат более умеренную критику «идеализма», в них все же можно прочесть об «идеализме в логике», присущем будто бы «буржуазной философии»*. И эти слова — дань неизбежному компромиссу, на который приходилось идти, — был вынужден произносить ученый с мировым именем, мыслитель, чьи работы получили признание за рубежом; известный западный историк логики Ю. Бохеньский прислал Асмусу свой труд «Формальная логика»** с автографом: «От постоянного читателя Ваших трудов». Валентин Фердинандович впоследствии в разговоре со мной высказал убеждение: в эти годы его не принудили уйти из университета потому, что он никогда не прекращал чтения лекций.

Современному читателю трудов В. Ф. Асмуса следует иметь в виду идеологическую обстановку времени, когда он жил и творил. Она обязывала рассматривать историю философской мысли, а значит, и историко-логический процесс, в терминах борьбы материализма и идеализма, а также противопоставления диалектики и метафизики, которая понималась в смысле «антидиалектики». В воззрениях философов и ученых прошлого требовалось разыскивать материалистические и идеалистические черты, обнаруживать, *что* в их взглядах диалектично, а *что* метафизично, проявлять «партийный подход». Этого шаблона был вынужден придерживаться и Валентин

* Ср., например, его статью «Критика буржуазных идеалистических учений логики эпохи империализма»//Вопросы логики. М., 1955. С аналогичной лекцией В. Ф. выступал и в лектории МГУ.

** Bochenski J. M. Formale Logik. Freiburg/München, 1956. Этот труд неоднократно переиздавался, был переведен на английский язык.

Фердинандович. Но внимательный читатель заметит, что, не смотря на это, Асмус всегда стремился взвешенно и объективно рисовать картину развития философской, логической и методологической мысли. Насколько тонок, например, явленный в его историко-логических лекциях анализ воззрений Гоббса и Декарта, как тщательно выписано логическое содержание таблиц (по терминологии В. Ф. — «обзоров») «присутствия» и «отсутствия» признаков в индуктивной теории Бэкона, как четко выявлено главное в логических взглядах Паскаля!

Сколько-нибудь подробно комментировать логические и историко-логические тексты В. Ф. Асмуса значило бы написать нечто сопоставимое по объему с его трудами, на что я, конечно, не решаюсь.

* * *

Воздействие трудов и личности Валентина Фердинандовича Асмуса на молодое поколение отечественных философов, логиков и культурологов трудно переоценить. В глухие времена господства идеологии официального марксизма-ленинизма Асмус был как бы живым укором советским «образованцам», подвизавшимся в отечественном философском сообществе.

Т. И. Ойзерман

Наставник и творец

С В. Ф. Асмусом мне посчастливилось познакомиться весной 1941 г., когда, будучи аспирантом философского факультета Московского института истории, философии и литературы (МИФЛИ), я представил диссертацию, посвященную проблеме свободы и необходимости. Естественно, мне хотелось, чтобы мою работу прочел какой-либо ученый, специально занимавшийся этой проблемой. Мне, конечно, были знакомы такие монографии Асмуса, как «Очерки истории диалектики в новой философии» и «Маркс и буржуазный историзм», в которых центральное место занимает анализ «моей» темы.

В. Ф. Асмус не работал в это время на нашем факультете. Так же, как А. Деборин, Л. Аксельрод-Ортодокс, он, по-видимому, считался не подходящим (разумеется, по идеологическим мотивам) для преподавания на философском факультете. А мою просьбу дать диссертацию на отзыв В. Ф. Асмусу в деканате оставили без внимания. Но мне было в высшей степени важно обсудить основные вопросы моей темы с настоящим, большим ее знатоком, каких на факультете не было. И я отважился, так сказать, на свой страх и риск, позвонить домой Валентину Фердинандовичу и попросить его, по возможности в частном порядке, просмотреть мою диссертацию. Разговор был коротким, так как он сразу же сказал, чтобы я принес ему работу домой, что я и сделал.

Примерно недели через две состоялась моя вторая встреча с В. Ф. у него дома. Он не только прочел мою работу, но и выписал на отдельном листке основные вопросы, которые считал необходимым обсудить со мной. Помнится, что он, в частности, обратил внимание на один из основных тезисов диссертации: проблема свободы есть, в сущности, проблема необходимости, т. е. сама необходимость должна быть понята не как жесткая, однозначная связь событий, а как заключающая в себе многообразие возможностей, благодаря чему необходимость есть вместе с тем также необходимость выбора, если это социальная, историческая необходимость. Даже возможность альтернативных, взаимоисключающих человеческих решений коренится, с этой точки зрения, в сфере необходимости. Валентин Фердинандович, согласившись с этим тезисом, вместе с тем указал мне и на его недостаточность. Сама необходимость, поскольку речь идет о социальном процессе, должна быть понята как результат деятельности людей, которые лишь в той мере обусловлены обстоятельствами, в какой они эти обстоятельства сами творят. Эта мысль, хотя на первый взгляд она представляется чем-то само собой разумеющимся (ведь люди сами творят свою историю), глубоко запала в мое сознание. Она открывала перспективу действительно диалектического понимания противоположности свободы и необходимости как их коррелятивного отношения.

Я рассказываю об этом давнем эпизоде не просто потому, что он имел существенное значение для меня. В нем, в этом эпизоде, отчетливо вырисовываются две основные черты личности В. Ф. Асмуса. Он был Учителем с большой буквы и весь отдавался этой деятельности, не жалея для нее своего времени, которое он, между прочим, очень ценил. И, во-вторых, он был не просто замечательным профессором, прекрасным лектором, но и творческим мыслителем, самостоятельно развивавшим философию. Его положение о коррелятивном отношении между свободой и необходимостью в социальном процессе, несомненно, обогащало диалектико-материалистическое понимание проблемы. Стоит напомнить в этой связи, что в тогдашней марксистской литературе господствовало представление об абсолютной первичности необходимости не только в природе, но и в обществе. В рамках догматизированного марксизма с его однозначным представлением о безусловной неизбежности победы социализма положение о взаимопревращении не-

обходимости и свободы не могло получить не только развития, но и формального признания. Официальная точка зрения сводилась, как известно, к утверждению, что свобода — лишь познанная необходимость.

Мое счастливо начавшееся знакомство с В. Ф. Асмусом было прервано войной и возобновилось лишь в 1947 г., когда я пришел на философский факультет в качестве доцента кафедры истории зарубежной философии и заместителя заведующего кафедрой. Заведующим кафедрой был профессор В. И. Светлов, который, будучи заместителем министра высшего образования СССР, практически не занимался кафедрой. Профессорами кафедры тогда были М. А. Дынник, О. В. Трахтенберг, М. П. Баскин. Все они были профессорами-совместителями, их основным местом работы был академический Институт философии. В. Ф. Асмус был штатным профессором философского факультета, но работал на кафедре логики. Его учебник по логике, вышедший в эти годы, был, несомненно, лучшим пособием в этой области. И все же, зная исследования В. Ф., посвященные главным образом историко-философской тематике, я не мог понять, почему он не читает курса по истории философии, не ведет спецсеминара, например по Канту. Я поделился этими мыслями с В. Ф., и он мне прямо сказал, что с удовольствием перешел бы на кафедру истории зарубежной философии, но это, увы, не зависит от его желания.

Я обратился к декану факультета Д. И. Кутасову. Он согласился со мной в том, что Асмусу следовало бы, конечно, поручить основной лекционный курс по истории философии, но это, сказал он, не так уж просто. Существует мнение, подчеркнул он со значительным видом, что Асмус не вполне марксист. Преподавать логику — «беспартийную» дисциплину — он, конечно, может и должен, но иное дело — история философии, дисциплина партийная. Хочу подчеркнуть, что, ссылаясь на «мнение» каких-то руководящих партийных товарищей, Д. И. Кутасов не вполне разделял это мнение, но просто полагал необходимым считаться с ним. Я же, несмотря на его колебания, продолжал настаивать на переводе В. Ф. Асмуса на кафедру истории зарубежной философии. Кафедре необходим, доказывал я, хотя бы один штатный (на полной ставке) профессор. В ответ на мои настояния декан факультета принял решение поставить вопрос о переводе В. Ф. Асмуса на заседании парт-

бюро факультета. Я присутствовал на этом заседании и был поражен аргументами некоторых членов партбюро, выступавших против перевода. Один из них (не стану называть его фамилии, хотя хорошо ее запомнил) даже сказал, что В. Ф. Асмус не заслуживает в полной мере политического доверия, так как его недавно не утвердили правофланговым на предстоящей праздничной демонстрации. Однако Д. И. Кутасов и большинство членов партбюро все же в итоге согласились на переход В. Ф. Асмуса на нашу кафедру.

В. Ф. Асмус стал читать большую часть основного курса по истории зарубежной философии. Меньшую часть этого курса читали другие члены кафедры, которые вынуждены были теперь равняться на Асмуса, чьи лекции собирали большую аудиторию (приходили не только студенты курса, для которого предназначались лекции, но и студенты других курсов, аспиранты и нередко также преподаватели).

Лекции В. Ф. Асмуса были рассчитаны на подготовленных слушателей. Он говорил, например, о Канте или Фихте так, как будто слушатели уже знакомы с их произведениями и испытывают потребность уяснить наиболее важные и трудные для понимания положения. Слушатели как бы вовлекались в обсуждение проблем, приглашались тем самым к более основательному, глубокому их изучению.

В. Ф. Асмус как лектор не пытался уснащать свои лекции какими-либо забавными, анекдотического свойства подробностями. Он читал спокойно, несколько даже суховато, постоянно ссылаясь на источники, в том числе и на новейшую зарубежную литературу вопроса. Такие основательные (я бы сказал даже специальные) лекции по философии собственно и нужны на философском факультете. Они стимулируют серьезное изучение трудов классиков философии и оказываются необходимыми, полезными и для тех, кто уже преуспел в этом изучении. Однако я не могу, к сожалению, назвать какого-либо другого профессора философского факультета, лекции которого были бы столь же основательны, столь же способствовали развитию у учащихся стремления к самостоятельному исследовательскому поиску. Были хорошие лекторы, слушать которых было не скучно, даже интересно, но они, как правило, ограничивались популярным введением в изучение классических философских трудов, в то время как В. Ф. Асмус вводил своего слушателя в глубь этих произведений, убеждая его

в том, что он еще недостаточно их постиг, даже в том случае, если он посвятил им немало своего времени.

Особенно запомнились мне лекции В. Ф. по философии Канта. В те годы философия этого гениального мыслителя явно недооценивалась, ей постоянно противопоставлялось учение Гегеля, трактовавшееся как полное преодоление кантовской «критической философии». Лекции В. Ф. опровергали это упрощенное представление, убедительно показывая, что в некоторых, весьма существенных отношениях Гегель фактически оказался позади Канта, который подверг основательной критике традиционную, догматическую метафизику с ее теологическими постулатами, в то время как Гегель возродил (правда, в обновленной, диалектической форме) это метафизическое философствование.

На кафедре истории зарубежной философии В. Ф. Асмус стал также учителем, наставником молодых преподавателей. Мне, ставшему в 1953 г. заведующим кафедрой, В. Ф. был всегда добрым советчиком. И я, со своей стороны, старался всячески укрепить авторитет этого выдающегося ученого. Так, мы добились издания двухтомника его избранных работ (1969—1971). Это было немалым делом не только вследствие начальственных предубеждений против Асмуса, но также и потому, что в те годы вообще не было практики издания избранных трудов каких-либо, даже наиболее видных, советских философов. Сама идея издания избранных работ В. Ф. Асмуса представлялась начальству неуместной, так как избранные труды, говорили нам, имеются только у классиков философии. Пришлось немало потрудиться, чтобы переубедить начальствующие инстанции.

В связи с 70-летием В. Ф. Асмуса кафедра также поставила вопрос о присвоении ему звания заслуженного деятеля науки. Это предложение, поддержанное Ученым советом факультета, одно время застряло где-то «вверху». Мне, в частности, дважды звонили из МГК КПСС, предлагая еще более подробно и «убедительно» охарактеризовать научные заслуги профессора Асмуса и еще раз обосновать целесообразность присвоения ему этого звания. И я вновь и вновь писал обстоятельные характеристики научных работ Валентина Фердинандовича, обращался к известным советским философам с просьбой подписать эти характеристики. Наши старания в конечном счете увенчались успехом: высокое зва-

ние заслуженного деятеля науки было, наконец, присвоено В. Ф. Асмусу.

Во второй половине 50-х гг., в период так называемой оттепели, кафедра истории зарубежной философии выступила с предложением организовать издание важнейших трудов современных западных философов, в частности Витгенштейна, Рассела, Гартмана, Карнапа и др. Под редакцией В. Ф. Асмуса и с его весьма содержательным предисловием, положительно оценивающим научный вклад Витгенштейна, был издан на русском языке его «Логико-философский трактат». За ним последовали и другие, не менее значительные издания, в подготовке которых активно участвовал В. Ф. Асмус.

В первой половине 60-х гг. гостями-профессорами философского факультета были такие известные западные философы, как А. Айер, П. Рикёр, Ж. Ипполит, Э. Вейль. Они выступали главным образом с лекциями по истории философии, и наша кафедра непосредственно занималась организацией этих лекций и следовавших за ними дискуссий. Эти философы были также гостями нашей кафедры, которую они часто посещали, выступая на ее заседаниях с докладами. Благодаря этому они познакомились с В. Ф. Асмусом, и результат этого знакомства не замедлил сказаться: Валентин Фердинандович был первым (и в течение многих лет единственным) российским философом, избранным действительным членом Международного института философии.

Все мы, российские историки философии, являемся прямым или косвенным образом учениками профессора Асмуса. Его работы, даже те, которые были написаны 70 лет назад (например, монография «Диалектика Канта»), до сих пор читаются как вполне современные, находящиеся на современном уровне, исследования. Это не значит, конечно, что в исследовании того же Канта мы не пошли дальше работ нашего учителя. Это значит лишь то, что мы постоянно опираемся на эти труды, учитываем их результаты и как бы включаем их в новые философские выводы.

Научное наследие В. Ф. Асмуса очень значительно и во многом все еще недостаточно оценено. Следовало бы позаботиться о переиздании его трудов, которые, безусловно, необходимы не только студентам философского факультета, но и всем стремящимся к мировоззренческому осмыслению действительности людям.

Н. В. Мотрошилова

Памяти Профессора

Объективная, честная, нелицеприятная, словом — отвечающая требованиям времени история отечественной философии советского периода до сих пор пока не написана. А она очень нужна. Создание ее — одно из самых важных, но, пожалуй, и наиболее трудных наших дел. Уж очень много предстоит снять наслоений: например, сказать горькую правду о тех, кто самих себя и своих догматических единомышленников — разумеется, хвалебно — вписывал в эту историю. Но, к счастью, в ориентированном на правду и факты историческом повествовании фигурировать будут не только «голые короли» и их приспешники, не только подчинившиеся им люди с искалеченными судьбами. Мрачный этот контекст делает еще более яркой и благородной роль тех мыслителей — личностей в высоком смысле слова, чьи имена, дела, а то и жизни были просто «вычеркнуты» из истории. И тех, которые удержались в жизни, философии в самые тяжелые времена и, претерпев все преследования, все испытания, не поступились ни честью, ни философской истиной. Неофициальный авторитет талантливых, творчески мысливших ученых всегда был чрезвычайно высок. Среди таких высокоавторитетных отечественных философов, имеющих и сегодня мировое имя, был Валентин Фердинандович Асмус.

На нескольких страницах разобрать его взгляды, книги нереально. Это надо сделать обстоятельно —

в той самой будущей истории отечественной философии, а также в специальных статьях и диссертациях (а почему, кстати, у нас нет диссертаций по истории нашей философии, когда на Западе уже защищены работы о Бахтине, Лосеве, Асмусе?*). Я бы хотела написать об Асмусе как личности, о его судьбе — и написать лично, «от себя». Итак, сначала о судьбе.

Приняв в расчет то, что случилось с другими людьми и что могло случиться с самим В. Ф. Асмусом, можно, пожалуй, сказать, что судьба обошлась с ним не так уж сурово. Его не раз проводили сквозь строй «проработок», «обклеивали» ярлыками, но так и не вытеснили из философии. (Помню один из рассказов Валентина Фердинандовича о том, как его «прорабатывали» в 30-х гг. Приписывали ему меньшевистствующий идеализм, а кто-то из проработчиков, решив «спасти» Асмуса, предложил считать его буржуазным идеалистом. Валентин Фердинандович мрачновато пошутил: уж если вам угодно, вопреки сути дела, именовать меня идеалистом, пусть я буду меньшевистствующим — опасно, но, во всяком случае, «свой», а не «чужой» идеалист... Тогда В. Ф. Асмус еще не знал, что через некоторое время ярлык «меньшевистствующий идеалист» станет смертельно опасным, а ярлык «буржуазный идеалист» — тоже опасным, но — парадоксально! — в несколько меньшей мере.)

Работы интеллигента Асмуса всегда были под подозрением у невежественных догматиков, но его труды все же печатались, составив довольно внушительное наследие философа. Больше всего публикаций В. Ф. Асмуса не случайно приходится на годы, когда самые суровые «морозы» еще не наступили, — на конец 20-х — начало 30-х, а также на период оттепели после XX съезда.

На философском факультете МГУ над В. Ф. Асмусом не раз сгушались тучи, но ведь не решились же его совсем «отлучить» от университета. За границу Валентина Фердинандовича не пускали, но не смогли помешать тому, что зарубежные коллеги выбрали его действительным членом Международного института философии в Париже.

И все же В. Ф. Асмус, как и многие другие талантливые люди нашей культуры, в 30—50-х гг. не раз, наверное, был на волосок от гибели или тюрьмы. Но за жизнь и возможность трудиться не

* Данная статья была впервые опубликована в журнале «Вопросы философии» (1988. № 6). Сейчас ситуация в этой области изменилась, такие диссертации появились. — *Примеч. ред.*

где-нибудь, а в философии В. Ф. Асмус или А. Ф. Лосев, выдающиеся наши историки философии, не платили ни конъюнктурным приспособлением к «голым королям» всех рангов, ни человеческим достоинством — о том наглядно и объективно свидетельствовали их произведения, работа, общение с ними. Здесь тоже проявился масштаб личности этих мягких по характеру, но наделенных необоримой силой духа российских интеллигентов.

Очень советую еще раз перечитать предисловие, написанное В. Ф. Асмусом к его «Избранным философским трудам», изданным в конце 60-х. С присущим ему гордым достоинством Валентин Фердинандович говорит с читателем о мотивах, побудивших его из написанных ранее и ставших библиографической редкостью произведений включить в двухтомник преимущественно работы самого трудного периода — 30—50-х гг. В. Ф. Асмус, ответственно и критически относившийся к им написанному, тем не менее мог без опасений принять решение, как он выразился, ничего не переделывать, не исправлять и не подмалевывать. «Меньше всего приходилось думать, — писал Валентин Фердинандович, — об устранении недостатков, обусловленных конъюнктурными соображениями, которыми я, вообще говоря, никогда не руководствовался»*.

Может быть, кто-то сегодня скажет, что В. Ф. Асмус следовал элементарным нормам научного поиска, непреложным и для философии. Верно. Но ведь этими элементарными, а в сущности, высокими золотыми правилами человеческой и научной нравственности он имел мужество руководствоваться тогда, когда правила превратились в исключения и когда следование им стало делом просто опасным. В такие-то времена — когда правила становятся исключениями, а на место ценностей взгромождаются антиценности, когда сцена жизни переполняется антиперсонажами — особенно важны люди, которые решительно берут на себя и последовательно исполняют роль хранителей правил, простых, ясных, для них незабываемых. В. Ф. Асмус был одним из таких людей — значение и влияние его жизненного примера я в числе других его учеников испытала на себе.

В 1951 г. я поступила на философский факультет МГУ. Первого сентября нас, новоиспеченных студентов, испытывавших трепет перед храмом науки, славным Московским универси-

* Асмус В. Ф. Избранные философские труды. М., 1969. С. 5, 6.

тетом, собрали в парадном Круглом зале на Моховой. Перед нами выступил тогдашний декан факультета. Потому, видно, что я окончила хорошую московскую школу, где сохранились интеллигентные педагоги старой закалки, что литература и история сформировали в сознании чистый образ Профессора Университета, речь декана произвела на меня обескураживающее впечатление (потом выяснилось, что многие мои однокурсники испытывали то же). Декан явно хотел сказать нам искренние и добрые слова. Но его речь была примером безграмотности, отсутствия ярких идей и строгой логики, что совершенно непростительно для университетского профессора и тем более декана. На втором, третьем курсах (и это было, как я теперь понимаю, самым страшным) мы стали привыкать к антифилософам, которые составляли большинство педагогического корпуса, к антифилософии, которой они — небезуспешно — засоряли наши умы и души. Не забудьте, что то были годы последнего, но безудержного разгула культа личности Сталина. Три последних года на факультете — с 1953 по 1956 г. — запомнились мне как время начавшегося освобождения от догм, стереотипов, время «прорыва» от аномальности, которая чуть ли не стала для нас нормальной, к восстановлению для себя элементарных принципов честной жизни и профессиональной философской работы. Но ведь общественный приговор аномальному еще не был вынесен. Вот почему совершенно особое значение приобретали личности, чей жизненный пример помогал увидеть высокие нормы воплощенными.

В. Ф. Асмус не читал лекций для нашего курса (он занимался только с группой наших логиков). По чьему-то совету я пошла слушать лекции по истории античной философии, которые Валентин Фердинандович читал для другого курса или аспирантов. Хорошо помню, какими были мои первые впечатления. Валентин Фердинандович читал лекции в довольно строгой, сдержанной «классической» манере — я лично уже тогда предпочитала и предпочитаю сегодня, быть может, менее «организованные», но более эмоциональные, даже страстные лекции. Но куда важнее для меня было и остается то, что я воочию увидела настоящего Профессора Университета. Образ, «вычитанный» из литературы, образ, который я, испытавши отчаяние от засилья антипрофессоров, уже отнесла было к прошлому или к другим «строгим» наукам, — этот образ сразу же

и без всякого сопротивления совместился с живой личностью. С тех пор В. Ф. Асмус стал для меня воплощением редкой и потому особенно драгоценной, все-таки не прерванной полностью связи с историей отечественных университетов, когда настоящий профессор не был исключением. Какой смысл вкладывается в слова «настоящий профессор», вряд ли требует специальной расшифровки. Многие из нас, употребляя их, подразумевают один и тот же сплав свойств — безупречную интеллигентность, глубину мысли, широкую эрудицию, высочайшую профессиональность, преданность творчеству, личную честность, благорасположенность к студентам. Их соединение в одном лице, увы, и сегодня, как и в 50-х гг., по-прежнему остается для университетской (и не только, видимо, университетской) философии скорее исключением, чем правилом.

Дороги для меня воспоминания о том, как я писала дипломную работу под руководством В. Ф. Асмуса (посвящена она была философии Э. Гуссерля, о котором в те годы мало кто из философов знал), о доброжелательной помощи Профессора уже после окончания университета, при подготовке мною первых двух монографий и докторской диссертации, основным оппонентом на защите которой он был. Как реликвию храню я написанную рукой Асмуса рекомендацию в аспирантуру МГУ (я в нее так и не поступила из-за очередного постановления, обязывающего иметь стаж работы по специальности, — для философов тех лет постановления просто-таки иезуитского, поскольку работы по специальности тогда совсем не было). Храню отзыв на докторскую диссертацию, написанный тоже от руки на 18 листках из ученической тетради в клетку, — подпись под отзывом: «Валентин Асмус, член Международного института философии в Париже».

Помню одну из встреч с В. Ф. Асмусом на философском факультете (в здании, где сейчас помещается психологический факультет). На Валентине Фердинандовиче не было лица. Спросила, что случилось. Профессор ответил, что рассыпан — по велению надсмотрщиков, в том числе и «от литературы» — набор тома, содержавшего статьи тогда уже покойного Бориса Леонидовича Пастернака (обстоятельное послесловие к книге по воле, ранее выраженной Пастернаком, написал Валентин Фердинандович).

Хорошо известно о долголетней дружбе В. Асмуса с Б. Пастернаком, Г. Нейгаузом, с другими выдающимися литерато-

рами, музыкантами, художниками нашего отечества. Творческий кружок подлинных интеллигентов тоже «элементарная» российская традиция, сохраненная в те годы, когда ее стали считать чуть ли не подозрительной. Помню, что через боль и глубокое сострадание пробилось и такое чувство — зависть к Профессору, которому раньше выпала горькая честь разделять беду с самим Пастернаком, а после его смерти принимать на себя предназначенные Поэту злобные удары.

Последнее из моих воспоминаний о Профессоре одновременно тяжелое и светлое. Вместе с Э. Ю. Соловьевым мы приехали в Переделкино за день до похорон В. Ф. Асмуса. Из-за предпохоронных хлопот в доме не было никого, кроме старшей дочери Валентина Фердинандовича и его самого, покоившегося в гробу. Около сердца и скрещенных рук усопшего лежал небольшой графический портрет И. Канта. Потом дочь проводила нас в кабинет Валентина Фердинандовича, где все выглядело так, будто Профессор лишь ненадолго оторвался от работы и вот-вот вернется к ней: лежали рукописи, раскрытые на нужных страницах книги...

Нам было позволено прочитать воспоминания Валентина Фердинандовича, записанные, видимо, незадолго до смерти, ровным и четким почерком Профессора в двух ученических тетрадках в клетку. Мы погрузились в чтение. Помню это переживание: саднило сердце оттого, что нет больше Асмуса. И он сам недвижно лежал в соседней комнате. А со страниц воспоминаний, написанных языком и простым, и изысканным, светло вставали картины его детства, жизни в родительском доме. Больше всего запало мне в память превосходное описание домашних музицирований (Валентин Фердинандович, например, с некоторой завистью сравнивал свою «дисциплинированную» игру на фортепьяно с более яркой, как он считал, манерой игры отца, по профессии счетовода). Запомнился тоже простой и вместе с тем очень яркий рассказ о том, что любили готовить и как проходили трапезы в доме родителей.

В тот день последнего прощания с Валентином Фердинандовичем (на похороны уже не пошла) я лучше поняла то, что как бы достроило образ Российского интеллигента, Профессора: все ведь выросло не только на корнях отечественной и мировой культуры, но и на семейных корнях. Впрочем, в случае семьи Асмуса те и другие корни тесно сплетались.

И да будет дано нам, людям сегодняшних поколений, понять и почувствовать, сколь сильно беды наши обусловлены тем, что уничтожались «с корнями» индивиды и семьи — носители хозяйственной, управленческой, духовно-нравственной культуры, мировой и отечественной, хранители драгоценной российской интеллигентности. Еще об одном обстоятельстве. В. Ф. Асмус — потомок тех немцев, которые, подобно представителям многих других национальностей мира, выросли в жизнь и культуру нашей страны, трудились для нее. Она была их настоящей и единственной родиной. Да будет нравственно невозможным исказить этот важнейший для российской жизни и культуры факт!

А. И. Уёмов

Я был аспирантом Асмуса

Ситуация напоминала ту, с которой начинаются «Три мушкетера». Молодой человек, полный честолюбивых планов, спешит из отдаленной и глухой провинции в столицу. Мне пришлось преодолеть значительно большее расстояние, чем д'Артаньяну, правда, от Владивостока до Москвы меня вез поезд. И привез 3 сентября 1945 г. Москва встретила орудийными залпами и грандиозным фейерверком. Праздновалась победа над Японией, но при желании в этом можно было усмотреть и нечто символическое.

За плечами — два курса Дальневосточного политехнического института. Учился я хорошо, но один опытный человек, наблюдая за мной во время производственной практики, сказал: «Инженер из вас не выйдет». И был прав. На втором курсе, прочитав случайно работу Гельвеция «О человеке», я увлекся философией и стал мечтать о философском факультете. В МГУ поступать было уже поздно, и по совету декана механико-математического факультета МГУ я попал в Институт геодезии, аэросъемки и картографии (МИИГАиК). Однако вместо посещения лекций пропадал в библиотеках. Книг было столько, что глаза разбегались. Можно было читать даже самого Эразма Роттердамского. Во Владивостоке меня особенно тянуло к логике, но там мне удалось найти о ней лишь одну статью в энциклопедии, где говорилось,

что формальная логика — это орудие классового врага, кулака и подкулачника.

Вдруг вижу объявление: «Предмет и значение логики». Публичная лекция в МГУ, читает профессор В. Ф. Асмус. Прихожу. Аудитория полна, но нахожу удобное место и с трепетом жду. Входит немолодой, энергичный человек, не спеша подходит к кафедре. Я слушал как зачарованный. Оказалось, логика вовсе не орудие классового врага, а наука о законах и формах правильного мышления, т. е. мышления определенного, последовательного и доказательного.

После этой лекции желание поступить на философский факультет резко возросло. Я стал сдавать экзамены экстерном за первый семестр. Для экзамена по логике, который принимал заведующий кафедрой логики профессор П. С. Попов, я написал критическую заметку на статью из энциклопедии. Профессор был в восторге и поставил мне пятерку, хотя кое-что я перепутал.

Тем временем за пропуски лекций меня отчислили из МИИГАиКа, и мое место в общежитии оказалось занятым. Но все экзамены за первый семестр философского факультета сданы! И я попросил декана факультета, доцента Д. А. Кутасова, зачислить меня на первый курс очного отделения. Он ответил, что на первом курсе свободных мест нет, но они есть на втором, и если я сдам экзамены за второй и третий семестр, меня примут. По латыни, как выяснилось, я перезанимался, и сдать ее за два семестра вперед не составило труда. Физику, математику и даже историю партии мне перезачли по зачетной книжке Политехнического института. Чисто философские дисциплины не были препятствием, так что в феврале 1946 г. я был зачислен на второй курс философского факультета МГУ.

Конечно же, сначала я ходил на все лекции. Но быстро понял, что лекция лекции рознь. Часто, чтобы не заснуть, приходилось играть в морской бой. Кстати, это не помешало многим участникам сражений впоследствии стать выдающимися философами.

К величайшему огорчению, лекции профессора Асмуса мне в качестве студента философского факультета слушать не довелось. Руководство факультета ему не доверяло, боялось дурного влияния на незрелые умы юных философов. Другое дело — юные филологи. Их умы такой ценности не представляли, поэтому читать лекции филологам Асмусу разрешалось.

В 1947 г. вышел первый в Советском Союзе вузовский учебник по логике, написанный профессором В. Ф. Асмусом. До того существовал лишь дореволюционный учебник Г. И. Челпанова для гимназий, переизданный в 1946 г. При всех своих достоинствах учебник Челпанова отображал прошлое логики. Асмус же хотел идти вперед и наряду с изложением основ традиционной логики вводил элементы логики отношений. В 1948 г. в переводе и с комментариями Асмуса вышла книга французского философа Ш. Серрюса «Опыт исследования значения логики». Особое значение для меня имела его большая вступительная статья к этой книге — «Шарль Серрюс и логика отношений». Это была первая теоретическая работа по логике, которую я изучил, и она оказала большое влияние на мою дальнейшую творческую жизнь.

Надо сказать, что защита и развитие логики отношений в те годы были отнюдь не безопасным занятием. Понятие «отношения» ассоциировалось с релятивизмом, а релятивизм, как всем известно, враждебен марксистско-ленинскому учению. Говорилось, что это понятие «лишено всякой определенности»*, что логика отношений «безусловно есть идеализм, и идеализм действительно релятивистский»**. Книга Серрюса и относящиеся к ней работы Асмуса резко критиковались. И хотя многие были согласны с Асмусом, ни одной публикации в защиту логики отношений так и не появилось. Понятно, почему. Люди боялись. Но опасности подстерегали логиков не только тогда, когда они занимались логикой отношений. Любое развитие логики было опасно.

После войны Сталин допустил преподавание логики в школах и вузах. Но лишь такой, какую он учил в семинарии. Главенствовала так называемая диалектическая логика — гремучая смесь цитат из Гегеля и откровенного шарлатанства, спо-

* Строгович М. С. Логика. М., 1949. С. 269.

** Последняя цитата принадлежит молодому в те годы логик Е. К. Войшвилло (см. его работу: Критика логики отношений как релятивистского направления в логике // Философские записки. М., 1953. Т. VI. С. 153). Справедливости ради надо отметить, что впоследствии он стал одним из крупнейших логиков в СССР и многое сделал для развития этой науки. И мне не хотелось бы бросать в него камень. Но из истории, как из песни, слов не выкинешь, и значение работы В. Ф. Асмуса было бы непонятно, если не упомянуть приведенный выше факт.

собная оправдать любой бред партийного диктатора, поэтому особенно ценны в тех условиях были попытки отстоять формальную логику и даже развивать ее. Наряду с Асмусом и Поповым я вспоминаю доцента А. С. Ахманова, который однажды публично заявил, что формальная логика в отличие от диалектической — это логика честного человека. Подобное заявление казалось тогда провокацией или безумием. Но дело было в том, что Александр Сергеевич уже ничего не боялся — ему оставалось недолго жить, и он знал об этом.

Закончив университет, я собрался поступать в аспирантуру Института философии в отдел философских вопросов естествознания, которым руководил И. В. Кузнецов. На последних курсах я увлекся философскими проблемами физики и успешно защитил дипломную работу на тему «Пространство и время в теории относительности». Работу даже рекомендовали к публикации в «Вестнике университета». Но не опубликовали и в аспирантуру Института философии не приняли.

Причиной этого, во всяком случае одной из причин, послужило событие, на первый взгляд крайне малозначительное. Комсомольское бюро курса, сплошь состоявшее из девочек, которые, как правило, политически были гораздо активнее мальчиков, решило провести мероприятие — коллективный поход в театр. Меня же в Ленинской библиотеке ждали книги, и я пошел не в театр, а в библиотеку. Девочки обиделись и решили перевоспитать меня, примерно наказав. И вынесли выговор: «За отрыв от группы, учебную и комсомольскую недисциплинированность».

В райкоме выговор не утвердили, я успешно защитил дипломную работу и представил в Институт философии положительную характеристику. Но, заполняя анкету, весьма легкомысленно — политически незрело — ответил на такие вопросы, как: был ли я членом Временного правительства или белых правительств, были ли колебания в проведении линии партии и т. п. Это вызвало подозрение со стороны бдительного отдела кадров. На факультет были отправлены люди с целью уточнения моего политического облика. Выяснилось, что у меня был выговор по комсомольской линии. И от тех же людей, которые дали положительную официальную характеристику, была получена неофициальная отрицательная характеристика.

В отрицательной характеристике говорилось, что я оторвался от коллектива и ушел в науку. Не помогли ни красный

диплом, ни отлично сданные вступительные экзамены, ни хлопоты заведующего отделом, ни заступничество директора института академика Г. Ф. Александрова. Заведующий отделом аспирантуры, возвращая мне папку с документами, где были обе характеристики, проявил явное головоунытие. Я изъял отрицательную характеристику и подал документы на кафедру логики философского факультета МГУ. И хотя прием уже был окончен, заведующий кафедрой П. С. Попов выбил для меня 13-е место и задним числом оформил сдачу вступительных экзаменов. Так я стал аспирантом кафедры логики, о чем никогда потом не сожалел.

Будучи чрезвычайно признательным профессору Попову, я тем не менее ответил ему черной неблагодарностью. Когда встал вопрос о научном руководителе, я попросился не к нему, а к профессору Асмусу.

Тему диссертации выбрал по совету старшего коллеги — аспиранта Н. М. Годера. Есть в логике совершенно неразработанный вопрос — выводы по аналогии. Несмотря на то что в науке и технике они играют зачастую решающую роль, логика почти ничего не говорит о таких выводах, давая им лишь негативную оценку. Эта тема привлекла меня еще и тем, что давала возможность использовать знания, полученные в Политехническом институте.

Итак, тема: «Аналогия в современной технике». Но как к ней отнесется научный руководитель? Утвердит ли кафедра? Темы аспирантских работ не отличались большим разнообразием. Обычно это была «логика в трудах»: Ломоносова, Белинского, Чернышевского, Герцена и т. д. Другие темы, скажем, как у Натана Годера — «Проблема определения в логике», — были редкостью.

Моя тема Асмусу понравилась. На кафедре ее утвердили. Я приобрел учителя, с которым стал регулярно встречаться. Хотелось бы написать, что хорошо помню все эти встречи. Увы, это не так. Тем не менее многое осталось в памяти.

Для всех своих аспирантов (а их было довольно много) Валентин Фердинандович организовал занятия по логике, последовательность которых в основном соответствовала структуре его учебника. Но сам он был учебником недоволен и все время стремился уточнять, совершенствовать изложенное в нем. На аспирантском семинаре мы могли ставить вопросы и всегда получали развернутые четкие ответы, как будто Асмус предва-

рительно к ним готовился. Иногда возникала дискуссия, но это было скорее исключением, чем правилом.

Но гораздо важнее коллективных занятий были для нас индивидуальные консультации. Они проводились регулярно в одно и то же время и не в университете на Моховой, а дома у Асмуса, на Хорошевском шоссе, на окраине Москвы. В кабинете профессора, сплошь заставленном книгами, царила невероятная тишина, странная для нас, привыкших к постоянному шуму — в университете, в городе, в общежитии. Меня сначала поразило то, что книги, во всяком случае значительная их часть, были в одинаковых переплетах. Такая немецкая любовь к порядку показалась мне излишней. Но за одинаковой формой скрывалось удивительно многообразное содержание. Книги были и по логике, и по эстетике, и по астрономии. И на самых разных языках — немецком, французском, английском, латинском, греческом. О русском я уже не говорю. Известно, что Валентин Фердинандович увлекался астрономией. Он показал мне свой знаменитый телескоп фирмы Цейса, который возбуждал зависть многих астрономов.

На первой встрече Асмус спросил меня, что я читал по логике. Список был не очень длинный, но в нем были дореволюционные труды и работы, прочитанные мною на английском языке. Учитель остался удовлетворен. После первой же беседы мне была предоставлена полнейшая самостоятельность в работе над диссертацией. Создавалось впечатление, что он вообще моей работой не интересовался, что было, конечно, не так. Просто он хорошо разбирался в людях и понял, что мне можно довериться. Впоследствии я пытался применить тот же подход к своим аспирантам, но в отличие от учителя плохо разбирался в людях, и чаще всего меня ждала неудача.

Несмотря на доверие, учитель требовал регулярного появления у него каждую неделю и беседовал со мной все положенное время. О чем же? Обо всем. Иногда отвечал на мои вопросы, иногда рассказывал о своей работе. Я никак не мог понять «Науку логики» Гегеля. Кое в чем разобрался с помощью шотландского философа Дж. Мак-Таггарта, но никак не мог достичь уровня своих коллег-аспиранток, которые уверяли, что им все понятно. С жалобой на свою бестолковость пришел к учителю. Он внимательно посмотрел на меня и сказал: «Гегеля понять вообще невозможно. Можно его прочитать и изложить. Можно написать книгу о нем, но не понять». Так я

избавился от комплекса неполноценности, за что благодарен учителю до сих пор.

Характерной чертой ответов Асмуса на любые вопросы была скрупулезность. Прежде чем изложить свое мнение, он давал историко-философский очерк проблемы, начиная с Античности, которая была его «коньком». Бывало и так, что его собственное мнение оставалось неясным, но взамен мы получали представление о всей сложности проблемы. Это предохраняло нас от верхоглядства. Впоследствии с такой же манерой отвечать на вопросы я встретился у Бертрانا Рассела, который в то время был для нас совершенно недоступен, так как считался ярким антикоммунистом.

Воспоминания Валентина Фердинандовича о событиях своей жизни вызывали желание следовать его примеру. Однажды он с восторгом рассказал, как одну из лучших своих книг — о диалектике Канта — написал в Киеве летом в саду дома на улице со странным названием — Круглоуниверситетская. И мне тоже почему-то очень захотелось написать книгу в саду. И удалось — правда не книгу, но одну из статей — тоже летом в парке Сокольники. Быть может, не следует отрицать влияния деревьев на творческий процесс!

Были истории и совсем иного рода. Например, такая: у подъезда дома останавливается автомобиль.

— Вы Асмус Валентин Фердинандович?

— Да.

— Собирайтесь!

Он берет зубную щетку, пасту, мыло, прощается с женой. Автомобиль приближается к центру Москвы. Наверное, на Лубянку. Но останавливается перед зданием Совета Министров. Поднимаются наверх, его вводят в зал. Во главе стола сидит Молотов, он встает, идет навстречу.

— Асмус Валентин Фердинандович? Как мило, что вы так быстро откликнулись на нашу просьбу. Дело в том, что товарищ Сталин сказал, что мы совсем не знаем логики. И мы бы хотели узнать, что это такое.

Асмус стал читать лекцию по логике для министров. И был счастлив, что все так обернулось и ГУЛАГ его миновал, по крайней мере на этот раз.

Кстати, лекция в Совете Министров впоследствии не раз помогала. Когда не в меру ретивые партийные деятели хотели «съесть» Асмуса, их останавливали его «связи» с самим Мо-

лотовым. Это, однако, не помешало партийному бюро навести порядок на кафедре логики. Нельзя было более терпеть вопиющую аномалию — ее заведующий, профессор П. С. Попов был беспартийным! Чтобы улучшить работу кафедры, возглавить ее было поручено доценту кафедры истории русской философии В. И. Черкесову. Не беда, что тот никогда не занимался логикой — зато был членом партии, а это важнее всего.

Естественно, что профессора П. С. Попов и В. Ф. Асмус, преподаватели и даже аспиранты были в глухой оппозиции к этим переменам. Нового главу кафедры поддержал, не без выгоды для себя, лишь аспирант М. Н. Алексеев. Спустя какое-то время вышла совместная работа М. Н. Алексеева и В. И. Черкесова «Труды И. В. Сталина по языковедению и вопросы логики»*, в которой опять подчеркивалось, что формальная логика имеет дело лишь с неизменными вещами и какие бы поправки мы в нее ни вносили, она никогда не превратится в логику высшую, диалектическую. Статья заканчивалась призывом: «Надо развернуть острую критику старых и особенно новых идеалистических теорий логики, проповедующих алогизм, иррационализм и прочую мистику, типичную для современной идеологии американско-английских поджигателей войны»**. Поскольку все современные логические теории объявлялись идеалистическими, речь шла о борьбе с логическими теориями вообще.

Преимущество диалектической логики над формальной сам Черкесов пояснял следующим примером. Революция 1905—1907 гг. была буржуазно-демократической. По формальной логике, как у Плеханова, получается, что ее гегемоном должна быть буржуазия, но по диалектической логике — как у Ленина — ее гегемоном должен был стать пролетариат. Заведующий кафедрой логики не мог понять, что этот пример вообще никакого отношения к логике не имеет. В такой обстановке приходилось работать Асмусу в начале 50-х гг.

Приближалось время сдачи кандидатского минимума по специальности. Никогда я не готовился к экзамену столь тщательно. Законспектировал все рекомендуемые источники и еще многое сверх того. Экзамен принимала тройка: научный

* См.: Философские записки. М., 1953. Т. VI.

** Там же. С. 18.

руководитель, заведующий кафедрой и представитель партийного бюро. Экзамен закончился, но оценки не объявлялись в течение двух часов. Оказывается, спорили о том, ставить ли мне «отлично», как предлагал Асмус, или «хорошо», на чем настаивали Черкесов и член партбюро. В конце концов победило мнение большинства. Валентин Фердинандович очень расстроился. На следующий день на заседании кафедры я получил от него записку, которую сохранил: «Я вчера не нашел Вас после экзамена. Не огорчайтесь. В. Асмус». Никогда еще я не получал столь высокой оценки!

Потом мой научный руководитель рассказал, как проходило обсуждение. Опять свою роль сыграли мои воспитательницы — девочки из комсомольского бюро. «Он не может получить «отлично», так как у него был выговор по комсомольской линии. — Но он снят, — возразил Асмус. — Да, но он был!» Тут уж нечего было возразить. С тех пор я отношусь со священным трепетом к приглашениям в театр. И иногда хожу только потому, что боюсь оторваться от коллектива.

Однако с кандидатским минимумом все еще получилось хорошо. Настоящие тучи нависли над кандидатской диссертацией и у меня, и у Годера. Мы составили, о ужас! группу: «Уёмов, Годер». А случилось вот что. Аспирантка Пантелеева, агитируя школьников поступать на философский факультет, порекомендовала одному из них книгу «Откровения фашистских людоедов» с цитатами из Гитлера и других «людоедов». Этот мальчик, поступив на факультет, рассказал, что читал Гитлера по рекомендации Пантелеевой. В это же время около американского посольства она увидела плакат на английском языке, извещавший о дне Организации Объединенных Наций. Проходивший мимо мужчина попросил ее перевести текст. Она рассказала об этом случае на факультете. Две половинки «атомной бомбы» соединились — произошел взрыв. Пантелееву надо было исключать из комсомола. Созвали комсомольское собрание аспирантской организации. Я решил голосовать против, но Пантелеева так разносила и себя, и тех, кто оправдывал ее, что я воздержался. Оглянувшись, увидел еще только одну воздержавшуюся руку — Натана. Так возникла «группа».

Нас начали прорабатывать, но, к счастью, этим дело и кончилось. Исключать или делать выговоры на общем собрании было опасно: а вдруг еще кто-то воздержится — тогда понадо-

бится новое взыскание. Налицо явная угроза регресса в бесконечность! Логики, руководившие процессом, поняли опасность и спустили дело на тормозах. Однако не совсем. Комиссия Московского комитета (МК) комсомола, обследовавшая факультет, заявила, что на кафедре логики дела обстоят плохо: аспиранты Годер и Уёмов в срок диссертации не защитят. Это был самооправдывающийся прогноз. Тем не менее на факультете только мы и защитили диссертации в срок. Но решение факультетского Ученого совета должно было утверждаться общеуниверситетским Советом. И общеуниверситетский Совет диссертацию Н. М. Годера отклоняет. Почему? Н. М. Годер неправильно решает проблему определения в логике? Нет, да и не разбирался в этом Совет, хотя и состоял из выдающихся ученых со всех факультетов. Началось «дело врачей-убийц». Натан не был врачом-убийцей. Он вообще не был врачом, но пострадал, так как принадлежал к той же национальности, что и врачи-убийцы.

После смерти Сталина Совет не отменил свое решение, но дал Натану возможность снова защищать диссертацию. Теперь она называлась не «Проблема определения в логике», а «Определение как проблема логики». На этот раз не только малый, но и большой Совет высоко оценили работу. Так что прогноз Московского комитета комсомола в отношении Натана оправдался лишь наполовину.

В отношении меня он вообще не оправдался, поскольку мое этническое происхождение было безупречным. Однако и моя диссертация встретила немало трудностей. Асмус был возмущен прогнозом МК комсомола и делал все возможное, чтобы нас поддержать. Он ободрял и вдохновлял, не давал пасть духом. Было очевидно, что он доволен нашим поведением на собрании. Работа над диссертацией продвигалась успешно. Я проанализировал метод моделирования в технике. Выяснил, что в его основе лежат выводы по аналогии, но иного типа, чем те, которые до сих пор изучались в логике. Для оценок приемлемости той или иной модели в технике используется математическая теория подобия, начало которой было положено еще И. Ньютоном. Эта теория, по сути, решает логическую задачу, но лишь для случаев, когда модель и ее прототип описаны дифференциальными уравнениями. В результате моей работы было выявлено логическое содержание теории подобия, определены условия достоверности выводов по аналогии,

в том числе и при отсутствии математического описания сопоставляемых объектов.

Валентин Фердинандович остался доволен диссертацией и сделал лишь одно замечание, уточнив приведенный мною пример астрономического характера. Затем работа должна была обсуждаться на кафедре. Мне повезло — начался бум вокруг великих строек коммунизма. Функционирование многих из них проверялось на моделях. И кафедра логики, выявляя логические основы метода моделирования, якобы участвовала в великом преобразовании природы. И именно тогда, когда ее возглавил член КПСС доцент В. И. Черкесов, поэтому он поддержал меня. Однако М. Н. Алексеев заявил, что диссертация, возможно, и хороша, но ее нельзя принять к защите, так как она написана совсем не по тому плану, который утвержден кафедрой ранее! Все же диссертацию рекомендовали к защите и назначили официальными оппонентами профессора П. С. Попова и доцента А. С. Ахманова. Асмус торжествовал. Мне даже разрешили отпуск. На моем заявлении Асмус написал:

«Т. к. тов. А. И. Уёмов закончил свою диссертацию до срока и выполнил ее хорошо, то не возражаю против предоставления ему отпуска, больше того — считаю отпуск для него необходимым. 13/V — 1952. В. Асмус».

Казалось бы, все хорошо, и поскольку оба оппонента высказались в своих предварительных отзывах положительно, процедура защиты обещала быть чисто формальной. И вдруг профессор Попов резко меняет свою позицию и отказывается быть официальным оппонентом! Почему? Этого я до сих пор не знаю. Но Попов аргументировал это тем, что в моей диссертации недостаточно исследованы труды русских логиков XIX в.

Положение весьма осложнилось. На кафедре было всего два профессора по логике, и один был моим научным руководителем. В Москве не было других профессоров по логике, так же как, по-видимому, и за ее пределами. Спасло меня то, что в диссертации речь шла не только о логике, но и о технике. Посоветовавшись с научным руководителем, я решил сыграть ва-банк. Пошел в Энергетический институт имени Кржижановского, директор которого академик М. В. Кирпичёв был признанным специалистом по теории подобия. Он перелистал диссертацию, удивился, что философ пишет математические формулы, и выделил оппонента — доктора технических наук В. А. Баума.

Наконец, в декабре 1952 г. защита состоялась. Чем-то она была похожа на средневековый рыцарский турнир. Официальные оппоненты дали блестящие отзывы. Неофициальный оппонент П. С. Попов заявил: «У автора не связаны концы с концами. Проблемы логики не связаны с тем, что дало изучение техники. Нужно было использовать учение Рутковского о продукции». Тут не выдержал Асмус и бросился в полемику, нарушая запрет, существовавший для научного руководителя: «Но ведь это же не аналогия!»

П. С. Попов: Но тут же умозаключение от отдельного к отдельному!

В. Ф. Асмус: Но это же не аналогия — какое отношение это имеет к диссертации?

Председательствующий утихомиривает профессоров. Профессор Ф. И. Георгиев задает коварный вопрос: «Сколько раз диссертант ссылается на первоисточники — на основоположников марксизма-ленинизма? Скажем, на Ленина автор ссылается только два раза. Меня интересует, в какой степени диссертант использовал работы основоположников марксизма-ленинизма?»

Председатель ставит вопрос иного плана: «По выступлению П. С. Попова чувствуется, что тов. Уёмов не использовал научной логической литературы, что он ограничился школьной литературой. Я просил бы дать ответ, допустимо ли такое явление при написании диссертации?»

И все же диссертация не была провалена. Мнение В. Ф. Асмуса и официальных оппонентов возобладало. Один — «против», один — воздержался, остальные — «за».

Так закончилась моя аспирантура у профессора Асмуса. Официально. Неофициально он продолжал быть моим Учителем всю жизнь. Когда я приезжал из Иванова в Москву, то, как правило, посещал его. Особенно запомнилась одна встреча в Переделкине. Здесь, на своей даче, он вел жизнь отшельника. И работал, работал. Умер Сталин. Стало легче дышать сразу же, еще до XX съезда и знаменитой речи Хрущёва. А потом наступила оттепель. Асмус стал выпускать книгу за книгой: «Учение логики о доказательстве и опровержении», «Декарт», «Демокрит», «Проблема интуиции в философии и математике», «Платон», «История античной философии», «Иммануил Кант».

Возраст, но никакого склероза. Однажды по секрету он выдал мне одну тайну. Оказывается, перед каждым обедом он

старался выпить сто грамм водки. Не всегда это получалось, но он старался. Так он растворял холестерин в сосудах. Не знаю, откуда он узнал то, к чему пришли медики только сейчас.

В другой раз, встретив меня в университете, он воскликнул, как начинающий преподаватель: «Знаете, я наконец научился читать лекции!» — и пригласил меня на одну из них. Послушав, я понял, что он имел в виду. Он так излагал учение Аристотеля о государстве, что каждый, слушая его, понимал пороки того государства, в котором мы жили.

Но логикой он занимался все меньше. Как-то на кафедре логики ее преподаватели выразили желание, чтобы Асмус стал заведующим кафедрой. Я передал это Валентину Фердинандовичу и горячо убеждал его принять предложение. Но у него было иное, твердое мнение. Он не специалист по математической логике, и уже не тот возраст, чтобы им стать. Логикой должны заниматься молодые люди, а в его годы более подходит история философии. Я не мог согласиться с ним и думаю, что логике нужны люди всех возрастов. Главное, чтобы они не становились догматиками.

Не все в наших отношениях было гладким. Однажды Асмус очень на меня рассердился, хотя я не знал об этом, пока мне не рассказали. А причина была вот в чем. Задумали создать десталинизированный, «оттепельный» учебник философии. Наряду с маститыми философами, такими как Т. И. Ойзерман и А. Ф. Шишкин, в авторский коллектив был приглашен и я в качестве специалиста по логике и философским вопросам естествознания. Главным редактором был академик М. Б. Митин. Я не придавал этому особого значения, считая вопрос о редакторе несущественным. Но он был очень существен для Асмуса, которого Митин в свое время преследовал. Правда, я читал в учебнике 1933 г., редактором которого также был Митин, что идеалист Асмус является адвокатом формальной логики. Но то было начало 30-х гг. Теперь же линия партии изменилась, и Митин изменился вместе с ней. А. А. Зиновьев, работавший в редакции «Вопросов философии» вместе с М. Б. Митиным и Б. М. Кедровым, говорил мне, что Митин гораздо легче воспринимает новое, чем Кедров. Идя на поводу у молодых философов, он даже семиотику готов пропустить в журнал. А задуманный учебник так и не вышел. В конце концов Валентин Фердинандович простил меня и больше не сердился.

Издав в 1961 г. сборник задач по логике, я принес его Асмусу, мнение которого для меня оставалось решающим. Он сказал, что это лучший задачник за всю историю русской логики. Замечу, что подобных задачников вообще было немного.

В 1964 г. я закончил работу над докторской диссертацией «Вещи, свойства, отношения и теория выводов по аналогии», но не очень спешил с защитой. Однако профессор П. С. Попов торопил меня, организовал обсуждение на кафедре логики МГУ и написал отзыв от кафедры как внешней организации, который был прямой противоположностью отзыву на мою кандидатскую диссертацию. Можно лишь догадываться, почему Попов спешил. По-видимому, он знал, что скоро умрет, и хотел успеть. Я уже работал в Одессе, поэтому защита планировалась в Институте философии АН УССР в Киеве, директором которого был П. В. Копнин. Я обратился к Асмусу с просьбой выступить официальным оппонентом, и он охотно согласился. Другими оппонентами стали П. В. Копнин и А. А. Зиновьев.

Эта защита, в противоположность кандидатской, была лишена драматизма. Все хвалили, указывая лишь на несущественные недостатки. Потом был товарищеский ужин в доме моей мамы, которая тогда жила в Киеве. С тех пор она с гордостью вспоминала, как сам Валентин Фердинандович поцеловал ей руку.

После моего переезда в Одессу связь с Асмусом ослабела, так как я стал редко бывать в Москве. Хорошо помню последнюю встречу у него на даче, куда мы приехали с моим другом Н. Ф. Овчинниковым. Шло какое-то строительство, Валентин Фердинандович чувствовал себя неважно, плохо передвигался. К моему великому сожалению, мне не удалось попасть на его похороны. Он прожил более 80 лет и до самой смерти жил напряженной творческой жизнью.

Не могу придумать лучшего конца для этих кратких замечаний, чем слова в сборнике «Философы России XIX—XX столетий»: «Как человека, педагога и ученого его характеризовали безупречная интеллигентность, личная честность и бескомпромиссность, высокий профессионализм, преданность творчеству»*. Это написал редактор сборника А. П. Алексеев, и написал совершенно правильно.

* Философы России XIX—XX столетий. Изд. 3-е. М., 1999. С. 66.

В. А. Жучков

Уроки Асмуса

Писать воспоминания о Валентине Фердинандовиче Асмусе — лестно и радостно, но и очень непросто. И дело не только во времени, неумолимо стирающем из памяти подробности и детали, живую непосредственность восприятий, но и в ответственности самой задачи. Очень хотелось бы донести до читателя ощущение и понимание того, что духовный и нравственный облик этого удивительного человека, его наследие, его «уроки» не потеряли и не должны терять того, что принято называть актуальным, нужным, жизненно значимым...

С внешней стороны жизнь В. Ф. чем-то напоминала работу хорошо отлаженного механизма: систематическая научная работа, чтение лекций, слушание музыки и музицирование, наблюдение небосвода в телескоп... Его быт целиком был подчинен строгому распорядку (точнее, наверное, высшему порядку): ежедневно, в любую погоду, мерным шагом он покрывал немалое расстояние от своего дачного домика до столовой в переделкинском Доме творчества писателей (говорят, местные жители даже шутили, что по его появлению можно было проверять часы, как когда-то по прогулкам Канта узнавали точное время бюргеры Кёнигсберга).

Довольно спокойно и сравнительно мирно складывались и его отношения с властью: он не был репрес-

сирован, отправлен в ГУЛАГ или за рубеж (хотя оставался «невъездным»), его не отстраняли от работы (но и не выдвигали на ответственные или выгодные посты), книги его не запрещались (хотя выход едва ли не каждой из них становился предметом идейно-политических «разборок», «проработок» на страницах печати, разного рода заседаниях и совещаниях).

Официальное руководство Московского университета и философского факультета относилось к нему с настороженной терпимостью, у сотрудников же и коллег он вызывал либо плохо скрываемое раздражение, либо скрытое уважение и глубокое почтение. Менее осторожными были многочисленные студенты и слушатели В. Ф.: на его лекциях царила тишина, хотя аудитории МГУ, МИФЛИ или Литинститута были заполнены на них до отказа. На этих лекциях, как и на его трудах, выросло и сформировалось не одно поколение отечественных философов, его имя с благодарностью вспоминали и вспоминают многие ставшие позднее известными деятели науки и образования, именитые писатели, поэты, музыканты... Его огромные заслуги перед философской и духовной культурой нашей страны не нуждаются в пространных комментариях.

И тем не менее, думается, что в лице В. Ф. Асмуса, в его деятельности и общей жизненной позиции мы имеем дело с особым культурным, духовным и нравственным явлением, выяснение исторического, а особенно современного значения которого может оказаться весьма полезным не только для преподавателей философии, но и для всех тех, кто связан с педагогической деятельностью, имеет отношение к воспитанию и образованию молодого поколения.

Некоторая сложность в осмыслении указанного феномена связана с тем, что сам В. Ф. Асмус даже не пытался создать какую-либо собственную концепцию философского образования и не придерживался сколько-нибудь четкой педагогической программы, строгих правил, методик обучения и т. п. Пожалуй, только двум установкам или принципам он неизменно следовал сам, стремился донести их до слушателей, да и до всех, кто его окружал и знал. Принципы эти предельно просты и понятны: они сводились «всего лишь» к требованиям максимально полного и самостоятельного освоения философского наследия и подлинного к нему уважения (как, впрочем, ко всему культурному наследию человечества). Последнее он продемонстрировал всем своим обликом, манерой поведения, обще-

ния с собеседниками или слушателями. О первом же говорил постоянно, призывая студентов к изучению первоисточников, неизменно подчеркивая, что никакое их изложение не может передать и исчерпать всей глубины и богатства оригинала.

Помнится, уже будучи аспирантом Асмуса и приезжая к нему на дачу в Переделкино для отчета о своей работе над диссертацией, я с восхищенной завистью рассматривал его колоссальную библиотеку, несколько стен которой занимали издания текстов Канта на языке оригинала, а также обширная отечественная и зарубежная о нем литература. Некоторые, но далеко не все из этих книг мне иногда с немалыми трудностями удавалось обнаружить в крупнейших наших книгохранилищах, и возможность ознакомиться с ними я считал своей большой удачей. Поражало меня и то, что большинство из этих книг В. Ф. не только прочитал и превосходно знал, но и с каким-то трепетом о них говорил, с похвалой, как правило, отзываясь об их авторах и дружески советуя мне их прочитать. Позднее мне неоднократно доводилось посещать его дачу в компании как молодых, так и уже весьма солидных философов, которые давно и хорошо В. Ф. знали, дружили или долгие годы с ним вместе работали. От них мне не раз доводилось слышать восхищенные рассказы о том, что почти по любому историко-философскому вопросу, в которых они сами были крупными специалистами, он мог говорить с такой эрудицией и свободой, будто всю жизнь этой темой специально занимался...

О мыслителях прошлого он всегда говорил с неизменным пиететом, поражая нас не только широчайшей эрудицией, глубиной понимания смысла и существа их учений и проблем, но и способностью восхищаться красотой их мысли, а главное — умением передавать это восхищение другим, заражать слушателей чувством удивления и преклонения перед идеями того или иного автора, пусть даже ошибочными или неверными. Именно конкретный анализ первоисточников занимал основное место не только в его лекциях, но и был главным его требованием на экзаменах (которые, надо сказать, он принимал весьма «либерально», видимо, не допуская даже мысли, что студенты могли этих источников не знать, а то и вообще не держать в руках). На фоне царивших в то время способов подачи историко-философского материала и его упрощенно-вульгарных партийно-классовых оценок такие требования ценились слушателями весьма высоко, официальное же руко-

водство относилось к этому не столь одобрительно, а то и с известной долей недовольства и подозрительности.

Эффект, производимый на нас лекциями В. Ф., был тем более значителен, что достигался он за счет очень спокойной, рассудительной, академически бесстрастной и даже суховатой манеры подачи материала, умения увлечь не увлекаясь и, как иногда казалось, даже охлаждая чрезмерный пыл и восторженность слушателей. Помнится, в те годы подобная манера поначалу воспринималась студентами даже с определенной досадой, а порой вызывала и некоторое раздражение у наиболее горячих и критически настроенных слушателей — так называемых шестидесятников. В своем отрицании догматизма и схоластики официальной философии они готовы были ухватиться и превознести до небес любую идею, которая отличалась бы от принятых идеологических установок, ортодоксального марксизма-ленинизма и т. п. Сдержанная же, спокойная и уравновешенная манера подачи материала, подчеркнута академический подход В. Ф. представлялись им недостаточно критическими и радикальными, излишне «учеными» и т. п.

Подобная манера изложения материала вряд ли была его преднамеренным приемом, но, несомненно, в ней находили выражение его принципиальные установки, общая научная и мировоззренческая позиция. Ее подспудный, глубинный смысл чувствовался уже тогда, и отнюдь не случайно на его лекциях неизменно царила абсолютная тишина, пронизанная напряженным вниманием слушателей, которые прилежно ловили и записывали каждое слово профессора. Студенты прекрасно знали, что именно на них они получают наиболее объективное и адекватное представление о том, что действительно имело место в истории философии, что и о чем на самом деле говорил и думал тот или иной мыслитель, а не тот эрзац историко-философских представлений, в котором все богатство философского наследия сводилось к совокупности банальных благоглупостей и их раз навсегда принятых и жестко субординированных оценок.

Сила воздействия академического характера лекций В. Ф. увеличивалась еще и от того, что произносил он их негромким голосом, спокойно и неторопливо зачитывая заранее составленный текст и лишь изредка позволяя себе отвлечься от своего аккуратно написанного от руки и немного даже пожелтевшего конспекта, дабы вставить какое-нибудь небольшое

отступление или дополнение, нужное или важное, по его мнению, именно для данной аудитории. Много позднее и не без подсказки старших и более опытных коллег, хорошо и близко знавших В. Ф., а главное, лучше меня понимавших общую обстановку и ситуацию того времени, я понял, что подобная манера преподавания отчасти была связана с его постоянным опасением быть «вызванным на ковер», обвиненным в каких-нибудь идейных ошибках, промахах, недостаточной лояльности и т. п., благо доступ на его лекции был свободным, а аудитория пестрой... В таких обстоятельствах наличие конспекта играло роль своего рода «охранной грамоты».

Впрочем, все эти невинные «хитрости» выручали его далеко не всегда и, как уже говорилось, для официально-партийных идеологов он оставался «чужаком», объектом постоянных подозрений, регулярных «проработок» и «разборок». В этой связи нельзя не коснуться вопроса о том, *чем* именно могли быть вызваны подобные подозрения, что служило их подлинной причиной. Ведь сам В. Ф. отнюдь не стремился к какой-либо прямой конфронтации с властью, нисколько не афишировал своего несогласия с официальными идеологическими установками и т. п., хотя, рискуя высказать несколько «крамольную» мысль, искренним до конца он, пожалуй, все-таки не был... В приложении к данной книге мы публикуем одну из самых первых статей В. Ф., написанную им еще в годы обучения в Киевском университете и содержащую весьма резкое осуждение марксизма. Однако в других более поздних его работах мы не только не найдем ничего подобного, но и увидим, что там встречается немало ссылок на работы классиков марксизма и цитат из их сочинений, а также оценок и выводов, выдержанных в духе марксистского подхода.

Мы не собираемся обсуждать здесь деликатный вопрос о «подлинных» убеждениях В. Ф., о том, был ли он марксистом «на самом деле» или всего лишь «прикрывался» марксистской фразеологией, дабы обойти строгий контроль или бдительную и жестокую цензуру. Обсуждать эту тему было бы занятием не вполне тактичным, если не излишним, поскольку он был подлинным ученым, который не только прекрасно владел своим предметом, но и относился к нему с предельной искренностью и честностью. И именно потому в его работах и лекциях вряд ли существовал сколько-нибудь серьезный разрыв между знаниями и убеждениями, между тем, что он писал или

говорил, и тем, что он думал «про себя»: спокойно и уверенно придерживался он собственной «линии» в философии — объективности и непредвзятости — и проводил ее последовательно и неуклонно.

Тех же принципов объективности и непредвзятости придерживался В. Ф. и в своем отношении к марксизму в целом, видя в нем прежде всего выражение и продолжение фундаментальных традиций классической философской мысли. Именно такую «линию» проводил он в своих лекциях и трудах, где мы, однако, не найдем ничего общего с теми примитивными схемами и вульгарными догмами, которые под именем «марксизма-ленинизма» насаждались в советские и сталинские времена и зачастую были весьма далеки от подлинных принципов аутентичного марксизма, а порой вступали с ними в заметные противоречия. И именно этого не могли простить ему многие партийные, но малограмотные генералы от философии, и именно это было действительным источником их глухого им недовольства и поводом для очередной против него кампании.

Вспоминая о лекциях В. Ф., нельзя не сказать, что наряду с редкостным сочетанием в них объективности и основательности, глубины и оригинальности исследовательской мысли не менее существенным их достоинством было то, что мысли эти излагались превосходным русским языком, позволявшим ему донести до слушателей, довести до их сознания, сделать ясным и понятным содержание самых сложных и трудных проблем философии и ее истории. Разумеется, в то время многие из нас не могли оценить это по достоинству, а тем более понять, что сочетание подобных качеств и является свидетельством и следствием высочайшего профессионализма, для достижения которого нужно не только много работать, но и, наверное, обладать особым природным даром.

Перечитывая свои записи лекций В. Ф., я каждый раз убеждаюсь в этом заново и даже еще более отчетливо, поскольку трудно не заметить тот поразительный контраст, который существует между ними и многими из современных пособий по истории философии, особенно написанными нынешними молодыми авторами. Мало того, что в них порой трудно обнаружить стремление выражать свои мысли ясным и доходчивым языком, зато нередко проглядывает склонность говорить «умно» и «красиво», щеголять модной, малопонятной и вычурной, псевдонаучной терминологией, бравировать нарочитой услож-

ненностью языка и т. п., еще хуже то, что за этой тенденцией, за модой искусственного усложнения или «осовременивания» языка классической философии скрывается другая, куда более опасная тенденция. Дело в том, что пренебрежение принципами точности и понятности изложения историко-философского материала, игнорирование их свидетельствует в первую очередь об отсутствии серьезного отношения и к самому предмету исследования. Думаю, что произвольное обращение с текстами классиков философской мысли говорит об отсутствии должного уважения не только к их наследию (а то и адекватного его понимания), но и уважительного отношения к своим читателям или слушателям.

Что же касается вопроса о важности, нужности или актуальности подчеркнутого «академизма» лекций и работ В. Ф., то нельзя забывать, что именно благодаря им многие студенты обретали возможность приобщения к подлинным истокам философской мысли и ее истории. Сегодня можно смело и вполне определенно утверждать, что благодаря стараниям именно таких ученых и педагогов, как В. Ф., в нашей стране в те годы мог существовать и поддерживаться относительно неплохой уровень историко-философской подготовки, да и историко-философской науки в целом. В качестве наглядного тому подтверждения можно напомнить о том поразительном всплеске в духовной, идейной, философской, да и культурной жизни в целом, который произошел в нашей стране в 60-е гг. прошлого столетия, в период так называемой оттепели, когда появилась целая когорта ярких и оригинальных личностей, творчески мыслящих специалистов по философии, логике, да и другим областям гуманитарного знания. Именно В. Ф. был одним из учителей, духовных наставников многих из тех, кто вопреки официальной идеологии и догматической философии умел сохранять, поддерживать и развивать живую и подлинную научную и философскую мысль в нашей стране.

Нельзя не сказать и о той огромной научной и моральной поддержке, которую В. Ф. оказывал своим ученикам и коллегам. Об этом читатель найдет немало теплых и благодарных слов на страницах публикуемых здесь воспоминаний. Мне же хотелось бы в этой связи рассказать еще и о том, что он никогда не избегал и не боялся помогать людям в самые тяжелые или кризисные моменты их жизни, причем нередко связанные даже с их политической или идеологической «неблагонадеж-

ностью». В качестве примера можно привести любопытный факт, о котором я узнал от известного философа и искусствоведа Михаила Александровича Лифшица. Свою докторскую диссертацию он защитил в начале 70-х гг., уже будучи далеко не молодым. Тогда мы, сотрудники сектора истории философии Института философии АН СССР, в котором он работал, вежливо его спросили: а почему он — крупный и именитый специалист — так поздно защитился? Он с мягкой улыбкой сообщил, что его докторская была готова уже много лет назад, но ее защита оказалась невозможной по сугубо конъюнктурным причинам (то ли из-за начавшейся тогда борьбы с космополитизмом, то ли из-за его старинной близкой дружбы с известным «ревизионистом» Д. Лукачем). Его официальные оппоненты, среди которых были и весьма солидные советские философы, дружно, как один, отзывали свои положительные отзывы на его диссертацию. Единственным же оппонентом, который принципиально отказался это сделать, был профессор Асмус...

Таким же ярким примером может служить и речь В. Ф., произнесенная им на похоронах его близкого друга Б. Л. Пастернака, что в то время было отнюдь не «академическим» шагом, но весьма решительным и даже небезопасным поступком, на который не осмелился никто из известных и именитых деятелей литературы и искусства. Однако и в этой речи он «молвил слово» именно над великим, а не опальным поэтом, а «безумьем» была для него не рискованность его поступка, а сама опала поэта, в которой отсутствовала именно «школьная логика», понимание красоты, величия и бессмертия творений гениального поэта. Разумеется, и это выступление В. Ф. стало предметом очередных разборок, о чем пишет в своих воспоминаниях профессор Василий Васильевич Соколов. Последнему, впрочем, позже и самому досталось «на орехи», но уже за участие в похоронах В. Ф. Асмуса, его коллеги и близкого друга: там, как известно, присутствовал священник, и это, разумеется, тоже наделало немало шума. После похорон я также был вызван к ученому секретарю Института философии, который конфиденциально спросил у меня, в каком статусе в этих похоронах принимали участие я и многие другие сотрудники нашего института. Мне удалось успокоить его, заверив, что это была всего лишь добровольная инициатива частных лиц, личное знавших В. Ф.

Не могу не рассказать и о таком факте. Когда В. Ф. Асмус сотрудничал на половину ставки в Институте философии, директором института был академик Павел Васильевич Копнин, который при появлении В. Ф. в директорском кабинете неизменно вставал с кресла и встречал его у дверей. После же безвременной кончины П. В. Копнина и прихода нового — довольно консервативного — руководства В. Ф. был из института уволен, хотя он, будучи уже в преклонном возрасте, с заметным превышением выполнял план научной работы, активно участвовал в жизни института, не отказывался от чтения лекций для аспирантов и т. п.

Что касается «далекого от жизни академизма» В. Ф., позволю себе рассказать об одном эпизоде своей жизни, в котором именно он сыграл важную роль. В свое время — в самом начале 60-х гг. — я еще совсем юным студентом-заочником философского факультета был отчислен из университета и исключен из комсомола за участие в собраниях или сходках на площади Маяковского, где молодые поэты-диссиденты (впрочем, тогда подобное слово еще не было в ходу) читали свои стихи. В середине 60-х гг. я решился вновь поступить на философский факультет МГУ и успешно сдал вступительные экзамены. Однако при зачислении кто-то из руководства факультета вспомнил о моих старых «грехах», и я получил отказ. Не буду вдаваться в долгую и многотрудную историю моих унижительных хождений по разным инстанциям с «прошениями» и апелляциями на зачисление, в чем мне поначалу категорически отказывали, но потом «сжалились» и даже восстановили на третий курс. К этому времени я был уже увлечен кантовской философией, а потому сразу обратился с просьбой стать моим научным руководителем к профессору В. Ф. Асмусу, который был мне известен не только как крупнейший специалист по Канту, но и, что для меня было особенно важно, как едва ли не единственный беспартийный преподаватель на философском факультете — самом, наверное, партийном в университете.

Помимо того, должен честно признаться, про себя я надеялся, что он, будучи академическим ученым-«небожителем», вряд ли знает о моих прошлых «прегрешениях». Если же говорить еще более точно и честно, я считал возможным этот факт от него скрыть, ничего ему об этом не сообщать, т. е. в каком-то смысле обмануть и даже подставить... Мое намерение изучить

Канта он сразу одобрил и поддержал, хотя, как я совсем недавно узнал со слов его сына Василия Валентиновича Асмуса, он был в курсе всех моих приключений, однако ничуть этого не побоялся. На многие годы он стал моим научным руководителем, однако ни разу не счел нужным обсуждать со мной мою прошлую историю.

На свои ученические работы я получал от него вполне позитивные отзывы, единственным же неформальным комплиментом в мой адрес, насколько я помню, были его слова: «Мне кажется, вы очень внимательно читали Канта». Тем не менее без какой-либо просьбы с моей стороны он счел возможным дать мне весьма в то время престижную и далеко не формальную рекомендацию в аспирантуру Института философии, слывшего тогда наиболее «либеральным и демократичным» заведением, где под его руководством и я защитил кандидатскую диссертацию... Во всем этом я вижу образец высшего благородства и не афишируемого, истинно интеллигентного мужества.

В воспоминаниях многих авторов данной книги читатель найдет немало фактов, свидетельствующих о том, что академизм В. Ф. отнюдь не был гарантией спокойного, мирного, а тем более компромиссного сосуществования с властью и господствующей идеологией. По отношению к ним он был не столько инакомыслящим, сколько мыслящим, а потому и самым серьезным противником, чего мы, т. е. тогдашние его слушатели и читатели, не знали и не понимали, а может быть, понять не хотели или не могли. И только теперь, по прошествии многих лет, я могу сказать, что одним из главных «уроков Асмуса» стало для меня твердое убеждение в том, что подлинная оппозиционность возможна только при наличии собственной позиции и должна определяться не столько противостоянием чему-либо, сколько самостоянием и основываться не на отрицании, а на утверждении позитивных ценностей.

Завершая эти заметки, не могу не вспомнить о недавно скончавшейся многолетней спутнице В. Ф. Асмуса — Ариадне Борисовне, человеке предельной скромности, естественной простоты и в то же время редкостной душевности и внутреннего благородства. Все годы после кончины В. Ф., в дни годовщин его рождения (30 декабря) и смерти (5 июня), она с неизменным гостеприимством и радушием принимала нас в его переделкинском домике, одаривая нас бесценными воспоми-

нениями о своем супруге и его многочисленных друзьях, среди которых было немало великих и легендарных личностей.

Очень хотелось бы, чтобы эта традиция посещения дачи и могилы В. Ф. Асмуса в Переделкине не прерывалась не только после их ухода, но и ухода всех знавших их лично. В этом я вижу не только уважительную дань их светлой памяти, но продолжение очень важной и актуальной для всех нас традиции, названной здесь — несколько метафорически — «уроками Асмуса», без бережной памяти о которых нам будет сложнее жить достойно и сохранять себя в качестве личностей.

Ф. Т. Михайлов

Он был... «просто» философом

В жизни каждого из нас, изрядно телом постаревших, но молодо живущих, промахов и ошибок было немало. Но в моей — из многих одна, остро переживаемая до сих пор. Уверен, что, совершив ее сорок восемь лет тому назад по юношескому сомнению в своих возможностях, я радикально обеднил, попросту ограбил себя на всю свою жизнь. Но вначале — о времени, не о себе.

Учились мы на нашем факультете — философском факультете МГУ — в весьма непростое, полное противоречий время. Оно царило на факультете, как всегда *олицетворяясь* и тем заново творя себя. Это время было и нашими учителями, и нашей студенческой микрообщностью, да и каждым из нас. Не буду давать ему (нам?) определений, принятых в идеологизированной публицистике, мнящей себя исторической, а то и просто *историей*. Скажу лучше о его противоречиях, которыми неосознанно жило и наше самосознание.

Мы стали студентами всего лишь три-четыре года спустя после Победы, все еще пьяно кружившей наши счастливые головы... На первый курс вместе с нами, вчерашними школьниками, во время войны также немало всего пережившими, вошли в аудитории Московского университета молодые фронтовики, недавно снявшие с себя шинели победителей. Были среди всех тех первокурсников и выбравшие фило-

софию по необдуманной склонности, прикипевшие чуть ли не в отрочестве к ее *надмирности*. Это они не по школьной программе читали Ницше и Фейербаха, Шопенгауэра и Платона, Спинозу и «Анти-Дюринг» Энгельса...^{*} Примерно таким был и ваш покорный слуга, зачитывавшийся в последнее лето перед десятым классом «Материализмом и эмпириокритицизмом» Ленина.

Но... *гимназиев мы не кончали*, как некогда говаривали отцы многих из нас, гордясь этим. У подавляющего большинства новоиспеченных студентов-философов не было, *да и не могло быть* настоящей духовной подготовленности к встрече с философской культурой. Редко кто из нас владел иностранным языком, историю мы знали плохо, поверхностно, без глубоко личной привязанности к культурному прошлому, а первые творческие «деяния» наши (обычно стихи, реже музыка, театр, живопись), подстегивавшие воображение и не очень еще ясное желание быть кем-то, что-то *творящим*, творили пока лишь мифы подросткового самосознания.

Все это дополнялось трагическим (по последствиям своим) внутренним противоречием между общей верой в справедливость и избранность советского пути к коммунизму и неявным осознанием *несправедливости истории*, массово олицетворенной в чиновном холуйстве духовно ограниченных служителей партийной идеологии, а потому — *на всякий случай* агрессивных по отношению ко всем прочим. Нелегкие, а нередко и трагические, судьбы близких являли нам их образы с неоспоримой убедительностью. Были такие и среди учителей, правда, тогда — крайне редко. Как символ веры те же герои своего времени несли и в нашу, уже студенческую, аудиторию один лишь лозунг: «Философия сегодня так же партийна, как и две тысячи лет тому назад»^{**}.

Как раз перед нашим выбором пути вышел в свет первый номер журнала «Вопросы философии» (1947), целиком за-

^{*} Помню, в школе, где я учился, один ученик, как и многие из нас, повзрослевший за военные годы, чуть ли не с седьмого класса очень гордился своей философской начитанностью, часто цитируя именно эту книгу.

^{**} И все пять лет обучения на факультете основной подхода к творчеству философов от Фалеса до Сантаяны была эта самая борьба партий — материализма с идеализмом, диалектики с метафизикой.

полненный стенограммой обсуждения (читай: партийного осуждения) учебника Г. Ф. Александрова «История западно-европейской философии». Не знаю, как другие мои коллеги, но я в тот же год (за год до первой попытки поступить на факультет), что называется, проштудировал всю «дискуссию», дивясь и сам того не осознавая, почему-то радуясь смелости весьма редких ораторов, если не споривших прямо с самонадеянно руководящим философией А. А. Ждановым, то и не пресмыкавшихся перед ним. Не случайно же, *ни разу с тех пор не заглянув в этот номер журнала*, я сегодня с тем же чувством вспоминаю выступления Захара Абрамовича Каменского (что, как я потом узнал, дорого ему обошлось) и Зои Владимировны Смирновой... Так уже в мотивах нашего выбора слишком отчетливо проявляли себя противоречия времени, чтобы не сказаться на судьбах большинства из нас.

Время нашей учебы было соткано из тех же противоречий: демонстрация перманентной победы материализма над любыми формами идеализма* и... ершистые молодые преподаватели, а за ними — то ли ими разбуженные, то ли самостоятельно проснувшиеся студенты и аспиранты, явно критически настроенные к удручающе плоскому догматизму сталинского марксизма-ленинизма. Все они тоже были олицетворением *нашего времени***. К тому же, следуя афоризму «несмотря на достигнутые успехи, есть у нас и ответственные работники» (Илья Ильф), замечу: были они и среди нас, студентов. Эти «проклевывались» с самого первого курса.

Главным же событием в студенческой жизни нашей — в моей безусловно, но уверен, что и в жизни многих моих сокурсников, — была встреча с Валентином Фердинандовичем Асмусом.

С этой встречи слабо осознанные противоречия времени стали размываться, уступая единственно возможному выбору: есть философская мысль — мысль философов, каждый раз по-своему преобразующая само основание сознаваемости Бы-

* До нас еще докатывалось знаменитое: «Немецкая классическая философия — аристократическая реакция на французскую буржуазную революцию».

** Постараюсь вызвать прочувствованное понимание сказанного, назвав имена столь славных сегодня в мире моих сокурсников: Владимир Александрович Смирнов и Мераб Константинович Мамардашвили.

тия, углубляющая вечные его проблемы, потому и самоценная, всем другим равновеликая. Все остальное, что пишут о философии идеологи разных направлений, партий и эпох, — все это к философской мысли никакого отношения не имеет и внимания не заслуживает.

Валентин Фердинандович не «объяснял» нам философию... Тем более не давал ее вечным ценностям внешних им оценок. Он просто был... философом. Этого было более чем достаточно, чтобы *наш* факультетский мир *для нас* преобразился!

Мне уже не раз приходилось вспоминать публично обстоятельства нашей первой встречи с философом. Мой друг и сокурсник — Володя Смирнов (В. А. Смирнов — вначале студент Валентина Фердинандовича, затем аспирант, а в результате — выдающийся российский логик), на третьем (или втором?) курсе как-то между прочим спросил меня, не собираюсь ли я записаться на спецкурс Асмуса. До того мы читали его книги, невольно соизмеряя масштаб личности их автора с индивидуальными особенностями авторов многих других произведений на те же темы. Колебаний потому быть не могло: наша дружная четверка и одновременно две супружеские пары — Володя и Леночка Смирновы*, Ирина Михайлова** и ваш покорный слуга (вначале только мы) стали слушателями необычного авторского курса В. Ф. Асмуса: «История логики эмпиризма и рационализма XVII—XVIII вв.». Позже мы вместе с Борисом Грушиным и Юрой Щедровицким*** работали по той же теме в его же спецкурсе. Но прежде чем рассказать о нашем семинаре, столь существенно связанном с неповторимой индивидуальностью нашего Учителя, я должен вспомнить то *особое* его положение, несправедливость и нелепость которого мы ощущали постоянно. Казалось, что сам он был бесконечно далек от таких *мелочей жизни*, покоряя нас строгим

* Надо ли сегодня кому-нибудь напоминать: Леночка — это профессор Елена Дмитриевна Смирнова, Логик с большой буквы, воспитавшая сама и вместе с Владимиром Александровичем — мужем, другом и соратником во всех их начинаниях и делах, не один десяток известных логиков, славная и у нас, и за рубежом.

** Теперь — доктор философских наук, профессор.

*** Надо ли опять-таки напоминать кому-либо неоценимый их вклад в философию и социологию под известным всем именами: Б. А. Грушин и Г. П. Щедровицкий.

обликом настоящего *университетского* профессора и своей спокойной уверенностью во всепобеждающей силе мысли.

Совсем недавно, обращаясь в своих воспоминаниях к тому времени, я не мог не рассказать читателям один памятный мне и весьма характерный случай. И сейчас не могу обойти его стороной, отдавая дань светлой памяти нашего Учителя*.

Случилось это при обсуждении на Ученом совете учебного плана заявленного им курса истории логики. На самом же деле это был развернутый план курса истории философии. Но в качестве автора программы учебного предмета, которому по установкам того времени надлежало раскрыть перед студентами все ту же *борьбу партий* в философии, Валентин Фердинандович категорически не воспринимался. Это сразу же проявилось при обсуждении его доклада: все выступавшие дружно и целенаправленно искали в докладе отступления от утвержденных свыше догм, а один аспирант (фамилию помню, но называть не буду) нашел-таки возможность по-партийному резко обвинить докладчика в смертном грехе... кантианства. В ответном слове наш учитель своим тихим голосом спокойно заметил: «Уважаемый аспирант имярек напрасно потревожил Канта. То, что он принял за кантианство, к Канту не может иметь отношения хотя бы потому, что Кант был бесконечно далек от таких идей. Ближе всего к ним был, пожалуй, только один знакомый мне автор — некий монах по имени (он назвал имя) из такого-то монастыря, живший в XIV в. Его труд был издан во Франции несколько позже, а именно в таком-то году XVII века». Больше он ничего не добавил. Раздался дружный хохот — на заседании Совета присутствовало много молодежи: обсуждался курс *самого* Асмуса! Да и как нам было не смеяться над «критиком», если весь ученый состав Ученого совета, боюсь, что и все присутствующие, впервые услышали как о существовании этого монаха, так и о его идее, действительно далеко не кантианской.

Ну разве мог в то время наш Валентин Фердинандович читать студентам курс истории философии! Естественно, *столь ученый*

* Следующий большой абзац я, лишь немного изменив, «украл» из моей же статьи «Проблема «Subject-Object», или субъект в поисках своего предиката», которая должна быть опубликована в одном из изданий нашего института. Короткий сюжет данного абзаца здесь воспроизвести необходимо, но нет необходимости пересказывать его другими словами.

Ученый совет его программу не утвердил, чем и лишил проникновенного мыслителя возможности преподавать будущим философам глубоко личный для него предмет — историю философии. Остались у него, если я не ошибаюсь, отдельные специальные лекции общего курса и наш спецсеминар — все по кафедре логики... Именно на этом семинаре случилось то, что я назвал «самой серьезной ошибкой моей жизни». Но пока речь идет о другом! Оставаясь в том *нашем времени*, я вынужден заново пережить нечто неизмеримо более важное: внезапное *пробуждение* от морока общего догматического стиля и бытия и мышления, до того господствовавшего в наших философских штудиях.

* * *

Этому мороку способствовала чуть ли не со Средневековья прочно устоявшаяся дидактика среднего и высшего образования. Ее принцип: незнающим дать знания, отвечая авторитетно (авторитарно!) на вопросы, которые у них самих не возникали. При столь *одностороннем движении* некоторого содержания (в будущем, по идее, полезного*) гаснет, не воссияв, креативная активность аффективного мышления молодого человека. И чаще всего — навсегда. Исполнитель чужой воли, репродуктор чужих идей — таков стандартный «выход» продукции педагогического конвейера.

С первого курса нам читали лекции разные преподаватели, сменяясь каждую пару учебных часов. Все они априори были убеждены в одном: студенты должны усвоить именно то, что до их слуха доносится, а это, в свою очередь, как раз то, что признано важным и необходимым для изучающих данный предмет. Что утверждено стандартной программой, в свою очередь утвержденной «наверху» *кем-то знающим, что и как надо*. Лекции по истории философии — стыдно вспомнить! — были изложением чужих идей и непререкаемых определений и оце-

* Не могу не привести комичный пример из нашего времени, точно иллюстрирующий суть дидактики одностороннего движения знаний. Так было на уроке литературы в 10 классе: Ученик, обращаясь к учителю: Зачем мы изучаем «Анну Каренину» Толстого? Старая глупая история... Автор бросает свою героиню под поезд из-за сущей ерунды... Нам-то сегодня это зачем? Учитель (после долгого размышления)... В жизни пригодится.

нок, данных этим идеям (а заодно и их авторам). К семинарам мы получали в качестве обязательного набора лишь главы и параграфы произведений изучаемого автора, но прежде всего — отведенную ему главу учебника и две-три статьи наших доморощенных «классиков».

После окончания аспирантуры и до сего дня я преподавал и преподаю в медицинском институте, работал по совместительству и в некоторых других вузах... Бог мой! Оказалось, что на нашем философском факультете мы — по идее будущие самостоятельные старатели философской мысли — изучали ее историю, ее вечные проблемы точно так же и чуть ли не по тем же программам, что и будущие врачи и дипломаты. Конечно же, программы наши были разнообразнее, более нагружены фактологическим содержанием, но ведь и для нас главным предметом — сквозным! — был тот же диалектический и исторический материализм! «Материализм и эмпириокритицизм» В. И. Ленина мы изучали ровно столько же семинаров, сколько и медики, — шесть. А на всего Гегеля было отведено два семинара... Зато у нас были большие курсы всемирной истории, высшей математики, биологии (лекции по «агробиологии» Т. Д. Лысенко вместе с первым курсом биофака), физики (по общему курсу физфака), литературы и т. д. И все на слух, все в порядке *одностороннего движения от знаек к незнайкам*...

Откажусь от назойливого своего желания показать и доказать всю непроходимую тупость этой дидактики, весь трагизм ее сохранения в современном образовании*. Лучше постараюсь обратить ваше внимание на самую суть учебной деятельности, предполагаемой ею и абсолютно недопустимой для любой школы, а для философского образования просто пагубной.

Учебный день на факультете, как и в средней школе, подчинен расписанию занятий (в школе — классов, в университете — студенческих групп). Два первых учебных часа отданы лекции для

* Тем более не стоит мне сейчас давать сему желанию воли, что в целом ряде публикаций последнего времени я пошел-таки ему навстречу (см.: Михайлов Ф. Т. Философия образования: возможности и перспективы // Вопросы философии. 1999. № 8); Содержание образования и его идеальные формы // Известия Российской академии образования. 2000. № 2; Образование философа // Философский факультет. 2000. № 1; Креативность самосознания // Вестник развивающего обучения. 2000. № 1; Гражданские инициативы в негражданском обществе // Поиск. 2001. № 1.

всего курса по общему для всех предмету (например, истории или политэкономии). Следующие два часа — общая лекция по другому предмету. Перерыв — и семинары по группам, и снова по разным предметам, никак и ничем друг с другом не связанным. На лекциях слушаешь, что-то записываешь, но так как в них нет проблем, способных тебя тут же заинтересовать, то в лучшем случае настраиваешься на отложенное их осмысление. Вернее: проблемы в самом материале лекции есть, но они (это как закон!) представлены своим «решением», а следовательно, само их изложение рассчитано на память, а не на мысль.

Но самое страшное — это семинары! Здесь очень редко мог возникнуть спор вокруг разных способов решения нерешенной проблемы. Во-первых, преподаватель «знал» и истинный способ, и результат ее решения (в чем, *по идее*, должны быть уверены студенты), потому и «дискуссия» шла не всерьез, а как бы понарошку. Да и сам студенческий спор изначально был призван выявить степень *усвоенности* каждым из выступающих той истины, которая известна преподавателю. Во-вторых, каждый студент, участник спора, если и «рвется в бой», то откликаясь на недосказанность, неясность или кажущуюся ему ошибочность предыдущих выступлений. Дискуссия с настроем на вердикт заключительного слова преподавателя не очень-то уверенных в себе полузнаек и самоуверенных дилетантов, увлеченных своим «вдруг пониманием» сказанного. А главное — это постоянно ощущаемая, к сути материала отношения не имеющая, необходимость «выступить на семинаре», ибо преподаватель будет судить о твоих учебных успехах по семинарской активности, «галочкой» отмечая в рабочей тетрадке своей «выступавших» и «молчальников». Впереди у тебя не Гегель и даже не Маркс — экзамен, билет с тремя вопросами вразбивку и преподаватели, алчущие запрограммированного ответа, а не твоих незрелых размышлений*.

* Думаю, что не только автор этих строк, но и большинство моих коллег (да и студенты вообще) в глубине души ненавидели и ненавидят экзамены. Я всю школьную, студенческую и аспирантскую жизнь свою не умел «отвечать» на экзаменах. За что и приходилось расплачиваться. Вот памятный до сих пор пример: на государственном экзамене по истории философии среди других «персонажей» мне достался Шеллинг. Поначалу я даже обрадовался — немец любил нежно. Решил, что настало время предъявить городу и миру собственную «мою» гипотезу о причине разлада между Шеллингом и Гегелем.

Так — в принципе, так, как правило, было и у нас в те годы, но все же у нас — студентов-философов — случались на семинарах почти настоящие философские диспуты: сами-то мы почитывали не рекомендованную к занятию классику, да и преподаватели наши далеко не всегда придерживались дидактических правил! Такие семинары мы помним до сих пор, что само по себе говорит о столь же праздничном их выходе за рамки господствующей школьной дидактики, как и ударивший по всей традиционной школе урок истории в фильме «Доживем до понедельника».

Вот теперь я подготовил почву для восприятия *События* в нашей классно-урочной жизни на факультете. Таким *Событием* стала для нас встреча с Валентином Фердинандовичем.

* * *

В маленькой аудитории старого здания на Моховой четыре студента... Перед ними за небольшим столиком преподавателя — типичный *университетский профессор*... Будто ненадолго приехавший к нам из Берлина, например, или из Кёнигсберга, Магдебурга или Бадена... И не в фамилии *Асмус* было дело: просто именно такими представлялись нам Кант и Гегель, Риккерт и Кассирер...

Замечу, кстати: звание «профессор» было тогда редким даже в университете. И кое-кто из немногих наших профессоров, получив это звание, старался внешней солидностью, особой *академической* вальяжностью (откуда что бралось!) отгородиться и от коллег, и от студентов. Правда, чаще всего такой новоиспеченный ученый почему-то больше походил на партийного бонзу из среднего звена их иерархии, чем на профессора. Дру-

Что-то вроде того: Шеллинг был, мол, последним романтиком, и творчество его — замирающий отзвук периода Бури и Натиска... Но только я заикнулся об этом, меня перебили вопросом: «Вы что, не знаете структуры и содержания «Системы трансцендентального идеализма»? Так и скажите прямо, а романтики тут ни при чем». Стало совсем скучно. Я кое-как рассказал требуемое... В итоге — обидная для данного предмета «четверка». Поэтому там, где это было возможным (мне, как с молодых лет заведующему кафедрой), я превращал экзамены в ответы преподавателей студентам на их вопросы по курсу или в совместное с ними обсуждение проблем, номинально означенных в программе.

гие оставались *демократами* и обликом, и поведением своим, и нарочитой небрежностью одежды. Только один Валентин Фердинандович не умел и не мог *казаться*. Он был просто... *самим собой*. Всем *естеством* своим — строгим видом, темным сюртуком*, прямой фигурой, естественной для него молчаливостью, но отнюдь, как мы вскоре убедились, не замкнутостью, постоянно спокойной вежливостью своей — единственно для него возможной формой обращения ко всем и к любому, он был живым, органичным *олицетворением профессора*.

Но вернемся в аудиторию... Как и все наши коллеги, мы четверо познакомились с Валентином Фердинандовичем до этой встречи и видели его *философом-классиком* до того. И хотя то, что мы его уже читали и слышали, в какой-то мере готовило нас к столь непосредственному общению с ним, но оказаться так интимно близкими к нему, слушать его, прямо в рот ему глядя... Нет, все это сразу и явно переживалось нами как начало уже совсем иной истории. И она, совсем иная история, тут же и началась.

Профессор после краткого вступления, которым он очертил задачи курса и особенность избранного им исторического периода как сущностного для понимания философии и логики (философии как логики), приступил к чтению лекции. К чтению — в буквальном смысле этого слова. В. Ф. Асмус сидел за столиком, перед ним лежали тетради, явно не вчера заполненные его *профессорским* почерком... По их виду можно было предположить, что это рукописи чуть ли не 30-х, 40-х, а то и более ранних годов... Нечто сокровенное, обдуманное и написанное для себя, этим сверхценное для нас. И он, переворачивая страницу за страницей, читал нам эти рукописи, лишь изредка комментируя отдельные места.

В том было доверие нашему интеллекту и пусть еще только начальным, но именно *нашим* знаниям! Не *незнайки* сидели

* Написал «сюртуком», не будучи уверен в этом. Но что бы ни носил наш Учитель, любой костюм на нем сидел как черный или темно-серый строгий сюртук. Точно в сюртуке я видел его только один раз — в марте 1953 г., за день до трагедии, случившейся на похоронах Сталина. В большую психологическую аудиторию он вошел в черном сюртуке с медалью лауреата Сталинской премии на лацкане. Почему-то и тогда я был убежден, что эта медаль была надета им впервые: перед смертью склоняются головы и молчанием отдается скорбная дань наступившей немой вечности.

перед ним, не к экзаменам он нас готовил! Никакой дидактической адаптации сложнейших проблем к студенческому статусу, к нашему не очень-то еще солидному возрасту и уровню профессиональной подготовки... Если у нас при этом и встречались трудности в охвате целостности, а тем самым и глубины этих проблем, то, хотя таких случаев было немало (в частности, для меня), само переживание всей серьезности их глубины оборачивалось уважением к себе, к потенциальной своей способности усвоить тот тип и те способы мышления, перед которыми эти проблемы не устоят. А затем — и предвосхищением победы в будущих непременных усилиях *самостоятельно в них разобраться*. Чему и помогали ненавязчивые комментарии Валентина Фердинандовича, в том же, собственно философском, стиле преподносимые нам.

Одному наследию всех лет своего до *того* учения шлю я сегодня пени свои — школьной привычке после урока (лекции) *переваривать объяснения учителя* в себе и для себя, не бросая тут же к коллегам с вопросами и собственными мыслями об услышанном. Так вот и мы после встречи с нашим первым настоящим Учителем торопливо переходили в другие аудитории для того, чтобы там услышать на лекции или обсудить на семинаре нечто явно из другой оперы. И наполнив головы тем, что поневоле вытесняло в подсознание мысли, пробужденные В. Ф. Асмусом, мы, усталые, расходились по домам. Правда, собственная работа над любыми проблемами любых философских (и не только) курсов нежданно «выдергивала» из подсознания пережитое на его лекциях и, обернувшись интуицией, помогала сделать эти проблемы своими.

Через год, ненамного расширив свой состав, мы стали работать в семинаре Валентина Фердинандовича... Учитель наш предложил каждому выбрать тему для солидного доклада, для начала представив нам свой собственный*.

* Лет двадцать тому назад с подобной же практикой студенческих философских штудий меня познакомил мой молодой, 20-летний английский стажер Дэвид Бэкхерст. Теперь он профессор, заведует кафедрой философии в старейшем университете Канады — в Университете Королевы (г. Кингстон). Будучи студентом-физиком Кильского университета (того, что под Лондоном), он, по необходимости поучиться и на одной из гуманитарных кафедр, пришел на кафедру философии, выбрав именно ее, так как хотел разобраться в путях, способах и средствах познания природы. Профессор-философ при первой же встрече вместо литературы, призванной исчерпывающе ответить на вопрос,

По его же ненавязчивому предложению я «выбрал» тему для себя: «Проблема аподиктических суждений в противостоянии эмпиризма и рационализма: Д. Локк «Опыты о человеческом разуме» и Г. В. Лейбниц «Новые опыты о человеческом разумении...»^{*}.

Тема была мне близка, я был доволен выбором. Но очень скоро пришлось мне крепко обеспокоиться: участвуя (пока до меня не дошло время) в обсуждении докладов моих коллег — возможно, Юры Щедровицкого или Володи Смирнова, Бориса Грушина или Лены Смирновой (помню только, что Ирина Михайлова доклад делала уже после меня), я, сразу же забросив все другие дела, вчитывался в тексты избранных двух книг...

Но опыт моего *человеческого разума*, к сожалению, приучил меня читать, не отзываясь тут же и письменно на прочитанное, а свои соображения я привык выписывать без прямого диалога с читаемыми текстами. Это была первая трудность. Вторая — не менее серьезная: на наших *семинарах у Асмуса* мои коллеги каждый раз потрясали меня не столько даже глубиной знания текстов, сколько хорошо развитым умением анализировать сложнейшие проблемы логики познающего мышления. И речи их совсем не были похожи на выступления перед группой на обычном семинаре. Они говорили не для отчета, не для преподавателя, а... будто для вечности. Каж-

интересующий студента-физика, сообщил ему доверительно, что этот ответ философия ищет более двух тысячелетий, и предложил ему для начала познакомиться с «Теэтетом» Платона и целой кучей литературы об этом произведении. Через неделю, к следующей встрече на семинаре для студентов-философов, Дэвид должен был принести свой реферат прочитанного в качестве итога собственных размышлений о проблеме познания. На этом семинаре каждый студент и сам преподаватель по очереди зачитывают для обсуждения свои рефераты... Так Дэвид и работал года три-четыре. После чего в Москве, в Институте философии Академии наук он сделал доклад на семинаре в секторе теории познания. Обсуждали его доклад — и весьма серьезно — В. С. Библер, Г. С. Батищев, В. А. Лекторский и все другие сотрудники сектора. Надо было слышать, как высокопрофессионально и по-молодому аффективно спорил с нашими корифеями этот мальчишка, только что окончивший университет, еще не защитивший своей выпускной докторской диссертации!

^{*} Буквальной формулировки доклада я не помню, но ее смысл передаю точно.

дый из них был на равных с классиками как эмпиризма, так и рационализма. Неизбежный провал свой я переживал тяжело: хоть с семинара беги.

Всю ночь напролет перед докладом я в толстой тетради писал свой текст. На семинар пришел, не помня и не понимая ни того, что читал, ни того, что написал. Первый и, кажется, последний раз в жизни читал по написанному. Но и читая, не понимал ни слова. Как и ожидал, провал поначалу был полный: на меня набросились с заслуженным мною ожесточением все. Борис Грушин буквально насканивал на меня... Юра Щедровицкий не скрывал пренебрежения к докладу и к его автору... Володя, друг мой сердечный, глядя немного в сторону и вниз, упрекал меня в чем-то очень серьезном... Лена что-то доказывала горячо и смотрела на меня с упреком... Ира, к счастью, молчала.

Наконец, все отговорили... Вдруг я услышал тихие, спокойные слова Валентина Фердинандовича: «Мне кажется, что вы неверно поняли коллегу Михайлова. Он говорил о другом...». И стал он излагать нам основные идеи моего доклада. Я слышал их впервые. Я был потрясен. Да, это был Локк, это был Лейбниц, это был Асмус — и в таком смысловом их взаимопревращении, что умиротворение его красотой исцелило мою «израненную душу» и, уверен, снизошло на всех «злых» моих критиков.

Да, слышать такой «мой доклад» — праздник! Как и многие до меня, не удержусь, украду у Хемингуэя: *праздник, который всегда со мной!*

Семинар закончился... Все разошлись кто куда, а наш Учитель стоял в коридоре, прислонясь спиной и ладонями к изразцам голландской печки, не топившейся лет сто. Мягким кивком он подозвал меня. Помолчали... Вдруг он спросил, не пожелал бы я взять тему доклада в качестве темы курсовой работы, затем дипломной, а впоследствии и кандидатской диссертации. Да, именно так, так дословно прозвучало его предложение, и хотя его голос, произносящий эти слова, и сейчас явственно звучит в моем сознании, мне и сегодня, как и тогда в первую минуту, все чудится: не ослышался ли?

Я благодарно соглашаюсь и тут же внутренне настраиваю себя на предстоящий мне непосильный, но радостный труд. Помолчав, Валентин Фердинандович спрашивает о том, как обстоит у меня дело с языками. Быстро отвечаю: немецкий,

а английский начал изучать! (Все, мол, в порядке: мои герои — англичанин и немец, справлюсь.)

В. Ф.: Это неплохо, но нужной для этой темы литературы на немецком крайне мало, а на английском почти и нет совсем. А как у вас с французским?

Я: «Пардон», «мсье», «шарман»... — пытаюсь шутить, хотя в душе что-то проваливается.

Далее в продолжение того же вопроса последовал *итальянский* («Как ни странно, на итальянском есть нужные вам работы»), затем — чуть ли не *португальский*... Я сник. Учитель молчал. Постояв еще немного рядом с ним, я «неслышно удалился». Мне было очень стыдно.

В дальнейшем сам Валентин Фердинандович не возобновлял своего предложения, а я посчитал — это естественно: зачем ему — полиглоту — *ученик без языков!* Это, как оказалось, и была самая большая ошибка в моей жизни. После окончания университета Володя Смирнов — уже аспирант В. Ф. Асмуса — сказал мне однажды: «Знаешь, В. Ф. спрашивал про тебя... Он сказал, что так и не понял, почему ты не согласился работать над Локком и Лейбницем». (Кстати сказать, в то время, когда его научный руководитель делал мне это столь лестное для меня, на всю оставшуюся мою жизнь самое перспективное предложение, Володя знал немецкий значительно хуже меня, а английским мы стали заниматься с ним как раз вместе. Но уже в аспирантуре с этими языками у него не было проблем.)

Обсуждать сейчас, почему я не могу себе простить этой ошибки, — значит говорить о себе. Мне же потому необходимо было упомянуть о ней, что только закомплексованный подросток или патологический лентяй мог так легко отказаться от... чертовски сложного, подвижнического труда, требующего всего тебя целиком, труда *сотворческого ученичества* у настоящего Философа!

А раз это так, то все это — лишь о нем, о Валентине Фердинандовиче Асмусе! О нем как о воспитателе редкой способности быть философом мысли и жизни... О нем как об учителе, органически неспособном учить неумеек и незнаек *знаниям, умениям и навыкам*, но столь же органично и тактично, ненавязчиво и уважительно умевшем включить ум и чувства своих учеников в собственную творческую работу. Для меня он был и остается Учителем с душою А. П. Чехова, олицетворением

нравственного, потому и застенчивого сострадания к людям, упрямой непримиримости к пошлости, — олицетворением всего *человечного*, что несла и несет в себе русская творческая интеллигенция, теперь столь редко о себе напоминающая.

* * *

Память хранит много на первый взгляд мелочей в нашем общении с В. Ф. Асмусом: и то, как на каждом семинаре, внимательно прослушав очередной доклад, он умел найти в любом из нас нечто созвучное строю высокой философской культуры, и каким необыкновенно простым он был у себя дома, в Переделкине, и то, как мы, почему-то смущаясь, готовились поздравить с рождением сына нашего учителя, в то время всего лишь 60-летнего...

* * *

Главное же, о чем автор этих строк, раз струсивший, а потому в этой жизни «случившийся совсем не так», рискнул поведать читателю, — это напоминание об Уроке Асмуса:

Философа нельзя научить общими лекциями, семинарами, зачетами и экзаменами. Отучить от философии можно. Философ же прорастает в человеке сам, но только в том человеке, кто рискнул на безоглядное и трудное общение со своим настоящим Философом, а затем и со всеми другими, трудом своей мысли навсегда укоренившими себя в философии.

Нам повезло — тем немногим, кого я здесь вспоминал, многим, кого не вспомнил, еще более многочисленным, кого не лично знал, но кто учился у Валентина Фердинандовича Асмуса: у самого начала нашего пути мы встретили пробудившего нас настоящего, а некоторые из нас — и своего — Философа.

Г. А. Заиченко

«Философами не назначают...»

Звучание философского слова, как и звучание музыкального, поэтического слова, может быть гармоничным, исповедально истинным, но может быть и фальшивым, лукавым, бесовским. Слово философа, независимо от того, произнесено оно или запечатлено в письменных текстах, своим отзвуком-откликом пробуждает либо творческие, созидательные, формирующие отзывчивость к истине и добру, либо деструктивные потенции, заложенные в человеке. У В. Ф. Асмуса был поразительный, неповторимый по своей кристальной чистоте и гармоничности философский голос. Это был и остается (поскольку он и сегодня звучит в его философском наследии) голос, выверенный по высшим критериям сознания ответственности подлинной, уникальной личности.

Становление В. Ф. Асмуса именно как такой личности еще в его студенческие годы в университете Св. Владимира в Киеве метко определил в 1917 г. В. В. Зеньковский в отзыве на сочинение Валентина Фердинандовича «Зависимость Л. Н. Толстого от Спинозы в его религиозно-философских воззрениях». Я обращаю внимание на некоторые существенные оценки, данные В. Ф. Асмусу в этом отзыве*. В нем сказано о необычайно важном: и о прекрасном зна-

* Отзыв публикуется в приложении. — *Примеч. ред.*

нии и тонком понимании взглядов Спинозы, и о несомненной самостоятельности как при анализе воззрений Спинозы, много раз бывших предметом исторического изучения, так и при анализе воззрений Л. Н. Толстого, не до конца еще изученных. Поражает цельность и последовательность высоких требований, которые еще юный В. Ф. Асмус предъявлял к себе как к исследователю в области философии. Существенные черты творческого облика В. Ф. Асмуса в полной мере получили развитие в зрелый период его деятельности, будучи дополнены новыми, не менее благородными чертами, воздействие которых посчастливилось ощутить и мне.

Одна из таких черт состояла в том, что он, став Учителем в полном и глубоком смысле этого слова, предъявлял не только к себе, но равным образом и к студентам, аспирантам и коллегам требования полного знания литературы об исследуемой философской проблеме, самостоятельности выводов, правильной и четко сформулированной методологической позиции. В этой связи я вспоминаю 1956 г., когда мой научный руководитель профессор Т. И. Ойзерман дал на отзыв В. Ф. Асмусу как первому оппоненту по планируемой защите мою диссертацию «Учение Джона Локка об эмпирическом происхождении знаний». Я был аспирантом, Т. И. Ойзерман — заведующим кафедрой истории зарубежной философии, а В. Ф. Асмус — профессором этой кафедры. Аспиранты кафедры, уже защитившие диссертации, предупредили меня о том, что если Валентин Фердинандович берет для прочтения диссертацию, то это еще не значит, что он согласится быть оппонентом. Можно себе представить, с каким волнением я ожидал оценки им моей работы...

В. Ф. Асмус был нетерпим по отношению к тому, что в известной мере можно определить, следуя Ф. Бэкону, как «идолы театра», когда защиты разыгрывались как театральные представления, герои которых лишь по канонам псевдонаучных ритуалов выглядели учеными, а на самом деле предлагали работы компиляционные, демонстрировавшие как философское невежество, так и идеологическую всеядность по отношению к переменчивому «социальному заказу». В. Ф. Асмус был непреклонен, самостоятелен в том, что не только смел, но и умел мужественно отстаивать собственные взгляды на критерии честного, глубоко профессионального служения философской науке, истине. На это тогда отваживались не-

многие. Эта принципиальная установка ярко проявилась и в 1963 г. в его словах, произнесенных на банкете в ресторане «Будапешт» в связи с успешной защитой В. В. Соколовым докторской диссертации по проблемам философии Спинозы: «В то время как другие защищают диссертации, Василий Васильевич Соколов посвятил свое исследование поиску философской истины».

Идеологически назидательных голосов, требовавших соблюдения штампов догматического марксизма, на нашей кафедре я не слышал. Духовный и нравственный климат жизни кафедры определяли В. Ф. Асмус и такие его ученики, как Т. И. Ойзерман, В. В. Соколов и некоторые другие преподаватели. В этой связи показательное отношение В. Ф. Асмуса и Т. И. Ойзермана к оценке новых толкований ряда учений Д. Локка, предложенных мною в диссертации*. Когда Т. И. Ойзерман прочел первый вариант первой главы диссертации, он сказал мне: «В отношении вашей оценки теории первичных и вторичных качеств Локка у меня возражений нет. А вот ваш новый подход к оценке локковского учения о рефлексии (внутреннем опыте) пока не обоснован, не доказан. Поэтому или обоснуйте его, или снимите как недоказанный».

Возможности свободного, но обоснованного выбора путей исследования, способов защиты методологической позиции, которые предоставляла кафедра аспирантам, были уникальными. И эту традицию кафедра в основном сохранила на многие годы и десятилетия. Этим я объясняю тот факт, что она воспитала, как бы благословила на самостоятельные философские искания таких непохожих друг на друга, ярких, самобытных философов, как М. К. Мамардашвили, Э. В. Ильенков, А. Ф. Зотов, А. С. Богомолов, А. Н. Чанышев, Г. Г. Майоров, А. В. Сёмушкин и др. В этой связи характерна доверительная беседа со мной ученого секретаря факультета в 1974 г. Вот одно его высказывание: «Когда кафедра истории зарубежной философии рекомендует диссертацию к защите, то Ученый совет всегда без колебаний, которые возникают порой в случае с ре-

* Первоначально моим научным руководителем был назначен В. В. Соколов. Но так как вскоре (во время войны Северной и Южной Кореи) он был направлен преподавателем в университет г. Пхеньяна, научное руководство моей диссертацией взял на себя Т. И. Ойзерман.

комендациями других кафедр, ставит на защиту диссертацию». В той же беседе ученый секретарь произнес такие слова: «Ну и глупцы мы были, когда, будучи слушателями (то ли Академии комвоспитания, то ли Института красной профессуры. — Г. З.), вместе с преподавателями прорабатывали В. Ф. Асмуса за неправильные взгляды».

Не могу не рассказать и о таком эпизоде. Как-то (это было в 1960 г.) я зашел в деканат к своему бывшему сокурснику по философскому факультету, зам. декана факультета В. В. Громакову, в тот день, когда на заседании Ученого совета факультета группа членов Совета «прорабатывала» В. Ф. Асмуса за речь на похоронах его друга Б. Л. Пастернака. В. В. Громаков был на этом Совете и с явной симпатией к В. Ф. Асмусу передал его слова, произнесенные на заседании: «Не мог же я плюнуть человеку в могилу!»

Насколько дикими, недоступными здравому смыслу и разуму были тогдашние идеологические проработки, я могу судить и по собственному опыту. В 1948 г. во время кампании по «борьбе с космополитизмом» партийное собрание академической группы приняло решение: «Указать Г. А. Заиченко на отсутствие у него принципиальной позиции: осуждения космополитизма». Мне инкриминировались следующие «проступки»: во время перерывов в многодневном факультетском партийном собрании, посвященном борьбе с космополитизмом, я прогуливался и беседовал с доцентом нашего факультета Шолом Мановичем Германом... На партийном собрании факультета один из ораторов сказал по поводу другого обвиняемого в космополитизме: «Он не космополит, он даже не еврей». О tempora, о mores! Кстати, за несколько лет до этого кандидатскую диссертацию Ш. М. Германа, посвященную О. Конту, В. Ф. Асмус в выступлении на Ученом совете Института философии АН СССР оценил как выполненную на уровне докторской диссертации.

Следует отдельно остановиться на творческом наследии В. Ф. Асмуса. Ряд его ключевых идей, разработок принципиальных проблем философии и истории философии актуальны и сегодня, не только несмотря на то, что философия и наука после его работ обогатились, ушли вперед, но, как это ни парадоксально звучит, именно благодаря этому. И такой вывод органично вытекает из самого духа, стиля его философских работ. Мы обеднили бы философские взгляды Асмуса, если бы оценили их только на основании таких в целом правильных, но

все же тривиальных критериев: «Без истории науки нет науки», «Без истории философии нет философии».

В истории науки, в истории философии не просто обнаруживаются неизвестные прежде или «незамеченные» идеи, взгляды, концепции, которые чисто количественно, «кумулятивно» входят в научный или философский арсенал соответствующей эпохи. История науки и история философии, взятые даже в относительно устоявшемся своем составе в каком-либо определенном отрезке времени, обладают потенциальным взрывным эффектом. Это не просто эффект обнаружения не востребовавшейся прежде классики истории науки и истории философии, а эффект кардинально нового прочтения, уже, казалось бы, усвоенной классики, прочтения, позволяющего постигнуть смысл выхода на новые проблемы, идеи, концепции. Когда такое прочтение оказывается невостребованным, можно наблюдать парадоксальную ситуацию: философская и научная мысль находится в состоянии стагнации, а мысль историко-научная и историко-философская предстает как живой, бурлящий творческими идеями оазис в сонном догматическом царстве. Этот оазис готовит пробуждение науки и философии от догматического сна. Историко-научные и историко-философские идеи и концепции В. Ф. Асмуса долгие годы и десятилетия были таким оазисом в нашей стране. Именно в связи с этим аспектом его философской деятельности я подчеркиваю актуальность ряда ключевых идей, разработок в его творчестве некоторых принципиальных проблем как историко-философской науки, так и философии.

В декабре 1955 г., дней за восемь до моей защиты кандидатской диссертации, Валентин Фердинандович в телефонном разговоре предложил мне заехать к нему на квартиру (рядом с железнодорожной станцией «Беговая») за его отзывом как официального оппонента. Когда я вошел по его приглашению в квартиру, он еще минут пять корректировал отпечатанный уже текст, затем, подписав отзыв, молча вручил его мне. Он был сосредоточен. Чувствовалось, что над ним тяготеют и другие мысли, и другие заботы. Вот эта удивительная и такая редкая в других людях черта — отсутствие празднословия — меня всегда восхищала в нем. Но он вовсе не был черствым человеком, «сухарем». В 1965 г. в Киеве во время пленарного заседания IV Всесоюзного симпозиума по логике и методологии науки он восторженно смеялся как ребенок, радуясь вместе

с большинством присутствующих саркастически-талантливому наглядному изображению А. А. Зиновьевым догматиков от диалектики, утверждающих, что диалектическая логика «преодолеывает» и даже «отменяет» формы и законы обычной формальной логики*.

А теперь вновь возвратимся к содержанию теоретических идей В. Ф. Асмуса и разработке им философских проблем. В отзыве на мою диссертацию его философские позиции нашли органическое выражение в сочетании позитивных и критических оценок. О позитивных скажу для того, чтобы оттенить позицию В. Ф. Асмуса, которая резко отличалась от преобладавшего тогда упрощенчества в историко-философских исследованиях. В большей части этих исследований упрощенчество, примитивизм предопределялись примитивизмом господствовавших методологических установок в понимании сущности философии. Из такого исторического факта, как существование в прошлом и настоящем наряду с другими и материалистических, и идеалистических теорий, делались прямолинейные выводы о том, что любые философские учения и философия в целом должны исчерпывающе оцениваться в соответствии со следующими принципами: 1) материализм — хорошо, идеализм — плохо; признание познаваемости мира — хорошо, агностицизм — плохо; 2) содержание любого философского течения, взглядов любого философа должно либо «делиться без остатка» на материализм или идеализм, либо пополам (дуализм), либо на $\frac{3}{4}$ и $\frac{1}{4}$ и т. д. Этот же принцип практически применялся и в отношении других упомянутых выше поляриностей. Но история философии, как и современная философия, богаче, многограннее, чем это предполагается данными дилеммами, в особенности вторым из упомянутых принципов, который предписывал на каждое философское слово, высказывание вешать регистрационный ярлык. В результате при оценке философских взглядов Локка утверждалось, что у него были две самостоятельные теории: материалистическая — теория первичных качеств; идеалистическая — теория вторич-

* А. А. Зиновьев начертил на доске схему устройства «машины», чем-то напоминающую мясорубку, которая, перемалывая качественно отличающиеся друг от друга природные, социальные и интеллектуальные «предметы» и содержания, превращала их в безликую «фаршеподобную» массу.

ных качеств. Таким образом, применение упомянутых выше принципов давало эффект, аналогичный эффекту «машины», описанной А. А. Зиновьевым, с той только разницей, что при этом «машина» не выдавала «фаршеподобную» массу, а искусственно, неадекватно демаркировала противоположности.

В моей диссертации такой подход был подвергнут резкой критике. А В. Ф. Асмус в отзыве написал: «Наиболее оригинальным и ценным в научном отношении результатом диссертации Г. А. Заиченко является доказательство тезиса, согласно которому учение Локка о различии и о гносеологических особенностях идей первичных и идей вторичных качеств было не только философским учением, но одновременно результатом тесной связи, существовавшей в XVII в. между гносеологией и естествознанием. Классификация идей ощущения, развитая Локком, имела целью выделить из состава идей, возникающих на основе ощущения, идеи качеств, лежащих в основе естественнонаучного понятия о мире. Понятие это опирается на объективные методы исследования, очерчивающие в предметах и процессах природы доступную точному измерению и исчислению область свойств и отношений».

Это было не только и не просто одобрением того, что мне удалось сделать (чему я был несказанно рад), но и четкой и ясной характеристикой действительно одной из важнейших задач историко-философских исследований, которую я скорее чувствовал интуитивно, чем ставил осознанно. При этом я делаю ударение на словах «одной из задач» потому, что в этом отзыве В. Ф. Асмус пишет далее о необходимости адекватного решения других задач исследования качественно многообразных генетических связей и взаимодействиях философского и научного знания. Именно в связи с последними в отзыве были сделаны замечания по поводу недостатков диссертации. Они представляют интерес не только потому, что касаются характера преемственности между философскими взглядами Д. Локка и И. Канта, но и потому, что проливают дополнительный свет на понимание В. Ф. Асмусом философии Канта — одной из самых высоких и труднодоступных вершин истории мировой философской мысли.

Характеризуя недостатки моей работы, он, в частности, писал: «То обстоятельство, что автор ограничил свое исследование анализом учения Локка о происхождении идей, не вдаваясь в исследование учения Локка об истине, привело к тому,

что, правильно отмечая *номиналистический* характер учения Локка об идеях, автор лишил себя возможности развить характеристику учения Локка об истине как учения *концептуалистического*. Автор склонен несколько недооценивать ту роль, какую идеи философии Локка сыграли в формировании теории познания Канта. Как раз концептуализм Локка получил продолжение и развитие в гносеологии Канта». Я полагаю, что сорок лет тому назад надо мною в какой-то мере тяготело предубеждение по отношению к такому «изму», как агностицизм, который в ритуально-догматических официальных оценочных суждениях определялся только со знаком «минус». Но сегодня я лишь отчасти объясняю этим свое стремление увести в «безопасное место», подальше от агностицизма Канта, философию Локка. Из психологических мотивов, причин ошибок в оценке философов часто немаловажную роль играет «безоглядная философская любовь» к тому мыслителю, идеи которого становятся предметом творческого увлечения. Видимо, эта «любовь» настигла и меня. Но именно Валентин Фердинандович преподал мне не только в отзыве, но и в тех своих работах, где он вел речь о Канте, урок того, как необходимо сочетать «философскую любовь», восхищение мыслителем и трезвый объективный подход в его оценке.

Продолжая тему «Локк и Кант», В. Ф. Асмус в отзыве указал как на недостаток на слишком категорическое противопоставление гносеологических корней агностицизма Локка и агностицизма Канта. В моей работе был выдвинут тезис, согласно которому у Локка уступка агностицизму есть лишь выражение гносеологических трудностей старого материализма, в то время как у Канта (и у Юма) агностицизм является сознательной антиматериалистической антитезой. По поводу этого тезиса В. Ф. Асмус писал: «Это — безусловное упрощение вопроса и потому не совсем точное его решение. Агностицизм Канта — явление сложное, и в нем отражаются различные тенденции философии Канта. Агностицизм Канта только отчасти был результатом стремления утвердить права веры — за счет знания. Одновременно с этим агностицизм Канта был результатом и тех трудностей, перед которыми в эпоху Канта пасовала научная мысль».

Поясняя сказанное, В. Ф. Асмус обратил внимание на то, что провозглашение Кантом в «Критике способности суждения» положения о непознаваемости для «науки об органиче-

ской природе» принципа целесообразного строения организмов является результатом не только прямой «сознательной антиматериалистической антитезы», но и действительной неспособности современной Канту науки об органической природе объяснить на основе науки и ее механистического метода несомненный факт целесообразного строения организмов.

В «Очерках истории диалектики», вошедших в первый том «Избранных философских трудов» В. Ф. Асмуса и впервые увидевших свет еще в 1924 г. в Киеве, в главе, посвященной диалектике в философии Канта, Валентин Фердинандович раскрывает, как я полагаю, секрет своего тонкого проникновения в самые сокровенные реальные и потенциальные глубины философской мысли классиков истории философии. Он пишет о логике вещей, сплошь да рядом ведущей мыслителя к открытию таких истин, настоящего значения которых он еще не в состоянии предугадать, поскольку плодотворность системы идей заключается в тех истинных мыслях, которые в ней могут вычитать если не современники, то по крайней мере дальнейшие поколения. И он владел в совершенстве этим искусством вычитывания не только с точки зрения своего времени, но и с точки зрения философских исканий в будущем. Справедливость последнего высказывания я постараюсь подтвердить на примере его оригинальных подходов к решению проблем связи и различий теоретико-познавательных программ эмпиризма и рационализма, связи и различий обычной (формальной) и философской логики.

Учитывая обоснованность сделанных В. Ф. Асмусом критических замечаний в адрес моей диссертации, я обдумывал его работы, изучал работы тех философов, которые полностью или частично восприняли стиль философского мышления Валентина Фердинандовича, писал о полученных мною выводах. В работе «Джон Локк» (1973 и 1988), а также в тезисах «Уточнение основных гносеологических позиций Дж. Локка», направленных на XVIII Всемирный философский конгресс (1988), я следующим образом истолковал положение дел с разработкой историко-философской проблемы связи и различия программ эмпиризма и рационализма и ее значения для современной философии. В противовес господствовавшей в литературе тенденции акцентировать различие упомянутых выше программ В. Ф. Асмус, а уже вслед за ним и И. С. Нарский и В. В. Соколов обратили внимание на особую важность

исследования поисков выхода из теоретико-познавательных тупиков в этих противоположных направлениях: рационалисты искали выход в изучении роли и содержания знания эмпирического, чувственного, а эмпирики — в изучении роли и содержания знания теоретического, рационального. Игнорирование этой реальной черты рационализма и эмпиризма порождало упрощенную, а потому и ошибочную картину их различий, связей и совпадений. И эмпиризм, и рационализм содержали в себе больший «удельный вес» истины, чем заблуждения, вопреки тому, как это представлялось в традиционных историко-философских и философских работах. Эмпирическая «составляющая» рационализма и рационалистическая «составляющая» эмпиризма — не «деревянное железо». Своеобразие вычитывания В. Ф. Асмусом различий и совпадений эмпиризма и рационализма состояло не в том, что «снимались» различия, противоречия между ними, а в том, что качественно по-новому определялись и их содержание, и их «границы». Это заодно давало ключ к объяснению предпосылок кантовского синтеза эмпиризма и рационализма. А вычитывание, видение будущих поворотов философской мысли при решении этой проблемы я усматриваю в высказанной В. Ф. Асмусом идее динамики, невозможности ни в истории философии, ни в современной философии, ни в последующем развитии философской мысли установить окончательные границы и совпадения в чувственном и рациональном, в эмпирическом и теоретическом знании.

Велико значение идей В. Ф. Асмуса, связанных с оценкой как истории проблемы соотношения формальной и философской логики, так и современных и возможных будущих решений этой проблемы. Два краеугольных камня, на мой взгляд, лежат в основе его философского и научного подхода к решению этой проблемы: первый — признание одновременно и автономного, и исторически изменяющегося статуса содержания и границ формальной логики как безусловного нормативного канона правильного мышления; второй — признание органической связи самосознания формальной логики (включая и современный ее этап — математическую логику) с философско-методологической рефлексией, равно как и невозможность для любой заслуживающей доверия теоретической философии определить свой статус без логической рефлексии в отношении собственной компетенции.

Если уж стремиться к точности в характеристике реальной компетенции логики и философской методологии наших дней, то позволим себе утверждение: без учета того, что было исследовано и обобщено по этой теме В. Ф. Асмусом (в особенности в книге «Иммануил Кант», в статье «Учение Гегеля о правах и пределах формального мышления» и во вступительной статье к книге Шарля Серрюса «Опыт исследования значения логики»), правильное решение этой задачи невозможно. «Трансцендентальная логика» Канта, проблемы логического в диалектике Гегеля, по сути дела, как он показывал, были не обоснованием двух — «низшей» и «высшей» — логик, а раскрытием исторических этапов корреляции, взаимообусловленности одной (на разных этапах развития) логики и ее философского фундамента. Диалектическая логика, философская логика, «трансцендентальная логика» в буквальном смысле — не логики.

В 1963 г. на том же банкете, на котором В. Ф. Асмус произнес в адрес В. В. Соколова слова одобрения, я предложил поднять тост за успехи провинциальных философов. (В 1956 г. я вынужден был по семейным обстоятельствам покинуть Москву.) Валентин Фердинандович мне тогда возразил: «Не бывает столичных или провинциальных философов. Философ или есть или его нет, где бы он ни проживал!» Вещие слова. Они запали в душу всем присутствующим. В прошлом году в конце статьи, направленной в киевский философский журнал, я написал: «Философом невозможно назначить, как невозможно назначить человеком». Так, спустя десятилетия, в памяти моей вновь зазвучал голос настоящего философа и настоящего человека, Валентина Фердинандовича Асмуса.

Ф. Х. Кессиди

В. Ф. Асмус как историк античной философии

Начну с запомнившегося эпизода. Где-то в конце 1946 г. на заседании Ученого совета философского факультета утверждались темы диссертаций и научные руководители аспирантов. Дошла очередь и до меня, аспиранта кафедры истории западноевропейской философии, заведующим которой по совместительству был профессор В. И. Светлов, заместитель министра высшего образования СССР. Так как темой моей будущей диссертации была «Философия Гераклита Эфесского», то один из членов Совета предложил в качестве моего научного руководителя известного антиковеда Валентина Фердинандовича Асмуса. Однако профессор З. Я. Белецкий, который тогда заведовал главенствующей кафедрой факультета — кафедрой диалектического и исторического материализма, отклонил кандидатуру В. Ф. Асмуса как приверженца «меньшевистствующего идеализма».

В гнетущей политической атмосфере тех лет отклонение профессором Белецким кандидатуры В. Ф. Асмуса, не потребовавшее какого-либо обсуждения, было принято. В результате моим научным руководителем стал профессор Марк Петрович Баскин — человек эрудированный, читавший для старшекурсников курс истории социологических учений, но к античной философии имевший отдаленное отношение.

Как известно, трактовка философии и ее истории в бывшем СССР была крайне политизирована. Иначе говоря, на философию распространялся принцип партийности, т. е. требование рассматривать и расценивать расхождения и борьбу философских направлений, а также течений как выражение борьбы классов, столкновение их политических и экономических интересов.

«Партийность философии» стала стандартной формулой, требовавшей от каждого мыслителя прошлого ответа на вопросы о двух сторонах «основного вопроса философии» (что первично, что вторично, а также — познаваем мир или непознаваем), причем независимо от того, задавался ли, так сказать, «подследственный» философ этим «основным вопросом» или нет. Далее выяснялось отношение данного философа к диалектике и метафизике (в марксистском понимании этих терминов) и, само собой разумеется, устанавливалось и его социальное происхождение, классовая или сословная принадлежность.

Сказанное относительно прокрустова ложа «партийности философии» особенно характерно для сталинского периода истории СССР. В постсталинский же период ориентация на «классовость, партийность» философии сохранилась, но уровень ее соблюдения несколько снизился. В 60-е гг. раздавались даже отдельные голоса о неприемлемости дихотомии материализм — идеализм в отношении ранней греческой философии. Но эти голоса тонули в общем хоре политизации философии.

Понятно, что в условиях сурового тоталитарного режима в его коммунистической разновидности философия стала, в сущности, служанкой политики партии ВКП(б) — КПСС. Во всяком случае, нередко она рассматривалась как политика, перенесенная в область общих представлений и понятий.

Отмеченная политизация сказалась и на истории античной философии, хотя в сравнительно меньшей степени, чем на истории последующих веков, особенно новейшего периода всемирной истории. Тем самым даже в период патологического по жестокости сталинского режима у антиковедов имелась известная степень свободы в толковании античной философской мысли, разумеется, в рамках упомянутого трафарета (материализм — идеализм, диалектика — метафизика).

Проиллюстрируем это на примере творчества В. Ф. Асмуса.

Творчество это многогранно. Оно охватывает почти всю историю философии (античность, новое и новейшее время), логику, эстетику, литературу и искусство, культурологию. Мы ограничимся лишь трактовкой В. Ф. Асмусом античной философии, основываясь преимущественно на его труде «Античная философия»^{*}.

Рассматриваемый труд, предназначенный в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов философских факультетов и отделений университетов, начинается с констатации того факта, что античная философия интенсивно развивалась свыше тысячи лет, с конца VII в. до н. э. вплоть до VI в. н. э. Вместе с тем отмечается, что античная философия представляет собой единое и своеобразное целое, не изолированное от истории мировой философской мысли. В последнем случае речь идет об известном влиянии на формирование древнегреческой науки и философии достижений древневосточных народов, главным образом вавилонян и египтян, в различных областях научного знания и зачатков философии.

Говоря о научных знаниях народов Древнего Востока, В. Ф. Асмус замечает, что эти знания, возникшие из практических нужд, носили характер рецептов (рекомендаций) без «сколько-нибудь детального теоретического и логического обоснования» («Античная философия», с. 4). Напротив, совершенно иное мы наблюдаем у древних греков, отличавшихся исключительной восприимчивостью и многосторонней природной одаренностью, поразительной склонностью к «*обоснованию*» выдвигаемых или используемых положений» (там же, с. 4–5; см. также: с. 20).

Исходя из национального характера древних греков, их любви к борьбе, состязанию, соревнованию (см. с. 9), а также их умственной одаренности, обусловившей динамичность, «чрезвычайную интенсивность и быстроту философского развития» (с. 11), словом, принимая во внимание талант греков и их любовь к борьбе мнений как оптимальному методу постижения истины, В. Ф. Асмус констатирует следующий исторический факт: «И для науки древних греков, и для античной философии

^{*} Асмус В. Ф. Античная философия. М.: Высшая школа, 1976. Изд. 2-е, дополненное.

характерно обилие почти одновременно возникавших научных гипотез и типов философских учений» (с. 5).

При этом он дает данному факту следующее толкование: «...При рано возникшей острой научной пытливости древние греки могли удовлетворять ее только в тех условиях и границах, которые предоставляло им слабое развитие техники и почти полное отсутствие эксперимента» (там же)*. Отсюда и основной способ научного исследования, *наблюдение*, а также исключаящие «экспериментальную проверку *аналогия* и *гипотеза*» (там же). Сказанное представляется более или менее убедительным, когда речь идет о научных гипотезах и аналогиях, но никак не распространяется на обилие философских учений, гипотез и аналогий, будь то древность или современность. Ведь ни одно из них не сумело экспериментально обосновать (доказать, подтвердить) правильность, истинность отстаиваемых идей, концепций. По-видимому, не удовлетворенный социально-экономическим объяснением феномена многообразия научных и философских гипотез и теорий, В. Ф. Асмус предлагает также гносеологическое объяснение этому феномену, более близкое, на наш взгляд, к истине. Он пишет: «Так как при разработке гипотезы мысль идет от действия к его причине, а одно и то же действие может вызывать

* Диспропорция между необычайным расцветом теоретического мышления у греков и относительно низким развитием техники, технологии и отсутствием эксперимента, на наш взгляд, не имеет, в сущности, никакого отношения к дешевой рабочей силе рабов, не говоря уже о якобы пренебрежительном отношении свободных граждан (в том числе рабовладельцев) греческих полисов к физическому труду.

Диспропорция, о которой идет речь, во многом объясняется тем, на что сам В. Ф. Асмус обращает внимание, а именно фактом, что зачатки научных знаний у народов Древнего Востока носили прикладной характер. Иначе говоря, любое решение какой-либо проблемы, дававшее практически приемлемый результат, считалось достаточным «без сколько-нибудь детального теоретического и логического обоснования», говоря словами В. Ф. Асмуса. Принципиально иное, согласно Асмусу, мы наблюдаем у греков — их «поразительную склонность к обоснованию выдвигаемых или используемых положений».

Стало быть, изначальные, обусловленные историческими и генетическими предпосылками ценностные ориентации греков и народов Древнего Востока (у которых, кстати, дешевой рабочей силы было не меньше, чем у эллинов), существенно разнились между собой.

ся *различными* причинами, то в условиях невозможности экспериментальной проверки в умах различных мыслителей, принадлежащих к высокоодаренному народу, возникали различные гипотезы об одних и тех же явлениях природы» (там же), а стало быть, и разнообразие типов философского объяснения мира (безотносительно, добавим мы, к «экспериментальной проверке»). Последнее обстоятельство «сделало античную философию школой философского мышления для всех последующих времен» (с. 6).

Обращает на себя внимание раскрытие В. Ф. Асмусом содержания ритуальной формулы — «Древнегреческая философия как идеология рабовладельческого общества» (с. 18–22), предпосланной в качестве Введения ко всей греческой философии.

В отличие от многих советских историков философии и обществоведов, проф. Асмус едва ли не сводит на нет защиту греческими философами классовых интересов рабовладельцев, к числу которых они обычно принадлежали. Автор «Античной философии» пишет, что, хотя в области своих общественно-политических, этических и педагогических учений греческие философы выражали интересы господствующего класса, тем не менее в разработке даже этих учений, а особенно «основ философского мировоззрения, древние греки создали учения, высоко поднимающиеся над тесным историческим горизонтом рабовладельческого общества...» (с. 21).

Придерживаясь умеренной марксистской методологии в исследовании развития философских идей и учений, В. Ф. Асмус стремится выйти за рамки этой методологической догмы. Он неоднократно ссылается на исключительную природную одаренность греков, которая обусловила необычайное развитие их культуры, в том числе философии. В. Ф. Асмус отмечает изначальную ориентацию греков на отвлеченные проблемы (в особенности на космологические), наблюдаемую у ранних греческих философов. Говоря о поисках последними «первоначала» всего сущего, он, следуя сложившейся традиции, называет их «материалистами», хотя приводимый им исторический материал свидетельствует об условном характере деления греческих мыслителей до Демокрита и Платона на «материалистов» и «идеалистов». Так, характеризуя воззрения милетских философов, Валентин Фердинандович пишет, что «они понимали первовещество не как мертвую

и косную материю, а как вещество, живое в целом и в частях, наделенное душой и движением» (там же, с. 24; см. также: с. 25, 26).

Характеризуя диалектику Гераклита, его учение о всеобщем движении и изменении, а также о борьбе противоположностей, В. Ф. Асмус показал, что из факта движения и непрерывного изменения вещей эфесец сделал вывод о противоречивом характере их существования. Сказанное означает, что о каждом движущемся предмете необходимо утверждать, что «он и существует и не существует в одно и то же время» (с. 33).

Как известно, выдвинутый Гераклитом тезис подверг решительной критике Парменид из Элеи, а затем и Аристотель. Первый назвал Гераклита и его последователей «двуголовыми», а второй считал утверждение Гераклита неправомерным, если не абсурдным. Общеизвестно также, что в противоположность Гераклиту Парменид выдвинул постулат, согласно которому лишь бытие, истолкованное в аспекте непротиворечивой мысли, является истинным. И не только истинным, но также единым (чуждым множественности), вечным, неподвижным и неизменным. Этот ход мыслей делает Парменида первым антагонистом диалектики, говоря словами В. Ф. Асмуса (см. там же: с. 47, 50). Однако автор «Античной философии» замечает, что «развитая Парменидом метафизическая характеристика бытия основывалась на недоверии к той картине мира, которая доставлялась чувствами, и на убеждении о превосходстве ума над ощущениями» (с. 48). И хотя добытые на основе чувств и ощущений «мнения» являются недостоверными представлениями (т. е. лишены подлинной истинности), тем не менее они, согласно Пармениду, заслуживают изучения. Неудивительно, что некоторые «физические» воззрения, будь то догадка о том, что Луна лишь отражает свет Солнца, или же его предположение о зависимости наших чувств и нашего ума от нашей физической природы и от состояния наших телесных органов, сыграли большую роль в дальнейшем развитии научных представлений (см.: с. 49).

Далее, попытка Парменида установить строгое различие между истиной и мнением означала, согласно В. Ф. Асмусу, проведение греческим философом различия между «знанием совершенно *достоверным* и знанием, о котором можно сказать, что оно... не лишено вероятности, есть лишь *правдоподобное предположение*» (с. 50).

Проф. В. Ф. Асмус считает, что скорее в наше время, чем в какое-либо другое, стала очевидной ценность мысли Парменида о различии между знанием достоверным и знанием всего лишь вероятным. Говоря, что логика и теория познания уже давно выявили огромное значение вероятностного знания для практики и для логического мышления, автор продолжает: «Ни современная наука, ни современная техника, ни современная логика... были бы совершенно невозможны без вероятностного знания и без умозаключений и рассуждений, приводящих в результате к такому знанию» (с. 51). Понятно, что заслуги Парменида в развитии теоретического знания значительны, и поэтому вышесказанное, согласно проф. Асмусу, «трудно согласовать с категорическими утверждениями некоторых исследователей, будто Парменид был сплошным реакционером в науке и в философии» (с. 49).

Верно, Парменид был первым метафизиком, в смысле антиподом диалектики. Однако то же можно сказать о многих последующих философах, особенно о Левкиппе и Демокрите. У Демокрита (и предположительно Левкиппа) получается, что атомы — это то же истинное бытие Парменида, но раздробленное на далее неделимые материальные частицы, виды («идеи»), формы.

Знаменитые апории Зенона Элейского, вскрывшие противоречивость движения и пространства (т. е. их немыслимость), Демокрит, согласно Аристотелю (Мет., I, 4, 985 а), просто-напросто игнорировал. Проф. Асмус, не соглашаясь с последним, пишет, что «атомисты не ставят вопрос о *причине* движения атомов... движение атомов представляется им *изначальным*, свойством атомов. Именно как изначальное оно не требует объяснения причины. Но учение о движении атомов не есть и *произвольное* утверждение философа», так как «теория атомизма возникла... на основании наблюдений и некоторых аналогий», таких как наблюдения над «способностью некоторых твердых тел сжиматься» (с. 140).

На наш взгляд, эти суждения В. Ф. Асмуса могут быть оспорены: ведь у Зенона речь идет о *мыслимости* движения в непротиворечивых понятиях, а не о том, изначально движение или нет. Вместе с тем мы солидарны с В. Ф. Асмусом в том, что *научная гипотеза* Демокрита позволила *объяснить* возникновение и гибель вещей (а также бесчисленных миров) соединением и распадением бесконечного множества атомов, движущихся в раз-

личных направлениях и различающихся между собой по форме, порядку и положению в пространстве (см.: с. 140—142).

В советских академических изданиях и учебных пособиях принято было считать Демокрита «атеистом»: «Демокрит решительно восставал против всякой веры в бога... Атеизм Демокрита приводил в бешенство идеалиста Платона... В высказываниях Демокрита звучит презрение и ирония по адресу ученых, молящихся богам»*. Во второй половине 50-х гг. наряду с утверждением об *атеизме* Демокрита была предпринята попытка установления связи между теорией познания Демокрита и его представлениями об обществе, а также *признанием* абдеритом *существования бога (богов)*, хотя и не обладающего бессмертием**.

Трактовка В. Ф. Асмусом воззрений Демокрита о богах исключает совместимость «атеизма» последнего с признанием им существования бога (богов). «В учении Демокрита о богах, — пишет Асмус, — сочетаются критика традиционной религии, рационализм с пережитками религиозных и магических представлений» (с. 165).

Некоторые антиковеды считают, что древним грекам была неведома идея развития, как, впрочем, и «чувство истории», говоря словами А. Ф. Лосева. Между тем, согласно В. Ф. Асмусу, Демокрит одним из первых высказал идею развития материальной и умственной жизни, причем движущей силой этого развития он объявил нужду и осознание пользы нововведений в жизни общества***.

В этике Демокрит придерживался интеллектуалистической позиции. Или, как пишет В. Ф. Асмус, «все дурное, ошибочное в действиях человека Демокрит склонен объяснять недостатками знания: “Причина ошибки, — говорит он, — незнание лучшего”» (с. 173). И далее: «Интеллектуалистическая этика Демокрита созерцательна... По Демокриту, наибольшего уважения заслуживает невозмутимая мудрость. Невозмутимость для Демокрита — синоним “эвтюмии”, “хорошего расположения духа”, в котором он видел “цель жизни”» (там же).

* История философии. Т. 1. М., 1940. С. 116.

** История философии. Т. 1. М., 1957. С. 100—101.

*** См.: Античная философия. С. 167. См. также: Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, 1, 8, 7.

Решая в соответствии со своей интеллектуальной этикой вопрос о соотношении воспитания и природных задатков в формировании личности, Демокрит отдавал приоритет воспитанию. Отсюда и его высказывание: «Больше люди становятся хорошими от упражнения, чем от природы» (с. 171).

Общая оценка учения Демокрита, данная В. Ф. Асмусом, сводится к следующему: «...Хотя для Демокрита знание — средство устранения того, что препятствует достижению “хорошего расположения духа” (“эвтюмии”), оно еще не есть рычаг преобразования мира. Материализм Демокрита остается материализмом созерцательным» (с. 174).

Действительно, Демокрит не задумывался над преобразованием мира, ограничиваясь лишь достижением «хорошего расположения духа». Однако ему принадлежит открытие атомной гипотезы, значение которой в истории науки и техники невозможно переоценить. Эта гипотеза преобразовала мир в гораздо большей степени, чем многие восстания и политические революции.

С Сократа, точнее с софистов и Сократа, начинается решительная переориентация греческой философии с проблем космогонии и космологии на проблемы антропологические, в том числе этические, эстетические, социально-политические и т. п.

Проф. В. Ф. Асмус указывает на социально-политические предпосылки, а именно на торжество демократических порядков, в условиях которых появились так называемые софисты, платные учителя мудрости, т. е. люди, обучавшие всех желающих, особенно молодежь, различным областям знания, в том числе ораторскому искусству. Хотя софисты различались между собой по политическим и философским воззрениям, тем не менее их объединяло, как пишет В. Ф. Асмус, «утверждение относительности всех человеческих понятий, этических норм и оценок, оно выражено Протагором в его знаменитом положении: “Человек есть мера всех вещей”» (с. 99). Иначе говоря, сколько людей, столько истин. То же самое можно сказать относительно добра и зла, прекрасного и безобразного. Но ежели все суждения субъективны, т. е. нет никакой объективной истины, справедливости, правовых и нравственных норм, то отсюда с неизбежностью следует, что «все позволено», говоря словами Ф. М. Достоевского. Против релятивизма софистов и выступил Сократ.

Как известно, Сократ не оставил письменного наследия. Источниками, из которых мы узнаем о его жизни и учении, являются сочинения его учеников и друзей — Платона и Ксенофонта, его идейных противников (комедиографа Аристофана), а также сообщения более поздних авторов, главным образом Аристотеля. Так как каждый из названных авторов (особенно Платон и Ксенофонт, с одной стороны, а сатирик Аристофан — с другой) по-разному понимали и трактовали учение Сократа, то возникла проблема установления того, чему Сократ учил на самом деле. Из этого факта расхождения в свидетельствах швейцарский исследователь О. Гигон* и советский ученый И. Д. Рожанский** сделали вывод о неразрешимости «загадки» Сократа, невозможности выяснения того, чему учил древний философ.

В отличие от Гигона и Рожанского, приравнивавших сообщения Платона и Ксенофонта к «сведениям» сатирика Аристофана, В. Ф. Асмус отмечает: «Философия Сократа — не загадка, к которой нельзя подобрать ключи. В изображениях Ксенофонта и Платона может быть обнаружено нечто согласное, общее обоим, что обрисовывает Сократа как историческую личность, как мыслителя и диалектика» (с. 106—107). «Изображение Аристофана ни в коем случае нельзя рассматривать и использовать как свидетельство современника об историческом, реальном Сократе... Выведенный Аристофаном в “Облаках” Сократ — это великолепный комедийный персонаж... Сократ лжет, измышляет, как лгут и измышляют софисты, и, как они, болтает и грезит о явлениях природы» (с. 107). Словом, Аристофан «изобразил Сократа в виде шарлатана-натурфилософа» (с. 175). И если речь идет о сообщениях, которые ведут к историческому Сократу, то это — «ранние диалоги Платона» (с. 108).

Релятивизм софистов побудил (инициировал, как ныне стало модно говорить) Сократа заняться определением понятий, таких, например, как «мужество», «справедливость», «благоразумие», «прекрасное» и т.д. Определение понятия есть установление его сущности. Так, определение мужества есть нахождение общего (и объективного) для всех его частных

* Gigon O. Socrates. Sein Bild in Dichtung und Geschichte. Bern, 1947.

** Рожанский И. Д. Загадка Сократа // Прометей. М., 1972. Т. 9.

проявлений, обнаружений. Или, как пишет В. Ф. Асмус: «Сократовская диалектика есть усмотрение общего в различающемся, единого во многом, рода в видах, сущности в ее проявлениях» (с. 111). Если, стало быть, в различных проявлениях мужества имеется нечто тождественное, единое и объективно значимое, то отсюда следует, что «мужество» (как понятие) вовсе не означает, как полагают софисты, условный знак, под которым можно подразумевать что угодно, в том числе трусость, предательство, измену и т. п.

Хотя одна из заслуг Сократа, замечает В. Ф. Асмус, состояла в том, что он «дал толчок к развитию в философии учения *об общем понятии*» (с. 120), тем не менее «его интерес был сосредоточен не на области общей теории диалектики, а в области этики. Диалектика Сократа есть только пропедевтика его этических исследований» (там же). Автор «Античной философии» считает также, что «мысль Сократа о решающем значении определения понятия для этического поведения человека выражена в диалоге Платона “Протагор”» (с. 122–123).

В этом диалоге рассматривается вопрос о том, есть ли в знании сила, способная руководить людьми. Большинство людей считают, что страсть, удовольствие, скорбь, любовь, а чаще страх руководят людьми, а не знание. Сократ же отстаивает тезис, согласно которому никто не делает зла по своеволию, а лишь по неведению. Это значит, что «все есть знание: и справедливость, и рассудительность, и мужество» (с. 123–124). Указывая на этический рационализм Сократа, В. Ф. Асмус заключает: «Основная черта этики Сократа, тесно связанная с его взглядом на роль понятий, состоит в отождествлении нравственной доблести со знанием» (с. 128).

В переориентации философской мысли с космологических проблем на этические, в определении общих понятий (к которым до Сократа лишь «слегка подошел» Демокрит), в предвосхищении того, что впоследствии «Платон и Аристотель описали как двойной путь диалектического процесса — расчленение единого на многое и соединение многого в единое» (с. 122), проф. Асмус усматривает главную заслугу Сократа в истории философской мысли.

От поиска Сократом определения понятий — один шаг до основателя философии понятий, т. е. Платона, согласно которому «“сущность” вещи коренится в понятийном всеобщем»

(с. 124). Ссылаясь на высказывания Аристотеля, проф. Асмус отмечает, что Платон приписал «общему и определениям обособленное от чувственных вещей существование» (с. 125). Тем самым Платон придал понятиям («идеям») самостоятельное бытие, существование. Ясно, что идеализм Платона — закономерный результат развития философской мысли в условиях афинской демократии, которая в период жизни и деятельности Платона переживала острый кризис.

Платон — одна из самых великих фигур на небосклоне мирового созвездия мыслителей. Он был и остался одинаково влиятелен и в своей правоте, и в своих заблуждениях. Проф. В. Ф. Асмус посвятил Платону отдельное исследование, названное «Платон» (М., 1969).

В рассматриваемой работе В. Ф. Асмус отводит Платону большую главу. И не только Платону, но и Аристотелю. Оба правомерно занимают центральное положение в книге «Античная философия». Им отведено более трети этого труда. Но вот незадача: Платон и Аристотель — идеалисты, идеологические противники материализма, а тем самым (в историко-философском отношении) — недруги марксизма-ленинизма, пусть и отдаленные по времени.

Хотя Платон и Аристотель — «творцы реакционных доктрин идеализма» (с. 176), тем не менее их творчество выходит далеко за рамки как их идеализма, так и самой Античности. Или, как пишет В. Ф. Асмус, «огромная одаренность, всесторонний охват изучаемых предметов, глубина разработки делают учения Платона и Аристотеля источником влияния, далеко выходящего за рамки общества, в котором оба они жили и действовали. Этим объясняется значительное внимание, которое уделено обоим в настоящей книге» (там же).

Даже непоколебимо правоверного приверженца философского материализма не может не поражать глубина мысли Платона — этого философа понятий, виртуоза их диалектики, достигшего высот отвлеченного мышления, которые и поныне остаются непревзойденными. Платон — философ и писатель, идеалист и несравненный стилист. Он же — моралист и мечтатель, родоначальник всех последующих социальных утопий. Отсюда и привлекательность древнего философа, который всегда остается современным для всех мыслящих людей, особенно для столь разностороннего философа и ученого, а также крупного логика — В. Ф. Асмуса.

Платон выдвинул и отстаивал тезис, согласно которому умопостигаемый мир «идей» («видов», «образцов») более реален, подлинно истинен, чем мир чувственно-воспринимаемых вещей. С платоновским тезисом не обязательно соглашаться, но бесспорен тот факт, что никто на свете не ощущал, не видел общее и существенное в вещах, т. е. то единое, что их объединяет. Например, никто чувственно не воспринимает (но постигает умом, мыслью) то общее, что делает все многообразие треугольников «треугольником вообще», понятием «треугольник», парадигмой («идеей») треугольника. Общее (существенное) в вещах не менее (если не более) присуще миру, чем чувственно воспринимаемые вещи. Стало быть, идеализм (в смысле признания приоритета умопостигаемого аспекта действительности) столь же правомерен, как и материализм. Сказанное вытекает из трактовки проф. В. Ф. Асмусом учения великого Платона.

Не касаясь биографических сведений о Платоне, периодизации его сочинений и т. п., которые даны в рассматриваемой книге, отметим следующее: один из главных пунктов, на котором сосредоточивает свое внимание проф. Асмус, — это положение о том, что в учении Платона мир идей и мир вещей составляют единство. Иначе говоря, В. Ф. Асмус оспаривает распространенное среди значительной части историков философии представление о дуализме Платона, оторванности мира идей от мира вещей. Это положение отстаивается В. Ф. Асмусом и в названной монографии («Платон»), и в рассматриваемой главе «Античной философии», посвященной Платону.

Вводя читателя в сложную, но вместе с тем оригинальную теоретическую лабораторию Платона, В. Ф. Асмус отмечает прежде всего, что «идея» (εἶδος), «вид», «образец» (например, идея прекрасного) есть «сверхчувственное бытие, постигаемое одним только разумом; иными словами, прекрасное — *сверхчувственная причина и образец* всех вещей, называемых прекрасными в чувственном мире, безусловный источник их реальности в той мере, в какой она для них возможна» (с. 187). Сказанное означает, что «идеи» Платона — не абстракции, не формы человеческого сознания, а объективные сущности, созерцаемые человеческим умом (душой). «Идеи» как царство подлинного бытия первичны по отношению к миру чувственно-воспринимаемых вещей.

Несмотря на глубокое отличие «идей», особенно «идей» блага (бога), от обнимаемых ими чувственных вещей, это обстоятельство не означает «дуализма обоих миров» (с. 192). Дело в том, что мир чувственных вещей не отсечен от мира «идей»: первый «причастен» второму. Мир «идей», по Платону, противостоит миру «небытия», т. е. «материи», в рамках единства противоположностей, в котором мир «идей» составляет первичное и активное начало по отношению к сфере «материи» как начала пассивного. Чувственный мир вещей занимает «среднее» положение между сферами «идей» и «материи», т. е. каждая чувственная вещь «причастна» и к той, и к другой сфере. Вследствие этой «причастности» каждая вещь, с одной стороны, представляет собой пусть несовершенное и искаженное, но все же отображение идеи или ее подобия, а с другой — она имеет отношение к «материи» как необходимому условию пространственного обособления множества вещей и беспредельной делимости; «материя» является также «кормилицей» и «восприемницей» всякого возникновения и становления (см. там же: с. 192—193).

Заключая, проф. Асмус пишет: «Мир чувственных вещей... есть область *становления, генезиса, бывания*. Мир этот сопричастен бытию и небытию, совмещает в себе *противоположные* определения *сущего и не-сущего*» (с. 194). Предметы чувственного мира совмещают противоположные качества не случайно, а необходимым образом. Однако следует иметь в виду, что, по Платону, противоположности могут существовать и совмещаться «только для *мнения*, только для *низшей* части души, направленной на *познание чувственных предметов*. Напротив, для *разумной* части души, направленной на познание истинно-сущих “видов”, или “идей”, верховным законом будет закон, запрещающий мыслить совмещение противоположных утверждений об одном и том же предмете» (с. 218—219). Тем не менее противоречия в мыслях, возникающие при известных условиях, есть, по Платону, ценный *стимул* для познания и исследования. Иначе говоря, «платоновское понимание противоречия отнюдь не есть “логика противоречия”... Противоречие, по Платону, — чисто отрицательное условие познавательной деятельности. Оно не столько раскрывает *содержание* усматриваемой истины, сколько есть “сигнал о бедствии”, заставляющий мысль отвлечься от *мнимого* знания и обратиться к знанию истинному» (с. 220).

Нетрудно заметить, что в разгоревшихся в 60-х и 70-х гг. в советских философских кругах жарких спорах о соотношении так называемой диалектической логики и формальной логики позиция В. Ф. Асмуса сводилась к защите последней. Допустимость противоречия в суждениях, предлагаемых «диалектической логикой», говоря в духе Платона (и Асмуса), является «сигналом бедствия», признаком, указывающим «не на обладание истиной, а, напротив, на пребывание в сфере мнения, заблуждения, неистинного» (там же). Итак, совмещение противоположностей в истинно существе не означает, по Платону, допустимости противоречия в суждениях о нем.

В. Ф. Асмус показывает, что то, что порой называется иррационализмом, или мистикой (допущение противоречия в мышлении) Платона, не является таковым на деле. То же можно сказать относительно так называемого дуализма древнего философа. Для Платона мир (истинно сущее и сам чувственный мир, объемлемый «душой мира») представляет диалектическое единство противоположностей сущего и несущего, бытия и небытия, тождественного и нетождественного (иного), неизменного и изменчивого, неподвижного и движущегося, единого и многого. По Платону, истинно сущая природа «совмещает в себе единство и двойственность: она есть и неизменное, тождественное себе *бытие* и одновременно отличное от него *подобие* этого бытия в изменчивом, нетождественном мире вещей. Как отличающаяся от бытия “кормилица происхождения” она есть *небытие*, но как присущая бытию есть *сущее* небытие. Тождественное себе бытие — “идея”, начало *идеальное*; “иное”, или вечно сущее пространство, — начало *телесное*» (с. 227–228).

В рассматриваемой главе особый интерес представляют страницы, на которых отмечается, что в диалогах «Парменид», «Софист» и «Филеб» Платон подверг суровой критике выработанное им самим учение об идеях (см.: с. 228). Тем самым Платон предвосхитил знаменитые возражения, которые его ученик Аристотель высказал впоследствии против платоновской теории идей (эйдосов).

Историков философии всегда озадачивал тот факт, что Аристотель ни в одном из своих сочинений не указывает на критику Платоном его собственной теории идей, в частности умалчивает о доводе «третьего человека», который содержится в диалогах «Парменид», а также «Государство» и «Тимей». Между тем этому доводу Аристотель придавал особое значение. Поскольку

он не указывал на соавторство Платона, получается, что Аристотель «совершил плагиат». «Но такое заключение, — продолжает В. Ф. Асмус, — противоречит нравственному облику Аристотеля» (с. 232). Он полагал, что умолчание Аристотеля о платоновской самокритике объясняется «небрежностью, встречающейся порой у самого Аристотеля» (с. 233).

Согласно проф. В. Ф. Асмусу, Аристотель вовсе не оспаривал выдающегося открытия, сделанного Сократом и Платоном, а именно: идеального как сферы действительности, не менее (а по Платону, более) реальной, чем чувственно воспринимаемые вещи. Но Аристотель решительно отказывался признавать тезис Платона и его сторонников об объективном существовании мира «идей». Если «идеи», утверждал Стагирит, выражают сущность вещей, их смысл и назначение, то невозможно, «чтобы врозь находились сущность и то, сущностью чего она является» (Мет., XIII, 5, 1079 b).

Для Аристотеля, по В. Ф. Асмусу, непосредственная сущность чувственных вещей заключается в них самих, т. е. в каждом из них. Автор считает, что «на пороге теоретической философии Аристотеля мы встречаем введенное им понятие *субстанции*... Субстанцией в смысле Аристотеля может *быть только единичное бытие*» (с. 273).

Так как выдвинутое положение было (и остается) предметом расхождений среди антиковедов*, В. Ф. Асмус разъясняет

* Оспаривая положение В. Ф. Асмуса об однозначном понимании Аристотелем субстанций (сущностей) как единичных предметов, явлений, процессов, А. Н. Чанышев в своей книге «Аристотель» (М., 1987, с. 55 и след.) утверждает, что «такое понимание учения Аристотеля о сущности отражает лишь одну, и не главную, сторону дела. Склоняясь к отождествлению сущности с единичным, отдельным предметом, Аристотель на этой позиции не удерживается. Подобные сущности не отвечают такому критерию, как определимость, они не понятны, а тем самым не познаваемы разумом». В подтверждение сказанного А. Н. Чанышев ссылается на Аристотеля: «...Если ничего не существует помимо единичных вещей — а таких вещей бесчисленное множество, — то как возможно достичь знания об этом бесчисленном множестве? Ведь мы познаем вещи постольку, поскольку у них имеется что-то единое и тождественное и поскольку им присуще нечто общее»; «если же они... имеют природу единичного, то они не будут предметом [необходимого] знания, ибо [необходимое] знание о чем бы то ни было есть знание общего» (там же, с. 56). По-видимому, по вопросу об общем и единичном, сущности и явлении у Аристотеля не было полной ясности.

(впрочем, на свойственном немецкому менталитету весьма отвлеченном уровне): «Для понимания дальнейшего аристотелевского развития учения о единичном, или субстанциальном, бытии необходимо помнить, что, ведя свой анализ независимого объективного бытия, Аристотель неуклонно имеет в виду это бытие как *предмет познания, протекающего в понятиях*. Другими словами, он полагает, что существующее само по себе и потому совсем независимое от сознания человека бытие *уже стало* предметом познания, *уже породило понятие* о бытии и есть в этом смысле уже бытие как *предмет понятия*. Если не учесть это, то учение Аристотеля о бытии может показаться более идеалистическим, чем оно есть на деле» (там же).

Говоря об отличии идеализма Аристотеля от идеализма его учителя, проф. В. Ф. Асмус пишет: «...Объективный идеализм Аристотеля имеет более *рационалистический характер*. Высшее бестелесное бытие Платона — «идея» *блага*, представляющая идеализм Платона в этическом свете; высшее бестелесное бытие Аристотеля — “ум”. Бог Аристотеля — как бы идеальный величайший и совершеннейший *философ*, созерцающий свое познание и мышление, чистый *теоретик*» (с. 288).

Для объяснения столь необычайного уровня развития философского мышления, какое наблюдается у Аристотеля (да и у его предшественников), проф. В. Ф. Асмус в то время вынужден был прибегнуть к избитому стереотипу — ссылке на рабовладельческое общество. Но он более близок к истине, когда, причем неоднократно, ссылается на одаренность греков как на источник их невероятных для того (и не только того) времени достижений в сфере теоретической мысли, искусства и науки. В отличие от, если можно так выразиться, «заземленных» римлян древние греки выглядели витающими в облаках идеалистами. Римляне — «натуралисты»: они любили цирк, где происходили настоящие бои (и даже сражения) людей и зверей (не говоря уже о поединке гладиаторов) и где проливалась настоящая кровь. Греки — «виртуалисты», говоря в современных терминах: они предпочитали театр, на сцене которого совершались «виртуальные» (воображаемые) драмы, трагедии и комедии.

Аристотель — сын своего народа, среди которого зародилась и расцвела специфическая область знания, получившая у него

название «философия». Для греков знание являлось ценностью само по себе, т. е. безотносительно к какой-либо пользе. Надо полагать, что не случайно «Метафизика» Аристотеля начинается со слов: «Все люди от природы стремятся к знанию». (В наш капиталистический век более подходит формула: «Все люди (во всяком случае, большинство) стремятся к наживе».)

Если исключить из «Античной философии» эпизодические ссылки автора на пресловутое «рабовладельческое общество» — этот универсальный «ключ» ко всем «тайнам» Античности, то нетрудно заметить стремление автора к адекватной и основательной трактовке древнегреческой философии, особенно учения Аристотеля. Складывается впечатление, что В. Ф. Асмусу наиболее близок по духу Стагирит, отличавшийся трезво-научным складом мышления, энциклопедичностью знаний и обстоятельностью, не говоря уже о его роли как родоначальника науки логики, т. е. области знания, в которой Валентин Фердинандович был (и остался) выдающимся специалистом.

Как известно, Аристотель в вопросе о рабстве не вышел за рамки предрассудков своей эпохи: он считал, что «варвары» (во всяком случае, большинство из них), т. е. не эллины, «по природе» (генетически, как принято ныне говорить) рабы, а эллины, за некоторым исключением, «по природе» свободны. Впрочем, необходимость рабства с хозяйственной точки зрения Аристотель оправдывал также отсутствием соответствующих технических устройств (автоматов), которые заменили бы труд рабов. В этой связи В. Ф. Асмус, пересказывая мысль (мечту) Стагирита, пишет: «Если бы каждый инструмент мог выполнить свойственную ему работу сам или по данному ему приказанию, либо даже его предвосхищая, если бы, например, ткацкие челноки сами ткали, а плектры сами играли на кифаре, то тогда архитекторы не нуждались бы в «рабочих», а господам не были бы нужны рабы» (с. 380).

В своем «идеальном» государстве Платон отвергал право на частную собственность как для правителей, так и для стражей, охранителей государства от внешних и внутренних врагов. Согласно Платону, частная собственность (особенно для названных важнейших сословий в государстве) служит источником непомерного усиления эгоизма людей и вызывает расслоение общества на богатых и бедных, а также другие социальные неурядицы и беды. Аристотель, как известно, придержи-

живался иного взгляда на проблему собственности. «Вразрез с Платоном, который оспаривал право на *личное* владение для стражей-воинов и даже выдвинул проект общности для них жен и детей, Аристотель выступает как сторонник индивидуальной частной *собственности*», — читаем мы у автора «Античной философии» (с. 383). И далее: «Обычно спокойный и уравновешенный, он (Аристотель. — Ф. К), говоря о собственности, поднимается до настоящего воодушевления. “Трудно выразить словами, — говорит он, — сколько наслаждения в сознании, что нечто тебе принадлежит...”» (там же).

По Аристотелю, эгоизм как любовь к себе — явление нормальное, внедренное в нас самой природой. Ненормально — чрезмерная любовь к себе. Сообразно с этим Стагирит говорил о необходимости совмещения общей и частной собственности, но с приоритетом последней. «Собственность должна быть общей только в относительном смысле, а в абсолютном же она должна быть частной» (Политика, II, 2, 1263 а 26—27). Комментируя это высказывание Аристотеля, В. Ф. Асмус замечает: «...Аристотель восхваляет результаты такого разделения: когда пользование собственностью будет поделено между отдельными лицами, утверждает он, исчезнут среди них взаимные нарекания, и наоборот, получится большой выигрыш, “так как каждый будет с усердием относиться к тому, что ему принадлежит”» (с. 384).

В отношении частной собственности и государства у Аристотеля встречаются высказывания, которые вызвали прямые аналогии с небрежным, беззаботным и беспечным («бесхозным», говоря в терминах советских времен) отношением к «общественной» (государственной) собственности. Согласно Аристотелю, «люди заботятся всего более о том, что принадлежит лично им: менее заботятся они о том, что является общим, или заботятся в той мере, в какой это касается каждого» (Политика, II, 1, 1261 b 35). Подвергая критике идеи Платона о необходимости создания чрезмерного единства в государстве, в частности обеспечения единомыслия граждан, Аристотель приходит к выводу о том, что «следует требовать относительного, а не абсолютного единства... государства. Если это единство зайдет слишком далеко, то и само государство будет уничтожено; если даже этого не случится, все-таки государство на пути к своему уничтожению станет государством худшим, все равно как если бы кто сим-

фонию заменил унисоном или ритм — одним тактом» (там же, 1263 в 30—35). (Невольнo хочется назвать Аристотеля пророком, предвидевшим распад государственного (тоталитарного) строя, в котором «единство зашло слишком далеко» и в котором, образно говоря, симфония заменилась унисоном, а ритм — одним тактом.)

Понятно, что эти «пассажи» (чтобы не сказать «выпады») Аристотеля против политического режима, напоминающего своим «нерушимым единством» бывший СССР, не прошли бы мимо бдительного ока цензора. Надо полагать, что проф. В. Ф. Асмус — человек степенный, да к тому же в свое время причисленный к «меньшевиствующим идеалистам», — опустил злободневно звучащие тексты древнего философа, дабы, что называется, не дразнить гусей, т. е. чтобы не обременять идеологические охранные органы излишней заботой об «обучении» ученых.

По сложившимся в советские (административно-директивные) времена порядкам, почти в любых книгах по общественным наукам (а подчас и по естественным и техническим), особенно в учебных пособиях, полагалось подвергать критике современных «буржуазных идеологов», а также ссылаться на те или иные выступления очередного генерального секретаря КПСС. В рассматриваемом труде ссылки на генсека нет, но изредка критика в адрес представителей «буржуазной науки» встречается, например, когда речь идет о «среднем элементе» в учении Аристотеля об обществе (или государстве). Одним из объектов критики стала здесь концепция Августа Онкена.

Манера критики Онкена столь не гармонирует с общей спокойной и степенной тональностью рассматриваемого труда; резкость тона настолько не соотнобразуется с обликом серьезного, солидного и в высшей степени интеллигентного ученого, каким был и остался в сознании научной общественности и широкого круга читателей бывшего СССР и нынешнего СНГ В. Ф. Асмус, что невольнo возникает подозрение, а не принудили ли начальники издательства «Высшая школа» проф. Асмуса поискать в своем архиве какого-либо «буржуазного апологета капитализма» в качестве, так сказать, фигуры для битья. Повидимому, таким объектом для «разноса» и оказался Онкен, писавший аж в 1902 г., однако названный «современным». Впрочем, надо заметить, что в советские времена читающая публика расценивала подобные «выпады» как ритуально-де-

журные, а потому не придавала им сколько-нибудь серьезного значения.

Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что проф. Асмус одобрительно отзывается, причем неоднократно, о западных («буржуазных») антиковедах, например о Виламовице-Мёллендорфе (буквально через две страницы после «остракизма» Онкена), а также и о других западных и русских дореволюционных философах и антиковедах (Гегеле, Целлере, Риттере, Арниме, А. Н. Гилярове, А. Ф. Лосеве, В. Я. Железнове, Кьяпелли и др.). Дело в том, что, в отличие от ученых, занятых проблемами современности, на которых принцип «партийности науки» распространялся в обязательном порядке, для антиковедов, как уже говорилось, этот принцип был не столь обязательным.

Вернемся, однако, к злободневной проблеме «среднего элемента» у Аристотеля, ограничившись его некоторыми высказываниями и трактовкой их Асмусом. «Термин “средний” означает в устах Аристотеля только средний размер имущественного состояния... Именно среднее состояние, и только оно, может благоприятствовать цели государства... <состоящей> в счастливой и прекрасной жизни и деятельности (см. Политика, III, 5, 1280 b 39 — 1281 b 2). Ни самые богатые из свободных, ни самые бедные не способны вести государство к этой цели» (с. 395).

Аристотель не додумался до такого понятия, как «экспроприация экспроприаторов», тем не менее он позаботился о том, чтобы его правильно поняли и люди не затевали такие акции, как распределение имущества богатых среди бедных. «И это “среднее” состояние, — продолжает Асмус комментировать Аристотеля, — ни в коем случае не может быть достигнуто путем экспроприации богатых бедными и посредством разделения имущества богачей. “Разве справедливо будет, — спрашивает Аристотель, — если бедные, опираясь на то, что их большинство, начнут делить между собой состояние богатых?.. Что же в таком случае подойдет под понятие крайней несправедливости?”» (там же, III, 6, 1281 b 14–26). (Живи Аристотель в первые годы большевистской власти, вряд ли бы он одобрил практику комбедов, которые как раз и были заняты экспроприацией деревенских «богачей», кулаков и так называемых зажиточных посредством разделения имущества последних среди бедных, подчас лентяев и бездельников.)

Разумеется, не одно и то же — «средний элемент» в Древней Греции и «третье сословие» в Западной Европе Нового времени или «средний класс» в современных странах с рыночной экономикой. Тем не менее трудно оспорить наличие точек соприкосновения (стыковки, как ныне принято говорить) между ними. В самом деле, «средний элемент» (сословие, класс) обеспечивает стабильность в государстве, на чем и акцентирует внимание Аристотель. Да и сам В. Ф. Асмус одобрительно ссылается на суждения Стагирита: «Аристотель находит, что государство, состоящее из “средних” людей, будет иметь и наилучший государственный строй, а составляющие его граждане будут в наибольшей безопасности. Они не стремятся к чужому добру, как бедняки, а другие люди не посягают на то, что этим “средним” принадлежит» (с. 396).

Как известно, Аристотель наилучшим политическим строем считал полицию, именно потому, что при этом строе «власть находится в руках “среднего элемента” общества» (с. 397). По Аристотелю, власть нельзя доверять ни чрезмерно богатым, ни крайне бедным: «Люди первой категории чаще всего становятся наглецами и крупными мерзавцами; люди второй категории — подлецами и мелкими мерзавцами... В результате вместо государства из свободных людей получается государство, состоящее из господ и рабов, или государство, где одни полны зависти, другие — презрения» (с. 398).

Проблема среднего имущественного класса приобрела исключительную актуальность в наши дни, особенно в России и других странах СНГ. Средний класс, обеспечивая стабильность (относительную гармонию) в обществе, является главным условием строительства гражданского общества, т.е. сферы самопроявления свободы граждан по созданию ассоциаций и организаций (экономических, культурных, национальных, религиозных и т. п.), которые независимы от государства, но взаимодействуют с ним.

* * *

«Античная философия» В. Ф. Асмуса является одной из лучших работ по древней философии, написанных за весь период существования Советского Союза. Отличительные ее особенности — это ориентация автора на объективную, непредвзя-

тую трактовку философских учений, стремление максимально опереться на первоисточники, на высказывания и суждения самих древних авторов. Капитальный труд В. Ф. Асмуса, за исключением некоторых второстепенных моментов, не утратил своей ценности и в наши дни. В суровых условиях тоталитарного режима Валентин Фердинандович Асмус оставался верен науке, ее строгости и достоинству.

А. В. Гулыга

Светлой памяти наставника и учителя

Валентин Фердинандович Асмус состоял членом Союза писателей с 1935 г. Он читал эстетику в Литературном институте им. Горького и считался признанным авторитетом в области художественного творчества. Один из его благодарных слушателей, поэт Яков Козловский посвятил ему стихи:

Время нас проверяет, как лакмус:
Чем ты дышишь? а ну, отвечай! —
Валентин Фердинандович Асмус
Пьет из белого блюдечка чай.

Кто-то хочет,
ах, гога-магога,
Чтоб земная заржавела ось.
Нынче псевдофилософов много
От большой суеты развелось.

Но спокоен он, добрый мой гений,
Не меняет под модный галоп
Ни оценок своих, ни суждений
И на звезды глядит в телескоп.

Стала б логика школьным предметом,
Но безумья он дал ей права
В день, когда над опальным поэтом
Молвил слово устами волхва.

В одиночестве слушает Баха
 Он, достойный собрат могикиан.
 Блещет мысль, избежавшая праха,
 А над нею грохочет орган.

Телескоп, упомянутый поэтом, — не метафора. До войны Валентин Фердинандович обратился в правительство за разрешением приобрести ему за границей телескоп для астрономических наблюдений. Решение принимал Молотов. Оно было положительным, телескоп был куплен в Германии и доставлен Асмусу.

Валентин Фердинандович часто бывал в Доме творчества в Переделкине. Неподалеку жил Пастернак. Поэт и философ дружили. В романе «Доктор Живаго» немало философски насыщенных страниц, несущих следы не только пребывания Пастернака в Марбурге, где он был любимым учеником Когена, но и переделкинских бесед с Асмусом.

Асмус выступил на похоронах Пастернака с проникновенной речью. По свидетельству очевидца, были там такие слова: «...До тех пор, пока будет существовать русская речь, имя Пастернака останется ее украшением». Партийное начальство в университете было недовольно. Устроили «проработку» Асмуса. Коллега Асмуса в высоких академических чинах, но с трудом произносивший слово «экзистенциализм», обвинил профессора в том, что в своей надгробной речи он не дал принципиальной критики романа «Доктор Живаго». Асмус парировал: «Вы согласитесь с тем, что публично критиковать неопубликованное произведение неприлично, это то же самое, что забираться в чужой письменный стол без разрешения хозяина. Давайте приложим все усилия к тому, чтобы напечатали роман, тогда я обещаю вам выступить с критической статьей».

Критический отзыв Асмуса значил много. Подпись Валентина Фердинандовича под рекомендацией открыла мне кратчайшую дорогу в писательскую организацию. «Его рекомендует сам Асмус» — это звучало как пароль для всех — «левых» и «правых», прогрессистов и консерваторов.

Один из студентов Литинститута, начитавшийся, видимо, «Камо грядеши» Сенкевича, извлек оттуда выражение «*arbiter elegantiarum*» и предложил называть так Валентина Фердинандовича. Он хотел польстить профессору, но ошиб-

ся: Асмус, когда прозвище дошло до него, остался недоволен. Очередную лекцию он посвятил различию между внутренней и внешней красотой, прекрасным и красотью. Петроний, автор «Сатирикона», заботящийся о складках своей тоги, Дориан Грей, умеющий неподражаемо завязывать галстук, — герои снобизма, и не у них мы ищем идеал красоты. Слова «*arbiter elegantiarum*» не были произнесены, но было ясно, куда клонит профессор.

На следующий день состоялось собрание (то ли комсомольское, то ли партийное, то ли профсоюзное). Повестка дня — борьба с космополитизмом, с преклонением перед иностранщиной (дело было в 50-е годы). Выступавшие затруднялись привести примеры этого порока из собственной жизни. И вот берет слово студент, придумавший называть Асмуса «*arbiter elegantiarum*», говорит о недопустимости сравнения советского ученого с жалким вырожденцем Древнего Рима времен упадка и предлагает раз и навсегда заменить чуждое нам латинское выражение для характеристики профессора Асмуса простыми словами «законодатель прекрасного», что было с восторгом принято аудиторией, зафиксировано в решении собрания и одобрено начальством как должная мера самокритики.

Асмус как эстетик импонировал творческим работникам своей безусловной приверженностью к художественному вымыслу. В 20-е гг. у нас, а после войны и на Западе господствовал в литературе документализм. Жизнь полна выразительных событий, задача художника фиксировать их. В будущем, говорил Лев Толстой, писатели будут не придумывать романы, а брать их целиком из жизни. Асмус почитал Толстого, не возражал против документальной прозы, но утверждал, что без вымысла, без работы воображения и здесь не обойтись. Простой репортаж о произошедшем требует умения скомпоновать материал, найти выразительные средства. Документальное искусство не брезгует преувеличением, гиперболизацией (эффект «остранения»). Ибо искусство всегда игра.

По железобетонным канонам того времени сравнить искусство с игрой было недопустимой уступкой идеализму. Искусство родилось не в игре, а в труде, якобы учили классики. И вот профессор Асмус, опираясь на Шиллера, стал объяснять, что речь идет не о детской забаве и не об азартном времяпрепровождении, а об особом способе поведения челове-

ка. И даже ставил слово «игра» в кавычки. «Эстетическая «игра» — свободная деятельность всех творческих сил и способностей человека, а порождаемый «игрой» продукт — не непосредственный предмет реальной жизни и не чистая греза воображения. Продукт игры — «видимость» — нечто идеальное (в сравнении с жизнью) и реальное (в сравнении с продукцией чистого воображения)... Характеризуя образ искусства как «видимость», Шиллер связывал образ и со сферой *чувственности*, и со сферой *идей*. При этом он не отождествлял образ ни непосредственно с чувственностью, ни непосредственно с мышлением. Как «эстетическая» видимость образ уже поднимается над непосредственным чувственным восприятием предмета. Возможность такого возвышения коренится в самой чувственности. Уже *зрение* и *слух* ведут к познанию действительности только путем видимости. В зрении, как и в слухе, материя, производящая впечатление, уже *удалена* на известное расстояние от чувственных органов, посредством которых она воспринимается. «То, что мы видим глазом, — говорит Шиллер, — отлично от того, что мы ощущаем, ибо рассудок перескакивает через свет к самим предметам». Переход от дикости к культуре сказывается в эстетической области тем, что «видимость», которая на докультурной ступени была подчинена низшим чувствам, получает самостоятельную ценность и становится предметом особого наслаждения». Я процитировал послесловие Асмуса к тому эстетических работ Шиллера, увидевшему свет в середине 50-х гг.* Не прошло и десяти лет, как стало возможным говорить вслух о первоисточнике идей Шиллера, каковой была философия Канта.

В начале 60-х гг. Институт философии приступил (впервые в истории) к изданию сочинений Канта на русском языке. Валентин Фердинандович взял на себя подготовку работ Канта по эстетике и этике. Он убедил издательских работников, что труды Канта по этике невозможно уложить в одну книгу, в результате четвертый том вышел в двух книгах, издание из шеститомного превратилось в семитомное. По инициативе Асмуса впервые на русский язык был переведен важнейший этический труд Канта «Метафизика нравов». Очень горе-

* Асмус В. Ф. Шиллер как философ и эстетик // Шиллер Ф. Собр. соч. Т. 6. М., 1957. С. 688—689. — *Примеч. ред.*

вал он, что нет возможности опубликовать трактат «Религия в пределах только разума» (это было время хрущевской оттепели, обернувшейся для церкви губительными холодами). Валентин Фердинандович доказал, однако, что первая глава трактата о религии «Об изначально злом в человеческой природе» имеет самостоятельное значение, и открыл этой работой вторую часть четвертого тома. Полностью «Религия в пределах только разума» увидела свет десятилетие спустя в составе тома «Трактаты и письма». Валентина Фердинандовича к тому времени уже не было в живых. Мы, готовившие этот том, посвятили его светлой памяти нашего наставника и учителя Валентина Фердинандовича Асмуса. Поместить на авантитул книги это посвящение нам не разрешили, оно содержится в заключительных строках вступительной статьи.

З. А. Каменский

Мужество человека и исследователя

Если считать, что научная карьера начинается с поступления в аспирантуру, то вся моя научная жизнь вплоть до кончины Валентина Фердинандовича Асмуса в 1975 г. так или иначе связана с ним.

Впервые я услышал о нем еще в студенческие годы на философском факультете МИФЛИ, где я учился в 1934—1938 гг. Тогда имя В. Ф. Асмуса дошло до меня как имя грешника, участника некоей секты, называвшейся туманным и витиеватым именем «меньшевиствующий идеализм». Что это такое, нам было не очень-то ясно. Правда, где-то во второй половине 30-х гг. Валентину Фердинандовичу было разрешено преподавать в нашем институте, но я его курса не слушал.

Окончив МИФЛИ, я поступил в аспирантуру кафедры диалектического и исторического материализма МГУ. И каков же был наш аспирантский трепет и восторг, когда в 1939 г. был объявлен для нас курс истории логики В. Ф. Асмуса! К тому времени мы, конечно, уже знали его выдающиеся работы, такие как «Диалектический материализм и логика» (Киев, 1924), «Очерки истории диалектики в новой философии» (М. — Л., 1930), «Диалектика Канта» (М., 1929) и особенно последнюю для того времени крупную его книгу «Маркс и буржуазный историзм» (М., 1933), которую уже подвергли резкой, но совершенно

бессодержательной и необоснованной критике. Можно представить себе, с каким интересом мы отнеслись к предложенному нам курсу.

Хотя Валентин Фердинандович специализировался в основном в области истории западноевропейской (античной и новой) философии, но с молодых лет он интересовался и русской мыслью. В студенческие годы, в 1918 г. в Киевском университете, он получил премию за работу о философских взглядах Л. Н. Толстого. Поэтому можно не удивляться тому, что его внимание привлекла выдающаяся находка Д. И. Шаховского, который обнаружил пять до тех пор неизвестных, похороненных в архиве III отделения «Философических писем» П. Я. Чадаева. Публикацию этих пяти писем Шаховским в 22–24 книгах Литературного наследства (М., 1935) предваряла статья Асмуса «О новых “Философических письмах” П. Я. Чадаева» — первая попытка интерпретации этого сложнейшего документа истории русской философии на основании полного его состава. Ко второму курсу аспирантуры у меня укрепился интерес к русской философии, зародившийся еще в МИФЛИ. Я не без влияния Валентина Фердинандовича и надеясь на то, что он будет моим научным руководителем, решил посвятить свою кандидатскую диссертацию именно этому интереснейшему мыслителю. В. Ф. Асмус был назначен научным руководителем моей диссертационной работы.

2 июня 1941 г. я защитил свою диссертацию (в моем архиве хранится отзыв Валентина Фердинандовича).

В конце 1942 г. я вернулся по ранению с фронта и поступил на работу в Институт философии АН СССР. Естественно, связи с В. Ф. Асмусом восстановились.

В 1942–1943 гг. завершалась работа над 3-м томом много томной «Истории философии», в котором Валентин Фердинандович принимал активное участие. По моим сведениям, он был автором глав о Канте и так называемой пореволюционной немецкой философии (И. Гербарт, А. Шопенгауэр, Ф. Бенеке, Я. Фриз, Б. Больцано, Г. Фехнер, Г. Лотце), о которой тогдашний русский читатель мало что знал. За это издание он наряду с другими участниками получил Сталинскую премию.

Мои контакты с Валентином Фердинандовичем возобновились, поскольку и он, и я участвовали в подготовке глав, посвященных истории русской философии (так называемого VI тома). Асмус писал главы по истории русской идеалистиче-

ской и религиозной философии второй половины XIX в. Даже выбор тематики исследований был в те времена поистине небезопасен. Это было проявлением гражданского мужества. Нетрудно себе представить, в чем эта опасность состояла, если иметь в виду, что материалистическая ортодоксия была тогда непременным условием всякой историко-философской деятельности. Всякому, кто эту ортодоксию — вольно или невольно — нарушил бы, грозили не просто неприятности, но и нечто гораздо худшее. С этой сложной и опасной задачей Валентин Фердинандович справился блестяще. Я уже имел случай вспоминать о том, как в военные годы мы работали над этим томом*. Асмус написал для него главы о Вл. Соловьеве, о философии в Московском университете. Однако этот том не вышел. Главы, написанные В. Ф. Асмусом, в той или иной форме были изданы — глава о Соловьеве легла в основу статьи о Соловьеве в «Философской энциклопедии», а статьи об университетской философии появились под названием «Борьба философских течений в Московском университете в 70-х годах XIX в.» (Вопросы истории (1946. № 1) и затем в книге: Асмус В. Ф. Избранные философские труды. Т. 1. М., 1969) и «Философия в Московском университете во второй половине XIX века» (Ученые записки философского факультета Московского университета. М., 1958).

Работа над «русским» томом после разгромного решения ЦК ВКП(б) о III томе (1944) «Истории философии» и удаления из Института философии фактического руководителя подготовки этого издания — Б. Э. Быховского — была остановлена. После этого была предпринята попытка другого издания, посвященного истории отечественной философии. Но В. Ф. Асмуса, как «провинившегося» в подготовке глав III тома, к составлению нового варианта книги уже не привлекали. Он оказался (в который раз!) в опале. В дальнейшем — в феврале—мае 1951 года — я посещал в университете его лекции по формальной логике. В этих лекциях по проблемам формальной логики В. Ф. Асмус большое внимание уделял историко-философским экскурсам.

* Каменский З. А. Из истории изучения русской философской мысли в 40-х годах XX века. Воспоминания. Материалы личного архива//Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры, исследования. Вып. X. М., 1992.

Более устойчивыми наши контакты стали в конце 50-х гг., когда началось издание «Философской энциклопедии». Валентин Фердинандович был членом редколлегии этого издания, ответственным за отдел западноевропейской философии, а я — научным редактором данного отдела. Все статьи этого цикла я посылал ему на прочтение и визирование, что он и делал с величайшей аккуратностью. Выступал он и в качестве автора — ему принадлежат, по моим подсчетам, 27 статей, среди них такие крупные статьи, как «Древнегреческая философия», «Аристотель», «Кант», «Фихте», «Шеллинг», «Шопенгауэр», «Рационализм», «Непосредственное знание». Вспоминается один весьма знаменательный эпизод. Известно, что на могиле опального великого русского поэта Б. Пастернака, с которым Асмуса связывала большая дружба (их частым встречам способствовало также то обстоятельство, что оба круглогодично жили в Переделкине), Валентин Фердинандович произнес речь. Это уже само по себе было актом гражданского мужества, поскольку в те времена если и говорили о Пастернаке по официальному поводу (а Асмус выступал на могиле поэта от имени Союза писателей), то только гневно-осуждающе. Валентин Фердинандович в своей вдохновенной речи высоко оценил творчество своего друга и определил его выдающееся место в истории русской поэзии. В этой связи главный редактор «Философской энциклопедии» — один из деятелей официальной партийной идеологической элиты Ф. В. Константинов поставил перед высшими партийными инстанциями вопрос об исключении Валентина Фердинандовича из числа членов редколлегии «Философской энциклопедии». К счастью для этого издания, высшее идеологическое начальство (М. А. Суслов), видимо, опасаясь неблагоприятной реакции в кругах интеллигенции, это предложение отвергло, и Валентин Фердинандович продолжил свою деятельность и в энциклопедии, и в университете, где над ним тоже сгущались тучи.

В годы нашей совместной деятельности в «Философской энциклопедии» Валентину Фердинандовичу была послана на экспертное заключение моя докторская диссертация. Судя по конечному результату, это заключение было положительным, и я очень сожалею, что согласно регламенту диссертанта не знакомят с такого рода рецензиями.

В конце 1968 г. я начал работать в Институте философии во вновь организованном секторе истории западноевропейской

философии, куда в конце 60-х гг. по совместительству был приглашен и Валентин Фердинандович. Наше сотрудничество было связано с написанием истории диалектики.

Асмус написал для этого издания главу о диалектике Гегеля, которая в книгу не вошла*. Из контактов тех лет запомнилась мне краткая беседа о моей статье «Из истории изучения советскими философами методологии историко-философского исследования» (История общественной мысли. М., 1972). В центре этой статьи — анализ полемики В. Ф. Асмуса с А. Варьяшем.

В своей статье «Спорные вопросы истории философии» (Под знаменем марксизма. 1926. № 7—8) Асмус обнаружил полемический задор, не охлажденный впоследствии идеологическими ограничениями и разносами, которые обрушивались на Валентина Фердинандовича. Несколько необычен был и сюжет — не конкретно-историческая проблема, чему было посвящено большинство его работ, а методология историко-философского исследования. Валентин Фердинандович в своей статье подвергал критике вульгарно-социологическую методологию, в то время чрезвычайно распространенную во всех исторических дисциплинах, а не только в истории философии. Он противопоставил этой методологии другую, исходившую из имманентного хода историко-философского процесса и учитывающую, конечно, и роль социально-политического фактора в этом процессе. В своей статье я был целиком на стороне В. Ф. Асмуса и, можно сказать, продолжал ту линию в области методологии историко-философского исследования, которую он наметил уже в 20-е гг. Я считал, что мы можем и в 70-е гг. извлечь из концепции Валентина Фердинандовича много полезного для научной деятельности, поскольку — если не в теории, то в практике — методология вульгарного социализма не только не была преодолена, но продолжала господствовать.

Прежде чем отдать статью в печать, я дал прочитать В. Ф. Асмусу ее машинописный экземпляр. Он одобрительно отнесся к статье, но полагал, что надо смягчить критику А. Варьяша, поскольку его позиция для того времени была обще-

* Статья В. Ф. Асмуса «Диалектика необходимости и свободы в философии истории Гегеля» впервые была опубликована в журнале «Вопросы философии». 1995. № 1. — *Примеч. ред.*

признанной, а его, Валентина Фердинандовича, хоть и более перспективной, но отнюдь не распространенной. И все же я не прислушался к его просьбе.

В начале 70-х гг. Валентину Фердинандовичу уже трудно было участвовать в систематической работе сектора. Он и в университет почти не ездил. Аспиранты, которыми он руководил, приезжали к нему в Переделкино. Ездили к нему домой и мы, давние, как я, В. М. Богуславский, В. В. Соколов, Ю. К. Мельвиль, и новые — В. А. Жучков, М. А. Абрамов, М. М. Ловчева — молодые его ученики и почитатели. У нас сложилась традиция ездить к нему в день его рождения. Традиция эта сохранилась до сих пор — в этот день, как и в день его кончины, мы посещаем в Переделкине его друга и супругу, Ариадну Борисовну Асмус.

Разумеется, я не мог в этих кратких воспоминаниях охарактеризовать все мои краткие встречи с В. Ф. Асмусом, раскрыть значение его творчества в истории отечественной философской историографии 20–70-х гг. В. Ф. Асмус — крупнейший русский историк философии этого полувека. Его творчество должно быть еще осмыслено в дальнейших серьезных исследованиях. Полагаю, что специальные исследования должны быть посвящены следующим блокам проблем: работам В. Ф. Асмуса по античной философии, и особенно философии Платона и Аристотеля, по новоевропейской философии, и особенно философии Декарта и немецкой классической философии, прежде всего Канта, по русской философской и эстетической мысли. Думаю, что каждый из этих трех циклов заслуживает не одного исследования.

В заключение хочу сказать несколько слов об особенностях характера Валентина Фердинандовича и стиле его философствования. Мне редко приходилось встречать человека, в характере которого так счастливо бы сочетались поистине олимпийское спокойствие, интеллигентность и, что особенно его отличало, — доброта. Одной из черт его характера была чрезвычайная щепетильность в отношениях с людьми.

Что же касается стиля его научной работы, то он целиком соответствовал его характеру. Поистине, человек — стиль! В самом стиле его научных работ нетрудно заметить проявление его олимпийского величавого спокойствия. На первый взгляд может показаться, что его историко-философский анализ ограничивается пересказом и сопоставлением идей.

Его нередко упрекали — особенно в 20–30-е гг. — в объективизме, т. е. в том, что он не дает на каждом шагу оценок, особенно социально-классовых и т. п. В те времена его стиль противопоставляли так называемую партийную ангажированность. Да и в наше время нередко стремятся использовать историю философии ради изложения авторских взглядов, а не идей того или иного мыслителя. Такого рода авторы зачастую сами не понимают того, что говорят, и создают видимость не всем доступной глубины, хотя являются голыми королями. Подобного самовлюбленного обмана себя и других В. Ф. Асмус никогда не допускал. То, что кажется в его работах «простым» изложением, является плодом долгого, мучительного, пристального анализа огромного материала. Понять это может лишь тот, кто смог глубоко постичь суть исследуемого мыслителя. Таким В. Ф. Асмус был в жизни, в научном творчестве. Таким он и останется в памяти и сердцах тех, кто имел счастье встретить его на своем жизненном пути.

В. А. Смирнов

Я горжусь, что был его учеником

Сейчас много пишут о российской культуре начала века и о провале в культуре в течение последующих десятилетий. На деле все сложнее. Мы не должны забывать, что наши отцы — отцы тех, кому сейчас за шестьдесят, — победили германский фашизм и создали предпосылки для преодоления тоталитаризма в России собственными силами. Были люди, которые сохранили и развили великую русскую культуру начала века. В литературе это Б. Л. Пастернак и М. А. Булгаков, в математике А. Н. Колмогоров и А. А. Марков, в физике П. Л. Капица. Труднее было в философии. Но и здесь мы можем назвать имена людей, которые сохранили настоящую философскую культуру, сумели ее развить и передать последующим поколениям. Одно из первых мест здесь принадлежит Валентину Фердинандовичу Асмусу.

Я поступил на философский факультет Московского университета в довольно мрачное время — в 1949 г. В целом преподавание философии — да и не только философии — было заидеологизировано и примитивизировано. Светлыми пятнами было преподавание логики, психологии и частично истории античной философии. Очень любопытная ситуация сложилась на кафедре логики. После разрешения преподавать формальную логику была образована кафедра логики и на ней стали работать такие выдающиеся философы, как В. Ф. Асмус, П. С. Попов, А. С. Ахманов,

Н. В. Воробьев, с 1949 г. начал преподавать Е. К. Войшвилло. Однако на кафедре доминировали «диалектические логики»; по образному выражению Н. В. Воробьева, руководство кафедры пришло с заданием разоблачить логический менделизм-морганизм. Но отрадным было уже то, что были дискуссии, открытая защита формальной логики и ее современной формы — логики математической. В период моего обучения уже не было особой группы, специализирующейся по логике. Однако мы образовали небольшую неформальную группу интересующихся логикой и организовали ряд спецкурсов и спецсеминаров. В 1952—1953 гг. Валентин Фердинандович провел спецкурс-спецсеминар под названием «Логика эпохи рационализма и эмпиризма». В работе этого спецсеминара-спецкурса участвовали мои однокурсники Е. Д. Смирнова, Ф. Т. Михайлов, И. Б. Михайлова, В. А. Козлов, я, а также студенты старшего курса Г. П. Щедровицкий и Л. Н. Митрохин. Мы изучали первоисточники, делали доклады, Валентин Фердинандович читал лекции. Были изучены произведения Галилея, Бэкона, Декарта, Локка, Юма, Лейбница. Уже само название спецкурса-спецсеминара позволило В. Ф. Асмусу оставить в стороне обязательные в то время рассуждения о социальных и классовых корнях того или иного философского учения. Валентин Фердинандович подчеркивал связь идей философии XVII—XVIII вв. с зарождением и развитием науки Нового времени. Впоследствии многие идеи, излагавшиеся в курсе, были изложены В. Ф. Асмусом в книгах о Декарте, интуиции. Но, к сожалению, не все; это прежде всего относится к оригинальной трактовке философских идей Лейбница. Я законспектировал лекции В. Ф. Асмуса о Лейбнице, но Раббот, которому я дал их на время, мне их не вернул и эмигрировал в США.

В следующем 1953/54 учебном году Валентин Фердинандович, несмотря на наши убедительные просьбы прочитать цикл лекций об И. Канта, отказался, сказав, что сейчас не время для серьезного изложения идей Канта. И вместо этого предложил спецкурс-спецсеминар под названием «Логика эпохи империализма». Несмотря на одиозное название, это было серьезное изучение философии и логики конца XIX и начала XX в. Этот спецсеминар-спецкурс был необычен. Опять были наши доклады, лекции Валентина Фердинандовича. Формальной программы не было. Я, как староста группы, должен был вечером накануне занятий позвонить Валентину Фердинандо-

вичу и сообщить ему, какой доклад будет завтра, и если не будет, то что мы хотим услышать от него. Мы делали доклады по доступным нам произведениям Гуссерля, Риккерта, Кассирера, Пуанкаре и др. Валентин Фердинандович излагал нам идеи логиков и философов, чьи произведения нам были недоступны. До сих пор помню его лекции об идеирующей абстракции Гуссерля, лекции об идеях неокантианства. Некоторые темы были необычны. Меня потрясла его лекция о логических идеях Ф. Ницше. Я думал, что у иррационалиста Ницше не может быть никаких логических идей. Но они были. Валентин Фердинандович прекрасно показал, что Ницше (как и прагматисты) во многом опирается на Дарвина. Интеллект рассматривается им как средство приспособления. Поэтому истинно то, что полезно. Сам Валентин Фердинандович был ярким интеллектуалистом. Он неоднократно говорил и показывал, что основная ценность науки, знания не в их прикладном характере, а в том, что они дают истину. Знание полезно, потому что оно истинно. Надолго осталась в памяти его лекция о Махе. Воспитанные на критике В. И. Лениным Э. Маха, мы по-новому взглянули на философию Маха, ее связь с изменениями в физике, на роль Маха в становлении теории относительности.

Первую курсовую работу я писал под руководством оригинального мыслителя Александра Сергеевича Ахманова, о котором следует говорить отдельно. Но он был уволен из университета после звонка из органов, чтобы его — в то время пожилого человека — не делали правофланговым на демонстрации. Уже после XX съезда он вернулся в университет на кафедру истории философии. Моим научным руководителем был В. Ф. Асмус. Я все больше и больше увлекался математической логикой. Валентин Фердинандович поддерживал эти стремления. После поступления в аспирантуру моим научным руководителем, естественно, стал Валентин Фердинандович. Общение с ним стало более регулярным и тесным. Он не любил рассказывать о себе. Но в памяти сохранились эпизоды, дополнительно характеризующие Валентина Фердинандовича как гражданина, глубокого мыслителя, исключительно доброго и доброжелательного человека.

На следующий день после смерти Сталина по расписанию у нас должен был быть семинар В. Ф. Асмуса. Валентин Фердинандович пришел на занятия со значком лауреата Сталинской премии, но на чье-то предложение отменить занятия в связи

со смертью Сталина — что было сделано во всех других группах — ответил отказом. На нас, студентов, это произвело неизгладимое впечатление.

Однажды, где-то осенью 1953 г., после пленума ЦК по сельскому хозяйству, я высказался скептически о возможности быстро изменить положение в деревне (я бывал в колхозах и видел, что там происходит). На это Валентин Фердинандович возразил, сославшись на опыт нэпа.

Более скептически относился он к возможности быстрых перемен в области культуры и идеологии. Уже позже, году в 1956—1957-м, я спросил В. Ф. Асмуса, не хотелось ли ему поехать в ГДР с курсом лекций. На это он ответил, что его лекции будут понимать в ГДР не раньше, чем через 20—25 лет.

Причины, по которым В. Ф. Асмус отказался читать лекции о Канте в 1953 г., понятны. Более интересно его отношение к философии Гегеля. Однажды он увидел у меня в руках томик Гегеля. «Не увлекайтесь Гегелем, — сказал он, — объективно писать о Гегеле не только вы, но, пожалуй, и ваш сын еще не сможет». Я убедился в этом недавно, комментируя статью К. Поппера «Что такое диалектика». Слишком много эмоций (у меня — отрицательных) связано с Гегелем и его последователями.

Еще один штрих. Как-то — когда «По ком звонит колокол» Хемингуэя был под запретом — Валентин Фердинандович увидел у меня машинописный текст этой книги. Его реплика: «Читаете, как мы проиграли войну в Испании?»

В. Ф. Асмус был многогранной личностью. Он внес весомый вклад в историю философии, логику, эстетику, литературоведение. Он был прекрасно знаком с современным естествознанием, увлекался наблюдением Луны, специально изучал французскую геодезическую школу. Я как-то удивился такой разносторонности Валентина Фердинандовича. Он заметил, что в наше время нельзя быть специалистом в одной области. Если нет возможности честно работать в истории философии, можно перейти в эстетику, логику. Главное — не говорить и не писать то, за что впоследствии будет стыдно. При переиздании своих работ 20—30-х гг. он не менял в них ни строчки.

Необходимо написать биографию Валентина Фердинандовича: о его учебе и жизни в Киеве, его роли в группе конструктивистов, его отношениях с Шестовым, Шпетом. Жизнь его в эти сложнейшие времена была отнюдь не простой. В на-

чале 60-х гг. на конференции по логике и методологии науки в Киеве он поведал в частной беседе П. В. Копнину и мне о послевоенной ситуации, когда повсеместно была введена логика. Однажды поздно вечером, даже ночью, к В. Ф. Асмусу приехала группа лиц, предложила одеться и ничего не брать с собой и следовать за ними. Привезли его ночью на заседание Совета министров и попросили прочитать лекцию о логике. П. В. Копнин спросил, в полном ли составе заседал Совет министров, т. е. был ли на нем Сталин. Оказывается, был. П. В. Копнин обнародовал эту историю на конференции, что вызвало некоторое неудовольствие Валентина Фердинандовича.

В. Ф. Асмус был невыездным. Он был хорошо известен за рубежом, избран действительным членом Международного института философии в Париже еще в 50-е гг., но не мог принять ни одного приглашения, так как не имел разрешения на выезд. Я помню, П. В. Копнин — тогдашний директор Института философии АН СССР — решил добиться, чтобы В. Ф. Асмус поехал на IV Международный конгресс по логике, методологии и философии науки в Бухарест (1971). Не знаю, что он предпринимал. Но вскоре он попросил меня передать В. Ф. Асмусу, что, к сожалению, ничего не получается. Валентин Фердинандович после моего сообщения сказал, что не надо расстраиваться, он больше бы сожалел, если бы это был Краков, а не Бухарест.

Сейчас многие открывают для себя российскую предреволюционную философию. Но следует иметь в виду, что предреволюционные издания не были в спецхране, их можно было читать, более того, в послевоенные годы многие из дореволюционных книг можно было купить в букинистических магазинах. Кафедра логики в обязательный список литературы для сдачи кандидатского минимума по логике включала работы Васильева, Лосского, Каринского, Введенского, Лапшина, Щербатского, Поварнина и др. Это была заслуга В. Ф. Асмуса, П. С. Попова. В 60-е гг. Валентин Фердинандович много сделал, чтобы восстановить имена репрессированных или эмигрировавших философов. Достаточно вспомнить его статьи о Шпете, Шестове. Мы не должны забывать, что Валентин Фердинандович был единственным из литераторов и философов, выступившим на похоронах Б. Пастернака.

Мне как логикуну хочется вспомнить некоторые не полностью реализованные идеи В. Ф. Асмуса. Он основательно занимал-

ся изучением неклассических логик. В частности, его интересовал вопрос о совместимости общей теории относительности и квантовой теории, возможно, за счет изменения логики. Эти идеи высказаны им во вступительной статье к книге Шарля Серрюса «Опыт исследования значения логики», переведенной им же с французского и опубликованной Издательством иностранной литературы в 1948 г. Позже он перевел с французского статьи Ж. Л. Детуша и П. Феврие-Детуш по этим вопросам. Я смог прочитать их в рукописи. Первоначально планировалось, что моя кандидатская диссертация будет посвящена поливалентным логикам (так называл Валентин Фердинандович многозначные логики), но — это было в 1954 г. — тема моей диссертации не была утверждена кафедрой и Ученым советом. Для того времени она была слишком «буржуазной».

Валентин Фердинандович поддерживал разработку математической логики, он четко определял математическую логику как современную форму логики формальной. Его заслуги в переориентации кафедры логики на логику математическую бесспорны. В 1956 г. после ожесточенной борьбы с так называемыми диалектическими логиками было сменено руководство кафедрой. На короткий период заведующим стал В. Ф. Асмус. За этот период он многое сделал для последующего развития кафедры. Но он быстро ушел с заведования, так как считал, что сделал свое дело и появилась возможность серьезной работы в области истории философии. Еще ранее, заметив, что я увлекся достаточно техническими вопросами логики, он предложил мне сменить руководителя. «Я переговорю с Андреем Николаевичем Колмогоровым, чтобы он стал вашим научным руководителем», — сказал он. Я отказался, так как полагал, что тем самым дам повод для перевода меня, да и всей математической логики, с философского факультета на механико-математический. Валентин Фердинандович согласился с моими аргументами.

В. Ф. Асмус очень своеобразно работал со студентами и аспирантами. Он давал творческий простор для работы, никогда не навязывал собственных идей, всегда стремился отметить успехи студента или аспиранта, давал возможность самостоятельно дойти до мысли, до решения поставленной задачи. Он как-то сказал, что самый хороший метод обучения аспирантов состоит в том, чтобы поручать им писать хорошие отзывы на плохие диссертации. Я знаю, что он поддержал в свое время

очень многих ныне активно работающих философов. Лично я неоднократно имел поддержку Валентина Фердинандовича: в 1954 г. он настоял, чтобы я был принят в аспирантуру (я не был членом партии, и мой отец был в плену). В аспирантуре я был достаточно агрессивен на семинаре по диалектическому материализму по отношению к так называемой диалектической логике и в результате получил тройку по диалектическому материализму, что послужило поводом к постановке вопроса о моем отчислении из аспирантуры. И только самое энергичное вмешательство В. Ф. Асмуса не позволило этому свершиться.

Авторитет Валентина Фердинандовича для меня и моих коллег был непререкаем. Приведу один курьезный пример. Однажды, когда я был аспирантом, Валентин Фердинандович заметил: «Владимир Александрович (он всегда называл и студентов, и аспирантов по имени и отчеству), вы очень много курите. Конечно, каждому человеку нужны тонизирующие средства. Я придерживаюсь такой теории: до тридцати лет нельзя ничего пить, кроме чая и кофе; после тридцати можно позволить себе бокал вина; после сорока рюмочку хорошего коньяка. Но поскольку вы очень много курите, то можете начать с коньяка». После того как я пересказал этот совет Асмуса своей жене — тоже его слушательнице, — к моему удивлению, на следующий день была куплена бутылка хорошего коньяка. Но я не последовал совету Валентина Фердинандовича, так как в то время не мог выпить рюмку коньяка один, без друзей.

Время показало, что Валентин Фердинандович Асмус был крупнейшим российским философом XX в. Мне повезло, что я слушал его лекции и имел возможность с ним общаться. Я горжусь, что был его учеником.

А. Л. Субботин

Мои встречи с В. Ф. Асмусом

В то время я, уже серьезно увлекшись философией и почувствовав потребность в систематических занятиях, хотел встретиться с человеком, который помог бы мне квалифицированным советом. Был май 1945 г. Я тогда жил в Переделкине и как-то рассказал о своих проблемах писателю Виктору Ефимовичу Ардову. «Познакомить вас с Асмусом? Он сейчас живет здесь», — предложил Ардов. Встреча состоялась на следующий день у дачи Б. Л. Пастернака. Валентин Фердинандович сидел на лавочке, рядом стоял его знаменитый телескоп. Он прежде всего поинтересовался, с какой философской литературой я уже знаком. Багаж моих знаний был невелик, но как раз тогда я читал «Этику» Спинозы и его переписку, и беседа некоторое время шла в этом русле. «Надо хорошо знать историю философии, причем по первоисточникам», — сказал Валентин Фердинандович. И добавил: «Однако для начала, чтобы ввести в круг вопросов философии, я составлю для вас список литературы, которую следует проработать». Через некоторое время я получил от него этот список. Перечислю рекомендованные им книги, так как полагаю, что наставления такого незаурядного философа и опытного педагога, каким был В. Ф. Асмус, могут быть полезны и другим начинающим философам. Прежде всего были указаны два «Введения в философию» — В. Вундта и Н. О. Лосского. Из книг по истории античной фило-

софии он рекомендовал «Первые шаги древнегреческой науки» П. Таннери, «Историю античной философии» Г. Арнима, а также «Метафизику в Древней Греции» С. П. Трубецкого и «Мораль Эпикура и ее связь с современными учениями» Ж.-М. Гюйо. С поздней античной и средневековой философией следовало ознакомиться по второй части книги А. Н. Гилярова «Философия в ее существе, значении и истории». Что же касается Нового времени, то была названа «История новейшей философии» Г. Гёффдинга (содержащая, в частности, очень ясное и логичное изложение критической философии Канта). С этой литературой, тщательно ее конспектируя, я работал более года. Но только потом, уже учась на старших курсах философского факультета, оценил, как много значило для моего образования то, что начало систематического изучения философии было положено чтением этих книг.

К сожалению, будучи целых пять семестров студентом экстерната философского факультета МГУ, я не имел возможности прослушать курс лекций по античной философии, который Валентин Фердинандович читал на факультете в середине 40-х гг. Однако когда в начале 1948 г. я перевелся на очное отделение, то сразу же попал на его лекции по логике отношений. 1947–1948 гг. можно считать переломными в логическом образовании на философском факультете МГУ, которое до этого в общем ограничивалось проблематикой, содержащейся в «Учебнике логики» для гимназий Г. И. Челпанова. В Издательстве иностранной литературы вышли сразу три книги, в которых излагалась теория современной логики: «Основы теоретической логики» Д. Гильберта и В. Аккермана, «Введение в логику и методологию дедуктивных наук» А. Тарского и «Опыт исследования значения логики» Ш. Серрюса. Последнюю перевел с французского В. Ф. Асмус, сопроводив ее обстоятельной вступительной статьей и комментариями. Об этой книге Валентин Фердинандович рассказывал мне еще до ее выхода в свет, сетуя на то, что издательство не пошло на публикацию более позднего и обстоятельного труда Ш. Серрюса — «Трактата по логике». Лекции В. Ф. Асмуса по логике отношений, как и лекции по математической логике, которые в то же время читала на философском факультете С. А. Яновская, стали первым прорывом небольшой, лишь снисходительно допускаемой официальной идеологией части нашей философии к действительно современной науч-

ной проблематике. Московских студентов начали знакомить с тем, что уже давно вошло в программы учебных заведений многих стран. Павел Сергеевич Попов в связи с этим шутил: «Неудобно, чтобы у нас не преподавали того, что преподают даже на Мадагаскаре».

Юношеские впечатления от встреч являются наиболее яркими и запоминающимися. Потом, когда общение становится привычным и обыденным, многое не сохраняется в памяти. Мои встречи с В. Ф. Асмусом сейчас, почти пятьдесят лет спустя, я помню так же хорошо, как если бы они были совсем недавно. И это, наверное, еще и потому, что первые впечатления об этом в высшей мере интеллигентном и эрудированном человеке, доброжелательном и обладавшем безошибочным чувством нового, нисколько не изменило все последующее общение с ним.

В. П. Визгин

На пути в храм философии

Год 1959. Мой роман с философией, начатый в восьмом классе московской школы ШШП (№ 665), казалось, зашел в тупик — летом 1957 г. я забрал документы, только что поданные для поступления на философский факультет МГУ, и, сев в троллейбус, повез их с Моховой на Ленгоры. Путь казался тогда невероятно долгим. Я трясся на задней подушке сиденья из грубого коричневого цвета дерматина и с трепетом перед неизвестностью предавал себя в руки новой, теперь уже химической судьбы. Как можно объяснить это внезапное решение поступать на химический факультет, когда вольное стремление сердца влекло к философии? Сейчас, задним числом, я могу объяснить это так: философский факультет тех лет не просиял для меня несомненностью своего именно философического ореола... Крепость идеологии, оплот партии и комсомола, школа для политпросветработы — да, конечно, но при чем тут философия? Мой образ философии был совсем иной, чем у В. И. Ленина и большевистской традиции. В 10-м классе я зачитывался только что изданной под редакцией М. А. Дынника книгой «Материалисты Древней Греции», где фрагменты Гераклита или фалесовская доксография говорили мне вовсе не о школьном материализме, а о том, что мир полон богов, что «сухая психея — наилучшая»... Моему отцу, настоящему коммунисту, эти «материалисти-

ческие тезисы» казались верхом «поповщины» и идеализма. И когда мне в приемной комиссии философского факультета сказали, что на собеседовании надо быть готовым к вопросам о теории Дарвина и Сеченова, то я почувствовал, что философией здесь и не пахнет... Но, с другой стороны, какая философия ждет меня посреди колб, горелок Бунзена и химреактивов?

Ситуацию в ее принципиальной основе я бы прокомментировал, используя некоторые суждения крупного русского философа XIX в. П. Д. Юркевича. Философия есть культура «системы рациональных принципов», направленная на доставление знаний об отношении души человека «к последним целям человеческой личности». В случае одностороннего специального образования молодого человека ждет именно умолчание обо всем этом, что как раз придает смысл и цену и самой специализации. «Стоит сделать усилие, — пишет русский философ, — чтобы вообразить себе, каково должно быть умственное и нравственное положение молодого человека, который со всею горячностью своего возраста и всеми своими дарованиями предался на четыре или на пять лет исключительно приобретению специальной учености, ничем ровно не напоминающей ему об его высшей личности и об условиях ее внутреннего достоинства и справедливо признаваемой им самим за полезный инструмент для добывания различных выгод в человеческом обществе»*.

Как бы то ни было, но жребий уже был брошен. Однако мысль о философском факультете не оставила меня и тогда, когда я стал студентом химфака. И однажды, это было на втором курсе, у меня созрело решение: я должен поговорить о своих сомнениях с Валентином Фердинандовичем Асмусом!

Почему именно с В. Ф. Асмусом? Я не был с ним знаком лично. Правда, некоторые книги Асмуса, например его учебник логики (издания 1947 г.), были у меня дома. Однако нельзя сказать, что я ими зачитывался. Далеко в изучении его «Логики» я не пошел. Меня привлекала другая логика — гегелевская. Ее я штудировал неотступно, с обильными выписками и с еще более обильными своими соображениями, которые сейчас, наверное, назвали бы фантастическими. Но авторитет В. Ф. Асмуса как настоящего философа был для меня не-

* Юркевич П. Д. Философские произведения. М., 1990. С. 525.

сомненным. И я должен сказать, что никого другого рядом с ним я не мог тогда поставить. Если и есть философия на этом столь мало философическом философском факультете, то это В. Ф. Асмус — он и только он! Вот в этом у меня уж точно никаких сомнений не было.

И все же часть искомого объяснения я вижу в том, что В. Ф. Асмус был историком философии, досконально знавшим ту самую немецкую классическую философию, которая наряду с греками олицетворяла для меня настоящую философию, *philosophia perennis*. Хотели мы того или нет, но формула о трех источниках и составных частях марксизма довлекла над горизонтом нашего тогдашнего представления о мире идей, в котором философ казался не гостем, а настоящим хозяином. А формула эта приписывала философское обеспечение идеологии в лице именно немецкой философской классики. Да и само слово «классика» действовало магически: мол, вот Кант, Фихте, Гегель, Шеллинг — это подлинная философия, непревзойденная ее вершина, а остальное — эпигонство, за исключением, конечно, греческой Античности. В связи с этим само немецкое происхождение В. Ф. Асмуса давало ему дополнительное очко для пропуска на философский Олимп. И вот, набравшись смелости, я сижу на диванчике на кафедре истории зарубежной философии и жду Валентина Фердинандовича, который, как мне сказали, скоро должен прийти с лекции. Второкурсник-химик, увлекшийся философией, — сюжет банальный и, должно быть, малоинтересный для такого философа, как В. Ф. Асмус. Однако Валентин Фердинандович отнесся к «страданиям юного химика» просто, сочувственно, серьезно. Более того, он сопоставил мою ситуацию, которую я перед ним кратко изложил, со своими собственными увлечениями и занятиями точными науками. Помнится, он мне говорил, что одно время интересовался астрономией и это не только не помешало его философским занятиям, но, напротив, обогатило его новым и важным для самих философских штудий материалом. Мысль Валентина Фердинандовича я могу сейчас представить таким образом: философ не может не быть «предметником» познания, так как реальное познание всегда предметно. Мышление, говоря не без оглядки на Гегеля, конкретно, и так называемая абстрактная мысль — только самая грубая и низкая стадия целостной мысли. Можно сказать, что Валентин Фердинандович повторил на свой лад известное изречение,

которое прочитывал каждый входящий в Академию Платона: «Не геометр, да не войдет!» — дав ему обобщенное прочтение: «Не знающий какой-либо науки, да не войдет!» Конечно, поскольку я пришел к нему с химфака, постольку речь шла только о естествознании. В то время престиж естественных наук, особенно физики, в общественном мнении был очень высок. Понимание значимости этих наук отразилось и на структуре философского образования. Возможно, что Валентин Фердинандович был недоволен тем уровнем, на каком преподавали студентам-философам математические и естественные науки. Изучение этих дисциплин на химическом факультете было, конечно, несравненно глубже и серьезнее. И поэтому моя попытка перейти с химфака на философский факультет могла показаться ему ошибкой.

Сопоставляя аргументацию Валентина Фердинандовича, прозвучавшую тогда при нашей с ним беседе, с моими позднейшими философско-научными «зигзагами», я их понимаю теперь как обнаружение полученного тогда импульса — путь в храм философии параболичен, не прям, философия существует не иначе как на границе с не-философией, перерабатывая ее, усваивая ее. И чем она сильнее и философичнее, тем смелее заходит в самые далекие от ее привычных границ сферы. Так и силу поэзии мы измеряем ее способностью включать самый непоэтический материал обыденности в свой мир. Такая установка, как мне сейчас это представляется, в целом верна, но имеет и свои опасности, свои рифы. Ведь нетрудно «застрять» в чужом для философии материале. Я мог «увязнуть» в своих кислотах и щелочах, упустив время и силы для наращивания профессиональной философской культуры и «мускулатуры». Думаю, что Валентин Фердинандович знал об этом риске, но не его он счел тогда главной опасностью для студента-химика, увлеченного философией. Не проникнуть ни в какое настоящее предметное знание, не усвоить никакой науки, нахватавшись верхов книжной околофилософской словесности, — видимо, эта опасность представилась ему более актуальной в случае моего перехода на философский факультет.

Тема границ философии и риска их трансгрессии слишком специальна, сложна, уводит далеко в сторону от той моей единственной, к сожалению, встречи с Валентином Фердинандовичем, которую я всегда сознавал как мелькнувший на миг проблеск магнитной стрелки в буреломной непогоде житейского

плавания. Я беседовал с ясно мыслящим, честным, серьезным, глубоким человеком, и этот подспудный нравственно-духовный импульс от пусть и не слишком долгой беседы я сохранил как, быть может, еще более важный итог и урок моей встречи с Валентином Фердинандовичем, чем та рациональная аргументация, которую он развил тогда для моего сомневающегося практического разума.

П. П. Гайденко

В. Ф. Асмус — хранитель культурной традиции

Валентин Фердинандович Асмус принадлежал к тем достаточно редким людям, встречи с которыми оставляют в душе глубокий след, определяя не только профессиональную, но, что важнее, духовную ориентацию человека. По широте своих интересов и по образованности он превосходил всех, у кого мне довелось учиться на философском факультете Московского университета. Валентина Фердинандовича отличала какая-то особая — доброжелательная — внимательность к людям: он не только охотно отвечал на вопросы студентов, но, как мне казалось, стремился понять, помимо сути вопроса, самого спрашивающего, а потому иной раз его ответы несли в себе гораздо больше того, что содержалось в вопросе, — он умел видеть тот человеческий, а не только чисто предметный интерес, который рождал вопросы.

К большому сожалению, в мои студенческие годы Валентин Фердинандович не читал лекции на нашем курсе, но он вел спецкурс на отделении логики, и некоторые из нас, студентов философского отделения, приходили его слушать. Особенно мне запомнились несколько лекций, посвященных логико-философской концепции неокантианцев. Меня поразило умение В. Ф. Асмуса ясно и доступно раскрывать содержание

и смысл самых сложных построений Когена, Наторпа, Кассирера, показывать логическую связь их понятий, а главное — давать увидеть, какие реальные, не утратившие за полвека своей актуальности вопросы логики и теории познания решали эти мыслители, опираясь на Канта, но при этом переосмысляя его учение в свете новейших открытий в математике и физике. В тот период — на втором и третьем курсах — я только что открыла для себя философию Канта, которая увлекла меня необычайно, а потому спецкурс Валентина Фердинандовича был для меня настоящим подарком — многое из остававшегося не вполне ясным при чтении «Критики чистого разума» можно было понять благодаря этим прекрасным лекциям.

Несколько лет спустя — в 1959 г. — я поступила в аспирантуру на кафедру истории зарубежной философии, где в те годы работал и Валентин Фердинандович. Он вел семинар по истории философии для аспирантов, и тут мне посчастливилось уже непосредственно работать под его руководством. Больше всего мне запомнились занятия по античной философии, которую раньше я знала довольно поверхностно. И, несмотря на то, что моя диссертация была посвящена философу XX в. — Мартину Хайдеггеру, я с энтузиазмом погрузилась в изучение Платона, творчество которого Валентин Фердинандович прекрасно знал и высоко ценил. Вспоминается такой эпизод. Как-то раз, по окончании занятий, Валентин Фердинандович сказал, что хочет пойти купить грампластинки. В то время недалеко от университета, на улице Горького, рядом с Центральным телеграфом, был хороший магазин грампластинок и музыкальных инструментов, куда порой заходила и я, чтобы пополнить свою небольшую фонотеку. На этот раз мы пошли вместе, по дороге продолжая обсуждать поднятую на семинаре тему — платоновское учение об идеях. И тут Валентин Фердинандович, отвечая на мой вопрос, насколько правомерна та трактовка идей, какую дает Наторп в своей работе «Платоновское учение об идеях», посоветовал почитать по этой теме исследование не известного мне тогда философа. «Вам не знакома книга Алексея Федоровича Лосева “Очерки античного символизма и мифологии”»? — спросил он. Я, к стыду своему, в то время еще не знала работ Алексея Федоровича. И тогда Валентин Фердинандович, как-то сразу оживившись, стал рассказывать об этом замечательном русском мыслителе, большом знатке не только античной философии, мифологии и искусства (его

трактовку платоновской идеи как «лика» В. Ф. Асмус считал глубокой и оригинальной), но и новоевропейской мысли, особенно немецкого идеализма и гуссерлевой феноменологии. Оказывается, А. Ф. Лосев живет в Москве, недалеко от университета — на Арбате, а мы, хотя и учимся на философском факультете, не знаем ни его, ни его работ!

На следующий день я уже нашла в Горьковской библиотеке «Очерки античного символизма и мифологии», а заодно и другие сочинения А. Ф. Лосева — «Античный космос и современная наука» и «Диалектика мифа». Так началось мое первое знакомство с творчеством Алексея Федоровича, открывшего мне, а потом и моим студентам, которым я всегда рекомендовала книги Лосева, целый новый мир. Несколько лет спустя, после того как я познакомилась с самим Алексеем Федоровичем, этот мир приобрел еще большую полноту и многомерность: личное общение не могут заменить никакие книги! Но первой своей встречей с творчеством А. Ф. Лосева я обязана именно Валентину Фердинандовичу. Ему же я обязана и еще одним открытием, которое, без всякого преувеличения, существенно изменило мою философскую судьбу. А случилось это так. Работая над диссертацией о Хайдеггере, я нередко вставала в тупик, пытаясь войти в совершенно новую для меня систему понятий, ключ к которой не могли дать мне прежние историко-философские представления. Моим научным руководителем был Т. И. Ойзерман. Я консультировалась и с ним, и с другими преподавателями кафедры, в том числе, конечно, и с Валентином Фердинандовичем. И вот однажды, когда мы обсуждали с ним феноменологический метод Хайдеггера и степень влияния на него Гуссерля, творчество которого он хорошо знал, Валентин Фердинандович посоветовал мне прочитать рецензию В. Э. Сеземана на «Бытие и время», опубликованную в конце 20-х гг. в эмигрантском философском журнале «Путь». Этого журнала нет в открытом доступе, сказал Валентин Фердинандович, но его можно получить в спецхране Ленинской библиотеки, оформив в деканате соответствующее разрешение.

Так я узнала об издававшемся Н. А. Бердяевым в Париже с 1925 по 1940 г. толстом журнале, в котором печатались наши русские философы, высланные в 1922 г. из страны. Я очень быстро разыскала и прочитала интересную статью Сеземана о «Бытии и времени» Хайдеггера, написанную вскоре после выхода в свет этой книги немецкого философа. И действи-

тельно, эта статья многое прояснила в той связи идей, которая составляла специфику хайдеггеровского подхода к проблемам онтологии. Но главное было даже не в этом: в журнале «Путь» я открыла такое богатство, которое осваивала на протяжении целого года; оно позволило мне многое понять не только в философской ситуации XX в. в России и на Западе, но и в нашей отечественной истории, трагические события которой лишили нас естественной преемственности в духовном развитии. Этот журнал, открытый благодаря В. Ф. Асмусу, стал для меня чем-то вроде второго университета. Отведя утром дочку в детский сад, я мчалась в Ленинку, в спецхран, где до вечера — до закрытия садика — «пожирала» один номер журнала за другим в хронологическом порядке, узнавая либо совсем мне до той поры неизвестных, либо известных лишь понаслышке соотечественников — Н. Бердяева, Н. Лосского, И. Ильина, С. Франка, Б. Вышеславцева и других. С тех пор многие годы я изучала русскую философию Серебряного века, читая те сочинения, которые можно было найти в библиотеках, а иногда получая их у знакомых, привозивших кое-что из-за границы.

С Валентином Фердинандовичем мы иногда обсуждали творчество отечественных философов. Он говорил, что хотел бы написать исследование о Льве Шестове. И действительно, спустя много лет, уже работая в Институте философии, Валентин Фердинандович прочитал интересный доклад о Шестове. Это, кажется, был последний из его докладов, который мне удалось услышать. Доклады В. Ф. Асмуса — с ними он нередко выступал и на кафедре — отличались, как и его лекции, ясностью и логической строгостью, а главное — доскональным знанием предмета, о котором ему доводилось говорить. Для меня, как и для многих моих сверстников, Валентин Фердинандович был образцом подлинного ученого, которого отличала, помимо высокой академической культуры и широкой образованности, необычайная добросовестность — качество, значение которого я по-настоящему оценила именно благодаря ему. В этом смысле Валентин Фердинандович был для многих из нас, у него учившихся, носителем той самой — прерванной на долгие десятилетия — культурной традиции, о которой, не будь таких людей, как он, мы знали бы разве что из книг.

В самом начале 70-х гг. наша семья снимала дачу в Переделкине — не в писательском поселке, а по другую сторону

железной дороги. Зная, что Валентин Фердинандович проводит лето у себя на даче, мы с мужем иногда навещали его. Впервые на даче у В. Ф. Асмуса мне довелось побывать за долго до того, еще в аспирантские годы. Мы приехали к нему, помнится, вместе с Эрихом Соловьевым и встретили у него пожилого человека с редкой, запоминающейся внешностью: невысокого, худощавого, с живыми темными глазами и длинной, почти до пояса, совершенно белой бородой. Это был, как выяснилось, Яков Эммануилович Голосовкер, чья работа «Достоевский и Кант» (1963) произвела на меня сильное впечатление. Когда гость ушел, Валентин Фердинандович рассказывал нам о нем с большой теплотой и участием. Кажется, в это время он пытался помочь Голосовкеру опубликовать что-то из его сочинений. Теперь, когда мы с мужем заходили к Валентину Фердинандовичу, он встречал нас с неизменным радушием. Мы вместе слушали музыку, обсуждали кантовское понимание разума, особенно проблему антиномий и кантовское убеждение в необходимости устранения противоречий, которое я полностью разделяла, а Валентин Фердинандович видел здесь ту границу Канта, которую философу не удалось преодолеть, за что его справедливо критиковали Шеллинг и особенно Гегель. В тот период Валентин Фердинандович как раз заканчивал свое фундаментальное исследование о философии Канта, вышедшее в свет в 1973 г., где, кстати, проблеме разума и учению о диалектике уделено большое внимание. Валентин Фердинандович много рассказывал о своем близком друге Борисе Леонидовиче Пастернаке, которого он очень любил, о последних годах его жизни, омраченных той травлей, что последовала за публикацией романа «Доктор Живаго», о тяжелой болезни Пастернака. В. Ф. Асмус был одним из тех, кто поддерживал Пастернака в эти тяжелые последние годы. Он выступил с прощальным словом на могиле поэта, невзирая на все предостережения и предупреждения, которые ему делали многочисленные «доброжелатели», намекавшие на то, что у него будут большие неприятности в университете. А мы, молодые преподаватели, так же как и многие студенты, восхищались мужеством своего учителя: те, кто помнит обстановку тех лет, понимают, что нужно было немало мужества, чтобы противостоять психологическому давлению властей, особенно если учесть атмосферу философского факультета, где В. Ф. Асмус тогда работал.

Посещение Валентина Фердинандовича всегда заряжало нас бодростью — мы уходили в каком-то просветленном настроении. Одно только омрачало это настроение: в то лето мы заметили у него тяжелую одышку — видимо, начинало сдавать сердце. Но ни разу он не пожаловался на здоровье — судя по всему, эту тему он обсуждать не любил.

К сожалению, это было единственное лето, когда мы жили неподалеку от писательского поселка. И оказалось, что эти наши встречи были последними. В начале июня 1975 г. мы провожали нашего учителя в последний путь. Был яркий летний день, все цвело и благоухало. На похороны собралось множество людей. Многие, как и мы с моей подругой Валеёй Лучиной, не могли сдержать слез. Смерть Валентина Фердинандовича воспринималась нами как личное горе, но, конечно, самым большим горем она была для близких — Ариадны Борисовны и уже взрослых его детей. На похоронах произошло событие, по тем временам достаточно драматичное, но вместе с тем и отрадное: Валентин Валентинович и другие дети Валентина Фердинандовича настояли на том, чтобы отца похоронили по христианскому обряду. Драматизм этой ситуации заключался в том, что советский философ по определению должен был быть атеистом — не только при жизни, но и после смерти. Когда появился священник и началось отпевание, то, к моему немалому удивлению, исчезли некоторые профессора, которые работали вместе с В. Ф. Асмусом в университете многие годы. Некоторые, но не все: никогда не забуду, какое прочувствованное слово прощания произнес Василий Васильевич Соколов, глубоко почитавший и любивший В. Ф. Асмуса, как достойно вел себя Серафим Тимофеевич Мелюхин, тогда декан философского факультета, от имени всего философского сообщества сумевший сказать, что значил В. Ф. Асмус для этого сообщества.

А семья Валентина Фердинандовича в тот горький день обнаружила те же человеческие качества, которые отличали его самого: благородство характера и твердость в осуществлении того, что он считал своим нравственным долгом.

В. М. Богуславский

Многогранный талант ученого

Чтобы составить представление о масштабах вклада, внесенного Валентином Фердинандовичем Асмусом в теорию и историю философии, достаточно указать на более чем 250 работ, входящих в оставленное им научное наследие. Богатство мысли В. Ф. Асмуса, ее оригинальность и глубина, широта охвата — от античной философии до течений западной философской мысли XIX и XX вв., исследования творчества выдающихся представителей русской философии и культуры, анализа проблем философии истории, эстетики, логики — таковы, что если бы этого результата удалось достичь благодаря совместным усилиям трех человек, всех их следовало бы признать замечательными учеными.

В. Ф. Асмус был не только выдающимся ученым, но и очень хорошим человеком. При царившей в стране тоталитарной идеологии, оказавшей пагубное влияние на многих ученых, особенно гуманитариев, он сумел устоять, не поддаться отвратительным идеям сталинизма: в его произведениях эти идеи совершенно отсутствуют. Когда развернулась травля Б. Л. Пастернака, с которым Асмус был очень близок, за эту свою позицию он подвергся в МГУ нападкам, но от взглядов своих не отказался. Да и до этого он неоднократно подвергался преследованиям.

Я к нему привязался сразу, как только познакомился с ним, став преподавателем Московского педагогического института (Асмус там работал на полставки). Молодой, впервые начавший заниматься преподавательской и научной деятельностью (я защитил кандидатскую диссертацию в 1941 г., за считанные дни перед тем, как отправился на фронт), я нашел в Валентине Фердинандовиче не только богато эрудированного, но и честнейшего, чуткого, заботливого наставника, друга и советника. Многочисленные беседы с ним не только очень обогащали в научном отношении, но и поддерживали морально. «Как хорошо было бы, — говорил он мне, — если бы все товарищи, с которыми нам приходится работать, были порядочными людьми». Много рассказывал он мне о страданиях, которые причиняли ему царившие в стране тоталитарные порядки.

Я горжусь, что являюсь учеником этого замечательного человека и ученого, память о котором будут долго хранить все, кому посчастливилось с ним встретиться.

А. Н. Филатова

Обаяние яркой личности

В 50-е гг. я была студенткой философского факультета МГУ, а затем и аспиранткой только что возникшей тогда кафедры логики. Университет вносил свой вклад в восстановление преподавания логики в школах и вузах страны. К 1949 г. профессорско-преподавательский состав кафедры пополнился новыми членами. Аспирантура по логике значительно расширилась. Впервые кафедра приняла сразу 10 аспирантов (среди них много выпускников нефилософских специальностей), а в следующем году прибавилось еще шестнадцать.

В. Ф. Асмус работал на кафедре логики со дня ее создания. Он был одним из старейших профессоров философского факультета, известным ученым, автором многих серьезных научных исследований, признанным специалистом в области теории познания, логики, теории и истории эстетики, литературы и музыковедения, истории философии, в том числе и русской. Последнее — специфический показатель уровня профессиональной квалификации и философской эрудиции: в то время сам факт существования русской философии вызывал сомнения; по этому поводу велись жаркие дискуссии в коллективе факультета. Между тем в действительности эта тема давно уже являлась предметом изучения. По крайней мере, в списке опубликованных трудов профессора Асмуса

значились к тому времени такие серьезные исследования, как «Философические письма» П. Я. Чаадаева», «Философия и эстетика русского символизма», «Философия в Московском университете во второй половине XIX века» и многое-многое другое.

Я не писала под непосредственным руководством Валентина Фердинандовича ни дипломной работы, ни диссертации, но слушала его лекции по логике и по истории логики, по истории философии, работала в семинаре, сдавала экзамены, участвовала в кафедральных мероприятиях — в заседаниях кафедры, в обсуждениях новых вузовских учебников по логике В. Ф. Асмуса, М. С. Строговича, К. С. Бакрадзе, в бурных теоретических дискуссиях (например, о соотношении диалектической и формальной логики) и т. д. На основе всего этого складывались собственные живые впечатления о кафедре как целом (степени ее теоретической зрелости и компетентности, уровне творческой самостоятельности коллектива, способности быть центром всей научно-педагогической деятельности в области подготовки логиков высшей квалификации), формировались лично-значимые образы преподавателей как высококвалифицированных специалистов, ярких личностей, глубоко интеллигентных, приятных в общении, принципиальных и остроумных людей. Валентин Фердинандович Асмус предстал одной из самых значимых фигур на факультете — по эрудиции, лексике, отношению к профессии, к коллегам, к человеческому достоинству, наконец, по личной привлекательности. Поражала его выдержка и способность сохранять доброжелательность в общении даже в самых сложных ситуациях.

Помню, как-то на семинаре аспирант представил в качестве собственного доклада по теме механически переписанный текст одной из рекомендованных статей. Доступной литературы по логике тогда было мало, отличить плагиат было легко, тем более что сам аспирант, не упомянув один источник, прямо выдавал себя. Многим в семинаре, и Валентину Фердинандовичу в первую очередь, сразу стало ясно заимствование. Наводящими вопросами профессор хотел помочь докладчику заговорить «своими», а не книжными словами, сформулировать основные положения доклада и тем несколько сгладить возникшее у слушателей впечатление о полной теоретической беспомощности выступающего. Но ничего не получалось. Аспи-

рант сердился. Как человек воспитанный и тактичный, Валентин Фердинандович не мог позволить себе публично заявить о плагиате, считаясь с человеческим достоинством аспиранта и с тем, что докладчик объективно оказался в трудной ситуации (у него не было философского образования, и он недостаточно владел русским языком). Асмус щадил имидж будущего научного работника и хотел, чтобы мы, коллеги этого аспиранта, поняли, что в меру сил и обстоятельств докладчик справился со своей работой. Надо было видеть, как тщательно подбирал слова руководитель, оценивая доклад, с какой осторожностью он говорил нам, что главная задача аспиранта — учиться думать и научиться самостоятельно формулировать свои мысли. Аспирант же был человеком другого склада. Выходя из аудитории, он резюмировал: «Какой странный этот Валентин Фердинандович! Как будто он думает, я могу сам написать доклад. Конечно же, я все переписал».

Дважды посчастливилось видеть Валентина Фердинандовича в сугубо бытовой, внеслужебной ситуации, где приоткрылся его эмоциональный мир. Мир человека, сохранившего детскую непосредственность восприятия и реагирования.

В конце октября 1945 г. мне, студентке первого курса, поручили договориться и в трехдневный срок принести в профбюро для Доски почета фотографии двух профессоров — В. Ф. Асмуса и М. А. Дынника — и дали их домашние телефоны. Занятия только недавно начались, этих профессоров я еще даже не видела. Поручение казалось в принципе невыполнимым: студентке звонить домой профессорам, просить у них фотографии...

К моему удивлению, все оказалось не столь сложным.

Я позвонила Асмусу и, заикаясь, объяснила про Доску почета и фотографию. И слышу: «К сожалению, Валентин Фердинандович сейчас болен, но приезжайте». Все еще со страхом еду на Зубовский бульвар, звоню в квартиру. Открывает сам Валентин Фердинандович... Приветливо, своим характерным совершенно неповторимым и незабываемым голосом предлагает пройти, просит подождать, пока он принесет фотографию.

Через открытую дверь вижу: идет в комнату, которая вся в два ряда (от стены до стены с небольшим проходом между ними) заставлена стеллажами с книгами (от пола до потолка), такими, какие устанавливаются в хранилищах библиотек. До-

гадываюсь, что это его библиотека и кабинет. Вскоре он приносит фотографию и видит, что я как замороженная смотрю на его собаку — красивую немецкую овчарку.

Овчарка и стала предметом нашего краткого разговора. Оказалось, что по утрам собака приносит ему тапочку (одну, которая специально сохраняется как игрушка) и, пока он не встал, они играют: он удерживает тапку, она <собака>, стоя на полу, рычит и отнимает. Я до сих пор помню сияние глаз, лукавую улыбку и общее приподнятое состояние духа, которые сопутствовали этому разговору.

Другой раз увидеть в быту знаменитого профессора, ученого с мировым именем, довелось несколько лет спустя, осенью 1953 г. Домой к Валентину Фердинандовичу (на Хорошевское шоссе) пришлось ехать в связи с какими-то формальностями. Он был один со своими маленькими детьми. Все трое вылитые «асмусята» — овал лица, ясные глаза, задумчивый серьезный взгляд Валентина Фердинандовича. Одного из них, сидя на детском стульчике за низким столиком, отец кормил с ложечки манной кашей, а другие крутились рядом. И опять передо мной был увлеченный человек, по-детски открытый в выражении своих чувств.

Не знаю, как было на Зубовском, но когда Валентин Фердинандович жил на Хорошевке, в университет и домой он всегда ходил пешком (полтора часа в один конец), говорил, что делал это с удовольствием. Он шел по Моховой, затем по улице Герцена, Баррикадной, через Красную Пресню и Ваганьковский мост, дальше по Хорошевскому шоссе. Расстояние немалое. Отчетливо запомнился характерный эпизод: спокойный, сосредоточенный, в пальто (довольно длинном) и в серой фетровой шляпе он неторопливо идет по Моховой в сторону Института философии.

Валентина Фердинандовича, с моей точки зрения, отличала исключительная молодость души и постоянная готовность не только принять новое, но и включиться в разработку новых проблем. Так было всю жизнь. Он умел находить проблемы, и ему удавалось их успешно разрешать. В 20—30-е гг. он увлеченно и всесторонне осмысливает проблему развития диалектического метода в новейшей философии (в подзаголовке уточняется: «От Канта до Ленина»). Впечатляющий результат этих исследований и раздумий — монография «Маркс и буржуазный историзм», книга, которую в 1973 г. (через 40 лет

после выхода в свет!) перевели на венгерский язык, а в момент издания она вызвала отрицательную рецензию и заговор молчания; приглашение беспартийного специалиста с периферии в Институт красной профессуры; долголетнее сотрудничество в журналах «Под знаменем марксизма», «Вестник Коммунистической Академии»; активное участие в философских спорах того времени, причем с таких позиций, до понимания истинного смысла которых многие теоретики тогда либо еще не доросли, либо уже так далеко зашли в своей прямолинейности и предвзятости, что утратили способность оценить их объективно.

Только сейчас, когда мы получили новую возможность познакомиться с работами Валентина Фердинандовича, написанными в довоенный период, и сопоставить их с общим состоянием общественного сознания той и последующей эпох, начинаешь понимать истинный масштаб Асмуса как мыслителя и человека.

Определенная веха в творческом развитии философа была связана и с восстановлением преподавания логики в вузах и средней школе. Валентин Фердинандович не ограничился переходом на только что созданную кафедру логики, но и разработал свои курсы логики, истории логики, теории доказательства и т. д., написал и издал первый современный вузовский учебник «Логика» (М., 1947), познакомил русского читателя с новинками современной западноевропейской логической мысли — трудами Альфреда Тарского, Шарля Серрюса, Людвига Витгенштейна.

Очень сильное впечатление оставил один мимолетный разговор с В. Ф. Асмусом. Факультет тогда уже переехал в здание геологоразведочного института. Валентин Фердинандович, видимо, дежурил по какому-нибудь графику или у него было «окно» между учебными занятиями. Он сидел в полутемном помещении на диванчике в уголке. Почему-то разговор зашел о работе над текстом. Я пожаловалась на то, что стоит только написать первую фразу, как тут же оказывается, что ее надо обосновывать, а для этого приходится привлекать какой-то материал — и таким образом вступление все разрастается, а изложение проблемы по существу все отодвигается и отодвигается. На это Валентин Фердинандович заметил: «А начало надо выбирать, и не надо специально обосновывать». И продолжил: «Всегда надо с чего-то начинать, то есть принять не-

что в качестве уже данного, уже существующего. Именно это существование и считать достаточным основанием». Признаться, в первую минуту я не поняла всей глубины этого соображения, решив, что это — красивый способ помочь обрुбить все «подступы» и начать прямо с сути (по Оккаму).

Асмус тогда действительно помог своим разъяснением. Но это высказывание постоянно крутилось в сознании, и постепенно до меня дошел подлинный смысл: ведь данное указание — ключ, важнейший методологический принцип, касающийся всего сознания, основа научного мышления и условие рационалистического отношения к миру.

Всякая деятельность когда-то и с чего-то должна начинаться. Начало всегда отчасти в чем-то произвольно, но оно должно быть твердо принятым как нечто устойчивое, неизменное. Оно (в мысли) разрывает непрерывность, абсолютизирует устойчивость. Однако в нашей власти вернуть процессу его непрерывность, правда, уже в другом мыслительном акте или в другом процессе деятельности, но в нем нечто заведомо иное выступит в роли начала. Это обеспечивает принцип всеобщей объективной взаимной связи.

Прошли годы, но первые впечатления о Валентине Фердинандовиче Асмусе не потускнели. По умению дорожить накопленным человечеством знанием, по живости и точности реакции на все происходящее и по готовности воспринять и принять новое, переключиться на творческое изучение свежей темы и работать в изменяющемся интеллектуальном поле и ритме он был самый молодой в коллективе факультета. К такому выводу мы приходили, слушая его лекции и многочисленные выступления при обсуждении самых различных проблем. Поражали особенности его как лектора. Он читал с листа, а когда отвлекался от написанного, то вставки ничем не отличались в языковом отношении от стиля исходного текста. Все фразы были отлично отточены и в смысловом, и в стилистическом плане. Они были к тому же неповторимы, так как произносились с только ему свойственной интонацией.

В памяти упорно держится такой образ: на кафедре седой, стройный Валентин Фердинандович спокойно и негромко развивает мысль. Под пиджаком — неяркий шерстяной оберегающий горло свитер (на фотографиях Валентин Фердинандович, увы, в галстук, который как-то неловко на нем сидит). Все вместе — общий вид, звучание голоса и содержание лекции — втя-

гивает в интеллектуальную атмосферу лекции и поддерживает состояние эмоционального ожидания. Его слова столь емки, а связи между понятиями так отчетливы и рельефны, что кажется — он рисует картину, а не оперирует абстракциями. В его изложении оживали фигуры и учения логиков и философов, идеи выстраивались в системы, обретали собственный голос, сотрудничали и конфликтовали, вступали в диалог, обнажали и преодолевали внутренние противоречия. Так у слушателей складывалось полное представление о предмете.

М. С. Дмитриева

Мы все выросли из Асмуса

Валентина Фердинандовича Асмуса я встретила впервые в 1949 г., когда стала аспиранткой кафедры логики философского факультета Московского университета. Еще студенткой я держала в руках только что вышедший учебник по логике. Но вот передо мной живой автор учебника — да еще сам со мною заговорил. И тоже об учебнике — переизданном тогда известном учебнике Челпанова. Дело в том, что раздела об умозаключении в книге Челпанова я коснулась в своем вступительном реферате. Это был первый мой труд, который на чьей-то еле дышащей машинке мы попеременно с мужем напечатали одним пальцем. Реферат был посвящен индуктивной логике Джона Милля.

Мой будущий научный руководитель профессор Павел Сергеевич Попов, в то время заведующий кафедрой логики, посмотрел мой реферат и несколько раз спросил меня: «Вы это сами написали там в Краснодаре?» — и повел оформлять документы, хотя прием в аспирантуру уже был закончен. Валентин Фердинандович услышал разговор и взял со стола мой реферат.

Итак, ошеломляющая удача: я принята. Причину моего «везения» Павел Сергеевич объяснил мне лишь три года спустя, после защиты: «Мне понравилось, как вы хорошо сумели сказать то, что хотели сказать».

И вот еще потрясение: мои соображения об учебнике по логике выслушивает и обсуждает профессор. С того самого разговора с Валентином Фердинандовичем по поводу моего реферата я уловила и осознала особый его талант собеседника, поверила навсегда в его «могиканность» от культуры.

В. Ф. Асмус, несомненно, выделялся на общем фоне блестящих стилистов, эрудитов и тонких знатоков логики, какими была щедро «укомплектована» тогда наша кафедра, возможность общаться с которыми мне подарила судьба.

В. Ф. Асмус не был моим руководителем. Я не знала его домашней жизни. Видела его только на кафедре. Вот к Павлу Сергеевичу по его мягкому требованию я являлась каждое воскресенье — и в квартиру на Арбате, и в Ясную Поляну, и на дачу под Клязьмой... Отчитывалась о прочитанном, продуманном и написанном. А от Валентина Фердинандовича исходила такая готовность что-то рассказать, помочь, что даже короткие разговоры были ценны и интересны.

Так, он очень поддержал и одобрил мой «вынужденный» шаг — устройство на работу в школу в качестве преподавателя логики. Доцент пединститута им. Ленина Антонина Марковна Бардиан закончила тогда эксперимент психолога в четырех 10-х классах и внезапно (она знала меня, когда я была еще студенткой Новосибирского пединститута) предложила мне вести уроки логики и психологии в этих классах. Советуюсь с членами кафедры, с руководителем. Он одобряет: трудно, но полезно! А у меня сомнение: мой «нулевой» стаж учителя и столичные школьники. Помню мягкий, успокаивающий голос Валентина Фердинандовича, его слова о важности курса, о моем уже приличном знакомстве с учебниками по логике. И как благословение: «Вы все это отлично знаете. Теперь попробуйте сами...». И вот ведь действительно получилось.

Очень памятны занятия Валентина Фердинандовича. Я работала в его семинаре по Канту. Мы действительно работали. И разве только мы — аспиранты, зачисленные кафедрой в этот семинар? В аудиторию, пусть небольшую (еще на Моховой), набивались до отказа и аспиранты других кафедр, и студенты, и «сверху» филологи, и члены кафедры... Даже сейчас памятно интеллектуальное напряжение каждого занятия. Валентин Фердинандович вел нас «по излучинам Кантовой мысли...» (это его собственное выражение из предисловия к изданной еще в 1929 г. «Диалектике Канта»). Книгу эту мне удалось купить

в 1951 г., и я храню ее, хотя автограф взять не догадалась). Валентин Фердинандович любил Канта, заражал нас своей увлеченностью, тщательно анализируя его наследие. Помню такой случай. Он не читает лекцию, он мыслит буквально на ходу, так как ходит в оставшемся узеньком пространстве «забитой» аудитории; делает несколько шагов и садится на стул, тут же порывисто вскакивает и смущенно поднимает со стула свою сморщенную шляпу, расправляет ее... и все это не меняя тона, формулировки, темпа речи, не нарушая течения мысли. И мы, не сбиваясь на смешок, следуем за ним...

Совсем недавно, когда я завершала издание материалов курса «Начала логики», который читаю сегодня студентам педагогического университета, и привела в разделе об умозаключении, кроме мысли К. Д. Ушинского из его «Первых уроков логики» об условиях получения достоверного вывода, Декартову заповедь «остерегаться принимать за истину то, что истиной не является, и соблюдать всегда порядок, в каком следует выводить одно из другого...», я вспомнила Валентина Фердинандовича, его увлекательные лекции по рационализму Декарта. Он как-то очень лично относился к нему, любил его как мыслителя, чьи «сложные отношения к умственным силам своего времени» стремился показать в своей книге о нем (в 1956 г.). Мне также было очень приятно, когда, будучи редактором учебного пособия Аллы Николаевны Филатовой (тоже питомицы кафедры) «“Правила для руководства ума” в творчестве Декарта», я смогла отметить, что сегодня философская мысль проходит по тем же острым графам картезианства, что мы все «вырастали из Асмуса».

Мне памятен также случай на кандидатском экзамене. Сдаем специальность. На факультете — время самых бурных дебатов о соотношении формальной и диалектической логики. Защищенные идеологической броней, сторонники последней решительно и оглушительно громят формальную логику за... формальность и оттесняют на периферию науки — по крайней мере, науки факультета.

Во время моего ответа входит зав. аспирантурой проф. Василий Иванович Мальцев, и первый же вопрос моего билета заводит в злободневное русло. Это уже не экзамен. Идет просто спор, причем фронт нашей кафедры я держу в одиночестве. Присутствующие профессора нашей кафедры — комиссия — вынуждены молчать. Наконец председатель П. С. По-

пов взывает: «Может быть, перейдем к следующему вопросу? Уже 55 минут она отвечает на этот вопрос». Мальцев говорит: «Но она не ответила на него». И тут Валентин Фердинандович: «Она все время на него отвечает, только с иных, чем вы, позиций...»

Многое можно вспомнить о заседаниях, которые проходили в нашем Круглом зале...

Наш Круглый зал! Как не вспомнить его тем, кто занимался на факультете в 40—50-е гг.! Там проходили все защиты и диспуты, там проводились конференции и расширенные, за рамки кафедр выплескивавшиеся философские семинары, там, наконец, мы отмечали все празднества по календарю страны, там устраивались и наши столь популярные вечера профессоров и аспирантов... Аспирантура на факультете была большая — далеко за сотню аспирантов по всем кафедрам. Но профессора, как мне помнится, участвовали далеко не все.

В этом Круглом зале вскоре после смерти Сталина защищалась и я. Сначала — на выделенном Совете логиков и психологов с председателем проф. Алексеем Николаевичем Леонтьевым, потом — на полном, эту защиту утверждавшем Совете факультета во главе с Алексеем Петровичем Гагариным, который никак не мог понять, почему проголосовали единогласно, если в протоколе отмечено, что «соискатель стоит на немарксистских позициях». И тогда руководитель проф. П. С. Попов, член Совета В. Ф. Асмус и другие наперебой стали объяснять ему, что это обвинение неофициального оппонента не подтвердилось.

Помнится, именно А. П. Гагарин докладывал мое дело на большом Совете МГУ. (Такая была система в те годы: собственно, проходила тройная защита. Первичные Советы на факультете — по диамату, истории философии, логике и психологии; их решение протокольно докладывалось и принималось общим Советом факультета, а затем следовало утверждение большого Совета. На большой Совет меня не вызвали, хотя неофициальному оппоненту — был такой живой, настоящий противник, старший преподаватель логики Высшей партийной школы Филин, имени и отчества не помню — дали слово. Сначала он предложил мне переработать «под его руководством» диссертацию, потом угрожал завалить, а затем на защите был изобличен в передергивании текста.) Гагарин сказал на большом Совете: «Не знаю, как диссертация, а соискатель заслу-

живает ученой степени кандидата наук». За это или нет, но два черных шара на большом Совете я получила.

С Ариадной Борисовной Асмус я познакомилась так. Она по поручению горно присутствовала на моем уроке по логике в 10-м классе мужской школы, что на Казармах (у Ленинградского проспекта). Мои ученики — переростки из военных семей, чуть ли не старше меня... Ведут себя шумно, но активно, наперебой прорываясь к доске (чертят круги Эйлера), исправляют ошибки друг друга, спорят, смеются. На присутствие посторонних в классе не реагируют. После урока Ариадна Борисовна сказала смеясь: «Как это вы с ними справляетесь?» И одобрила атмосферу интеллектуальной конкуренции в классе. Мы разговорились. Я приглашала ее прийти на заседание кафедры — тема была какая-то очень интересная... Вот и все.

После защиты я уехала в Новосибирск, и с В. Ф. Асмусом встречалась лишь в свои наезды на факультет и в ИПК. Помню, по коридору идет сияющий, стремительный, в светло-сером костюме Валентин Фердинандович: «Поздравьте меня! У меня двойня!!» Так и сказал.

Н. Ф. Овчинников

Несколько слов об учителе

Это было давно, возможно в 1945—1946 гг. Мне, студенту философского факультета МГУ, довелось прослушать курс лекций Валентина Фердинандовича по истории западноевропейской философии. Только по прошествии лет начинаешь понимать более значимый смысл когда-то обыденного, привычного. Наш курс был небольшим — человек 10 или 12. Меня тогда не удивляло, что в здании на Моховой, где вскоре разместился психологический факультет, большая аудитория на первом этаже была всегда полна, когда лекцию читал Асмус. Я просто, когда это удавалось, приходил пораньше, чтобы найти место ближе к лектору. Наверное, как я сейчас думаю, приходили студенты с других курсов и аспиранты. Но я был сосредоточен на своих проблемах и полон стремления освоить новые для меня философские предметы. Лекции смущали меня своей основательностью и какой-то неясной для меня глубиной предмета, которую я скорее ощущал, чем осознавал.

В годы учебы на философском факультете мы слушали лекции Михаила Александровича Дынника по античной философии, Ореста Владимировича Трахтенберга по философии Средних веков, Софьи Александровны Яновской по истории математики. Я упоминаю немногих — оставшихся в памяти и наиболее известных ныне по философским публикациям. Нам

повезло: мы учились у специалистов высокого класса. И хотя это были лишь благодатные островки культурной традиции в идеологической круговерти тех лет, именно эти островки формировали непреходящий интерес к истории философской мысли. Лекции Асмуса как нельзя лучше отвечали потребности пристальнее всмотреться в традиции, попытаться приобщиться к ним. Читал он неторопливо, и надо сказать, читал в буквальном смысле этого слова — перед ним был подготовленный текст, хотя он иногда отрывался от написанного и, всматриваясь в наши лица, подчеркнуто стремился донести до нашего сознания особенно значимые мысли философов. Теперь я могу понять его стиль чтения подготовленного текста — эта была своего рода охранная грамота: никто не мог написать идеологический донос, все проверено, все только по делу, никаких отступлений в сторону.

Запомнился экзамен по курсу лекций, прочитанных Асмусом. Конечно, мы все пытались в меру наших стараний подготовиться к личной встрече с лектором. Но оставалось ощущение необъятности материала, неясности многого из услышанного, а потом и прочитанного (я говорю прежде всего о себе). И вот экзамен: небольшая комната на втором этаже того же корпуса, простой стол, за которым сидит Валентин Фердинандович. Я не помню, как формулировался вопрос, доставшийся мне, помню только, что я должен был что-то рассказать о философских воззрениях Гегеля. Сохранилось в памяти переживание неловкости от своего пересказа запомнившегося из лекции и переводов сочинений немецкого философа. Мне все эти предметы тогда были внове — строгие законы физики, в которые я был погружен, казались несовместимыми со словесными кружевами философских текстов знаменитого диалектика. Но я пытался сопоставить услышанное в лекциях с прочитанным и, наверное, непомерно упрощая, отвечать на поставленный вопрос. Валентин Фердинандович, как запомнилось, спокойно вслушивался в мои слова и вскоре вежливым «достаточно» остановил мой рассказ. Он только спросил, что я читал из Гегеля. После того как я сказал, что удалось ознакомиться только с «Энциклопедией философских наук», он попросил зачетку, поставив оценку «отлично». Он почти всем ставил высокие оценки. А я почувствовал себя как школьник, который старательно учил таблицу умножения, а учитель спросил

его, сколько будет дважды два, и за правильный ответ поставил высокую оценку.

Мне было известно, что В. Ф. Асмус являлся членом авторского коллектива по подготовке многотомного курса истории философии. Возглавлял коллектив директор института философии. Асмус иногда появлялся в Институте, где я тогда начал работать. Мое общение с Валентином Фердинандовичем сводилось к скромному кивку головой, когда я случайно встречал его в коридорах института.

Теперь я вспоминаю, что в суете я как-то долгое время не встречал Асмуса в институте. Однажды в разговоре с Бонифатием Михайловичем Кедровым мне довелось узнать причину этого — оказывается, Валентин Фердинандович сознательно перестал появляться в стенах Института. Вот что рассказал Кедров, который был в составе авторского коллектива издания «История философии». Случилось так, рассказывал Кедров, что Асмусу потребовалось уехать на какое-то время из Москвы. Он не успел сообщить об этом директору института, полагая, по-видимому, что его отсутствие в течение недели никого не встревожит. Но директору института в эти дни потребовалось поговорить с Асмусом. Домашние Асмуса отвечали невнятно — его нет дома, а когда будет, не знаем. Этого было достаточно, чтобы «проницательный» и настроенный на волну времени директор по-своему истолковал ситуацию: ясно, что наконец наши славные органы взяли этого подозрительного беспартийного профессора. В таких примерно словах директор сообщил об этом собранию института, случившемся в те дни. А когда, вернувшись в Москву, В. Ф. Асмус узнал об этом сообщении директора, не имевшем ничего общего с реальностью, он решительно отказался появляться в Институте философии. Возможно, какие-то детали данного эпизода могут быть уточнены. Но я хотел лишь передать этим рассказом штрихи времени, в котором все мы жили, особенную напряженность нашего существования. И еще — в этом случайно услышанном и сохранившемся в моей памяти эпизоде В. Ф. Асмус предстает как человек, полный достоинства, несмотря на атмосферу унижающего страха.

А. М. Блок, А. П. Федосова

Верность «нравственному закону в душе»

Годы учебы в МГУ на философском факультете до сих пор остаются в памяти самыми яркими и насыщенными. Курсы истории философии нам читали блистательные знатоки Античности и Средних веков — М. А. Дынник, О. В. Трахтенберг, общей истории — Пикус и Утченко. Семинары вели Э. В. Ильенков, Г. С. Арефьева, ярко и вдохновенно читал по-литэкономии Мансилья.

И все-таки самым любимым, обожаемым профессором был Валентин Фердинандович Асмус — человек высочайшей культуры и профессиональной эрудиции, замечательный знаток литературы, математики и астрономии, тонкий ценитель музыки.

В нашей группе логиков В. Ф. Асмус читал курс истории зарубежной логики, вел годичный семинар по философии И. Канта. Не прибегая к традиционным для марксистско-ленинской идеологии штампам в оценке творчества каждого из мыслителей («идеализм», «материализм», «метафизичность», «вульгаризация» и т. п.), он раскрывал перед нами истинную логику истории человеческой мысли. Материал его содержательных лекций мы нередко использовали во время подготовки к экзаменам по другим дисциплинам, в частности по курсу зарубежной философии.

Валентин Фердинандович относился к своим лекциям необычайно ответственно. Однажды, забыв дома текст, он немедленно послал за ним студента. Прочсть лекцию без текста для него не составляло труда, но исключительная добросовестность обязывала его всегда точно цитировать тех или иных авторов, приводить ссылки на используемые источники.

Валентин Фердинандович всегда был очень внимателен к нам, студентам. Он умел выслушать, дать обстоятельные рекомендации по курсовым и дипломным работам. Иногда он приносил студентам книги из личной библиотеки, среди них были и редкие издания.

Запомнилась его манера общения со студентами. На вопрос, когда можно с ним встретиться и проконсультироваться, неизменно отвечал вопросом: «А когда удобно вам?» Никто, нигде и никогда не относился к нам с таким уважением.

По ряду причин В. Ф. Асмус вынужден был уйти с кафедры логики, но своих студентов-дипломников он не оставил. Мы, вопреки «рекомендациям» зав. кафедрой, были счастливы работать именно с Валентином Фердинандовичем, завершая под его руководством дипломную работу.

Образцом корректности, интеллигентности, колоссальной выдержки стало поведение В. Ф. Асмуса во время обсуждения новой редакции его учебника «Логика». В. И. Черкесов и другие буквально обрушились на него. В критическом запале они, не выбирая выражения, называли автора учебника просто по фамилии. В ответном слове Валентин Фердинандович был безукоризненно вежлив. Для нас это стало еще одним уроком высокой моральной культуры.

Человек необычайно занятой, он согласился встретиться с нами в общежитии на Стромынке, где жила большая часть нашей группы. За чашкой чая и нехитрой студенческой трапезой он рассказывал нам о своей семье, детях, о годах своей юности, о том, как, поступая в Киевский университет, он был вынужден за летние месяцы изучить латинский язык.

В университете, вспоминал Валентин Фердинандович, студентам была предложена тема для реферата — о влиянии идей Спинозы на творчество Л. Н. Толстого. В. Ф. Асмус тщательно изучил всю доступную литературу, специально ездил в Ясную Поляну, встречался там с вдовой писателя, работал в Толстовской библиотеке и в итоге пришел к выводу, что Спиноза никакого влияния на Толстого не оказывал. Толстой нигде и ни-

когда не упоминал его имени. Выводы были столь убедительны и аргументированны, что работа Асмуса была удостоена Золотой медали.

Друзьями Валентина Фердинандовича были Г. Г. Нейгауз и Б. Л. Пастернак. Они часто отдыхали вместе летом на Днепре. Большой ценитель музыки, В. Ф. Асмус не пропускал ни одного концерта Г. Г. Нейгауза, особенно он любил слушать в его исполнении произведения Скрябина. Выступление на похоронах умершего друга — опального Б. Пастернака — свидетельство мужества этого благородного человека.

Работая над монографией о Декарте, В. Ф. Асмус вел переписку с французскими библиотеками. Оттуда ему прислали великолепные фото портретов и гравюр Декарта. Валентин Фердинандович с удовольствием показывал их студентам и искренне сокрушался, когда в изданной книге по вине полиграфистов портрет любимого философа вышел неудачным.

Труды В. Ф. Асмуса были известны во многих странах мира, его постоянно приглашали на международные конференции, конгрессы, симпозиумы, но, к сожалению, известный ученый был невыездным. Долгие годы с него не снимали демагогический ярлык «меньшевиствующий идеалист». Нам, студентам, равно как и зарубежным коллегам, он объяснял свой «отказ» от поездки ссылками на занятость, нездоровье, семейные заботы. С таким же достоинством и выдержкой Валентин Фердинандович воспринимал известие об очередном неизбрании его в Академию наук. Трагический парадокс российского социализма: люди, чьи труды составляют гордость мировой философской культуры (В. Ф. Асмус, А. Ф. Лосев), не были признаны в родном отечестве.

Валентин Фердинандович Асмус — человек красивый, совершенный во всем; отличавшие его черты — интеллект, эрудиция, достоинство, совесть, интеллигентность.

Как и любимый им Кант, он увлекался астрономией и с помощью телескопа любовался звездным небом над головой.

До конца своих дней он оставался верным своему нравственному выбору, «нравственному закону в душе».

В. М. Семенчѳв

Подлинный ученый и педагог

В годы, когда жизнь клонится к закату и неизбежно наполняется неведомыми ранее заботами, все чаще начинают всплывать в памяти отдельные, казалось бы, давно забытые, эпизоды прошлого, встречи и беседы с людьми, сыгравшими определенную роль в моей деятельности как преподавателя и научного сотрудника высшей школы.

Я поступил на учебу в МГУ с серьезным опозданием, которое было связано с моей службой в армии с июля 1941 по июль 1946 г. Тем сильнее было мое стремление овладеть широким кругом научных знаний. Поэтому я выбрал для учебы философский факультет, где в образовании уделялось внимание как естественным, так и гуманитарным наукам. Возможно, поэтому же темой дипломной работы я избрал такую форму развития научной мысли, как гипотеза, активно применяемая и в естественных, и в гуманитарных исследованиях.

Научным руководителем моей дипломной работы был назначен Валентин Фердинандович Асмус. Он с большим интересом отнесся к теме моей работы и уделил много времени встречам со мной.

Во время первой беседы с ним я объяснил свой выбор темы и изложил свое понимание гипотезы как определенной формы развития мысли, которая не сводится к высказыванию предположения, но должна

включать в себя и подбор фактов, их анализ, выведение следствий из предположения.

Профессор, согласившись с моим подходом, обратил, однако, внимание на то, что предположение как сердцевина исследуемой формы мысли может быть предположением не только о причинах явлений, но и о следствиях из известных причин. При этом он не возражал против ограничения задачи моего исследования, отметив, что это мое право как автора.

Однако, говоря о гипотезе как возможном способе установления предположения о следствиях из известных причин, В. Ф. Асмус направил мое внимание на природу самих научных понятий, к которым относятся и понятия причины и следствия. Я задумался о том, все ли понятия имеют свое основание в объективном мире и в природе самого существования человека.

Когда В. Ф. Асмус натолкнул меня на эту мысль, мне пришли на память так называемые мнимые числа: отображают ли они какие-то стороны природных явлений или являются всего лишь «чистыми мыслями»? Этот вопрос я затронул при следующей встрече с Валентином Фердинандовичем.

Понятия могут появляться в сознании человека на далеко не единственной ступени абстрагирования, напомнил мне профессор. Так, понятие числа в математике — это абстракция от предметного мира, а понятие мнимого числа — уже абстракция от понятия числа, т. е. абстракция от абстракции. Но таковая может быть в какой-то степени опосредована самим миром.

В этом отношении, заметил Валентин Фердинандович, характерно понятие пси-функции в физике микромира. Непосредственно в самом мире пси-функция вроде бы ничего не отображает, но появившись в процессе научного исследования этого мира, она через ряд ступеней опосредования остается связанной с миром. Оказывается, будучи возведенной в квадрат (тоже абстракция!), она описывает вероятность пребывания элементарной частицы в определенном пространственном и временном интервале. Не будь самого этого явления (пребывания частицы в пространстве и времени, т. е. ее реального существования), не появилось бы в науке и столь абстрактного способа описания такого ее возможного пребывания.

Эти соображения В. Ф. Асмуса в ходе дальнейшей моей научной работы нацелили меня на исследование самого понятия

«развитие» (развитие мысли от понятия предмета, его отдельных свойств, количества, числа положительного и отрицательного и т. д.). Логика исследования этой проблемы привела и к вопросу о возможном ограничении развития мысли о каком-то явлении, неожиданно вставшим на пути этого развития парадоксом.

В. Ф. Асмус напомнил мне два таких парадокса. Один из них носил скорее логический характер: это парадокс, связанный с понятием множества всех ординарных множеств, исследованный Б. Расселом. Другой парадокс имеет явный физический смысл: постоянство скорости света в вакууме и невозможность определить скорость движения Земли относительно мирового пространства.

Я не буду сейчас вдаваться в следствия анализа этих парадоксов. Мне только хотелось продемонстрировать на этих примерах широту научных интересов В. Ф. Асмуса, который остался в моей памяти как образец ученого в подлинном смысле слова и преданного своему делу педагога.

А. А. Кравченко

«Экзамен» в Переделкине

В начале университетской жизни меня чрезвычайно мучил вопрос: как соединить математику, физику и философию? Подтверждение тому, что знание естественных наук действительно может быть необходимым для понимания философии и моя проблема не была надуманной, я нашла позднее, когда стала изучать концепцию неокантианца Э. Кассирера. В своих работах он предстал для меня человеком, которому, по-видимому, удалось осуществить такое соединение математики, физики и философии и благодаря этому многое понять. Все чаще мне хотелось сказать: «Я хочу видеть этого человека!»

...В ту пору В. Ф. Асмус читал на факультете спецкурс по философии Канта. Слушать его собиралась большая аудитория в старом здании МГУ, но сдавать экзамен по спецкурсу решились только мы двое. Во время сессии В. Ф. Асмус на факультете не появлялся, и в учебной части нам сказали, что делать нечего и придется ехать к нему на дачу в Переделкино.

Пересказывая друг другу Канта и спотыкаясь о почти лесные коряги, мы шли на экзамен. Однако нас ждала приятная неожиданность, ничего общего с экзаменом не имевшая. После довольно долгой тишины за дверью послышался легкий шорох. «Вы уж нас извините...» — «Да уж извиняю». Валентин Фердинандович улыбался. Он, кажется, действительно

обрадовался неожиданным гостям. Тотчас же он стал показывать нам свою библиотеку. «Вот энциклопедия... В Ленинской библиотеке не все тома, а у меня — все... А это кассиреровское издание Канта», — для меня впервые прозвучало это заволаживавшее меня сочетание имен.

Мы просто ахнули, увидев его огромную коллекцию пластинок. К сожалению, объяснил Валентин Фердинандович, он не может сейчас слушать музыку, потому что у него сломался проигрыватель. Мы вызвались посмотреть. Оказалось, что звукосниматель был отведен в сторону до предела — в положение, при котором диск и должен останавливаться. Скорее всего, сам хозяин так бережно обращался с проигрывателем, что даже и не знал об этой его особенности. Отведя звукосниматель до конца в противоположную сторону, мы «починили» его. Благодарности не было предела. «А вы не послушаете совершенно гениальный концерт Брамса?» Почувствовав, что это не просто приглашение, но просьба, мы остались. Только после интереснейших рассказов о триумвирате Асмус — Пастернак — Нейгауз, о Марии Гринберг и о многом другом прозвучала фраза: «Где там ваши зачетки?»

...Мне так хотелось увидеть Кассирера, что в какой-то момент мне то ли приснилась, то ли пригрезилась снова эта же встреча с В. Ф. Асмусом, но на этот раз я попросила его показать портрет Кассирера. Именно таким я его себе и представляла. Но проснувшись, я совершенно не могла вспомнить, какой он. Встретив на факультете В. Ф. Асмуса, я рассказала ему эту историю. Он слушал меня с улыбкой, но потом вдруг — как-то быстро-быстро — сказал: «А вы знаете, есть, есть портрет Кассирера. Я посмотрю дома книгу, скажу вам ее название, и вы сможете взять ее в Ленинской библиотеке». Подсказка была дана, я помчалась в библиотеку — выписывать все книги Кассирера и о Кассирере, и на следующий день передо мной — не во сне, а наяву — лежали несколько его фотографий.

А Валентин Фердинандович, как мне представляется, в каких-то отношениях очень схож с Кассирером. Искренняя доброжелательность, внимательность к любому человеку, оказавшемуся рядом, отношение к нему как к самой большой ценности, величайшая снисходительность к окружающим, принятие их — все то, что можно назвать человечностью, — а также, конечно, академическая эрудированность и «святая к музыке любовь» свойственны им обоим.

М. А. Абрамов

Без него мы были бы другими

С В. Ф. Асмусом я познакомился в начале 70-х гг. Будучи аспирантом Института философии Академии наук СССР, я слушал его лекции по философии Канта, в которых В. Ф. особо подчеркивал необходимость совокупного изучения всех трех Критик кёнигсбергского мудреца.

С моим другом и коллегой по аспирантуре В. А. Жучковым, у которого В. Ф. был научным руководителем, мы не раз навещали В. Ф. на его даче в Переделкине, и эти встречи многое дали нам обоим. Я, в частности, имел возможность побеседовать с нашим хозяином по вызывающим у меня сомнения историко-философским вопросам. Суждения В. Ф. всегда были взвешенны, дельны и... доброжелательны: «врагов» в истории философии у него не было.

Не меньшее влияние оказывал на нас духовный облик В. Ф. Асмуса, самородный свет его личности, ныне почти исчезнувшее «вежество» и неизменная благожелательность. Его влияние длится и длится, порой незаметно для нас, знавших его. Иначе мы, наверное, были бы другими.

Два стихотворения-воспоминания о беседах с В. Ф. посвящены: I — оппоненту Д. Юма, главе шотландской школы философии здравого смысла Т. Риду (тема моей кандидатской диссертации), в отношении фило-

софии которого в европейской историко-философской традиции XIX в., начиная с Канта и Гегеля, преобладали негативные трактовки, унаследованные и в нашей литературе; II — Платону и Аристотелю, дать сравнительную оценку которых я имел дерзость или глупость просить В. Ф. Этот эпизод напоминает долгое размышление А. А. Ахматовой и ее краткий ответ на вопрос, был ли А. С. Пушкин верующим или атеистом.

Предпочтение, высказанное В. Ф. Асмусом, содержит в себе нечто интимное, недосказанное в образцовой «Античной философии». Меня до сих пор волнует проблема реконструкции мотивов и логики его ответа.

I

...Но как нам быть со здравым смыслом
И метафизикой? Они
Хоть образуют «коромысло»,
Но все ж враждуют искони.

Явился Рид — поборник новый
Людского знания святынь
И скепсис обличил сурово,
Как черную звезду Полюнь.

Но разве он достигнул цели,
Грозой обрушась на Трактат?*

Посево Юма в самом деле
Не тронул аргументов град.

И разве не был Рид банален,
Толпу в наставники призвав?

— Поверьте, Рид не тривиален.
Он прав не меньше, чем неправ.
Как мысль в любом ее явлении,
Так Рид достоин изучения...

* Имеется в виду «Трактат о человеческой природе» Д. Юма.

II

Два светоча Афин неугасимы.
Их спор продлил художник Рафаэль.
Разнонаправленны, несовместимы.
Но истина — единственная цель.

Уча — учись. Платон и Стагирит.
Платон широк, но ведь итог — «Законы».
Мир Стагирита сжат, но все ж ему претит
Попытка людям навязать препоны*.

И тут дерзнул я высказать вопрос
Кто ближе вам, Платон иль Аристотель?
Он долго размышлял и произнес:
Пожалуй, Аристокл**.

* См.: Аристотель. Политика. Кн. 2.

** Подлинное имя Платона (широкий).

И. И. Блауберг

Последний спецкурс В. Ф. Асмуса

Валентина Фердинандовича Асмуса я увидела впервые в 1973 г. Осенью этого года нам, группе студентов кафедры истории зарубежной философии философского факультета МГУ, выпала счастливая и редкая уже в то время возможность — прослушать спецкурс В. Ф. Асмуса по философии Канта.

В своих воспоминаниях В. А. Смирнов пишет, что в 50-е гг., когда он учился на философском факультете, о таком спецкурсе нечего было и мечтать. Конечно, в 70-е гг. обстановка на факультете была уже иной, и при всей неизбежной, принимавшей порой очень жесткие формы, идеологизированности существовали оазисы более или менее свободного исследования. Кафедра истории зарубежной философии считалась одной из лучших (а на мой взгляд, была лучшей) на факультете, были и интересные курсы, и сильные преподаватели. Ну, а что мы сами могли из этого извлечь — что мы слушали, какие книги и в каком количестве читали — это была в известной мере проблема личного выбора. Конечно, имя В. Ф. Асмуса и его работы были нам знакомы, хотя сам он оставался для нас фигурой полуполюгендарной. Для меня тогда настольной стала его книга «Проблема интуиции в философии и математике», выдержавшая к тому времени два издания, — курсовые работы я писала по проблеме интуи-

ции в философии Нового времени, и мысли Валентина Фердинандовича по поводу роли непосредственного знания в философии постоянно служили мне направляющей нитью. (Позднее Ариадна Борисовна Асмус расскажет нам такую историю: после выхода этой книги она услышала, как кто-то поинтересовался в книжном магазине, как она расходуется. «Хорошо идет, — был ответ. — Почти как Марк Твен». Жаль, кстати, что тему интуиции в таком ключе, насколько мне известно, после Асмуса никто так и не продолжил.) Мы знали, что вот-вот должна была выйти книга Валентина Фердинандовича, посвященная Канту. Но прочесть — это прочесть, а вот услышать, как рассказывает о Канте человек, для которого исследование его философии стало одним из важнейших в жизни занятий, — совсем другое дело!

В ту пору В. Ф. Асмус уже не выезжал в университет, и лекции мы прослушали в Переделкине, на даче, где он жил тогда постоянно.

Мы ехали в электричке в Переделкино, еще не подозревая, чем для некоторых из нас станет эта поездка, этот спецкурс, сам В. Ф. Асмус и его семья. Заснеженный поселок, небольшой дом, кабинет Валентина Фердинандовича, стеллажи, заполненные книгами, телескопы, проигрыватель... Мы сидели затаив дыхание, пока он читал нам первую лекцию. Трудно передать сейчас мое впечатление, оно было сложным. Чем-то вдруг повеяло далеким, о чем до тех пор приходилось читать, но не наблюдать въяе, — классическим образованием, традицией семинаров, проводимых у профессора на дому. Просто — свободой, той духовной свободой, которая сразу чувствовалась в атмосфере этого дома, столь удаленного, казалось, от житейских бурь, в негромком голосе Валентина Фердинандовича. Тогда я, временами отвлекаясь от содержания лекции, чтобы вслушаться в звуки этого голоса, наверно, впервые осознала какую-то глубинную мощь передаваемой нам философской традиции. Разделенные столетиями, они вдруг оказались удивительно близкими — Кант и тот, кто рассказывал нам сейчас о нем, уже очень пожилой, многое переживший на своем веку человек, воспитанный в тех культурных традициях, которые принадлежали совершенно иному и очень далекому от нас (не только хронологически) историческому времени.

Мы возвращались на станцию вечером, уже в темноте, и я как-то отчетливо ощутила, что произошло нечто необыч-

ное и важное, что этот день, выпав из череды хоть и разных, но в общем похожих друг на друга дней студенческой нашей жизни, займет в памяти особое место. Так в самом деле и получилось.

Еще несколько раз мы слушали лекции Валентина Фердинандовича. Спецкурс был факультативный, никакой отчетности по нему не предусматривалось. Уезжая после заключительной лекции из Переделкина, мы не знали еще, что больше не увидим В. Ф. Асмуса. Оказалось, мы были его последними учениками — через год с небольшим его не стало.

Но в нашей жизни он остался — и не только в своих книгах, к которым по-прежнему то и дело обращаешься. Состоялось — уже ретроспективно — более близкое знакомство с Валентином Фердинандовичем. Вот уже много лет обитатели старого переделкинского дома — наши друзья. Сколько раз потом мы сидели в хорошо знакомом кабинете, вспоминая его хозяина, слушая рассказы Ариадны Борисовны, рассматривая фотографии. Здесь мы узнали о семье, в которой вырос Валентин Фердинандович, о тревожных и опасных — но и о светлых событиях его жизни. В его поступках, в самой его личности мы обнаружили много важного для себя: пример стойкого, философского отношения к жизненным невзгодам, доброжелательности в отношениях с людьми, благородства в дружбе. Ариадна Борисовна рассказала нам в свое время и о том, что в начале 40-х гг. он работал над книгой о Владимире Соловьеве, прекрасно понимая, по-видимому, что издать ее удастся не скоро, а может, и вовсе никогда не удастся. Небольшой фрагмент книги был напечатан в 1982 г. в «Философских науках», но на большее тогда нельзя было рассчитывать. Когда наступили новые времена и стала возможной публикация трудов русских религиозных мыслителей, помню, А. А. Яковлев, бывший тогда ответственным секретарем журнала «Вопросы философии», где работала и я, попросил меня узнать у Ариадны Борисовны о судьбе рукописи. В результате в журнале была опубликована глава из книги с предисловием Н. В. Мотрошиловой. Полностью книга была издана позже в издательстве «Прогресс», в серии «Библиотека журнала “Путь”» — спустя более пятидесяти лет после ее написания и через двадцать лет после смерти ее автора.

Когда один из инициаторов словаря «Русская философия» (М., 1995) В. П. Филатов предложил мне написать для это-

го издания статью о творчестве Валентина Фердинандовича, я прочитала много его работ, о которых раньше знала лишь понаслышке, и вновь убедилась в том, насколько широка была область его интересов, глубоки обобщения. Запомнились мне и некоторые на первый взгляд не столь значительные, но очень современно звучащие вещи. Так, в одной из его полемических статей есть такой пассаж, свидетельствующий о языковом чутье, наблюдательности и чувстве юмора: «Есть в русском языке слово “как бы”. Оно означает, что мы имеем дело не с реальностью, а с ее видимостью, с ее заменой или суррогатом. Но так как при этом имеется в виду не чистая призрачность, а все же подобие реальности, замены действительности, то — при известной изворотливости — можно использовать это слово так, чтобы смысловой центр тяжести падал не на компонент “видимости”, а на компонент “реальности”. Например, выражение “Икс — как бы музыковед” можно — при наличии доброй воли — истолковать не в том смысле, что Икс — видимость музыковеда, а в том, что, будучи видимостью, он все же видимость музыковеда, а не чего-либо иного»*. И теперь, услышав где-нибудь этот очень распространенный оборот, засоряющий нашу речь, или поймав саму себя на такой «изворотливости», я непременно вспоминаю слова Валентина Фердинандовича. Мелочь, казалось бы, но запомнилось на всю жизнь.

Конечно, время, эпоха постоянно ставили и ему свои заслони. Но он выбрал путь ученого и шел по нему тогда, когда высокий профессионализм, эрудиция, знания не только не были в чести, но могли быть смертельно опасны. И сила подлинных знаний, философская культура, достоинство человека и ученого пережили время, победили эпоху. Все это и сейчас с нами.

* Я цитирую статью «Вопросы музыкальной эстетики и книга В. Вансло-ва» // Советская музыка. 1955. № 7. С. 28.

Г. М. Тавризян

Мое знакомство с В. Ф. Асмусом

Путь мой к знакомству с Валентином Фердинандовичем Асмусом и последующему замечательному упрочению нашей дружбы был несколько необычен. Шел 1968 год; завершив работу над кандидатской диссертацией (научным руководителем работы была Мария Исааковна Петросян), я задумалась над выбором оппонентов. По своему обыкновению, я не стала делиться своими замыслами с руководителем. Имея дело с великодушным и заботливым человеком, я свой характер проявляла «тихо», стараясь раньше времени не привлекать внимания к своим решениям и действиям (а они для Марии Исааковны всегда были неожиданными, спутывали все ее разумные планы). Диссертацию путем всевозможных уловок и ухищрений мне удалось не показать руководителю вплоть до момента, когда она была переплетена и внести в нее изменения было невозможно. Другим «сюрпризом» для людей, заботившихся обо мне как о своей дочери (я имею в виду Марию Исааковну Петросян и ее мужа, Ф. Н. Момджяна), было то, что я, не говоря никому ни слова, решила просить быть моим оппонентом Валентина Фердинандовича Асмуса, который, естественно, слыхом обо мне не слыхивал, поскольку мне не довелось ни дня быть на философском факультете. Конечно, такая дерзкая мысль не могла возникнуть в моей голове, однако в те горячие дни Эрих

Соловьев неожиданно сказал мне: «Пригласи Асмуса. Ты ему понравишься...» Идея захватила меня целиком!

...В. Ф. Асмус был классиком в самом высоком значении этого слова; но в пору занятий моих экзистенциализмом более всего меня восхищали его работы конца 20 — начала 30-х гг. (об А. Бергсоне, О. Шпенглере и др.), поражавшие красотой языка и особенно — темпераментом, страстностью, привнесшими в его суждения момент невозможного позже «субъективизма», пристрастий...

...Конечно, я не могла сама к нему обратиться, он был в преклонном возрасте, слишком занятым, слишком именитым, чтобы я могла отважиться так просто позвонить ему. Это взяла на себя Цовинар Чалоян, дочь любимого аспиранта В. Ф. Асмуса. (Вазген Карпович Чалоян* был его аспирантом в те далекие годы, когда научный руководитель был так же молод, как его ученик. С тех пор их связывала очень прочная дружба. Свое отношение Валентин Фердинандович перенес и на Цовик; обаятельная, сердечная (мы с ней познакомились и подружились во время многолетних занятий в Ленинке, она тоже занималась Францией), она была частым гостем в Переделкине у В. Ф., в его семье.) И вот — картина, которой я никогда не забуду: я сижу на скамье где-то на бульваре, в тревожном ожидании; поодаль — Цовик в будке с телефоном-автоматом; я слышу ее умоляющий голос: «Валентин Фердинандович, но папа вас просит!.. — и вижу, как по ее страшно взволнованному лицу текут слезы, — ведь он вас *так просит!*»... Потом я узнала от Цовик, что В. Ф. слышать не хотел о диссертации: «Женщина на такую тему — да ни за что на свете!» Но, видимо, отчаяние и мольба в ее голосе наконец вынудили его согласиться, да и неприятно ему было отказывать дочери друга. Этих ее слез, которые я видела через стекло, этого самоотверженного поступка (ведь Вазген Карпович, находившийся в Ереване, и не подозревал об этой авантюре!) я никогда не смогу забыть. Зато, ознакомившись с навязанным ему таким путем текстом, В. Ф. сразу же сам позвонил мне; он не только согласился быть оппонентом, но, к моей великой радости, стал моим замечательным другом, проникся ко мне каким-то особым чувством доверия и душевного расположения...

* В. К. Чалоян (1905–1981) — философ, ученый, востоковед, чл.-корр. Академии наук Армении.

Узнав о моем тщательно скрывавшемся поступке опять-таки в самый последний момент, Мария Исааковна, отлично умеющая оценить ситуацию, сказала мне в сердцах, полная глубокого беспокойства за меня: «О чем ты думала?! Ты — беспартийная, Асмус — беспартийный... ты знаешь, каким провалом это может кончиться?»*

...Встретились они уже у меня дома, на традиционном дружеском банкете после защиты: в семейной обстановке он проходил чрезвычайно приятно. Особенно после бури, налетевшей с неожиданной стороны: за пятнадцать минут до защиты, с наслаждением мной предвкушавшейся, мне сообщили, что она отменяется, ибо несколько членов Ученого совета (с кафедры истории русской философии МГУ, кафедры, где в то время собралось большинство ретроградов) по «ряду идейных соображений» высказались против защиты. Собственно, они просили «немногого»: вычеркнуть из автореферата фамилии двух очень уважаемых мною моих коллег, предшественников в области изучения экзистенциализма (они писали о немецком экзистенциализме), и разослать новый — после чего я смогу защититься беспрепятственно, при полной их поддержке. Разумеется, я отказалась: к сожалению, этого оказалось недостаточно, ибо тогдашний председатель нашего Ученого совета (заведующий сектором — ирония судьбы! — истории русской философии) отказывался при таких обстоятельствах провести защиту. Однако глубокая порядочность и принципиальность нашего только что назначенного директора, светлой памяти Павла Васильевича Копнина, темпераментная поддержка возмущенной Марии Исааковны, решительное вмешательство Льва Николаевича Митрохина, тогда — заведующего нашим сектором современной западной философии, и в данном случае главное (потому что наш новый директор заявил, что в таких условиях решать, как быть, имею право только я, а Ученый совет здесь ни при чем) — мое «взыгравшее» самолюбие, упорство, какая-то неодолимая, агрессивная жажда дорваться до кафедры, — надо сказать, просто-напросто сокрушили по ползновения этих и тогда уже во всеобщем мнении одиозных,

* Сама Мария Исааковна была абсолютно бесстрашным человеком, она не боялась никого и ничего, но чрезвычайно тревожилась, волновалась по поводу уязвимости других.

хоть и могущественных фигур. На защите Валентин Фердинандович стал зачитывать свой отзыв (27 страниц, написанных от руки, неоконченных); однако зная, что прочесть удастся лишь часть его, предупредил, что начнет с оценки работы. Ученый совет (вопреки всем предшествующим событиям) был на редкость единодушен.

Еще одна деталь, характеризующая этого удивительного человека. Придя домой с гостями, я с величайшим огорчением обнаружила, что не работает лифт (а жили мы на пятом этаже): в отчаянии я бросилась к соседям звонить в Переделкино — и услышала спокойный голос Ариадны Борисовны: «Валентин Фердинандович одевается. Лифт не работает? Но ведь вы не отменяете вашего приглашения?»... В Переделкино за мэтром поехали Юрий Николаевич Семёнов и Лев Николаевич Митрохин; после они с восхищением рассказывали, как этот человек преклонного возраста учил их, поднимаясь по лестнице, не переводить дух на лестничной площадке, а идти, не спеша, без остановок.

Мария Исааковна и Феликс Ншанович глубоко уважали В. Ф. Асмуса; да он и не мог вызывать к себе иного отношения. Они его очень хорошо понимали. Феликс Ншанович, чье замечательное чувство юмора было еще великолепно оттого, что чаще всего он сам был объектом собственного остроумия*, рассказывал однажды со смехом: «Как-то на некоем приеме Валентин Фердинандович, ответив на мое приветствие, спросил: “Ну, что теперь последует за Гельвецием?”... Для него, — самокритично разъяснял Ф. Н., — все, что я после писал во множестве — по истмату и проч., — попросту не существовало, и он не скрывал этого; всерьез он принимал только то, что я писал по истории французской мысли...»

* В 2005 г., стоя, как и положено, в Институте в очереди за зарплатой, я сказала Льву Николаевичу Митрохину, которого всегда любила и ценила за необыкновенную остроту ума и языка (дружба наша была взаимной, многолетней): «Лев Николаевич, вы были бы самым остроумным человеком на планете, если б не Момджян...» Л. Митрохин (при всей сложности их отношений с Ф. Н.) признал это беспрекословно, более того, поддержал с энтузиазмом; мы стали вспоминать те или иные его шутки (подчас, в определенной политической ситуации, звучавшие весьма двусмысленно), лукавые, артистичные и очень веселые.

Доброжелательность Асмуса проявлялась во всем. Он часто приглашал меня на свою московскую квартиру в уютном «немецком» особняке; мы подолгу беседовали... О чем? я сейчас не могла бы сказать. Но одну беседу хорошо помню. Это было в 1970 г., после Гегелевского конгресса в Берлине. Мы сидели на солнечном балконе. Валентин Фердинандович с интересом расспрашивал меня о Германии, о сегодняшнем Берлине. Я же вернулась оттуда под глубоким впечатлением от страны; сам Берлин мне запомнился (очевидно, было одно из его «жарких лет») каким-то поразительно светлым, летним, в первую очередь — вся залитая солнцем, обновленная Александерплац. Валентин Фердинандович слушал внимательно, живо: «Рад это слышать; мне говорили другое...» Возможно, те, кто говорил «другое», были в определенном смысле ближе к истине; однако мне запомнилось именно это: город в лучах солнца, старинный и новый, просторный людный центр, площадь, и мне хотелось поделиться этим. И сейчас мне так помнится освещенный предвечерними солнечными лучами балкон, выходящий на улицу, неторопливый разговор, обаяние человека, внушавшего глубокое благоговение...

В. А. Димов*

Философия как призвание

В комнате 307 четвертого корпуса студенческого общежития МГУ на Ломоносовском проспекте нас было четверо: Сережа Кирин, сын профессора математики Вологодского пединститута, Саша Трофимов из Краснодара, Володя Федоров из далекого сибирского города Ишим и я. Что нас объединяло? Во-первых, все мы поступили в университет не со школьной скамьи, за плечами каждого из нас был определенный житейский и производственный опыт. Во-вторых, все мы жили ощущением неизбежных перемен и прошли по жизни школу здоровой деидеологизации. К партийным ценностям мы относились как к неприятному соседу, с которым обречены поддерживать хорошие отношения, улыбаться и говорить «здравствуйте».

И в-третьих, мы не были карьеристами. Никто из нас не мечтал сделать партийную карьеру или попасть в аппарат. Планы были другого свойства — получить достойное образование и по возможности понять, в чем наша судьба, судьба нашей страны, куда движется мир. В этом смысле мы были максималисты.

Нас связывала настоящая мужская дружба, в течение года мы жили студенческой коммуной, поддержи-

* Из книги В. Димова «Университет Ломоносовых». Адрес сайта: <http://dimov.ru/univer.shtml>. — *Примеч. ред.*

вая друг друга материально, оберегая товарищей от многочисленных угроз, которые исходили от администрации и комсомольских активистов, сторонясь стукачей и не в меру благонадежных. Мы делились идеями, восхищались одними и теми же книгами, имели общих друзей и знакомых, вместе ходили на лекции Асмуса или в Малый зал консерватории по бесплатным абонеентам. Каждый из нас ежедневно делал собственные открытия и делился ими с друзьями. Наша дружба была непритязательна, но надежна. К нам потянулись! «Клуб-307» стал местом, где собирались советские и иностранные студенты. Примечательно, что было много москвичей. Мы никому не навязывали своих оценок и вкусов, но с нами считались.

Но вместе с тем мы были разные. Сын профессора-математика Сережа Кирин прекрасно разбирался в новой для нас дисциплине — математической логике и был на хорошем счету у профессора Евгения Казимировича Войшвилло, который читал нам этот курс. В качестве специалиста по матлогике Сережа опекал всех нас. Я был влюблен в Валентина Фердинандовича Асмуса.

Впервые я увидел его в 1967 г. на установочной лекции, которую он читал на философском факультете Московского университета (в старом здании на Моховой). Аудитория была забита до отказа. Кроме преподавателей и студентов было много старых почитателей Валентина Фердинандовича — поэты, писатели, музыканты. У всех на свежей памяти было событие большого общественного звучания — смерть Б. Л. Пастернака и выступление Асмуса в Переделкине. В огромной стране нашелся-таки человек, который вслух назвал автора антисоветского романа «Доктор Живаго» классиком русской литературы. Читал Асмус неторопливо, просто и доходчиво объяснял начинающим, что философия — это не только профессия, это — призвание и лучшие учителя — классики мировой философии. Чаще всего в его речи звучали имена Платона и Канта.

Потом мне посчастливилось прослушать спецкурс Валентина Фердинандовича Асмуса по истории античной философии, и первое мое впечатление оказалось правильным. Его олимпийская невозмутимость, сдержанность, какая-то особая интеллигентность создавали для окружающих несвойственный эпохе образ мыслителя от Бога, через которого из глубины веков передают нам эстафету знания и мудрости Сократ и Платон,

Декарт и Кант, Гёте и немецкие романтики. Священные тексты зажигали его — у слушателей порой создавалось впечатление, что устами Асмуса вещают божественный Платон или олимпиец Гёте. Перевоплощение невозмутимого Валентина Фердинандовича было подарком только для тех, кто был признан им участником равноправного диалога, не был карьеристом или «пустым местом».

Асмус был немец или, как он любил называть себя, обрусевший немец. Его предки приехали в Россию из Виртемберга. Первые этапы его восхождения к высотам европейской науки были связаны с Екатерининским реальным училищем и Киевским университетом, среди выпускников которого была еще одна философская знаменитость — Николай Бердяев. С малых лет его сопровождала музыка Моцарта и Верди, Глинки и Чайковского. Среди любимых опер — «Фауст» Гуно и «Кармен» Бизе. В дальнейшем молодой философ отдавал предпочтение серьезной симфонической музыке. Но главным университетом оставалось чтение классиков.

О его прошлом в 20–40-е гг. ходили легенды. В этот период он писал относительно мало. В общественном сознании за ним закрепилось место «философской тени» Н. И. Бухарина, некоторые запальчивые марксисты называли его «воинствующим кантианцем» и даже «последним меньшевиком». Асмус молчал. Он избегал грязных дискуссий в духе времени. Круг его друзей был невелик — музыканты Генрих Нейгауз и Мария Юдина, опальный философ Алексей Лосев, поэт Борис Пастернак. Сохранился портрет профессора В. Ф. Асмуса начала 1940-х гг. работы фотохудожника Наппельбаума. Сосредоточенное выражение лица, плотно сжатые губы, он готов к самому худшему.

Сталин не тронул ни Пастернака, ни Асмуса. В сталинской библиотеке были книги молодого профессора. Интуитивно «вождь народов» понимал, что Асмус — философ европейского уровня. Когда не избалованный вниманием Валентин Фердинандович попросил у властей разрешения приобрести в Германии домашний телескоп, то этим вопросом занимался сам председатель Совнаркома В. М. Молотов. Вечный бег звезд и философия — это где-то рядом — решили наверху. Но в 1947 г. Асмус был подвергнут уничтожающей критике как один из авторов трехтомного издания «Истории философии» под редакцией Г. Ф. Александрова. Асмус наряду с Зощенко

и Ахматовой стал идейным врагом властей и «серых кардиналов» партии Жданова и Суслова. Двадцать лет его выдвигали в академики — отказ. Власти смирились с тем, что Валентин Фердинандович стал почетным членом Международного института философии в Париже, но тут же отомстили — Асмус по-прежнему оставался невыездным. Его работы о Гёте, Канте, историко-философских проблемах знали в крупнейших научных и университетских центрах Европы, а ему был запрещен выезд даже в страны народной демократии. Власти его боялись. И это было вплоть до его смерти в 1975 г.

В последние годы все чаще говорят о духовном трио — Б. Пастернаке, М. Юдиной и В. Асмусе, противостоящем властям. Реально довольно сложно отделить духовную составляющую их дружбы от политической. Надо было иметь смелость, чтобы в 1965 г. заявить партийным оппонентам: «По поводу “Доктора Живаго” ничего сказать не могу и никаких рецензий писать не буду. Вот опубликуете роман — тогда поговорим». Так с властями мог говорить только человек, уверенный в своей правоте и с собственным взглядом на будущее.

Летом 1968 г., наслушавшись Асмуса и обретя пьянящее чувство свободы и достоинства, студенты толпами ездили на могилу Пастернака. А по вечерам в студенческом общежитии на Ломоносовском проспекте обсуждали университетские новости, новые подробности из старых легенд о любимом профессоре и удивлялись природному чуду: на могиле Бориса Леонидовича вырос хрупкий колосок пшеницы — прямо из сердца, — комментировали самые эмоциональные. Спустя годы я согласился с ними — чем не знамение века?

С. К. Апт

Классическая филология*

Михаил Николаевич Петерсон и Валентин Фердинандович Асмус к нашей кафедре не принадлежали, но читали нам курсы, ни на одном отделении факультета, кроме классического, не читавшиеся. Оба профессора запомнились мне не лекциями, которые я слушал у них, а человеческой неординарностью, которой от них веяло. М. Н. Петерсон читал у нас историю сначала греческого языка, потом латинского. Ничего исторического в обычном смысле, т. е. привязанного к определенному времени, к событиям, к ситуациям в его лекциях не было. С этим, по-видимому, общим свойством исторических грамматик — с их безвоздушной отвлеченностью — я уже сталкивался раньше, когда самостоятельно занимался старославянским. Но в лекциях Петерсона отвлеченность фонетических чередований, мутаций падежных и глагольных флексий достигала алгебраической последовательности. Постоянные ссылки на литовский язык и санскрит сами собой подводили слушателя к понятию некоей индоевропейской первоосновы, праязыка. Но историческая реальность этой первоосновы никоим образом не подтверждает, праязык в лекциях М. Н. был, мы бы

* Фрагмент статьи, напечатанной в журнале «Иностранная литература». 2005. № 1. — *Примеч. ред.*

сказали сегодня, реальностью виртуальной. Тогда я представлял себе праязык чем-то вроде идеи Платона. Сейчас я не помню двух этих предметов, в ушах прочно застряло только санскритское *bhagatī*, да и тогда формулы из лекций М. Н. держались в голове не дольше недели после экзамена, но самого Петерсона вижу как сейчас. Его манера вести себя, вернее его неманерность, естественность, доброжелательная демократичность восхищали меня. Темными зимними утрами он входил в холодную аудиторию, здоровался и, не теряя времени, шел с мелом к доске. Он никогда не отвлекался на разговоры *ad hoc*, но никому не пришло бы на ум назвать его сухарем. Внешне он не был стар, даже не поседел (может быть, он красил волосы?), но и наши далеко не молодые преподаватели относились к нему как к старшему, как к патриарху или авгуру. Я не слышал от них ни одного иронического словечка о нем, а ведь от маленьких вольностей при учениках, от насмешливых улыбок или намеков по адресу других коллег, пожалуй, никто из них, при всей корректности, не удерживался. Вне стен университета мне видеть Петерсона не довелось.

Иначе обстояло дело с В. Ф. Асмусом, оставившим прочный след в моей памяти не столько лекциями по античной философии, не столько вообще своими появлениями в наших аудиториях, сколько увиденным и услышанным как раз не на Моховой. От Асмуса-лектора, вообще от первого знакомства с ним, у меня осталось двойственное впечатление. Свой курс он читал очень сухо, даже скучно, законченными, монотонными фразами, построенными так, как это принято в письменной речи, но не свойственно устной, а это для педагогической цели, особенно когда материя сложна и требует терпеливого разъяснения, разжевывания, вообще не годится. Подобно петерсоновскому *bhagatī*, от лекций Асмуса застревало в ушах *to eīnai* и *to te eīnai*. А облик лектора совсем не вязался с этим усыпляющим звуковым фоном. Асмус поднимался по лестницам энергично, носил кожаное пальто с поясом и кепи, и само его имя-отчество связывалось у меня с возлюбленным несчастной Луизы Миллер из пьесы Шиллера, постановку которой я видел в десятилетнем возрасте в провинциальном театре. Там Фердинанд выходил на сцену в ботфортах, эполетах и треуголке.

Совсем другим я увидел Асмуса несколькими годами позднее, когда жил в соседней с ним комнате в коктебельском доме творчества. Он приехал туда с семьей — с женой и четырьмя

маленькими детьми. Старшему сыну было пять лет. На вопрос, как его зовут, мальчик отвечал: «Валентин Валентинович Асмус». А мать, когда ее спрашивали, как же это она справляется с такой оравой, отвечала:

— А я и не справляюсь.

Она была значительно моложе мужа, в прошлом, кажется, его ученица, и женился на ней Асмус после смерти своей первой жены, о странностях которой я слышал позднее много невероятных историй. Мать и дети проводили дни в парке, редко появляясь у моря, а Валентин Фердинандович целыми днями сидел за рабочим столом, писал, читал, слушал музыку. Он почти не выходил из дому до захода солнца, зато ночами любил глядеть на августовские звезды в привезенный для этого из Москвы телескоп. С окружающими он был приветливо-сдержан и как человек оставался для меня такой же загадкой, как раньше, в университетские годы, хотя я по-прежнему чувствовал его незаурядность, даже значительность.

Это субъективно-смутное чувство получило объективное подтверждение только спустя еще несколько лет, но, наверное, именно потому, что наконец подтвердилось, оно не померкло, отбросило свет на мои студенческие впечатления и неразрывно связалось у меня с его именем. Я имею в виду его речь на похоронах Пастернака на Переделкинском кладбище. Асмус говорил первым, в минуты наивысшей напряженности и сосредоточенности толпы, еще не уставшей от последовавших речей и стихов. Текст этого надгробного слова, думаю, где-нибудь давно уже напечатан, а тот, кто прочтет его только сегодня, наверное, уже не поймет, как он звучал летом 1960 г., сколько внутренней силы нужно было оратору, чтобы говорить у гроба затравленного поэта так просто, так глубоко, так правдиво, без единого фальшивого слова, не умолчать о конфликте Пастернака со временем, сказать, что тот был, как и Лев Толстой, против насилия, и, не дав ни одной зацепки, но и не сделав ни одной уступки возможным следователям или преследователям, прилюдно заявить, что он, Асмус, на стороне умершего, а не на стороне власти.

Эта-то речь, которую я, затаив дыхание, слушал в нескольких шагах от Валентина Фердинандовича, велит мне причислить его к моим университетским учителям.

В. Л. Рабинович

Своевременная поддержка

На дворе стояла середина 70-х гг. прошлого века. Игра в алхимию как феномен средневековой культуры была в самом разгаре. Так сказать, Вертер был уже написан, как пошутил Катаев (этот автор нам еще понадобится в этой небольшой заметке), но еще не опубликован. Как раз вокруг этого (публиковать — не публиковать) была наша с Семеном Романовичем Микулинским, членом-корреспондентом АН СССР и уже директором Института естествознания и техники той же академии, игра. Между ним и мной, младшим научным сотрудником того же Института. Кто больше наберет «внутренних рецензий»: я — положительных, он — отрицательных, тот и выиграет. Правда, положительных нужно было набрать намного больше, если учесть несоизмеримый — по сравнению со мной, младшим, — административный ресурс. Счет в мою пользу был весьма внушительным, с порывом в двузначную цифирь. Что-то вроде 4:12 (как тогдашняя цена армянского коньяка три звездочки).

Заметим, игроки его команды были не ахти, зато истовые и, как говорится, от всей души: Г. В. Быков, Н. А. Фигуровский, А. Н. Шамин. Моя же «команда» была экстра-класса, но при этом ни с кем я до того не был знаком. Но почему-то все охотно откликались.

Откликнулся и Валентин Фердинандович Асмус, живший тогда в поселке советских писателей Переделкино.

Договорившись по телефону, в начале января 1974 г. в назначенный час я приехал к старому профессору в его переделкинский дом и привез ему две толстые папки моей рукописи. Взял, как мне показалось, без ужаса. Поблагодарил. Просил позвонить в середине февраля. Я так и сделал.

В назначенный день я снова был у В. Ф. Асмуса. Был чай с вишневым вареньем. И мой рассказ о том, как мне утвердили алхимию в качестве плановой темы. Валентин Фердинандович и его Ариадна внимательно слушали. Строгий и точный логик смеялся.

А было дело так.

1971 год. Работаю в Институте истории естествознания и техники. Прошу С. Р. Микулинского, в то время заместителя директора института, включить в план мою работу на тему «Алхимия как феномен средневековой культуры». С. Р. упирается: «Ведь лженаука же». «А вот и нет», — продолжаю настаивать я. «Советская энциклопедия так пишет», — не понимает он. «А вот и нет», — продолжаю упорствовать я. А он показывает синий том сталинской БСЭ, в которой действительно «А. — лженаука...». А я на сие достаю из портфеля еще пахнувший типографской краской красный том новой БСЭ, в коем «А. — феномен...». С. Р. внимательно читает, медленно скользя взглядом по колонкам статьи... и, дойдя до подписи «В. Л. Рабинович», говорит: «Так это вы же и написали». «Верно, — соглашаюсь я. — Но теперь это мнение всего СССР...»

Спасибо Н. Мостовенко, Е. Вонскому, Л. Шаумяну — энциклопедистам из БСЭ, напечатавшим мою статью, которая стала идеологическим верняком для пугливого С. Р.*

Уложив папки в авоську и бережно в одну из них положив написанный разборчиво на двух листах из школьной тетради в клеточку отзыв В. Ф. Асмуса о моем сочинении, окрыленный, я двинулся к станции. Он меня немного проводил. Провожая, рассказал мне одну историю — про своего друга Бориса Лео-

* И вот сейчас, в Российской энциклопедии и тоже в первом томе вновь пишу я об алхимии, только больше и лучше. На этот раз спасибо Н. Кустовой — замечательному редактору РЭ!

нидовича Пастернака и не своего друга Валентина Петровича Катаева.

Хороший писатель, Катаев слыл не очень хорошим человеком. А после того, как он самолично занял дачу И. Г. Эренбурга, уехавшего на время в Париж и задержавшегося там сверх положенного, а по версии Катаева — навсегда, стал и вовсе нерукопожатным. И вот, когда он и Борис (рассказывает Асмус) гуляли здесь, возле речки, по вечерующему сентябрьскому поселку, с ними поровнялся идущий навстречу Катаев. И тут Борис Леонидович по рассеянности с ним поздоровался, а Асмус ему об этом сказал. Пастернак догнал уходящего Катаева и сказал ему так: «Я только что с вами поздоровался. Так вот. Я беру свое “здрасьте” назад». И взял... Нерукопожатность была восстановлена.

Вот и все.

А далее — текст отзыва, напечатанный с рукописи В. Ф. Асмуса.

Отзыв о работе В. Л. Рабиновича «Алхимия как феномен культуры»

Не будучи ни в какой мере специалистом по истории средневековой науки и философии, я недавно ознакомился с работой В. Л. Рабиновича «Алхимия как феномен культуры» и был, скажу прямо, поражен ее высокими научными и литературными достоинствами. Труд этот бесспорно принадлежит к числу тех, которые открывают для читателя новый и неведомый ему мир своеобразной культуры и своеобразного стиля научного мышления. Превосходно знакомый с первоисточниками и с уже довольно обширной в настоящее время специальной исторической литературой, автор уверенно и мастерски очерчивает проблематику алхимии, связь алхимии с другими философскими науками средневековья и с самой средневековой философией. Одно из замечательных достоинств труда В. Л. Рабиновича — никогда не переходящая в многословие обстоятельность, дифференцированность, конкретность его характеристик и анализов, а также обоснованность ответственных выводов. Я с нетерпением буду ожидать опубликования книги В. Л. Рабиновича и предрекаю ей вполне ею заслуженный и для меня совершенно несомненный успех у читателя, притом не только у ученых специалистов. Этому

успеху должен способствовать хороший литературный язык сочинения. Было бы крайне желательно, если бы издательство, которому будет поручен выпуск книги в свет, использовало богатый материал иллюстраций, которыми располагает автор. Некоторые из них редко встречаются даже в специальной литературе.

*Доктор философских наук (В. Асмус)
Москва, 17. 2. 74.*

И вспомнился мне
 давний день ученья,
Когда все философские теченья
Нам вроде бы казались ни к чему.
За нами громоздилась тень завода,
Лежала на ладонях тень тавота,
И было просто сердцу и уму;
Тот давний день в рабочем институте,
Где вглядывался в нас,
 до самой сути,
Профессор.
 Двоек ставить не спешил,
Стремясь найти крылатое, сквозное,
Возможность ливня
 и возможность зноя
В наивной косности чужой души.

Екатерина Шевелёва

Приглашение

*Он смотрит на планету,
Как будто небосвод
Относится к предмету
Его ночных забот.*

Б. Пастернак

И пока ты спешил
Добежать до ворот,
Шар земной совершил
Небольшой доворот,

И ударила полночь
Над миром земным
И небесным — ты помнишь
Тот взвившийся дым.

Звездный огненный атлас
Над тьмою мостков.
В Переделкине Асмус
Крутил телескоп.

Звезд подсыпало на ночь.
В их плотной среде
Валентин Фердинандыч —
Как рыба в воде.

Для него во Вселенной
Каждый болт-маховик —
Как за рощей весенней
Из Москвы паровик.

Спали дачные зданья...
Сам не лез на рожон —
На сеанс мирозданья
Был студент приглашен.

И на карте небесной,
События в честь,
Поглощенная бездной,
Отметинка есть.

Константин Ваншенкин

На даче ученого

В. Ф. Асмусу

Кленовый лист к стеклу окна приник,
пылает и багрянцем сыплет осень,
а в кабинете сумрачно от книг.
Хозяин мил и прост, садиться просит.
Стареет — подтверждает седина, —
но он со старостью не очень дружит.
Пусть эта книжных полок вышина
столетий мысль ему на плечи рушит,
сутулость не пригнула за столом.
Он и сегодня, раскрывая книги
или вода немеркнувшим пером,
остался собеседником великих.
Меня приветил он житейским взглядом,
спустившись с философской высоты.
Бывает и Вселенная с ним рядом
Он с ней без панибратства, но на «ты».

Степан Щипачёв

3 октября 1969 г.

В. Ф. Асмусу

Телескоп наведен на луну.
С глазу на глаз осталась я с ней,
Я вхожу в золотую страну,
Ту, что видится людям во сне.
Гребни странных морщинистых гор
Как на той, где стою я, земле,
Пятна высохших мертвых озер
Расширяются в дивном стекле.
«Море кризисов» переплывешь,
«Море ясности» перед тобой...
Лунный мир удивительно схож
С человеческой нашей судьбой.
Тихий, полуседой звездочет
Осторожно поправит трубу.
Море ясности молча течет,
Спит луна, как царевна в гробу.
А потом, по колючкам сухим,
Любо к шумному морю пройти,
Под порывистым ветром ночным
Разговор о житейском вести,
На кремнистом морском берегу
Любоваться обычной луной,
Слушать, как на бетонном кругу
Льется музыка жизни земной.

*Вера Звягинцева**

Коктебель, июль 1953 г.

* Вера Клавдиевна Звягинцева, поэт. — *Примеч. ред.*

МЫСЛЬ

В. Ф. Асмусу — нежно.

«Когито — эрго сум».

Декарт

Вот был когда-то мэтр Эрасмус
И Роттердамский, — что же в том?
А у меня есть логик Асмус,
К нему приехали мы в дом.
Ну, дом как дом, — скорей домишко,
Но сколько мысли в нем и книг!
И никакого нет излишка:
Что в доме, — он во все проник.
Какие вижу переплеты:
Декарт, Вольтер э диз-ютъем!
И раньше! Мысли все — полеты,
Не то, что «сум, когда я ем»*.
«Сум — это когито»; с Декарта
Была та мудрость, когда мысль
Пошла философам та карта,
Куда хоть числь или не числь.
А надо думать! В этом радость.
Тут логик и лингвист (!) — друзья.
Но по приказу *делать гадость* —
НЕЛЬЗЯ! И тут ни Вы, ни я,
Все тот же Искандер Ислахи...

А. А. Реформатский

12 апреля 1966 г.

* Афоризм Фейербаха: «Der Mensch ist, was er isst» («Человек есть то, что он ест») (нем.). — *Примеч. ред.*

Трио

В. Ф. Асмусу

Пастернака уж нет
И Нейгауза — тоже.
А история лет
Нам прибавить не может.
Вы остались один
Из прекрасного трио,
Дорогой Валентин
Фердинандыч, их И. О.
Я же, старый Ваш друг,
Так любил их обоих,
Что готов сделать круг
У себя на обоях
И туда начертать
Имена их навеки.
Надо жить. Ни черта.
Все ведь мы человеки.

А. А. Реформатский

III. Воспоминания. Письма

<Детские годы>

Я никогда не вел дневниковых записей и никогда не мог похвастаться блестящей памятью. Но я прожил долгую жизнь, богатую если не событиями, то впечатлениями, и многие из них — по своей резкости — сохранились в моем сознании. Часть этих впечатлений я попытаюсь передать в своих «Записках».

Для меня вся жизнь моя отчетливо делится на три отрезка: в Константиновке, в Киеве и в Москве.

Родился я в Киеве. Большая часть детства — до десяти лет (1894—1905) прошла в Донбассе — в Константиновке, где мой отец, Фердинанд Гейнрих Вильгельмович Асмус, служил в конторе Бельгийского акционерного общества Донецких стекольных, бутылочных и химических заводов. Годы моего ученья — сначала в Екатерининском реальном училище в Киеве, позже в Киевском университете, — а также первые годы самостоятельной работы прошли в Киеве. С осени 1927 года я живу в Москве. Здесь я долгие годы работал (и работаю) как профессор Московского государственного университета, как научный работник в области философии и как литератор (литературовед). Здесь же я написал большинство своих работ.

По отцу я — из немцев. Мать моя русская: Пелагея Игнатьевна Тищенко. Прадед мой пришел пешком в Россию из Виртемберга в Петербург и записался здесь в цех кондитеров. У дедушки моего, после того как он женился на Вильгельмине Кирхгейм, появи-

лась своя кондитерская, в свое время небезызвестная в Питере. Дедушка мой вскоре стал вдовцом, разорился и переехал с детьми в Киев. В числе этих детей был и мой отец, родившийся в Петербурге. После разорения деда отец мой должен был по бедности выйти из средних классов гимназии и рано начал трудовую жизнь. Он переменял несколько мест, и последним из них была служба в винном магазине Депре. Служба эта тяготила его. Отец мой был очень музыкален. У него был прекрасный музыкальный слух, отличная память и превосходные способности к игре на фортепиано. До разорения дедушки отца начали учить играть. Учительница задавала ему приготовить пьесу, и на следующем уроке он с большим вкусом и темпераментом ее разыгрывал, предварительно поместив ноты на подставку. Вдруг учительница заметила, что ноты стоят «кверху ногами», а отец, притворяясь, будто читает ноты, лихо играет по памяти, но довольно приблизительно. Его строго наказали за хитрость и небрежность. Но вскоре все уроки оборвались — по той же причине, по какой прекратилась и гимназия, и отец на всю жизнь остался только способным самоучкой. Он действительно был очень способен. Я редко встречал даже хороших профессиональных пианистов, у которых был бы такой замечательный тембр («туше»), как у моего отца. Увы! Задатки превосходного артистизма заглохли в нем, не развившись. Большим его недочетом было отсутствие терпения и настойчивости в преодолении трудностей. Он никогда не мог, не хотел дважды проиграть не то чтобы всю исполняемую вещь, но хотя бы даже кусок этой вещи, несколько тактов, исправить гармоническую неточность. Его игра всегда восхищала меня каким-то потенциальным артистизмом, но с годами моего повзреления огорчала, даже раздражала небрежностью в воспроизведении гармонии.

Как-то, томясь в винном магазине, он получил от зашедшего туда приятеля известие, что в Донбассе построены Бельгийским акционерным обществом — стекольный, бутылочный и химический заводы и что в их контору приглашаются служащие: счетоводы, бухгалтеры, специалисты по ведению коммерческой переписки и т. п. Материальные условия были по тем временам очень хорошие. Отец навел справки, и вскоре ему удалось добиться зачисления в контору Константиновских заводов с окладом в сто рублей, не считая бесплатной заводской квартиры.

<1. Константиновка>

Весной 1900 года мы переселились из Киева в Константиновку. В то время семья моя состояла из четырех человек: мои родители, я и мой младший брат Коля, годом моложе меня. С нами поехала — помогать устраиваться в новом месте — бабушка, мать моей мамы. Ее звали Евфросиния Петровна Тищенко. До 1861 года она была крепостная крестьянка, принадлежала каким-то помещикам, жившим в Полтавской губернии. Бабушка моя не умела ни читать, ни писать. Она была женщина ума живого и впечатлительного, нрава строгого и взыскательного. Память у нее была превосходная. По выходе замуж она переехала к мужу в Киев, но вскоре там овдовела. В дальнейшем она проживала поочередно у своих замужних дочерей — у моей мамы и у ее сестры Марфы Игнатъевны, в замужестве Череповской, о которой пойдет речь ниже.

Отец мой был принят в контору стекольного завода. Но на первое время нам отвели жилье в небольшом — на две квартиры — каменном домике не при стекольном, а при бутылочном заводе. Домик этот находился на ровной, как стрела, улице, состоявшей сплошь из совершенно одинаковых домов, отделенных друг от друга одним и тем же расстоянием. При каждом доме был огород, растительности никакой. Улица доходила до реки, над которой нависал высокий обрыв. Река эта называлась Кривой Торец. Течение ее было перпендикулярно той улице, на которой мы жили. Бережок ее — со стороны бутылочного завода — был возвышенный, противоположный — низменный. На низменном берегу тянулись огороды болгарских поселенцев, там же высилось орошавшее эти огороды сооружение, конструкция которого была известна уже древним египтянам. Над рекой рядом с берегом стояло вертикально уставленное огромное колесо, а по его окружности были прикреплены ведра. Колесо вращалось вокруг собственной втулки при помощи ворота, который приводится в движение лошадью, ходившей вокруг небольшой площадки. При вращении колеса ведра, опускавшиеся и проходившие вниз, черпали из реки воду, а поднимаясь вверх, опрокидывали ее над желобом, по которому вода текла далее на огороды. Лошадь погонял по кругу хлопец, изредка покрякивавший на свою клячу, чтобы она не прекращала движения, и хлопавший при этом бичом. Я как за-

чарованный смотрел на эту оросительную технику, которая казалась мне величественной и необыкновенно занимательной. Справа от реки и от улицы, на которой мы жили, тянулась громадная, обнесенная темным забором, территория бутылочного завода. В летние дни в тени длинного-предлинного забора там и сям сидели группами подростки-рабочие, приходившие сюда поговорить или поиграть в карты. По одну сторону завода был поселок жилых домиков, где мы жили, по другую проходила двухколейная магистраль железной дороги. Она пересекала с запада на восток Донбасс и направлялась на Ростов и на Северный Кавказ. В одну сторону она вела к станции Дружковка, в другую к Константиновке, от которой заводы отстояли в трех-четырёх верстах. По обеим сторонам дороги вились тропинки, а за ними высились — через правильные интервалы — посадки, защищавшие дорогу зимой от снежных заносов.

Когда мы приехали на заводы, мне было пять лет, и самые сильные мои впечатления оказались — впечатления от природы, а не от людей, с которыми у меня в то время было мало общения.

Мы приехали в Константиновку, когда она только начинала строиться и жила, в сущности, на самом краю степи. Весной степь поражала острыми терпкими запахами жестких степных трав и радовала глаз яркими лиловыми, белыми и желтыми цветами; вверху заливались жаворонки. Это была та самая степь Донбасса, которую изобразил Чехов в гениальном своем рассказе «Степь». В полях было много сусликов. Некоторые вырывали свои норки на тропинках вдоль железной дороги. Они сидели у входа в норки и пронзительно свистели, но, увидев приближающихся мальчишек, исчезали. Много лет спустя я вспомнил об этих животных, прочитав в одном стихотворении Н. Н. Ушакова строчку:

«Суслик свистит, соловей пустынь».

От старших я слышал, что подальше от железной дороги, в глубине степи, изредка показывались дрофы. Слово это очаровывало меня. Прислушиваясь к рассказам старших, я мечтал увидеть когда-нибудь «на самом деле» эту птицу, которая представлялась мне в моем воображении огромной и прекрасной. Я не знал, что дрофы очень пугливы и не подпускают к себе близко человека. Но до прогулок в степь было еще далеко. Прогулки эти начались только тогда, когда к маме на по-

бывку приехала ее младшая незамужняя сестра Мария Игнатьевна — тетя Маня, как мы с братом ее называли.

Тетя Маня получила особое и незабываемое значение в моем детстве. Она очень любила стихи, знала много их наизусть и на прогулках с нами постоянно нам их читала. Ее любимыми поэтами были Жуковский и Пушкин. С волнением и восторгом я впитывал в себя строфы немыслимой красоты и очарования. Помню — это было зимой, в морозный день, — мы шли по берегу нашей реки и тетя Маня читала: «Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед» — и еще: «На красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лед, скользит и падает...» — или еще: «...Вьется первый снег, звездами падая на брег...». Я глядел на поверхность покрытой льдом реки, исчерченную коньками «мальчишек», и смутно чувствовал, не все понимая в них, что эти стихи называют, открывают мне какую-то прекрасную, раньше незамеченную сторону мира. Я не понимал в точности, что значит, например, «задумав плыть по лону вод», но я даже боялся спрашивать тетю об этом. Я хотел только затаить в себе и удержать в своей памяти полученное — сложное, не совсем понятное, но, я знал это, прекрасное впечатление. На этих прогулках с тетей Маней во мне зарождалась любовь к русской поэзии. Они открывали мне доступ в мир, о котором я дома не мог составить представления. Ни отец, ни мать моя поэзии не любили, и единственная книга стихов, которую я впоследствии, выучившись читать, нашел как-то в скудной родительской библиотеке, был томик Надсона, впрочем, совершенно чистый и непотрепанный. После Пушкина он показался мне трогательным, томительно грустным и бедным.

Зато тем более сильными были мои музыкальные впечатления. Отец перевез из Киева в Константиновку пианино, купленное им в рассрочку. Вернувшись из конторы, после ужина, он любил играть на своем скромном инструменте. Как только начиналась игра, в комнату, где стояло пианино, стекались любители музыки. Это были наш кот, брат мой и я. Кот сворачивался калачиком недалеко от фортепиано, мы с братом рассаживались на стульях и с жадным вниманием слушали. Но скоро наступал вечер, брата и меня загоняли спать. С грустью покидали мы комнату, где играл отец, и укладывались в свои кровати. Вскоре, впрочем, наступало утешение. Звуки музыки прекрасно доносились в спальню. Отрадно было в ти-

шине прислушиваться к тому, что происходило в музыкальной комнате. До сих пор помню, как отец в один из таких вечеров играл увертюру к «Сусанину»: дивные вступительные такты Adagio и затем стремительное Presto. Впоследствии, когда я сам начал играть, я узнал, что это были за вещи. Отец мой совершенно не знал классической инструментальной музыки, но был страстным любителем музыки оперной. В его глазах это был предел «серьезного» музыкального искусства. У отца было довольно много фортепианных переложений опер («Клавираусцугов»), в их числе очень хорошие. С ранних детских лет я постоянно слушал «Дон Жуана» Моцарта, «Сусанина» и «Руслана» Глинки, «Русалку» Даргомыжского, «Евгения Онегина» и «Пиковую даму» Чайковского, «Демона» Рубинштейна, ряд опер Верди и Мейербера («Трубадура», «Травиату», «Риголетто», «Бал-маскарад», «Аиду», «Роберта-Дьявола», «Гугенотов», «Африканку»). Очень любил отец также «Фауста» Гуно и «Кармен» Бизе. Играл он все это с воодушевлением и с чрезвычайной выразительностью, а прекрасный под его руками тембр инструмента производил на меня сильное впечатление. Сначала я долго не мог заснуть, но, наконец, засыпал во время какого-нибудь перерыва, потрясенный услышанным и совершенно счастливый. К отцу, который так хорошо играл, у меня было чувство благоговейной любви и уважения.

Отношение это всячески поддерживала мама, чрезвычайно внимательная к авторитету отца. В вопросах духовной жизни он был для нее высшим и непреложным судьей. Любой человек, не признававший за отцом этого его значения, переставал для нее существовать. Но в то же время подлинной руководительницей нашего дома и всей нашей жизни была именно она, наша мать. Она не только преданно заботилась об отце как жена, но и управляла его поступками во всех серьезных делах, вплоть даже до служебных. Отец мой был усерден и исполнитель по службе, в конторе, в то же время он был натурой артистической. Он был робок, пассивен и склонен отступить перед трудностями, которые жизнь воздвигала на пути его — не идущих далеко — замыслов. Мать боролась с трудностями и отца заставляла не поддаваться им, оказывать им сопротивление. Именно она настояла на том, чтобы меня и брата отвезли учиться в Киев, а не в один из соседних городов Донбасса, и уговорила свою сестру Марфу Игнатьевну Череповскую принять нас к себе на пансион. И во многих других важных случаях

и вопросах жизни она сыграла роль руководящую и почти всегда благотворную.

Жизнь наша в поселке бутылочного завода шла чрезвычайно монотонно и размеренно. В восемь утра отец должен уже был сидеть в конторе; до нее было минут двадцать ходьбы по широкой, утрамбованной шлаком дороге. От двенадцати до двух часов был обеденный перерыв, а затем снова работа в конторе — до шести вечера. Обо всех этих часах оповещали мощные заводские гудки. Мама никогда не запаздывала с обедом. Как только отец переступал порог, его уже ожидал в кухне приготовленный полный кувшин воды для умывания, а на столе обед. После обеда и кофе отец отдыхал, а мы с братом шли в наш двор и играли там: строили из красных кирпичей, сложенных у забора, домики и насыпали между ними дорожки из песка. Вдоль забора цепочками ползали красные клопки — «солдатики» — с черными пятнышками на спинках. Когда нам надоедала наша несложная и однообразная игра, мы развлекались мамиными птицами. Это были гуси, утки и куры. Они занимали часть огорода у заднего забора и скромно вели себя там. Но при нашем приближении по тропинке мимо грядок картофеля гусак и его гусыни страшно шипели, наклонив шеи к земле, и норовили клюнуть нас, утки взволнованно кричали и куры квохтали. Мы любили кормить всю эту птицеферму кусками черного хлеба, корочками арбузов и дынь. Очень интересно было смотреть, как утята полощутся и ныряют в большом корыте, наполненном водой. Вода в корыте всегда была темная, грязная.

С братом я играл очень дружно. Никогда между нами не вспыхивали ссоры или драки. Мы быстро обо всем договаривались и уступали друг другу. Очень дружные между собой, мы были оба молчаливы и скрытны, таили в себе свои впечатления и мысли.

Наша монотонная и замкнутая жизнь была вдруг потрясена событием, которое заставило нас выглянуть за околицу изолированного существования. Случилось следующее. На константиновских заводах, принадлежавших акционерному бельгийскому обществу, работало много бельгийцев: рабочих и служащих. Администрация заводов стремилась квалифицированных рабочих выписывать из Бельгии; неквалифицированные нанимались здесь на месте. Разница в оплате и в жилищных условиях была немалая, и это обстоятельство порождало некоторую

неприязнь между местными рабочими и бельгийцами. Какие-то темные силы разожгли эту неприязнь в настоящую вражду, и в начале 1900-х годов в Константиновке произошел безобразный бельгийский погром. Это случилось в начале второй половины лета. В одну из темных июльских ночей меня и брата родители разбудили и стали поспешно одевать. Мама сняла висевшие у нас в комнате иконы и расставила их на подоконниках — так, чтобы с улицы их хорошо было видно. Одевшись, мы все вышли из дома. Ночь была безлунная, очень темная, как обычно летом на юге, но на улице было светло. Недалеко от нас слева по улице пылал зажженный громилами дом, в котором жили бельгийцы. По улице неслись крики собравшейся и бушевавшей вокруг дома толпы. Мы пересекли улицу, вскоре перешли через полотно железной дороги и вышли в темную степь, распаханную под пшеницу. Отойдя немного от железнодорожного полотна, мы остановились. Кругом было поле, покрытое копами недавно убранного хлеба. Под одной из этих копен нас, детей, начали укладывать на ночлег. Родители постелили на земле одеяла, подушки и уложили нас, укрыв сверху чем-то теплым. В степи царило глубокое безмолвие, но сзади нас, по ту сторону железной дороги, хорошо было видно зарево продолжавшегося пожара и по-прежнему издали слышались крики. Я отвернулся от жуткого зрелища и лег на спину под копной. Взглянув вверх, я удивился. Высоко над собой я увидел огромный черный купол неба, весь усеянный множеством звезд: больших и малых. Небо было совершенно безоблачно, ни малейшего ветерка, воздух стоял теплый и неподвижный. До этого вечера я никогда не видел ночного неба, так как спать нас укладывали рано, еще в сумерках. Пораженный открывшейся картиной, я неподвижно лежал на спине и рассматривал небо. Я не мог оторвать от него глаз. Пролежав так некоторое время, я пережил новое потрясение. Я заметил, что звезды движутся по небу! Несколько звезд, за которыми я следил и которые, как я заметил, еще недавно находились недалеко от края горизонта, явно изменили свое положение: они приподнялись над горизонтом, стали выше! Я молча дивился и продолжал смотреть вверх. Никакого сомнения! Замеченное мною перемещение и возвышение звезд над горизонтом продолжалось!

Так, спустя две с половиной тысячи лет после Анаксимандра, я «открыл» в ночной степи Екатеринославской губернии явление кажущегося суточного вращения звезд вокруг

Земли. Я вспомнил об этом своем «открытии», когда осенью 1914 года, обучаясь уже в университете, я штудировал прекрасную книгу Поля Таннери «Первые шаги древнегреческой науки», где Таннери рассказывает о том, как Анаксимандр впервые в греческой науке сделал «такое же» открытие.

Конечно, я не решусь оспаривать у Анаксимандра его приоритет в этом деле, но для меня, во всяком случае, несомненно, что страстный интерес и любовь к астрономии, вошедшие позже в мою жизнь и сопутствовавшие мне во все ее течение, начались именно в эту ночь под стогом пшеницы, где мои родители спасались и спасали своих детей от «восставшей» против бельгийцев несознательной части русских рабочих.

Спали мы в степи беспокойно и рано утром вернулись домой. Наша квартира осталась целехонька со своими иконами в окнах, но бельгийский дом (а может быть, дома, не помню) сгорел дотла, и улица была пустынна, как вымершая. Днем по ней медленно проехал конный отряд казаков, которых бельгийская администрация заводов вызвала по телефону из тогдашнего Бахмута (Артемовска).

Волнение на заводе вскоре утихло, и жизнь вошла в обычное русло. Вскоре для брата и меня начались годы учения, сначала домашнего. К нам стала ходить учительница Юлия Петровна Елисеева. Она учила нас чтению, письму и арифметике. Добрый человек, терпение она имела ангельское. Я чрезвычайно быстро выучился читать, хорошо писал диктанты, но отставал в чистописании. Я не хотел трудиться, медленно и тщательно выводя буквы, у меня все шло вкривь и вкось, всюду были размазаны кляксы, потеки чернил. Юлия Петровна с величайшей, но какой-то незаметной настойчивостью добилась перемены в главном — в моем отношении к чистописанию. Она доказала мне, что я должен и что я могу писать хорошо. И со временем она добилась полной перемены. Я стал писать вполне отчетливо, хотя красоты в почерке никогда не приобрел. Всю жизнь я храню благодарную память об Юлии Петровне. Она учила меня не только чистописанию — она воспитывала меня. Она учила преодолевать — усилиями воли — недостатки распущенности, небрежности, безответственности.

Вскоре после волнений на бутылочном заводе нам отвели новую квартиру на территории стекольного завода, где, собственно, и служил мой отец. Новый дом, в который нас переселили, стоял у той же дороги, по которой отец каждый день

ходил в контору, в версте от нашего прежнего жилья. Это был длинный корпус на десять двухэтажных квартир. Наша — десятая — квартира оказалась крайняя в доме. В ней было шесть комнат: две больших на первом этаже и четыре поменьше — на втором. По фронту дома спереди шли небольшие палисаднички, по одному на каждую квартиру, обсаженные белой и желтой акацией и грабами. Сзади при каждой квартире находился черный двор с воротами, выходящими на незастроенное пространство, где густо росла на просторе «дереза». На этом дворе серебрились чахлые маслины; в конце лета на них появлялись маленькие золотистые и жирные на ощупь плоды, не дозревавшие до полной своей мясистости. На каждые две квартиры приходился колодец, вырытый посередине линии забора, отделявшего соседние дворики. Колодцы были глубокие, и вода в них холодная, солоноватая на вкус и жесткая, как всюду в Донбассе. Параллельно нашему дому поодаль по обеим сторонам дороги стояли такие же размерами, как наш, четыре корпуса; в них жила часть рабочих стекольного завода. При их домах не было (не полагалось!) никаких дворов, никаких палисадников, никаких маслин, никаких служб, кроме мусорных ям, в которых изредка промышляли свиньи. Перед домами торчали столбики с протянутыми между ними веревками, на которых хозяйки развешивали белье. За черным двором нашей — крайней — квартиры простирался принадлежавший ей довольно большой сад, точнее говоря, обнесенная забором полянка. По краям ее росли большие белые акации, у заборов тянулись заросли крапивы и молочая, посередине пустыря была беседка. К ней вела песчаная дорожка с редкими по ее краям кустами очень пахучих роз. На дорожке часто попадались норки земляных ос. Насекомые тщательно разрабатывали входы в них, выбрасывая лапками песок и насыпая из него небольшой бугорок перед входом в свои жилища. Кроме беседки, стоявшей посередине сада, была еще одна — у самой задней стены дома — и недалеко от нее большой вырытый в земле погреб. Другой погреб был в доме.

Квартира была просторная. Из кухни на черный двор вела терраса с застекленным потолком. В нижних комнатах помещалась столовая и гостиная с камином, где поставили пианино. В комнаты верхнего этажа вела крутая деревянная лестница — в двадцать три ступени. Как-то я впоследствии «пересчитал» эти ступени, скатившись по перилам на поясе,

как это всегда делают мальчишки. На середине своего «слалом» я вывалился за перила, но упал очень удачно — на четвереньки — и только набил шишку на лбу.

Верхние комнаты составляли целую анфиладу. Со временем их население увеличилось: в них поселились сначала наша бабушка Евфросиния Петровна, а затем и дедушка — Вильгельм Иустинович, отец моего отца. В Киеве ему жилось плохо, и мой отец выхлопотал для него место в Константиновке, в конторе соседнего с нашим стекольным зеркального завода — тоже бельгийского. Зеркальный завод находился по ту сторону Кривого Торца, и к нему вела ветка заводской железной дороги через специально выстроенный заводом железнодорожный мост.

На новой квартире мы продолжали жить так же уединенно, как и на предыдущей, и жизнь текла так же размеренно. Летом было невыносимо жарко и часто ветрено. В иные дни по улице с утра неся настоящий самум, закрывавший диск солнца и помрачавший день. От пыли сворачивались дрожавшие на ветру листочки придорожной лебеды, покрывавшей пустыри и полянки. Пыль садилась на листья акации в палисадниках и даже на узкие листья маслин, забиралась на подоконники.

Впрочем, самумы эти случались не часто. Очень хороши были обычно июньские вечера, тихие и теплые. В такие вечера после ужина мы сидели с отцом на скамеечке, вкопанной у калитки нашего садика при входе в дом. Впереди открывался обширный заросший травой пустырь. По вечерам в нем совсем невдалеке от нас кричали перепела. За ним — проселочная дорога, которая шла мимо заводской больницы к железнодорожному полотну. Железнодорожная посадка прекращалась перед самым переездом, тут же перед посадкой одиноко торчал какой-то дом, пустынный, грязный и унылый. По ту сторону полотна дорога сворачивала направо вдоль полотна, вдоль посадки и вскоре входила в поселок, находившийся рядом с территорией заводов, но к ней не принадлежавший. В поселке жило много рабочих, которые в рабочие дни по гудку спешили через переезд на свои заводы: бутылочный, химический и стекольный. Химический стоял ближе к реке, не доходя до зеркального, к нему вела та же ветка железной дороги, по которой проходили товарные составы на зеркальный. Место было совершенно ровное, открытое и выжженное солнцем до самой реки. Даже на реке не росли никакие деревья, над ней — ника-



1-й год



Мать В. Ф. Асмуса, Пелагея Игнатьевна,
с сыном Колей



Отец В. Ф. Асмуса, Фердинанд Генрих
Вильгельмович Асмус



Константиновка. Семья Асмусов. Слева направо: Фердинанд Генрих Вильгельмович, Коля, Таня, Пелагея Игнатьевна, Лида, Валя, Вильгельм Иустинович, Евфросиния Петровна



В. Ф. Асмус. Киев. 1920-е гг.

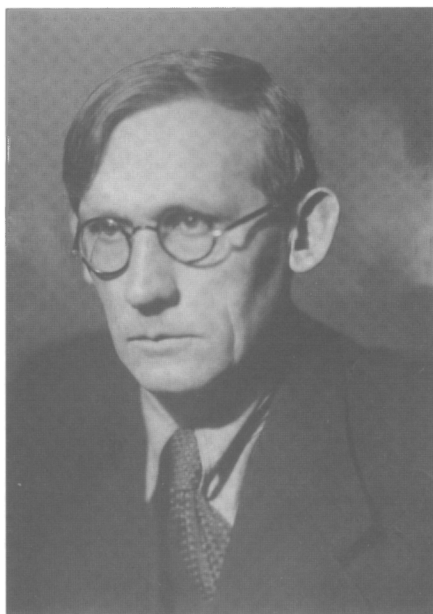


В. Ф. Асмус.
Киев. 1920-е гг.

Со студентами и преподавателями 2-го выпуска философского отделения историко-философского факультета МГУ. 1930 г. Второй слева в третьем ряду – В. Ф. Асмус



Коктебель. 1936 г.



В. Ф. Асмус. 1940-е гг.
Фото М. С. Наппельбаума



В квартире на Зубовском бульваре. Москва. 1946 г.

В. Ф. Асмус и А. Б. Асмус (слева от него) со студентами и преподавателями
Белорусского государственного университета, 1949 г.





С А. Б. Асмус и сыном Валентином. *Дубулты. 1952 г.*

С детьми в Коктебеле. Слева направо: Вася, Валентина, Валентин. *1950-е гг.*





1960-е гг.

С детьми в Переделкино. Слева
направо: Вася, Валя, Женя,
Валентин. *Начало 1960-х гг.*





Б. Л. Пастернак и В. Ф. Асмус. 1950-е гг.



На кафедре
истории
философии СССР.
1960-е гг.

Профессору тов. Асмус -
с любовью
Д. Сергеева
Кадр. инструктора, СССР
N12

На похоронах Б. Л. Пастернака





С участниками симпозиума по логике.

В центре В. Ф. Асмус, третий слева — Д. П. Горский, справа от него — В. А. Смирнов и Е. Д. Смирнова, справа от В. Ф. Асмуса — А. А. Зиновьев, Г. И. Рузавин (?), И. С. Нарский. Киев. Июль 1965 г. Фото А. И. Уёмова.

С Т. Петросяном (слева) и Г. Брутяном. Москва. 1969 г.





С Ю. К. Мельвилем, Е. А. Евтушенко и В. В. Соколовым.
Переделкино. 1972 г.

Слева направо: М. Ф. Овсянников, В. Ф. Асмус, В. В. Соколов.
1970-е гг.

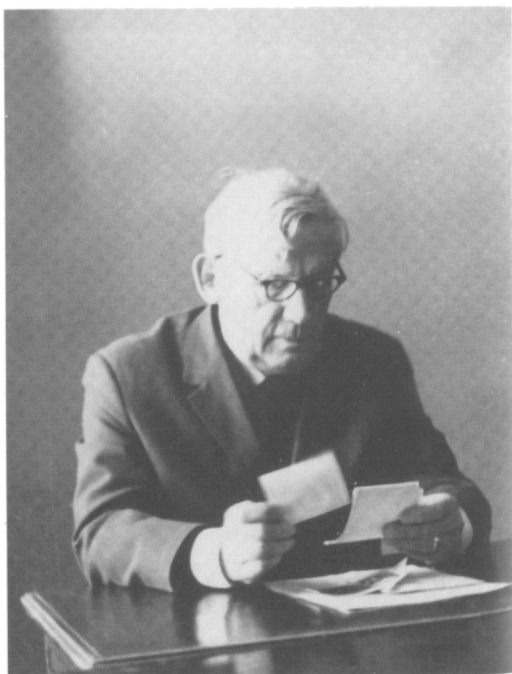


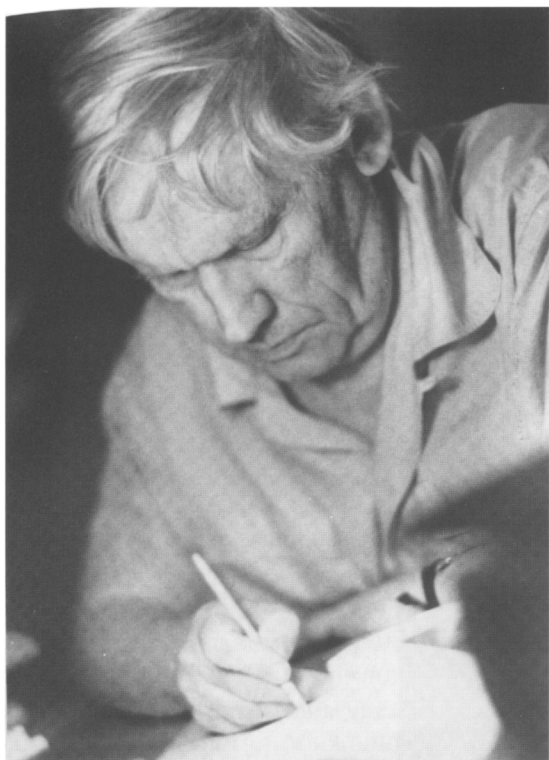


Перedelкино. 1970-е гг.

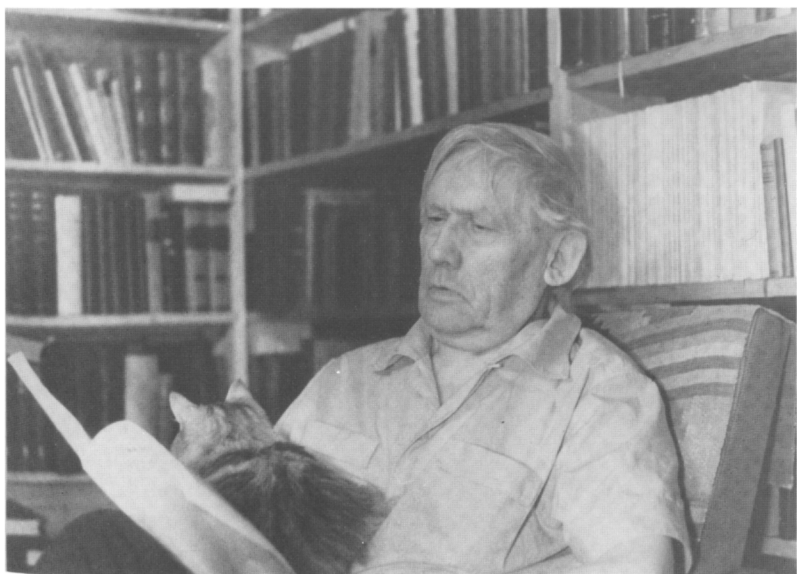


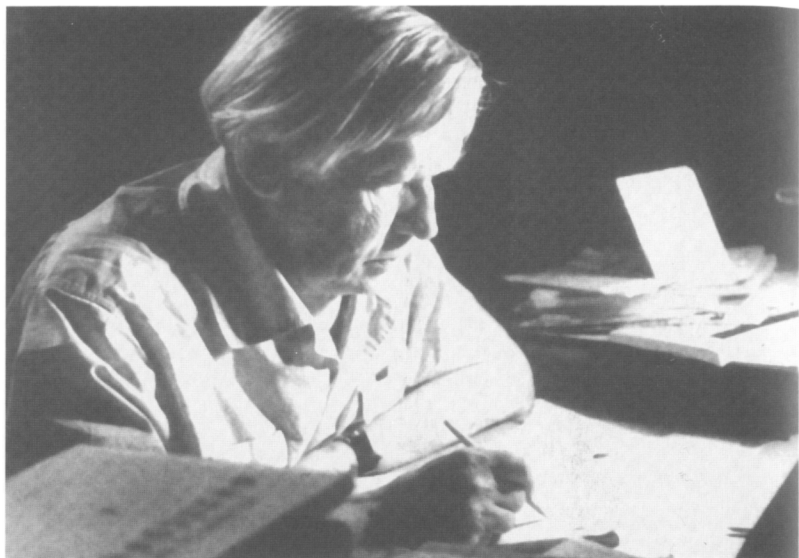
1970-e rr.



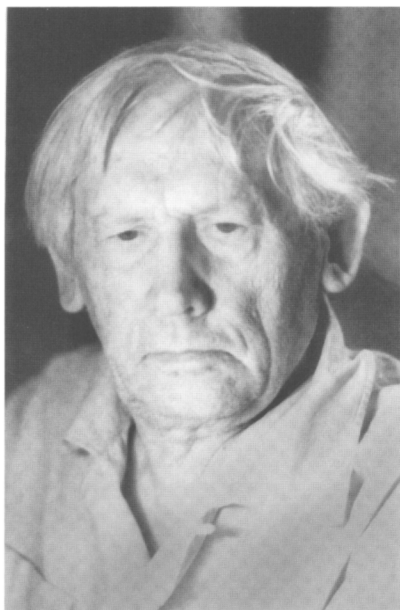


Перedelкино.
1970-е гг.





1970-e rr.



кие кустарники. Недалеко от зеркального завода на самом берегу возвышалась большая старинная татарская могила — каменная, с надписью на татарском языке. Гуляя по берегу реки, мы обходили ее с жадным любопытством. Река текла в своих пустынных и бесплодных берегах по направлению к бутылочному заводу. С приближением к нему вид местности изменялся: появлялись ветлы, кусты, трава; в кустах изредка сидели рыбаки-удильщики. Продолжая свое течение по направлению к оврагу перед поселком бутылочного завода, река входила, как в оазис, на территорию громадной усадьбы директора завода, с большим директорским домом в глубине на берегу реки, с плантациями спаржи, белой и черной смородины, с грядками клубники и малинником. Вся эта флора размещалась в парке старой усадьбы — «экономии», купленной заводами у разорившихся помещиков. В передней части усадьбы, выведившей через ворота на дорогу между бутылочным и стекольным заводами, сосредоточились службы — конюшни, сеновалы, ток для молотьбы и тому подобное хозяйство. Здесь же — в передней части двора, по ту сторону дороги, которая вела к дому директора, на почтительном расстоянии от него и даже до поворота к нему, в маленьких домиках жили служащие усадьбы и доживали свой век каким-то чудом уцелевшие и застрявшие в ней «обломки игрою счастья обиженных родов». Их было несколько человек, и среди них выделялась ставшая впоследствии приятельницей моей матери очаровательная незамужняя старушка Мария Федоровна Англес со своим братом Николаем Федоровичем Англес — тоже стариком, ходившим летом в белой фуражке с красным околышем. Он получал какую-то пенсию, а Мария Федоровна жила уроками, в том числе — французского языка, которому она впоследствии обучала и меня с братом.

Доступ в «экономию» был открыт только в передней ее части, где жили Англес, а в парк в глубине усадьбы попадали только по особому приглашению директора или его жены.

Наш дом отстоял не очень вдалеке от «экономии», как мы ее всегда называли. С нашего наблюдательного пункта — скамеечки при калитке палисадника — были видны корпуса больницы через дорогу чуть влево от нас и — за оградой больницы, при самой дороге — домик главного врача. В глубине пейзажа и поодаль от нас тянулся каменный забор «экономии» с ее большими воротами, всегда, впрочем, нараспашку. А еще дальше, в еще большей глубине поднималось темное здание бутылочного

завода, неподалеку от которого мы так недавно жили. По вечерам завод был очень живописен. Под огромной аркой главного цеха, где выдувались бутылки, все время передвигались, то поднимаясь, то опускаясь, огоньки, со стороны цеха доносился шум и даже долетали — при попутном ветре — крики и возгласы работавших там людей. Вокруг корпуса завода была тьма, дорога к заводу была скудно освещена редкими дуговыми фонарями. Весь этот мир заводской жизни, протекавшей так близко от меня, казался мне ночью, когда я выглядывал через открытое в сторону завода окошко, непонятным, таинственным и даже жутковатым. Утром испытанное впечатление улетучивалось. Я видел, что существует вполне понятная моему восприятию связь между жизнью завода и остальным окружающим его миром. Вот медленно едет по рельсам заводской железной дороги «кукушка» — коротенький паровозик без тендера, ненужного здесь при краткости расстояния, отделяющего заводы от железнодорожной станции. Я знаю, что «кукушка» направляется на завод. За ней тянется порожняк для завоза серы и для вывоза с завода продукции. На площадке последнего вагона сидит в темной кепке и темной рубашке малый с флажком в руке. «Кукушка» дымит, вагоны движутся медленно, малый привычно и равнодушно поглядывает по сторонам, и во всем этом нет ничего ни таинственного, ни жутковатого, похожего на огоньки, вверх и вниз перебегающие в ночной тьме под сводами заводского цеха. О страшной сложности работы, жизни и отношений между людьми там на заводе у меня нет, разумеется, ни малейшего представления. При дневном свете все кажется ясным, понятным, простым и само собой разумеющимся. А все же нет-нет и днем пробежит в сознании мысль: «Что же там происходит ночью на заводе? Что значат эти огоньки? Кто и зачем их зажигает и передвигает? Почему там кричат рабочие?» Впервые я побывал на заводе значительно позже — и не на бутылочном, а на стекольном, куда меня и брата сводил отец — посмотреть, как выдувается «бемское» стекло.

В первые годы жизни на стекольном заводе я рос с чувством не всегда удовлетворенной любознательности. Я старался направить ее на доступные мне явления. Прежде всего это были явления природы. Мне эта скудная степная природа казалась и богатой, и разнообразной, и занимательной. Весна приходила здесь стремительно и быстро превращалась в жаркое сухое

лето. Быстро пролетали птицы на север. Высоко над землей я видел их стайки, слышал их голоса. Никакие певчие птицы не залетали в Константиновку, все устремлялось на полночь, в северные края. Зато на земле и на реке все наполнилось и кипело жизнью. По вечерам на реке хором заливались лягушки, летали стрекозы, по дорогам над колючей «дерезой» вились и гудели пчелы и осы. На огороде и в саду в земле также было много интересного, особенно после дождя: в черной земле рылись проворные и сильные медведки, над травой под деревьями летали хрущи, огромные южные жуки (жук-олень, жук-носорог), бабочки: адмиралы, махаоны, павлинье око. Ночью появлялись красивые красные и — редко — синие орденские ленты, бражники, среди них — страшная мертвая голова. Когда поздно вечером на столик в саду ставили керосиновую лампу, к ней со всех сторон слетались в великом множестве жучки и ночные бабочки.

Спали мы в детской комнате на верхнем этаже. Дом наш стоял очень близко от железной дороги и отделялся от нее лишь узкой площадью небольшого лесопильного склада. Днем на складе непрерывно визжали пилы. Ночью они безмолвствовали, и ночную тишину нарушали только свистки паровозов да стук колес проходивших мимо поездов. Иногда паровоз гудел очень долго, звук медленно ослабевал по мере того, как поезд удалялся от дома. Было очень приятно и уютно сквозь сон прислушиваться к этой неухающей ночной жизни железной дороги, особенно к ритмическому стуку колес. Поезда проходили часто, почти все — кавказские и закавказские. Днем, кроме товарных, проходило много пассажирских — скорых и курьерских. Они везли публику на кавказские курорты и с курортов. Гуляя днем вдоль дороги, мы видели в окнах желтых и синих вагонов пассажиров, стоявших у окошек. Хорошо одетые дамы и мужчины смотрели на заводской поселок, мимо которого с большой скоростью проносился поезд. Товарные поезда — очень длинные — шли медленнее, вагоны раскачивались на ходу, особенно в хвосте поезда. На задних площадках стояли кондукторы в длинных темных полушубках с высокими стоячими воротниками, которых они не снимали даже в летнее время.

До станции Константиновка от нашего дома было версты три. Но возле самого почти дома, у перехода из поселка на территорию завода, находилась небольшая платформа Дмитри-

евская с будкой, где продавались железнодорожные билеты. Простые и почтовые пассажирские поезда останавливались здесь на минуту и, отправляясь в дальнейший путь, оглашали всю окрестность ревом гудка и звонким шипением белоснежного пара. Часто мы с братом, вставши ранним летним утром, выходили к платформе — встречали и провожали эти поезда. Несколькими годами позже мы соединяли с этой прогулкой хозяйственные поручения мамы. Перебежав через железнодорожное полотно, мы шли в стоявшую на краю поселка булочную и покупали бублики. Хлеб нам привозили на дом в хлебной будке. От переезда вверх в гору шла широкая улица, а в верхней ее части начинался базар, куда почти каждый день ходила наша мама. Иногда она брала нас с собой, и мы несли домой плетеные сумки с продуктами. Мясные ряды на базаре тянулись далеко вверх. Рядом с окровавленными колодами, на верхней поверхности которых разделялись туши, стояли молодые веселые еврей-мясники в белых фартуках, забрызганных темно-красными пятнами. Завидев маму, они вежливо и взволнованно кланялись и хором зазывали ее: «Мадам Асмус, мадам Асмус, заходите пожалуйста, свежее черкасское мясо». На крюках висели туши знаменитого мяса, вполне убедительные, а над ними летали толпами мухи.

Случалось и так, что мама вела нас не вверх по главной улице базара, а сворачивала направо, по продолжению той же проселочной дороги, которая приводила к базару. На углу переулка, недалеко от поворота стояла лавка; над входом в нее красовалась большая вывеска с надписью: «Магазин Абрамовича». Это был константиновский «универмаг». В лавке было темно, пустынно, деревянный дощатый пол был опрыскан водой, сильно пахло керосином. В углу на полу стояли бочонки с селедкой. На полках вдоль лавки лежали самые разнообразные товары вплоть до машинок для стрижки волос, а впоследствии и американских бритв «жиллет». От средней полки пахло мылом: дегтярным и туалетным. Хозяин лавки поднимался навстречу маме с галантностью, не уступавшей учтивости зазывавших маму молодых мясников. Он подавал мадам Асмус стул и почтительно ожидал, когда мадам Асмус начнет называть и перечислять ему то, что требовалось. Мама покупала свечи, мыло, чай Высоцкого, кофе в зернах, какао Эйнем в круглых металлических коробках, спички, соль и многое другое. Товары отпускали в кредит по заборной книж-

ке. В таких же заборных книжках отмечались покупки мамы в лавках на базаре, а также записывались доставлявшиеся на дом продукты из промышлявших ими хозяйств. На полянке перед домом, где мы жили, регулярно появлялась хлебная будка, доставлявшая пахучие горячие батоны белого и черного хлеба; болгарин с огорода, что у бутылочного завода, привозил овощи — синие и красные баклажаны, капусту, огурцы, всякую зелень; развозчик пивного склада выгружал деревянные ящики, из которых выглядывали горлышки бутылок пильзенского пива. Но наибольшее волнение происходило с появлением немца-колониста, привозившего масло и прочие молочные продукты: творог, сметану. Немец был средних лет, небольшого роста, плотный. Во рту у него всегда дымила толстая сигара. С ним приезжала молоденькая белобрысая дочка, с которой он разговаривал на каком-то удивительном немецком языке, сильно отклонявшемся от языка Шиллера и Гёте. Как только возок немца, завернув, останавливался перед домом и хозяин бросал вожжи, из нашего дома выходили населявшие его хозяйки и обступали тележку. Мама выносила из дому глубокую тарелку и складывала в нее куски масла, вынув их из листьев, в которые они были завернуты. Все это дома опускалось в темный погреб, кусочки масла слегка надрезались и погружались в холодную воду. Погреб этот или подвал находился под деревянной лестницей, ведущей на второй этаж. Ступеньки лестницы, по которой спускались в подвал, были каменные, холодные; в подвале было прохладно и сухо, плесенью почти не пахло.

В конце месяца мама передавала отцу все заборные книжки для подсчета расходов. Отец почти всегда вздыхал при этом и находил, что мама превысила бюджетные лимиты; мама слегка обижалась и недоумевала, как это могло случиться. На следующий месяц сцена эта обычно повторялась.

Во время путешествия по базару нам всегда хотелось, чтобы мама, продвигаясь между мясными и овощными прилавками, достигла верхушки горы. Заманчивых для нас товаров там не было, но оттуда открывался широкий вид на заводы внизу, на реку, на наш дом и на железную дорогу с ее посадками и будками. Насладиться этим видом нам удавалось не всегда. Часто мама заканчивала свой обход на середине горы, в зоне ближайших мясных лавок, и не доходила до края базара, где с телег торговали ведрами, щетками, вениками и прочей техни-

кой. Быстро мы спускались с горы и через четверть часа окazyвались уже дома.

Совсем плохо помню, как проходили осенние месяцы. Осень в Константиновке была долгая и, вообще говоря, мягкая, зима приходила поздно, но сильные холода часто наступали неожиданно, до снега. Посреди зимы обычно налетали бураны и свирепствовали по нескольку дней. В такие дни отец возвращался из конторы в шубе, совершенно занесенной снегом, а однажды темным вечером даже сбился — слегка — с пути и долго не знал, где ему свернуть с дороги на тропинку, ведущую к дому.

В доме зимой было очень тепло. Отапливался дом великолепным антрацитом — блестящим, черным и очень твердым. Его привозили с завода. Растапливая печку, мама опрыскивала уголь водой. Вскоре дверца начинала трепетать, печь гудела и раскалялась. По комнатам распространялось невероятное тепло, чуть попахивающее углем и очень сухое. Рассматривая как-то насыпанный в ведро крупными обломками уголь, я с удивлением увидел на внешней поверхности одного куска чрезвычайно красивый отпечаток веточки дерева, из которого миллионы лет тому назад образовался этот уголь. Я долго сохранял эту окаменелость, но бабушка однажды нашла ее и, не зная, что в ней было, выбросила ее в пылавшую печку.

Памятным для нас событием каждой зимней поры были рождественские елки. Отец мой, протестант кальвинистского вероисповедания, был совершенно не религиозен, но очень любил, как это обычно в немецких семьях, весь елочный праздник и весь обряд украшения елки. В Константиновке елок не было и в помине. Вместо елки покупались молодые сосны. Привозили их из-под Славянска — из района Святых гор. Они издавали восхитительный запах хвои и долго, несмотря на жару, царившую в доме, сохранялись, не осыпаясь.

Появлению в доме елки предшествовала мистификация, точнее говоря, театральное действие, главную роль в котором исполнял наш отец.

«Елку» покупали загодя до сочельника и прятали в сарае на черном дворе. В сочельник после обеда нас с братом отсылали наверх и под предлогом предпраздничной уборки, которая должна была производиться в больших комнатах внизу, строго-настрого приказывали оставаться там до вечера. За это время не только успевали убрать комнаты, но также внести елку, установить, украсить ее и разложить под деревянной кресто-

виной, на которой она была укреплена, игрушки и другие подарки. Отец не жалел денег на елочные украшения, и их набор был изыскан. Там были не только обычные звезды, разноцветные блестящие шары, фонарики, золотые цепи, но и множество прелестных фигурок, искусно выполненных: свиньи, аисты, олени, лошадки, обезьянки, саночки и тому подобное. Сверху донизу на ветвях были прикреплены подсвечники с цветными свечами в них, а на самом верху сияла огромная звезда. Было много хлопушек — больших и маленьких, в ветвях прятались привязанные к ним мандарины и яблоки, золоченые грецкие орехи и конфеты. Вся елка была в золотых цепях и мерцала золотыми нитями. Когда все это сверкающее и благоухающее великолепие было развешано, разложено и водворено на место, внизу у парадной двери раздавался сильный стук. Мама звала нас вниз, и мы, давно истомившиеся ожиданием, во мгновение ока слетали с верхней площадки внутренней лестницы. Мама отпирала дверь (папы почему-то в это время никогда не было дома), и в коридор входил дед Мороз или дед Николай, как мы все тогда его называли. Он был в меховой шапке и в тулупе, на плечах у него висел мешок (наверное, с игрушками), а под мышкой торчала розга. У него было очень румяное лицо, большая белая борода, белые усы, а голос почему-то слегка был похож на голос папы. Строго, басовито он допрашивал маму, как мы ведем себя, не провинились ли в чем. Ответы были вполне удовлетворительны. Узнав, что мы — примерные дети, дед Мороз приказывал и впредь вести себя так же. После этого наставления он поздравлял нас с праздником и исчезал, а мама открывала дверь из коридора в гостиную. Там стояла, вся в огнях, елка, и мы, ошалев сначала от испуга, а затем от изумления, восторга и счастья, робко пробирались в гостиную. Вскоре появлялся возвратившийся откуда-то отец, садился за пианино и торжественно играл немецкую рождественскую песню «О, Тannenbaum». Мы разбирали свои расставленные под елкой игрушки и показывали их друг другу.

Это был час полного счастья. Затем начинался праздничный ужин. Мы, конечно, отдавали ему должное, но все наши помыслы были в соседней комнате, где стояла елка. Не дождавшись чаю, я убежал от обеденного стола и сидел на маленький стул под нею. Свечи уже давно были погашены, но в гостиной еще колыхался, расплываясь, легкий запах свечного перегара, смолы и — уже совсем еле уловимый — запах елочных

фруктов и украшений. Я наслаждался. Я продолжал сидеть под невообразимым деревом и рассматривал то, что открывалось в его темных пахучих ветвях. Каждую минуту происходило какое-нибудь новое событие или открытие: то показывалась в глубине ветвей до сих пор мною не замеченная игрушечная корзинка с цветами и ягодами, то открывался занятный попугайчик с большим клювом, то еще что-нибудь. Я наслаждался и размышлял. Конечно, елку, игрушки, подарки принес дед Николай. Откуда бы она взялась? Правда, тут оставалось нечто не совсем понятное. Почему, когда дед Николай постучался в дом и начал свое дознание у мамы, елка уже стояла в гостиной во всем блеске, со всеми своими чудесами? Я гнал прочь от себя все эти недоумения. Мама так серьезно разговаривала с дедом Николаем. Кажется, она тоже была испугана, не меньше, чем Коля, который держался за мою руку, так как не успел добежать до мамы, когда в дверях появился дед Николай, когда мы остолбенели, а дед начал задавать нам свои страшноватые вопросы. Как бы то ни было, роль родителей во всем этом чуде должна была быть большая, гораздо больше, чем сразу могло показаться. Взять хотя бы маму. Ведь она была вправе оказаться менее снисходительной к нашим провинностям. Она могла, например, рассказать деду Николаю, как за неделю до елки я разбил в гостиной вазочку, которую она любила, — подарок подруги. Тогда мама очень меня разбранила, а тут — перед лицом деда Николая и его розги — смягчилась и промолчала. А проговорись она — все могло бы получиться иначе. Но теперь все сложилось как нельзя лучше. Дед принес все-таки елку, и завтра утром можно будет снова начать увлекательные поиски в ее ветвях, а вечером снова зажечь свечи и попросить отца еще раз сыграть «О, Tannenbaum».

Елка в нашем доме занимала не вечер, а целый период. Она оставалась до Нового года и стояла далее до Крещения, все такая же торжественная и почти неувядающая. На следующее утро после Крещения, спустившись вниз в гостиную, мы обнаруживали, что место у камина, где она стояла, уже пусто: дедушка Николай унес ее ночью и передавал нам через родителей, чтобы мы непременно ждали его в следующем году и чтобы поведение наше оказалось на высоте.

Едва проходили праздники, в доме нашем появлялась вновь Юлия Петровна, и уроки возобновлялись. Я любил заниматься с нею, но все же после всех очарований елки меня долго

не покидало что-то вроде мысли, разумеется, не так выраженной, что вот окончилась поэзия, волшебство и начинается неизбежное, необходимое, но обычное.

Как бы то ни было, занятия наши непрерывно продвигались. Брат мой, который был всего одиннадцатью месяцами моложе меня, не только шел в ученьи наравне со мною, но кое в чем опережал меня. Он уже в то время начинал рисовать, и я с восхищением рассматривал его рисунки: они казались мне недосягаемыми по совершенству. Силен он был также в счете. Он очень хорошо соображал, но особым усердием к науке не отличался. Был очень добр, характером веселый и смешливый. Дружба между нами была нерушимая.

С тех пор как нас стали учить читать, мы проводили время не так неразлучно, как прежде. Я шарил по всем углам в поисках книг, сначала с картинками, а по мере того как взрослел — всяких. Найдя что-нибудь по силам себе и по вкусу, я забивался куда-нибудь подальше и погружался в чтение. Систематически собранной библиотеки в доме не было никакой, но сохранялись кое-какие комплекты старых журналов, например «Вестник иностранной литературы» с приложениями к нему, литературные приложения к «Ниве» и тому подобное. Из них помню сочинения Гоголя в твердых коричневых переплетах, сочинения Брет Гарта, Фенимора Купера, «Красное и черное» Стендаля, несколько томиков Бальзака. Все это было освоено впоследствии, спустя несколько лет. Были и детские книги, они год от года накапливались. Их присылал нам по почте из Киева к рождественским елкам таинственный тогда для нас, а впоследствии родной и близкий «дядя Сева» — Евсевий Прокофьевич Череповский, муж маминой младшей сестры Марфы Игнатьевны. Он заведовал русским отделом в самом большом книжном магазине Киева — русско-польском магазине Леона Идзиковского. Дядя Сева хорошо знал книгу, знал и детскую литературу, и его подарки были чрезвычайно интересны для нас и занимательны. Никогда уже потом не забылись сказки Гриммов, сказки Перро в издании «Золотой библиотеки», сказки Афанасьева и — жемчужина этого домашнего собрания — том иллюстрированных сказок Андерсена. Сколько волнения, страха и радости было испытано над этими страницами! Я ненавидел лягушку и крота, полонивших Дюймовочку, трепетал при мысли, найдет ли Герда своего Кая в «Снежной королеве», мне было невыразимо жалко бедного оловянного

солдатика; в то же время я жадно впитывал всю прелестную поэтическую атмосферу, в которую были погружены эти сказки, их милые герои и персонажи. Меня занимали не только их приключения и судьбы, меня занимали описания обстановки, вещей, среди которых они действовали: комната, улица, сточная канава, явления погоды, снежная вьюга, времена года.

Скоро я знал назубок эти сказки, но постоянно их перечитывал; каждый раз они являлись в новом свете: я узнавал в них старые, давно уже полюбившиеся мне места и восхищался открывавшимся новым и неизвестным.

Мои родители не обращали никакого внимания на мои литературные увлечения: они относились к ним вполне благожелательно, даже одобрительно, но совершенно не интересовались тем, что и с каким результатом я читаю. По правде, я не жалел об этом. У меня почему-то не возникало потребности поделиться своими впечатлениями: восприятие сказки очерчивало круг, отделявший от окружавшего меня мира, и из пределов этого круга не было желания или потребности выйти. Даже с братом я редко обсуждал прочитанное, да и читал он меньше моего. Может быть, мне так только казалось: ведь между нами была дистанция в один год, а в возрасте, когда только начинается чтение, разница эта создавала ощутимый барьер между старшим и младшим.

2. Киев

В этих приятных и развивавших нас занятиях прошло два-три года и наступил год 1903-й. Приближалось время, когда родителям надо было подумать об учении детей в средней школе. Отец не склонен был тянуться изо всех сил к труднодостижимому и хотел отдать меня и брата либо в гимназию в Славянске, либо в реальное училище в Изюме. Оба города были недалеко от Константиновки. Но у мамы нашей созрел твердый план обучать нас в Киеве, где было много родственников и где можно было, как она надеялась, поместить нас не в интернате при гимназии, а в родной семье — у одной из наших теток, ее сестер. В пользу Киева было еще одно соображение, очень важное не только в ее собственных глазах, но еще более в глазах нашего отца. В Киеве не так давно открылся, но уже славился своими профессорами и лабораториями по-

литехнический институт. Там работали впоследствии всемирно известный специалист по курсу сопротивления материалов профессор Тимошенко, математик, открывший один из признаков сходимости ряда, профессор Ермаков, тоже математик профессор Делоне-старший и многие другие.

Отец наш, а под его влиянием и мать мечтали, чтобы мы оба стали инженерами. Наблюдая жизнь на Константиновских заводах, отец пришел к выводу, что профессия инженера — самая интересная, живая, самостоятельная и выгодная. Правда, курс в Политехникуме — долгий (пять-шесть лет) и трудный, но сама трудность эта — так думал отец — благотворна: она приучает серьезно относиться к труду и отвлекает от преждевременной и опасной «посторонней» деятельности, особенно политической. В то время у многих взрослых свежи еще были в памяти киевские волнения студентов и их печальный исход: сотни студентов были арестованы и отданы в солдаты. Отец мой твердо держался убеждения, что университеты и институты должны существовать только для учения. Университеты представлялись ему более, чем политехнические институты, соблазнительными, располагающими студентов к политическим демонстрациям и к их гибельным для них, как он думал, последствиям.

Родители мои знали, что к политехническому институту лучше готовят не гимназии, а реальные училища: в них был более высокий, чем в гимназиях, уровень преподавания математики и физики, был даже и двухлетний курс химии. Поэтому решили «определить» нас в реальное училище, недалеко от Константиновки. Но где? Изюм был отвергнут, и все надежды перенесены на Киев. Завязалась переписка с тетюшками. В результате решили, что если мы выдержим в Киеве приемные экзамены, то будем жить на пансионе у тети Веры Игнатьевны Тищенко, незамужней сестры моей мамы. Тетя только что открыла в Киеве корсетную мастерскую и проживала в то время с нашей бабушкой по Бассейной улице. Тетя Вера была единственной мастерицей в своем предприятии. Искусству своему она выучилась у самой известной в Киеве специалистки этого дела — Марианны Степановны Самоненко — и настолько преуспела, что решила выйти из ателье Самоненко, где она служила, и открыть собственную мастерскую. Технический ее базис состоял из манекена, на который надевались корсеты, пучка китового уса и специальной швейной машины; никаких

подручных мастериц или работниц у нее не было. О готовности принимать заказы на пошивку корсетов оповещала записочка, приклеенная у ворот дома, где жили тетя и бабушка, но больше надежды возлагались на рекомендации знакомых. Квартира тети Веры была во дворе. Чтобы проникнуть в нее, надо было войти во двор, в конце его подняться двумя ступеньками выше, пройти по дощатому довольно длинному коридору и затем уже попасть в квартиру. По углам дома под водосточными трубами стояли большие бочки для дождевой воды, исправно наполнявшиеся в летнее и осеннее время. Такие же бочки — поменьше — почему-то стояли и в коридоре и наполняли его приятным запахом дождевой сырости. Комната тети Веры была большая, в ней помещалась «мастерская» и были поставлены кровати для нас; тетя с бабушкой спали в соседней маленькой. Из окна большой комнаты был виден дворик, примыкавший к задней стене дома. У стены стояло какое-то совершенно непонятное мне техническое сооружение: что-то вроде насоса. Приводился он в действие двумя рабочими, которые налегали на большой ворот и отворачивали его. Действие это, назначение и результаты его остались для меня непостижимы; оно повторялось через правильные промежутки времени и крайне занимало мое воображение.

В Киев нас отвезла мама в августе перед началом учебного года. В городе было два реальных училища: государственное и частное — Екатерининское, — находившееся под финансовой опекой немецкой попечительной общины. Нас решили отдать в немецкое училище. Большинство учителей в нем были действительно немцы, начиная с директора — Крейцмана, который преподавал в младших и старших классах историю и географию. Инспектор был тоже немец — Константин Давидович Раммат, он преподавал языки: немецкий, французский, а с пятого класса и английский. Немецкий начинался в подготовительном классе, французский — в первом, английский — в пятом, но был необязателен («для желающих»). Все преподавание по «предметам» шло в училище на русском языке. Около четверти или трети учеников были немцы; были и поляки. На переменах немецкие ребята болтали между собой и нами — русскими мальчиками — разумеется, только по-русски, но с преподавателями, появлявшимися между звонками в коридорах, разговаривали на немецком. Немецкая «колония» в Киеве была довольно многочисленна. Это были торговцы,

коммерсанты, инженеры, техники, банковские служащие, бухгалтеры. В большинстве они имели хорошие заработки и обычно отдавали своих детей в реальное училище. Среди них было тоже немало сторонников политехнического образования, и реальное училище представлялось им ступенькой, облегчающей поступление в политехникум.

В середине августа начались приемные экзамены. Мама надела на нас лучшие костюмчики и повела по Крещатику. Начинался прекрасный, еще совершенно летний день. По Крещатику быстро катили трамваи с прицепами, с двух сторон открытыми. Вдоль прицепа шла широкая ступенька, по которой пассажиры поднимались в вагон и по которой вдоль вагона передвигался кондуктор, обходивший все отделения и продававший билеты. Черная кожаная сумка, висевшая у него через плечо, была полна маленькими рулонами с разноцветными билетиками. Для каждой дистанции полагались особые билеты особого цвета. Сигнал к отправлению кондуктор подавал, дергая веревку, проходившую в верхней части вагона через весь прицеп и через моторный вагон — вплоть до колокольчика. Прицеп был наряден: вдоль его открытых боков висели — в каждом его отделении — белые занавески, защищавшие от солнца, пыли и от дождя. Занавески эти сворачивались и застегивались у столбиков между соседними отделениями.

Но мы только созерцали трамваи, но не входили в них, так как путь наш был недалекий. Мы проходили часть Крещатика от угла Бессарабки до Лютеранской улицы, на которой находилось реальное училище, и поднимались по ней, держась правой стороны. До начала занятий в училище оставалось еще несколько дней, и по дороге к училищу мы почти не встречали ребят. Да и взрослых было мало.

Поднявшись по Лютеранской, мы входили действительно в Лютеранскую зону. Там были женская гимназия, в одном дворе с реальным училищем, тоже немецкая, находившаяся в ведении того же попечительного совета, что и реальное училище, интернат для немецких девочек-сирот и немецкая кирха. Все эти дома были соседние между собой по улице. Между реальным училищем и гимназией проходил длинный подземный ход, расширявшийся в большой гимнастический зал. Вход в реальное училище для учеников был со двора, для преподавателей с улицы по лестнице, которая вела к кабинету директора. На-

против кабинета была канцелярия. В ней сидели два-три человека служащих, похожие на чиновников, которых я потом видел на рисунках в сочинениях Гоголя.

Приведя нас в училище, мама вошла в канцелярию. Канцелярист, к которому она обратилась, вскоре нашел учителя, и он повел нас в небольшую комнату — экзаменовать для поступления во второй приготовительный класс. Всего приготовительных в училище было три. В первый принимали без экзамена, но мы с братом и по возрасту и по подготовке метили во второй. Экзамен был легкий, и нас с братом тут же зачислили. Вместе с нами поступали еще два или три мальчика. Один из них провалился и после недолгого объяснения его мамы с учителем весело пошел домой за руку со своей, должно быть опечалившейся, мамой.

Через несколько дней начались занятия. Мама наша осталась до этого дня в Киеве и повела нас по той же дороге — на этот раз уже одетыми в форму реалистов. На нас были черные брючки, черные курточки с желтыми пуговицами, подпоясанные блестящими черными поясами с пряжками и фуражки с кокардами. На кокардах красовались три буквы: РЕУ — Реальное Екатерининское Училище. Такие же буквы на пряжках поясов. На спинах наших были ранцы с тетрадками и пеналами. Великолепие нашего обмундирования подавляло нас и даже стесняло в движениях. Мы все время поглядывали друг на друга и все более проникались уважением — конечно, не к самим себе, а к реальному училищу, так нас возвысившему и преобразившему.

На этот раз, направляясь на первый урок, мы шествовали не в одиночестве. Уже на повороте с Крещатика на Лютеранскую — и со стороны Бессарабки, и с противоположной, с Николаевской — и далее на Лютеранской, со стороны Меринговской, по дороге нас беспрерывно обгоняли реалисты разного возраста и роста и девочки-гимназистки, направлявшиеся в свою, соседнюю с училищем гимназию. У старших не было ранцев, и они несли свои книги и тетради, перевязав их тонким ремешком. Чем ближе к училищу, тем гуще становилась обычно вереница ребят, спешивших к половине девятого — к часу начала занятий. Но в этот — первый — день наша мама, всегда боявшаяся опоздать — на поезд, в училище, в театр, — вывела нас из дому слишком рано, и поток учеников, поднимавшихся по крутой Лютеранской, только еще на-

чинал нарастать. Некоторые ребята, старожилы школы, на ходу обменивались впечатлениями о прошедшем лете и затевали какие-то шалости и потасовки. Не доходя до немецкого квартала, мы проходили мимо усадьбы Сулимовской церкви, где помещалась школа-пансионат для девиц. Священник этой церкви, огромного роста, с громким голосом и сильным украинским выговором, преподавал закон Божий в моем реальном училище; вскоре мы познакомились с ним на уроках. Звали его отец Иоанн Мельниковский.

Так как мама наша была православная, в девичестве Тищенко, то, по законам Российской Империи, дети ее от мужа-лютеранина должны были быть тоже православные. На уроках закона Божьего класс делился на три части: православные шли к Мельниковскому, лютеране — к пастору Кёнигсфельду, а католики — поляки — к ксендзу, фамилии которого не помню. Перед началом уроков была общая молитва, которая проводилась для православных в актовом зале на верхнем этаже. В этот огромный зал мы шли по классам, и по классам же занимали заранее назначенные места. Один из учеников старших классов читал «молитву перед учением». На молитве всегда присутствовал инспектор. Лютеране собирались отдельно в большом классе, где стояла фисгармония, выполнявшая роль органа. Преподаватель немецкого языка Эрнст Иванович Баллод садился за фисгармонию и играл протестантский хорал, ученики пели. Католики на общую молитву не собирались. Мальчикам-евреям, которых в училище было очень мало, преподавателя закона Божьего не полагалось. После молитвы все чинно расходились по классам, и начинались уроки.

Первое впечатление от училища было сильное. Дома, в Константиновке, мы росли, в сущности, без всякого общения с другими детьми. А тут в классе нас встретили человек сорок, шумных, галдящих, разнокалиберных ребят. Мы с братом были приняты в один класс. Классный наставник нашел нам места на свободной парте, и мы задвинули свои ранцы в ящик парты — по примеру других своих товарищей. В классе стоял неумолкающий гомон, который казался мне сплошным криком. Но вскоре вошел учитель, и сразу все смолкло.

Познакомиться поближе с преподавателями мне не удалось по причине, о которой будет сказано ниже. Главными из учителей были: учитель русского языка Сергей Иванович Коваль-

ский, учитель немецкого — Лев Альбертович Эккарт и арифметики — Владимир Иванович Пятницкий. Он же был нашим классным наставником; должность эта проявлялась в том, что он по субботам выдавал нам дневники, в которых были проставлены отметки за неделю и записаны замечания о поведении (если такие были). В понедельник мы возвращали эти дневники, подписанные тетей. Владимир Иванович был хороший строгий учитель и добрый человек. Но общим и безоговорочным любимцем класса был не он, а учитель немецкого языка Негг Эккарт, или «Эккарчик», как мы его называли. На переменках к нему теснилась и на коленях у него сидела, ласкаясь к нему, целая туча ребят. У него были густые усы; от него сильно пахло табаком. Когда я был уже во втором классе и начал иногда выступать на школьных литературных вечерах со стихами собственного сочинения, он иногда хватал и задерживал меня в коридоре, привлекая к себе, и, смеясь, спрашивал: «Ach, du bist auch ein schlechter Dichter!»* Я как-то терялся, но все же запоминал эту краткую рецензию.

Ковальского, учителя русского языка, мы не любили. Это был грузный человек с густой темной бородой и усами. У него была крайне странная и крайне неприятная повадка. Во время урока, расхаживая вдоль парт по классу, он выбирал какого-нибудь мальчика, подсаживался к нему и начинал щекотать. Каждый из нас боялся, как бы очередь не дошла до него. Уроки он проводил неинтересно, диктанты диктовал невнятно, гнусавым голосом. Он не только преподавал русский язык, но и заведовал школьной канцелярией. Когда мы дошли до старших классов, между нами распространился слух, будто он — член Союза русского народа. Его немногочисленный штат в канцелярии вполне соответствовал своим видом этой гипотезе, особенно делопроизводитель, человек с длинной окладистой бородой и большими карими глазами. Он ходил вместе со всеми нами на молитву и следил за благочестием в нашем поведении.

Первые дни после уроков нас отводила домой мама. Когда она убедилась, что мы дорогу уже твердо запомнили и не заблудимся, она уехала в Константиновку. Уезжая, она просила, чтобы мы писали в Константиновку каждое воскресенье. Мы

* Ah, ты еще и плохой поэт! (нем.). — *Примеч. ред.*

так и делали, заполняя свои письма описанием школьных и домашних происшествий.

Но все это продолжалось очень недолго. В одно из сентябрьских воскресений мы с братом почему-то долго не вставали. Мы шалили, смеялись, кувыркались в наших кроватках и тузили друг друга. После завтрака тетя повела нас на бессарабский рынок, который находился против нашего дома на продолговатой площади, заворачивавшей к Александровской церкви у городской больницы. На рынке тетя купила груш и перед обедом дала нам их попробовать. Во время этой дегустации я почувствовал, что мне очень больно глотать. В обед боль усилилась. После обеда мы сели писать родителям в Константиновку. С трудом дописав свое письмо, я лег в постель. Перед сном тетя Вера поставила мне градусник, и я видел, что она чем-то встревожена. Проснулся я уже темным вечером, весь в жару. Возле моей кровати сидел благообразный старичок в золотых очках. Это был доктор Туроверов. Как только меня разбудили, он начал меня осматривать. Заглянул мне в горло, а затем отогнул ворот моей рубашки и указал тете и бабушке на сыпь, которая выступила у меня на груди. «Легкая форма скарлатины», — тихо сказал он. Но то, что он сказал вслед за сим, не соответствовало успокоительности его разъяснения. Он посоветовал тете и бабушке немедленно вызвать телеграммой мою маму. Она немедленно и приехала. Это оказалась тяжелая форма скарлатины, в то время в городе свирепствовавшей. Через несколько дней, очень трудных для меня и тревожных для мамы и родных, наступил кризис, и я стал поправляться. Из курса лечения я помню только одну процедуру. Мне смазывали налеты в горле кисточкой, на конце которой была вата, пропитанная йодом. Часто при этом меня тошнило, и это было ужасно. На всю жизнь у меня образовался страх тошноты и отвращение к способу, посредством которого медицина лечила, да и теперь лечит, ангины всякого рода.

Выздоровление шло медленно. Днем я лежал один-одинешенек целый день. Брата моего, который, к счастью, не заразился, взял к себе на время моей болезни «дядя Вася», или Вильгельм Вильгельмович Асмус, брат отца. Он и его жена, Стефания Августовна, проживали на Крещатике, не так далеко от реального училища, в гостинице «Савой», где дядя служил в штате администрации отеля. Брату у них было не только хорошо, но даже весело, так как у них был сын — наш двоюрод-

ный брат и сверстник. Звали его, как и его отца, Вильгельм, и он тоже учился в Екатерининском училище.

Мое одиночество ничуть не было мне в тягость. По крайней мере раз в неделю к маме приходил муж ее младшей сестры, Марфы Игнатьевны, — тот самый Евсевий Прокофьевич Череповский, который одаривал нас в прошлые годы книжными посылками. Он и теперь никогда не приходил с пустыми руками, но всякий раз приносил в подарок какую-нибудь книгу. Постояв недолго на пороге — из боязни занести в свой собственный дом инфекцию — и получив от мамы подробные сведения о ходе моей болезни, он тут же уходил, а я набрасывался на принесенный подарок.

Это был счастливый период моей жизни. Как читатель, я к тому времени достаточно развился, чтобы осилить приносимые мне сокровища. В короткий промежуток времени мне были подарены и быстро прочитаны «Дети капитана Гранта», «Робинзон Крузо», адаптированное для детского возраста и соединенное под шапкой «Кожаный чулок» издание пяти знаменитых романов Купера. В центре их были «Последний из могикан» и «Следопыт». Я читал и перечитывал их с несказанным интересом и наслаждением. «Зверобой» тоже мне очень нравился. Совершенно потрясала меня «Хижина дяди Тома»: побег молодой негритянки, прыгающей через реку по движущимся льдинам, и страшная судьба дяди Тома.

Счастье мое продолжалось недолго. Я уже совсем хорошо себя чувствовал, как вдруг поднялась температура. Доктор Туроверов, немедленно вызванный, нашел осложнение в области сердца. Снова потянулись дни постельного режима и всяческих предосторожностей. Но хуже всего было то, что занятия в реальном училище Туроверов запретил мне на целый год.

Мои родители решили взять на этот срок из училища не только меня, но и моего брата и отвезти нас обратно в Константиновку.

В путь собирались недолго. На киевском вокзале нас провожала целая толпа родных. Брата и меня очень занимала предстоящая поездка и радовало возвращение к отцу. Так как я считался полубольным, то для вящего комфорта мама везла нас в международном вагоне, о котором мы до того не имели никакого представления. Вагон этот поразил нас своим величием и чистотой. Проводник был в коричневой выутюженной форме и очень вежлив. Все сияло чистотой и блеском.

Поезд тронулся. Мы с братом стояли у окошка и глядели на родных, которые шли за удалявшимся вагоном и махали нам руками и платками. Перед нами на горе медленно проплывал мимо нас Киев. Я видел золоченую колокольню Софийского собора, верхушки деревьев университетского ботанического сада, крышу самого университета, главу Владимирского собора. На повороте открывались разрезы спускавшихся вниз с горы улиц: Тарасовской и других. Поезд шел все еще медленно. Открылся вид на район Большой Васильковской улицы и на квазиготическую постройку нового костела. Вдали, на горе, на высотах Печерска белели низкие стены и башни старой киевской крепости. Приближаясь к железнодорожному мосту через Днепр, поезд еще более замедлил ход. Открылся с левой стороны высокий, уходящий вдаль берег Днепра, колокольня Лавры и здания окололаврских церквей. Вдалеке виден был цепной мост у Никольской Слободки. При входе на железнодорожный мост, по которому нам предстояло проехать, возле будки стоял как вкопанный солдат с винтовкой. Над входной аркой моста висела надпись: 480 сажен. Днепр в районе моста был широкий, но посередине реки тянулась отмель, в то время еще невысоко поднимавшаяся над водой. На ней росли кустарники и травы, а на берегу лежали лодки. Но вот мост остался позади, поезд подошел к станции Дарница. За нею начинался большой сосновый лес. После жизни в Константиновке в безлесной степи, дарницкий лес казался нам совершенно дремучим и чрезвычайно живописным. Сосны росли на дюнах из чистого белого песка и подходили близко к полотну железной дороги. Поездка через лес продолжалась с полчаса, а затем пошла равнина с разбросанными по ней рошицами и отдельными деревьями.

Путь наш от Киева до Константиновки шел через Полтаву и Лозовую. В Полтаву прибывали утром — сначала на станцию Полтава-город, а затем — Полтава-Южная. Между обеими этими станциями поезд долго двигался по дуге огромного круга, объезжая вокруг весь город. Вид на него с горы, по которой шел железнодорожный путь, был живописный. Полтава, вся во фруктовых садах, с маленькими белыми домиками, казалась очень привлекательной и уютной. Наоборот, городской вокзал был скучный и холодный. Недалеко от Полтавы-города находился памятник в честь полтавской победы: из окна вагона он был хорошо виден со своими серыми каменными столбиками

и цепями. Полтава-Южная была важная пересадочная станция: от нее направлялась одна дорога на Харьков и Кременчуг, другая — на Лозовую. Перед вокзалом была крытая площадка с выходом на перрон; у одной стены висела большая икона, изображавшая покровителя путешественников Николая-угодника. У иконы этой всегда горела большая лампадка.

Участок Полтава-Лозовая шел по степи, всюду ровной, кроме местности возле села Карловка, изрезанной глубокими оврагами. Между Полтавой и Лозовой где-то показались «гоголевские» места: Гоголево, Ереськи, Сагайдак и другие. Станции и полустанки были пустынные и немногочисленные. К поездам выходили украинки, часто в национальных нарядах. Они продавали жареных кур и топленое молоко в коричневых глиняных кувшинах; корочка на нем была тоже коричневая, и оно казалось нам невероятно заманчивым, но мама нам его не покупала.

Томительным было ожидание в Лозовой. Здесь наш вагон прицеплялся к поезду, который должен был прийти из Харькова; ждать его приходилось больше трех часов. Впрочем, мы развлекались, наблюдая жизнь станции. В Лозовой поезд выходил на магистраль, соединявшую Россию и Украину с Кавказом, и движение поездов по ней было очень оживленное. Часто приходили и уходили пассажирские поезда. Из окошка нашего вагона, стоявшего против здания вокзала, мы видели толпу пассажиров, протискивавшихся к буфету или сидевших за огромным обеденным столом. На перроне отбивались звонки — второй и третий. После этого в зал буфета входил человек в длинной железнодорожной ливрее с колоколом в руке. Он громко звонил и на весь зал зычно оповещал об отправлении поездов, выкрикивая их номер и направление следования: «Поезд № 1-й Москва — Тифлис» или что-нибудь подобное.

Наконец приходил поезд из Харькова, наш вагон прицепляли к нему и наступал черед отправляться и нам. По выезде из Лозовой в пейзаже появлялась новая живописная черта: при усадьбах, экономиях показывались длинные аллеи высоких и узких тополей. Они появлялись часто и скрашивали вид степи. Так продолжалось вплоть до самой Константиновки. Мы проезжали Барвенково, Бантышево и прибывали на станцию Славянск. Станция эта была в нескольких километрах от города Славянска, куда вела особая ветка железной дороги. На станции около полотна виднелись невысокие холмы с растущими

на них соснами. Это немного напоминало нам недавнюю Дарницу. Миновав Славянск, мы въезжали в область Донбасса. Первым крупным заводским поселком на нашем пути был Краматорск со своим, ныне знаменитым, машиностроительным заводом и маленькая невзрачная Дружковка. Следующая за Дружковкой станция была наша Константиновка.

На станции нас встретил отец и, быстро организовав получение багажа, повел нас к экипажу, стоявшему у самого палисадника станции. На облучке сидел грузный, бородатый кучер Николай, которого любила мама, так как он не пил и хорошо, по ее представлению, возил нас в своем двуконном экипаже. Когда нужно было отвезти кого-нибудь на станцию, мама всегда заранее отыскивала Николая на извозчицкой «бирже» возле базара. На этот раз вызов Николая был выполнен отцом. Дорога, довольно однообразная, шла сначала справа от пути. Справа же вдоль полотна тянулся вдоль всей Константиновки невысокий кряж гор, голых и унылых. Через полотно влево открывался вид на широкую долину. В глубине ее протекал Кривой Торец, в этой части своего течения оттененный деревьями и окруженный зеленеющими садами и огородами. Впереди поднимались и дымили трубы заводов — железопрокатного с доменными печами, за ним — нашего стекольного, а еще дальше — в стороне — химического. В окрестностях заводов за чертой их заборов к ним сбегали поселки, где жили рабочие. Здесь дома, в отличие от того, что было на бутылочном и стекольном, стояли очень тесно, были очень грязны, «обшарпаны» и некрасивы. По ту сторону железнодорожного пути на близком от него расстоянии и параллельно ему направлялась на заводы от станции ветка «кукушки». У железопрокатного завода переезд переводил нас на левую от пути сторону у самого завода, и мы начинали объезд огромной территории заводских корпусов и цехов. Объехав ее, экипаж катил уже мимо стекольного завода и мимо дома, где помещалась его контора. Сюда ходил на работу наш отец. Миновав невзрачную контору, экипаж выходил на дорогу, соединявшую стекольный завод с бутылочным. Вскоре показывались стоявшие сзади нашего дома четыре жилых рабочих корпуса, а впереди за ними — наш корпус и здание больницы. Мы были дома.

Так закончился первый наш выезд из Константиновки в Киев. Целых почти полтора года мы с братом прожили после этого в Константиновке, непрерывно и усердно занимаясь дома

с Юлией Петровной. Дедушке нашему, жившему поначалу вместе с нами, выделили на зеркальном заводе за рекой квартиру — в одну комнату — во вновь отстроенном квартале жилых домов при заводе. В комнате у дедушки господствовал строгий порядок, за стеклами книжного шкафа и на письменном столе лежали и стояли стопки книг, главным образом немецких. Дедушка любил читать драмы и баллады Шиллера, трагедии и лирику Гёте, лирику Гейне. Впоследствии, приезжая летом из Киева на каникулы, мы с братом ходили к нему упражняться в немецком языке, который он знал превосходно — и из семейной практики и потому, что он окончил в Петербурге известную немецкую школу «Peter-Paul Schule». Не раз я рассматривал у дедушки лежавший среди его бумаг аттестат об окончании этой школы с каллиграфически проставленными отметками по предметам, в большей своей части отличными. Дедушка писал готическим шрифтом изящнейшим почерком и нас приучал к этому изяществу, впрочем, нам не дававшемуся. Задания по немецкому языку он проверял строго и придирчиво, добивался полной грамматической добросовестности и точности. Из русских книг, стоявших за стеклами книжного шкафа, внимание наше привлекали большие толстые тома брокгаузовских изданий Мольера, Шиллера, Байрона и Шекспира. Впоследствии дедушка подарил их нам, и они перекочевали в нашу квартиру на стекольном заводе. Мы читали сочинения этих писателей, но литературоведческий аппарат к ним одолевали неисправно и туго, с растяжкой во времени, так как он был для нас трудный, хотя очень различный по степени трудности — от простых и бесхитростных литературоведческих статей до изысканнейших «эссе» — вроде, например, статьи Вячеслава Иванова об «Острове» Байрона.

Осенью 1903 года, по возвращении из Киева, меня впервые стали интересовать газеты. Мне было уже около девяти лет. Отец выписывал из Киева известную в то время в Юго-Западном крае, как назывались тогда Киевская, Подольская и Волынская губернии, газету «Киевлянин». Издателем ее был чрезвычайно реакционный в политическом отношении Д. Пихно, редактором — впоследствии известный член Государственной думы от «правых» Василий Шульгин. «Киевлянин» привлекал меня, конечно, не своей политической направленностью — политических статей в нем я вовсе не читал, — а информацией, особенно по международным событиям. Это был

период, когда на Дальнем Востоке начались споры между русским и японским правительствами из-за концессий на Востоке. Подстрекаемое авантюристическими капиталистами и дельцами, русское царское правительство явно вело дело к разрыву с Японией и готовилось к войне. То же делало и императорское японское правительство — с той только разницей, что японцы хорошо вооружились и хорошо подготовились к этой войне, а мы — плохо, и еще с той, что они располагали превосходной информацией обо всем, что у нас делалось и готовилось, а мы — скудной и неполной. Шпионскую работу японцев пытался изобразить несколькими годами позже писатель А. И. Курин в знаменитом рассказе «Штабс-капитан Рыбников».

По мере того как внешнеполитическая обстановка все больше осложнялась, я все чаще заглядывал в газету. В нашем доме взрослые тоже поговаривали о дальневосточных делах и о возможности войны. В начале 1904 года японцы неожиданно, без объявления войны, проникли ночью на наш рейд в Порт-Артуре, где стояла эскадра адмирала Макарова, и, выпустив мины в ночной тьме с подкравшихся миноносцев, серьезно повредили три крупных военных корабля: «Ретвизан», «Цесаревич» и «Палладу». Война началась.

Во все последующее время я с жадным интересом читал проникавшие в газету сообщения о военных действиях. Через некоторое время они стали разворачиваться — сначала на море, а затем и на суше... Журналы были полны официально-оптимизма и бранили японцев. Но газеты сообщали о том, что японские войска все высаживаются, а наши все отступают. Японцы торопились приступить к осаде Порт-Артура. Началась тяжелая, кровопролитная, дорогостоящая, с первых шагов крайне неудачно для нас пошедшая и крайне непопулярная в народе, непонятная для него по своим целям война.

В течение первых месяцев войны все ее ужасы не доходили еще до сознания людей, проживавших в европейской России, в отдалении от театра военных действий. Страдал народ, в деревне страдали и надрывались жены, дети призванных запасных, угоняемых в эшелонах на Дальний Восток, но обыватели в городах вначале плохо отдавали себе отчет в происходившем.

Не отдавали себе в этом отчет и взрослые в нашей семье. В журналах, например в «Ниве», печатали рисунки и фотографии, изображавшие казачьи сторожевые пикеты в гаюляне на полях Маньчжурии, но в той же «Ниве» все больше

появлялось фотографий убитых на войне офицеров морских и сухопутных.

На заводе рабочие волновались. Социал-демократическая партия разъясняла рабочим преступный империалистический характер войны, ее совершенную враждебность интересам рабочих и крестьян. Агитация велась на первых порах конспиративно, и, кроме рабочих, мало кто о ней знал и о ней догадывался. Разумеется, мы — дети — не имели о ней ни малейшего представления. Впоследствии характер агитации изменился, и она вышла из помещений заводских цехов на улицы. Но до этого еще было далеко.

В самом конце 1904 и в начале 1905 года в настроении общества произошел резкий перелом, а после расстрела рабочих перед Зимним дворцом 9 января 1905 года в стране началась революция. Отец рассказывал маме о волнениях среди рабочих; после вечернего чая он углублялся в чтение газет, которые приносили с каждым днем все более потрясающие известия. Длилась осада Порт-Артура, эскадры Рождественского и Небогатова, расстреляв по дороге флотилию мирных рыбаков, шли из Балтийского моря вокруг Европы, Африки и Южной Азии на театр военных действий; отгремели бои у Ляояна, наши армии вновь отступили на север. Главнокомандующий Куропаткин призывал общество к терпению. Наконец, разразилась страшная катастрофа в Цусимском проливе, и вместе с нею погибли все надежды на победу русского оружия. Война была явно проиграна.

Летом 1905 года родители мои вновь начали заботиться о возобновлении наших школьных занятий в Киеве. Предстояло выдержать приемные экзамены, на этот раз — в третий подготовительный. Осложнился вопрос о нашем пансионе. Возвращаться под крылышко тети Веры оказалось уже невозможно: тетя Вера, работая, пробила насквозь иглой швейной машины палец и потеряла работоспособность. Ей пришлось закрыть свою корсетную «мастерскую» и переехать — вместе с нашей бабушкой — на житье к сестре своей Марфе Игнатьевне Череповской. Люди ангельской доброты, Череповские предложили моей маме взять меня и брата к себе на пансион. Для нашей мамы, а впоследствии и для нас с братом, это было совершенное счастье.

По наведенным в реальном училище справкам, в нашей подготовке к экзаменам оказались кое-какие недоделки. Поэтому

нас привезли в Киев раньше начала экзаменов и для улучшения нашей готовности пригласили заниматься с нами одного из знакомых маме братьев Кубацких, учеников шестого и седьмого класса Екатерининского училища. Мама была в большой дружбе с их родителями.

Начался, на этот раз благополучно не прерывавшийся до конца средней школы, восьмилетний период нашей киевской жизни. «Подготовительному» курсу у Кубацких, разумеется, предшествовал наш въезд к «тете Мусе» и «дяде Севе» Череповским. Новая обстановка нашей жизни поразила нас. Череповские занимали маленький одноэтажный дом по Крутому спуску, который они снимали весь целиком в огромной усадьбе, помещавшейся буквально посреди города, в трех минутах ходьбы от Бессарабского рынка и Крещатика. Это была настоящая огромная помещичья усадьба, и владелица ее, дряхлая старуха Лысенко, проживала в ней со своей уже овдовевшей дочерью Еленой Александровной Коломийцевой и ее детьми: Верой, Клавой, Инной и Сережей. Наши хозяева жили в большом одноэтажном и уже старом помещичьем доме, на краю площадки, обсаженной кустами пионов.

Продолговатый дом Лысенко стоял перпендикулярно к улице у самого подножия горы. Это и был Крутой спуск. Войдя в калитку и пройдя вдоль дома, человек, входящий в усадьбу, поворачивал влево и оказывался на площадке перед фасадом помещичьего жилища. Домик, снимавшийся дядей, стоял на возвышении перед этой площадкой напротив хозяйского дома. Тотчас позади дядиного дома была старенькая беседка, в ней грубый стол и скамейки по краям. Над беседкой и над всем дядиным домом шла кверху крутая гора, покрытая густыми, непроходимыми зарослями сирени, шелковицей и какими-то кустарниками. Весной по ночам здесь в сирени буйствовали — в трех минутах ходьбы от Крещатика — соловьи. Правее дядиного дома к той же горе поднималась большая ветхая деревянная лестница, выводившая в парк. Парк этот, занимавший огромную площадь, все время поднимался в гору террасами, которые были покрыты дерном. На террасах росли каштаны и грецкие орехи. Весной их смолистые почки издавали сильный запах, летом на них созревали орехи, покрытые толстой кожурой. На уровне парка как продолжение Крутого спуска вилась Круглая Университетская Улица, от которой парк отделялся высоким дощатым забо-

ром. На самом верху была еще одна площадка, вся в сирени, с которой открывался широкий вид на часть города — Бибиковский бульвар, Пушкинскую улицу и — вдалеке — на Владимирский собор. Склоны площадки были покрыты дерном, а вокруг нее обвивалась тропинка, которая выводила в одну сторону — вниз — к дядиному дому, а в другую, вперед — к дому номер три по Круглой Университетской. Между этим домом и парком был небольшой черный двор. Перед домом в самом парке была разбита крокетная площадка. Вправо от парка тянулась чья-то соседняя усадьба, доходившая до Левашовской улицы.

Уже на пороге усадьбы, где жили тетя с дядей, входящего в нее охватывала атмосфера, решительно ничем не напоминавшая о большом городе, среди которого она располагалась. Пахло жирным лесом и лебедой, всюду разросшейся на ровных местах. Весной на склонах и возле дома благоухала сирень — белая и лиловая. На площадке перед домом сияли белым и нежным розовым цветом большие пионы. В конце площадки и чуть повыше нее неподалеку от забора стоял на кругу, заросшем по краям сиренью, вековой клен, а под ним скамейка. На конце площадки, противоположном клену, постепенно понижался переход на черный двор. Там был сеновал, коровник для четырех хозяйских коров и мусорная свалка, из-под которой частенько вылезали и разбегались во все стороны большие крысы. По дороге к черному двору темнели густые заросли барбариса с чрезвычайно прямыми ветками. Из них мы делали с Сережей, хозяйским сыном, стрелы для луков.

Контраст сравнительно с природой Константиновки, с ее сухой почвой, с ее знойными ветрами, с ее бедной степной пахучей растительностью был огромный. Всюду деревья, цветы, зелень. После дождя все блестело и благоухало. Зимой все было покрыто чистым снежным покровом. Среди этой прелестной природы жили дядя и тетя.

Тетя Муся была младшая из маминых сестер. Чрезвычайно трудолюбивая, энергичная, искусная в управлении домом, она обладала разнообразными способностями. Вся ее жизнь была пронизана атмосферой деятельного добра. Она с большим вкусом мастерски шила по заказам знакомых дам дамское верхнее платье и тем пополняла небогатые дядины заработки. Она любила музыку, театр, имела хороший музыкальный слух

и хороший голос — сопрано, который, к сожалению, остался совершенно необработанным. В то время, когда мы с братом стали не только ее племянниками, но и воспитанниками, у нее уже была дочь Катя двух лет. Годом спустя родился еще сын — Костя. Во все время пребывания у тети мы жили с Катей и Костей как родные братья. Ни их родители в отношении нас, ни мы в отношении Кати и Кости никогда не испытывали и не проявляли никакого отчуждения. Брат мой давно умер, Катя и Костя до настоящего дня живы, и все мы трое, как и тогда, дружны, храним теплое, полное благодарности воспоминание о нашем прекрасном детстве.

Муж тети Муси был по рождению крестьянин из украинского села Пески Лохвицкого уезда Полтавской губернии. Рано попав в Киев, он рано начал здесь работать — сначала «мальчиком» в книжной лавке, затем продавцом в книжном магазине Леона Идзиковского, затем заведующим русским отделением этого магазина. Став горожанином, он на всю жизнь сохранил свои связи с родным селом.

Время от времени к нему в Киев приезжали его родные — старуха мать, дядя Карп, семидесятилетний старик с густой шевелюрой без единого седого волоса, племянники, племянницы. Все они разговаривали только по-украински. Дядя превосходно говорил на украинском языке, но домашним языком у нас был русский, так как тетя Муся, так же как и моя мама, «розмовляла лишь російською мовою».

До женитьбы дядя упорно и серьезно занимался самообразованием и много читал — как по-русски, так и по-украински. У него постепенно накопилась библиотечка: художественная литература и книги по истории, главным образом украинской. Дядя любил книги и умел находить то, что ему было интересно. В двух больших книжных шкафах у него было много ценных и редких книг по украинской истории, а также сочинения Шевченко, Коцюбинского, Франко, Леси Украинки, из второстепенных — Бориса Гринченко, Нечуя-Левицкого. Среди русских книг выделялись сочинения Чехова, Пушкина, Достоевского, Писарева. В числе русских переводов были сочинения Шекспира, Элизы Ожешко, Болеслава Пруса.

Обращался с книгами дядя удивительно бережно. Все они были у него хорошо переплетены и в наилучшем состоянии. Дядя сам учил меня, как надо перелистывать книгу, чтобы не измять и не испачкать ее листы: надо было слегка отогнуть

страницу наверху справа и осторожно, легким движением перебросить ее налево; ни в коем случае не допускалось тискать правый нижний край страницы. Убедившись в том, что я удовлетворительно усвоил это искусство, дядя разрешил мне брать какие угодно книги из его библиотеки.

Но книги дяди положили только начало моему чтению и моей эрудиции. В младших классах библиотека дяди с избытком удовлетворяла мою любознательность. В этом возрасте нас еще не выпускали из дома в город без старших и провожатых. Но начиная примерно с третьего или четвертого (не помню, какого именно) класса дядя выхлопотал мне разрешение брать бесплатно на дом книги из прекрасной, лучшей в Киеве библиотеки Идзиковского — того самого, у которого дядя служил в книжном магазине. Библиотека Идзиковского помещалась непосредственно рядом с магазином Идзиковского — на Крещатике, против Прорезной улицы. В высокой комнате библиотеки с полками, доверху уставленными книгами в простых черных переплетах, по стенам шли прилавки, за которыми многочисленные абоненты заказывали себе книги, заглядывая в разложенные на прилавке экземпляры очень толстого, отпечатанного в типографии каталога. В комнате рядом было продолжение книгохранилища.

По просьбе дяди заведующий библиотекой Иван Иванович Токарев, человек низенького роста, тихий, очень серьезный, с коричневым пятном на виске, разрешил мне (на меня и брата) получать до пяти книг в одно посещение (в их числе одну книжку какого-нибудь журнала). Сменить их на новые можно было хотя бы на следующий день. Этот бесплатный и щедрый абонемент открыл передо мной настоящую новую эру. Библиотека великолепно пополнялась современной литературой, и отсюда пошла впоследствии так пригодившаяся мне некоторая моя начитанность в новой литературе и журналистике. Из этой же библиотеки со временем — в старших классах — были взяты мною и прочитаны мои первые философские книги — Декарта, Спинозы, Локка, Канта, Шопенгауэра, Ницше: «Рассуждение о методе», «Трактат об очищении интеллекта», «Опыт о человеческом разуме», «Пролегомены», первый том «Мир как воля и представление», «Так говорил Заратустра».

Но начал я ходить в библиотеку, конечно, не с первых классов, а читать — не с философии, а с поэзии и художественной прозы. На первых порах дядя помогал мне в выборе книг. Он

называл мне авторов и произведения. Впоследствии я обрел самостоятельность и уверенность ориентировки.

Из сказанного видно, что условия моего интеллектуального развития в доме, где я воспитывался в Киеве, были во многих отношениях самые благоприятные. К этому присоединилось все то, что могла дать мне школа.

Занятия в третьем приготовительном классе начались в установленное время. Экзамены в этот класс мы с братом выдержали — с помощью Кубацкого — хорошо, и осенью 1905 года вновь были приняты в училище. Класс наш был большой и шумный. Новым в нашем училище предметом было рисование, которое в реальном училище преподавалось очень усердно и взыскательно. Уроки рисования были во всех классах, от приготовительного до выпускного — седьмого — включительно, и шли в порядке все возрастающей трудности. В старших двух классах сложность задания была настолько велика и трудоемка, что в течение всего учебного года требовалось исполнить всего только три рисунка. И то мы еле успевали сдать их в срок. В младших классах рисование велось вполне схоластично. В комнате на подставке устанавливались куб, или шар, или цилиндр, или пирамида; мы срисовывали их, а преподаватель объяснял правила перспективы и распределения света и тени на поверхности этих геометрических тел — в зависимости от освещения, падавшего из окна класса. Рисовали мы в больших специальных «тетрадах для рисования». Или нас учили покрывать поверхности рисунков красками. На первых порах их было только три: желтая, синяя и красная. Синяя называлась почему-то «прусской синей» (preussisch blau). Краски были круглые, как пятак, и сухие; их надо было разводить водой и равномерно размазывать кисточкой по бумаге, толстой и шероховатой. Карандаши разрешалось покупать только фирмы Гартмута (№ 2) или Фабера. Учитель рисования был большого роста рыжий человек, вспыльчивого нрава, звали его Готтлиб Иванович Лапин. Иногда, входя в класс, он натывался на груды шаливших на полу ребят, толкавших друг друга на пол и устраивавших так называемую «малую кучу». Лапин приходил в ярость, хватал шалунов за шиворот и с силой бросал каждого к стенке класса, где они должны были покорно и смиренно стоять, пока он не велит им садиться рисовать. Я и мой брат вскоре стали постоянным предметом его

странной шутки, неизменно повторявшейся. Дело в том, что на первом уроке учитель обязан был сделать — по списку в журнале — переключку и отметить всех неявившихся. Уроки рисования были назначены на первые часы. Лапин являлся с журналом и начинал переключку по алфавиту: Андерс, Андерсон, Асмус и др. Но Асмусов было два: Валентин и Николай. Вот тут-то и начиналась потеха. Лапин никогда не называл нас правильно — каждого его настоящим именем, — а всякий раз нарочно придумывал каждому из нас другое, новое имя: Асмус Вольдемар, или Асмус Виктор, или Асмус Вольфрам. То же повторялось и с моим братом: Асмус Никанор, Асмус Немвруд, Асмус Непомук... Когда он доходил до нашей с братом фамилии, ребята в классе замирали и ждали, что он придумает на сей раз. За вызовом раздавался взрыв хохота, а Лапин, довольный, улыбался в свои большие рыжие усы.

Был еще предмет, который я очень любил и который даже развивал во мне некоторую самостоятельность: естественная история. В сущности, это было первоначальное знакомство с миром местной флоры и его описание. Преподавал естественную историю маленький старенький учитель Дмитрий Евстафьевич Козловский. Он был добрый человек, впрочем довольно раздражительный. В начале учебного года, когда погода еще стояла теплая и киевские парки пылали желтыми, оранжевыми и красными листьями кленов, он выводил нас на ботаническую «экскурсию» в ближайший из этих парков — Мариинский. Построив класс в пары, он быстро вел нас через Липки, тихую, фешенебельную часть города, и мы входили в чудесный, чисто убранный парк; на краю его над Александровской улицей стояла Александро-Невская церковь. На полянах парка росли деревья самых различных видов. Козловский показывал нам их, называл по породам и разъяснял их достопримечательные особенности. Дома мы должны были составлять гербарий — засушивать листья деревьев и под каждым листом вписывать название дерева. Я срывал листья и высушивал их в папке под прессом, поместив каждый между листами промокательной бумаги. Древесные листья были влажны, и промокательную бумагу приводилось часто менять — вплоть до полного их просыхания. В классе Козловский, спрашивая уроки, требовал, чтобы ему непременно показывали гербарий. Ученик поднимался на ступеньку кафедры, где сидел Козловский, становился рядом с ним, раскладывал свой гербарий на ка-

федре и, перелистывая, по очереди называл каждое засушенное в нем растение. При этом Козловский почти не смотрел в гербарий: все его внимание было сосредоточено на поведении класса. Заметив, что кто-нибудь на партах шалит, он выкрикивал с кафедры угрозы: «Красовский, юшку спущу!» — или что-нибудь в этом роде, не менее страшное. Никто не обращал на его выкрики никакого внимания. Изредка, если ученик, стоявший рядом с ним на кафедре, перечисляя сокровища своей коллекции, называл какое-нибудь растение, слишком редкое для киевской флоры, Козловский отводил свои глаза от класса и заглядывал в гербарий — проверить, верно ли ученик назвал свой экспонат и действительно ли он находится там. Отметки выставлялись в зависимости главным образом от толщины гербария и в гораздо меньшей степени — от чистоты и тщательности, с какой были засушены растения, а также от исправности и точности подписей под ними. Вышедший отвечать урок без гербария получал двойку. Обычно он выпрашивал гербарий у какого-нибудь товарища, ранее спрошенного на предыдущих уроках, честно заслужившего свою оценку, и, стерши предварительно его фамилию, снабжал папку заново своей собственной. Так как Козловский, в сущности, ничьих гербариев почти не видел, то чаще всего эта проделка благополучно сходилась с рук и все оставались довольны.

Однажды произошел скандал, которым педагогическая карьера Дмитрия Евстафьевича закончилась. Он явился в училище совершенно пьяный. Урок его происходил на этот раз не в нашем, а в каком-то соседнем классе. Во время большой перемены Козловский появился в вестибюле. Вестибюль этот находился посреди здания училища и поддерживался массивными колоннами. Классы выходили к нему со всех сторон. На переменах его заполняли ученики и большие и маленькие, прогуливавшиеся между колоннами. Дмитрий Евстафьевич, потерявший над собой контроль, стал предметом общего внимания и общей забавы. Он весело хохотал, вертелся, приставал к окружающим, рассказывал что-то, размахивал руками. Реалисты собирались кучками и глядели на него, некоторые тоже смеялись. Насилу товарищи-учителя увели его сначала из вестибюля в учительскую, а затем — уже во время уроков, начавшихся после большой перемены, — домой. Вскоре после этого директор предложил Козловскому подать в отставку, и он покинул училище.

Остальные преподаватели в нашем классе были наши старые знакомые — те же, что и во втором приготовительном — Ковальский, Эккарт, Пятницкий. Однако вся обстановка учения была другая. Учебный год начинался беспокойно, в стране поднималась революция. Она ощущалась во всех классах и слоях общества, во всех семьях. В нашем реальном училище все внешне оставалось спокойным, учителя безмолвствовали, но ученики, сами того не сознавая, приносили с собой в училище заряд чувств и волнений, которыми они проникались дома, усваивая их из услышанных разговоров и рассказов взрослых, из бесед и споров, происходивших в каждой семье, и даже из газет, продолжавших еще разговаривать с обществом в узде, надетой на них цензурой.

В середине октября события пошли стремительным ходом. В училище нас неожиданно отпустили по домам и велели, чтобы справки о возобновлении занятий через несколько дней навели родители. Дядя Сева — небывалый случай! — пришел из магазина посреди рабочего дня домой и принес с собой купленный по дороге большой каравай круглого черного хлеба. Он объяснил, что в стране стали все железные дороги, объявлена всеобщая забастовка, лавки и магазины закрываются и, возможно, хлебопекарни работать не будут. На всякий случай решили запастись и водой: наполнили ведра, кастрюли, чайники. Дядя был радостно взволнован и с надеждой ждал дальнейших событий. Он был убежденный демократ, и настроение у него было революционное, как, впрочем, у огромного в то время множества людей. 17 октября был объявлен царский манифест о введении представительного строя (тогда это называлось «конституцией»). В манифесте революция обзывалась «неслыханной смутой» и выражалась надежда, что обещанные царем в будущем свободы и выборы народных представителей в Государственную думу приведут страну к необходимому для нее успокоению.

В городе начались манифестации. К обеду в нашем доме собрались некоторые из дядиных знакомых. Пришел и молодой Михаил Васильевич Епонешников, сын давнишнего знакомого моих родителей и родителей Кати и Кости. На груди у него красовался большой красный бант. За столом, веселым и шумным, было решено, что взрослые помоложе, в том числе Миша Епонешников и тетя Вера, отправятся после обеда на митинг к зданию городской Думы. Нас, детей, конечно, не взяли с собой

и строго запретили высовывать нос за ворота дома. Старшие ушли, но отсутствовали недолго. Вскоре в стороне городской Думы, помещавшейся в конце Крещатики, послышались выстрелы, а еще через полчаса прибежали взволнованные тетя Вера и Миша Епонешников. Они рассказали, что на площади перед Думой, с ее балкона выступали ораторы, говорились речи. Толпа была сильно возбуждена. Неожиданно у Думы появились войска, начали стрелять в толпу и отгонять ее от здания Думы. Все рассыпались и побежали по Крещатику в обе его стороны и по улицам, радиально спускавшимся из старого города к Думской площади. Когда начался разгон манифестации, Миша и тетя Вера еще не успели дойти до Думы. Увидев, что навстречу им катится от Думы толпа, и услышав выстрелы, они повернули и бросились бежать, но не по Крещатику, а по Лютеранской, а затем по Круглой Университетской и по Крутому спуску.

На следующее утро, проснувшись в своих раскладушках и глядя через окошко, мы увидели, что на улице за окном, всегда тихой и пустынной, происходит какое-то непонятное движение. Я уже объяснил, что за нашим забором Крутой спуск кончался. Большая лестница в три поворота вела мимо нашего забора вверх на Круглую Университетскую. Вот по этой-то лестнице и двигались люди. Через окошко из своей комнаты мы видели, что все они шли не вниз, к Крещатику, а поднимались вверх — от Бессарабки, Бассейной и Васильковской. Все они несли с собой какие-то изрядные тюки и свертки.

Это был еврейский погром. Происходил он в районе, где было множество еврейских лавок, магазинов и где в жилых домах было густое еврейское население. Громили и грабили там, а то, что мы видели из окошка нашего дома на Крутом спуске, было уже растаскивание награбленного, главным образом мануфактуры, по домам. Громили и грабили не только на улицах вблизи Васильковской, но и на Подоле, который отстоял далеко от нас; грабили не только мануфактуру, но и ювелирные магазины. Погром начали черносотенные банды, к которым тотчас присоединились профессиональные воры и бандиты.

Так началась в Киеве эра обещанных в царском манифесте свобод и конституции. Не помню, как прекратились погромы, когда и как возобновились учебные занятия в школах. Мы долго не могли войти в колею обычной жизни: революция продолжалась, то вспыхивая, то замирая. Появилось множество

новых газет, журналов и журнальчиков. Некоторые из них проникали в наш дом. Дядя Сева вскоре стал постоянным подписчиком газеты «Киевская мысль», сыгравшей впоследствии заметную роль в моем политическом просвещении. Рабочая печать до нас, разумеется, не доходила.

В жизнь дяди Севы революция внесла заметную перемену. Украинец по рождению, крестьянин, дядя горячо любил Украину, украинскую литературу, украинскую историю. Не получив систематического школьного образования, он был довольно начитан, хорошо грамотен и мечтал о деятельности на пользу украинскому просвещению. У него был довольно широкий круг знакомых — работников украинской культуры: писателей, литературоведов, ученых. Еще до революции дядя часто присылал моему отцу в Константиновку книги на украинском языке — больше сочинения прозаиков. Отец мой, чрезвычайно способный к изучению языков, любил украинский язык; он быстро выучился читать по-украински, и я много раз видел и слышал, как он с удовольствием читает нашей маме что-нибудь вроде Нечуя-Левицкого «Повіти та оповідання».

После революции дядя решил испытать свои силы в издании — на украинском языке — произведений украинской литературы. Он использовал для этого свои личные связи и знакомства в литературном, книжном и деловом мире. Начав с небольшого, он со временем действительно стал небезызвестным в Киеве украинским издателем. Издания эти приносили ему доход, вначале совершенно ничтожный, но впоследствии увеличившийся.

Это — новое — направление деятельности трудно было совместить со службой в книжном магазине за прилавком. В 1913 году дядя решил оставить Идзиковского и открыть собственный книжный магазин. Вместе с товарищем своих юных лет Андреем Степановичем Петровским, служившим где-то в магазине писчебумажных принадлежностей, дядя снял на равных с ним паях крохотный магазинчик в нижней части Фундуклеевской улицы, выходившей на Крещатик. Это был, если так можно сказать, «Литейный проспект» Киева — улица, где находилось много книжных магазинов: Розова, Просяниченко, Иогансона. Все они помещались по правой стороне Фундуклеевской. Вскоре в их ряду появился новый магазин под вывеской «Книжный магазин Е. П. Череповского и пис-

чебумажный А. С. Петровского». Перед открытием собственного магазина дядя съездил в Петербург — завести связи со столичными книготорговцами, а также книгоиздателями. Это было ему необходимо для получения кредита и для пополнения магазина ходкой тогда и привлекательной для покупателей новой литературой. Фирмы отпускали книги по цене ниже их продажной стоимости.

Вернулся из столицы дядя довольный. Ему были открыты кредиты, и он, кроме того, привез два или три чемодана, полных новоизданных книг. Помню любопытство, с каким я их рассматривал.

Но открытие магазина требовало помощника за прилавком и в кассе. В кассу была приглашена тетя Вера. В помощники по продаже был выписан из дядиной деревни его племянник Кирюша, или Кирилл Яковлевич Сорока.

Племянник дяди вскоре явился и всем нам очень понравился. Это был плотный паренек небольшого роста, похожий лицом на дядю, румяный, с такими же густыми, как у дяди, бровями, немного угрюмый, но добродушный. В деревне он учился в школе, где преподавание велось на русском языке, и он хорошо говорил на нем, но с милым украинским выговором. Мы все четверо скоро подружились и воскресенье обычно проводили вместе.

К книжному делу он приучался без охоты, и, по правде говоря, на то была причина. На работе у дяди ему все время приходилось быть в бегах. Постоянной бедой дяди было то, что он начал свою коммерческую деятельность без всяких средств. Не имея никакого капитала, он не мог иметь у себя в магазине и достаточного ассортимента учебников и книг. Но у дяди был наготове прием, часто выручавший его. Вот покупатель входит в магазин и спрашивает какую-нибудь книгу. Книги этой у дяди на полках нет и в помине. Но дядя невозмутимо говорит: «Кирюша, сходи на склад и принеси». Затем он просит покупателя присесть и подождать немного — пока книгу принесут «со склада», а Кирюша исчезает через заднюю часть магазина и мчится в склад. Склад этот был в действительности вовсе не склад, а соседний книжный магазин богатого книготорговца Оглоблина — на Крещатике, почти против Фундуклеевской. По договору с дядей Оглоблин отпускал ему в таких случаях книги с обычной между книготорговцами скидкой. Так как магазин дяди находился внизу Фундуклеевской у самого

Крещатика, то Кирюша в три минуты поспевал к Оглоблину и обратно и быстро приносил требуемую книгу. Операция эта производилась очень часто, слишком часто; иногда она кончалась неудачно — если книги не оказывалось и у Оглоблина или если покупатель, рассерженный промедлением, вставал и шел в другой магазин. Немудрено, что бедный Кирюша очень уставал от этой частой и утомительной гонки по одному и тому же маршруту, к тому же гонки порой безрезультатной. Дело шло гораздо лучше в начале учебного года. В течение лета дядя запасался в кредит учебниками. Многие из них были стандартные (арифметика, геометрия и алгебра Киселёва, древняя история Иванова, русская — Иловайского и т. п., тейбнеровские и майнштейновские издания классиков античной литературы, словари и т. п.) и приобретались заранее в большом количестве. В первые дни учебных занятий магазин с утра до вечера ломился от покупателей. Младшим ребятам учебники покупали их родители; старшеклассники сами разыскивали потребное. Весь этот народ толпился у прилавка. В общем, спрос удовлетворялся, магазин торговал бойко, Кирюша стоял рядом с дядей за прилавком и отпускал вместе с ним книги; отсылки «на склад» случались гораздо реже. Тетя Вера в кассе, изнемогая от напряжения, выбивала чеки, принимала деньги и выдавала сдачу. То же приблизительно происходило и во второй — правой — половине магазина, где компаньон дяди А. С. Петровский торговал тетрадками, общими тетрадами, карандашами, ручками, резинками, перьями, чернилами, готовальнями, пачками бумаги, линейками, треугольниками, листами александрийской бумаги и прочими письменными принадлежностями. Ему тоже помогал племянник — Юзя, но это был не мальчик, а студент юридического факультета в студенческом мундире и в пенсне. Юзя, поляк, как и его дядюшка, был важен. Он играл на рояле, часто говорил об этом и пояснял нам, что любит, играя, погружать пальцы в клавиатуру «так, чтобы получалась оттяжка звука». Я не понимал, что это значит, но проникался к нему уважением.

Вся эта эра дядиной книготорговли началась значительно позже, в 1913 году. А в год начала революции дядя еще служил у Идзиковского, и мы с братом ходили в приготовительный третий. После перехода из приготовительного в первый класс в ученьи нашем произошли перемены. Появились и новые преподаватели, и новые предметы. Ни Ковальский, ни Экарт не

учили в классах старше приготовительного. С Ковальским мы расстались без всякой печали, равнодушно, об Эккарте вспоминали постоянно, с любовью. Вместо него в класс пришел господин Борман. Это был высокий сухой немец с белой бородой. Белой, но какая-то ее часть была странного желтовато-зеленого цвета. Борман был строг, бессердечен, никогда не смеялся и смотрел впереди себя как-то поверх сидевших за партами или шедших ему навстречу учеников. Мы его боялись и не любили. Вскоре, однако, он неожиданно умер и его место в классе заступил Баллод — тот самый, который во время немецкой молитвы перед уроками играл на фисгармонии. Баллод преподавал немецкий по книге для чтения, большую часть которой составляли легкие обработки греческих мифов, главным образом гомеровских. Ни из какого другого источника познакомиться с ними в классах мы не могли, так как древние языки здесь не преподавались. Баллод сам любил эти мифы и всячески внедрял их в наше сознание и память. Мы постоянно переводили их на русский, пересказывали по-немецки «своими словами», часто они же служили материалом для диктанта. Сам Баллод, читая рассказ, в котором богиня прекращает поединок двух храбрых героев, с особой торжественностью и восхищением произносил ее слова: «Genug des Streites: die beide sind tapfer!»* Прелесть этих мифов была так велика и покоряюща, несмотря на все ослабление, порождаемое бесцветным, вялым немецким переводом, что мы с удовольствием по многу раз слушали, читали, переводили и пересказывали одно и то же. Но сам Баллод был вовсе не поэтичен. Он ходил по классу, засовывая руки в карманы брюк, и постоянно почему-то их подтягивал движением, которое мы все хорошо замечали и над которым неизменно потешались. В преподавании он налегал на грамматику, и из его преподавания я вынес хорошее знание немецкого склонения, спряжения, управления предлогов и синтаксиса. Он не терпел невнимательных, апатичных, косных и в ответ на какое-нибудь проявление ротозейства любил насмешливо цитировать из «Евгения Онегина» рассказ о «деревенском старожиле», который «в окно смотрел и мух давил». Когда кто-нибудь, отвечая урок, выпаливал что-нибудь дико несуразное, он с ироническим состраданием,

* «Прекратите поединок: вы оба храбры!» (нем.). — *Примеч. ред.*

глядя на неудачника сверху вниз и качая головой, произносил: «Jawohl, meinetwegen!»* В нем не было активной доброты Экарта, но он был незлобив и не чужд снисходительности.

Самым ярким событием в первом классе было появление нового учителя русского языка, Андрея Митрофановича Лободы. Это был не простой учитель, а настоящий — и притом известный — профессор филологического факультета Киевского университета, впоследствии — декан этого факультета и действительный член Украинской Академии наук. Трудно понять, что принуждало Лободу преподавать в средней школе, да еще в ее младших классах (он, впрочем, преподавал и в двух старших). Я не уверен, что он делал это из погони за деньгами, так как он, как и многие другие профессора Киевского университета, читал одновременно и на Киевских высших женских курсах. К тому времени, когда я перешел в первый класс и начал у него учиться, он уже защитил диссертацию, был магистром и успел приобрести в научных кругах прочную известность своим исследованием о русском былинном эпосе. В третьем томе брокгаузовского издания Пушкина была напечатана его статья о «Полтаве», впрочем довольно бледная. Вероятно, редактор издания — С. А. Венгеров — поручил ему эту статью потому, что Лобода был известен как украинец и считался знатоком украинской истории.

Преподавание Лободы чрезвычайно содействовало моему умственному развитию. В первом (и во втором) классе большая часть времени на уроках русского языка посвящалась грамматике. Лобода чрезвычайно энергично и разумно вел этот предмет. Он был беспощадно строг, требователен, двойки и единицы так и сыпались на нерадивых и ленивцев. Но в преподавании его была ценнейшая черта: он сосредоточивал внимание на синтаксисе, на анализе структуры предложения. Насколько это было возможно, к морфологии (к учению о формах и частях речи) он шел от синтаксиса (от учения о частях предложения), а не наоборот. В его объяснениях — очень ясных и точных — прозрачно, выпукло обрисовывался строй русского предложения, его синтаксические элементы и соотношения этих элементов. Все это осуществлялось простыми средствами грамматического анализа («разбора», как это называлось),

* «Ну, пусть будет так!» (нем.). — *Примеч. ред.*

без всякой излишней «ученой» лингвистической терминологии, без недоступной ребятам отвлеченности и сложности.

Я очень любил уроки сурового, суховатого Лободы и с удовольствием выполнял дома довольно обширные и трудные задачи по грамматическому «разбору». Оглядываясь теперь на свою умственную работу в первом и втором классах, я думаю, вполне даже уверен, что именно на этих уроках русского языка и именно вследствие особенностей его преподавания во мне подготавливался будущий мой интерес к формам мышления, — тот интерес, который много лет спустя привел меня к науке логики. Уроки Лободы, его синтаксические анализы и задачи были отдаленным преддверием к моему увлечению логикой суждения.

Занимаясь с нами грамматикой, Лобода не забывал развивать в нас и вкус к художественной литературе. Он часто задавал нам разучивать стихотворения, разумеется хрестоматийные, но всегда, как мне казалось, выбирая самые из них лучшие. С верным тактом он никогда не делал из стихотворения предмет грамматического разбора, боясь, очевидно, сбить с этих «бабочек» покрывавшую их прекрасные крылья пыльцу поэзии. Не так щепетильно относился он к прозе, конечно, не потому, что он не видел в прозе поэзии, какой она в действительности была, а потому, что в учебнике грамматики «примеры» для задач и разбора в большей части брались из произведений классиков прозы. В первых двух младших классах Лобода был не только учителем, но и классным наставником, однако в «наставничестве» себя почти не проявил.

Совершенно другой характер был у нового учителя географии — Виктора Владимировича Бреева. Он учил не только географии, но и истории — во всех классах. Это был бледный, с румянцем на щеках человек; у него был туберкулез, то затухавший, то разгоравшийся. Лечил он его частыми выездами за границу — в Италию или на юг Франции, иногда посередине учебного года. Он быстро поправлялся и возвращался веселый, смуглый, даже слегка пополневший.

Как учитель, он был очень образован. Его уроки, особенно по истории (мы узнали это в старших классах), были настоящими лекциями, чрезвычайно содержательными. Но излагал он их как-то вяло, тягуче, рассказывал не столько классу, сколько самому себе, покашливая, тщательно выбирая слова, обдумывая и формулируя предложения, ни на кого не глядя. Его плохо

слушали, да он вовсе этого и не требовал, предоставляя нас самим себе. Кто готовился во время объяснения к следующему уроку или решал математическую задачу, кто играл в крестики с товарищем по парте, кто завтракал, кто читал книгу. Слушали немногие. Но спрашивал Бреев взыскательно: резко поправлял ошибки, двойки ставил — кому надо — без колебания, неумолимо.

В первом классе он преподавал физическую географию. Он приносил с собой из учительской большую «немую» карту полушарий, с ярко раскрашенными синими океанами, желто-коричневыми хребтами гор, плоскогорьями, зелеными низменностями и желтыми пустынями. Спрашивая, он предлагал указать на карте такие-то координаты северной или южной широты, такие-то восточной или западной долготы. Впоследствии в старших классах я вспоминал эти географические задачи, эти положительные и отрицательные широты, эти восточные и западные долготы на уроках тригонометрии с ее положительными и отрицательными значениями тригонометрических функций.

Виктор Владимирович был шахматист, довольно сильный, он даже участвовал в каком-то всероссийском шахматном турнире, где среди прочих участников блистал М. Чигорин. Я видел фамилию Бреева на турнирной таблице этого всероссийского состязания, напечатанной в шахматном отделе литературных приложений к «Ниве». Увы, результат нашего Виктора Владимировича был плачевный.

Другим его «хобби» было пение. У него был не сильный приятного тембра голос; он не только пел, но и сам сочинял романсы и даже печатал некоторые из них в музыкальном издательстве.

Мы очень любили Бреева — за то, что он был хороший, добрый учитель, и еще за то, что у него не было отвратительной коварной повадки «ловить» ученика, не выучившего заданного. Уходя из класса и записав урок в журнал, он всегда предупреждал нас, что он будет делать в следующий раз: спрашивать или объяснять. И если обещано было «объяснение», то мы смело шли в училище, даже не раскрыв дома учебника на заданном месте, а к следующему после этого разу выучивали оба урока разом.

Однажды Виктор Владимирович чуть не поплатился за это свое благородство. В училище приехал — для проверки — по-

мощник попечителя учебного округа. На одной из перемен нам сообщили, что на следующем уроке он посетит наш класс. Это был урок истории, урок Бреева. Согласно обычному нашему с ним уговору, на этот раз нам предстояло «объяснение», и ни один мальчик не приготовил задания, записанного в классный журнал. По существовавшему обычаю в случае посещения урока начальством учитель должен был «спрашивать» — продемонстрировать начальству успеваемость класса. Мы замерли от ужаса. Не успели мы сообразить, как нам быть, раскрылись двери и в класс вошли Виктор Владимирович и помощник попечителя в сопровождении директора училища — К. Д. Раммата. Перед кафедрой стояли принесенные из учительской стулья для «гостей». Виктор Владимирович, бледнее обычного, поднялся на кафедру. И что же? — Вместо того чтобы спрашивать, он начал объяснять следующий урок. Помощник попечителя недоуменно взглянул на директора, но ничего не сказал и ни о чем не спросил. Ему и директору пришлось дослушать до конца лекцию Виктора Владимировича по истории, которая продолжалась весь часовой урок. Когда прозвонил звонок и все начальство ушло, мы в классе бурно стали обсуждать, не случится ли Виктору Владимировичу какой-либо неприятности или замечания. Мы даже осмелились через несколько дней спросить об этом его самого. Он засмеялся в ответ и сказал: «Нет, не случилось. А если бы мне было сделано замечание, я ответил бы, что думал, будто хотят проверить, как я умею вести объяснение».

В конце учебного года, когда устанавливалась теплая солнечная погода, Виктор Владимирович выезжал иногда с нашим классом на прогулки в окрестности Киева: в Святошино или в Голосеевский лес. Начиная с первого класса нас разделили на параллельные отделения, и вместе со мной и братом из первоначального состава приготовительного осталось только человек двадцать с небольшим. Руководство экскурсией не представляло поэтому для экскурсовода большой сложности. В Святошино мы отправлялись на трамвае, начинавшем свой маршрут от Крещатика. Трамвай — двойной — шел по Бибикивскому бульвару мимо университета и далее по Брест-Литовскому шоссе. Бульвар неуклонно поднимался вверх и был виден вдаль на громадное расстояние. Он был обсажен гигантскими тополями, под которыми стояли скамейки, в нижней части бульвара постоянно занимавшиеся детьми и их няньками. Сначала

мы доезжали до дачной платформы Екатериновка, следующая станция — она же и конечный пункт трамвайной линии — была Святошино. До города отсюда очень близко — верст четырнадцать, не больше. Лес в Святошине был сосновый, старый, рослый, но довольно редкий; под соснами всюду зеленели или рыжели, смотря по сезону, папоротники. Лес пересекали многочисленные тропинки и просеки, а несколько дальше — линия ковельской железной дороги, направлявшаяся от станции Святошино на дачные поселки Бучанку, Бучу, а еще дальше — на Ирпень. Святошино стояло на небольшой возвышенности, с которой хорошо была видна та часть дороги, которая проходила через Бучанку и Бучу. В этом направлении и лежал путь нашей экскурсии. Мы вдыхали прекрасный сосновый воздух и медленно шли за Виктором Владимировичем. Шедшим впереди он рассказывал о своих путешествиях в чужие края, особенно охотно и подробно — об Италии. Он любил ее и так часто бывал в ней, что выучил немного итальянский язык. Он говорил, что после латыни и французского это было вовсе не трудно. На опушке леса мы устраивали состязания в беге на 100 метров, замеряя по секундомеру, играли в шашки и в шахматы, боролись на траве, дурачились. После забега завтракали, доставая из своих кулечков бутерброды, бублики и яблоки, а затем, отдохнувши немного, держали обратный путь по тому же маршруту. Виктор Владимирович прекрасно проводил эти прогулки: он не докучал нас опекой или нравоучениями, но зорко и внимательно следил, чтобы мы не разбрелись и не натворили каких-либо бед. Долго вспоминались нам потом эти милые легкие походы!

Университетские годы

После сдачи экзамена по латыни никаких препятствий к поступлению в университет больше не было. Получив удостоверение о сдаче латыни, я на следующий же день отнес в канцелярию университета заявление — просьбу о зачислении меня на первый курс историко-филологического факультета. В заявлении надо было указать, на какое отделение факультета я хотел быть зачислен. Я задумался. Философского отделения в то время в Киевском университете не было — оно открылось несколькими годами позже. Подумав, я выбрал отделение германо-романской филологии. Я надеялся, что, обучаясь на нем, приобрету более основательные познания в иностранных языках и смогу читать в подлинниках зарубежных авторов. О специализации по философии я, конечно, не мог и думать: для этого надо было поступить или в Петербургский, или в Московский университет, где существовали — при историко-филологических факультетах — философские отделения.

Итак, оставалось дожидаться зачисления в университет. До начала занятий было еще две или три недели. Но еще до этого зачисления со мной случилось одно — непредвиденное и приятное для меня — событие. В августе 1914 года в Киеве должно было наблюдаться полное солнечное затмение. Продолжительность полной фазы была большой — около двух с половиной минут. Приблизительно за месяц до затмения я вышел из дому, но вскоре почему-то вернулся. Открывая мне дверь, моя мама с улыбкой

сообщила: «К тебе приходил один интересный молодой человек. Я объяснила ему, что ты скоро вернешься, а он сказал, что непременно вновь придет к тебе».

Оказалось, что «интересный молодой человек» живет совсем недалеко от нас, в соседнем доме со своими родителями и с сестрой. Вскоре явился и он сам. Его звали Георгий Владимирович Шелейховский. Он был несколькими годами старше меня, только что окончил физико-математический факультет Киевского университета, и окончил его столь блистательно, что профессор Косоногов, заведовавший кафедрой физики, предложил ему остаться при университете — для подготовки к профессуре. Это называется теперь аспирантурой. Но Шелейховский отказался от сделанного ему предложения: он сам давно решил, что будет заниматься наукой, но не хотел, чтобы аспирантская стипендия лишила его независимости, которой он дорожил больше всего. Родители его были люди состоятельные и предоставили ему распорядиться, как он хочет, своей будущей научной судьбой. Он предпринимал какие-то меры по устройству на службу в учреждение, занимавшееся научными расчетами и обоснованиями по планировке и устройству больших городов. В то время, когда я познакомился с ним, все это только еще намечалось. Ко мне же его привело совершенно другое обстоятельство. Он разъяснил мне, что вместе с двумя своими товарищами, так же как и он, только что окончившими университет, он решил организовать наблюдение предстоящего в августе полного солнечного затмения в нашем дворе на Кругло-Университетской улице. Полная его фаза проходила через Киев. Меня он задумал привлечь как одного из участников этих наблюдений.

Не догадываюсь до сих пор, каким образом он узнал о моем интересе к астрономии — до этого времени я не был знаком с ним. Но он не ошибся и явился очень кстати. Еще в средних классах реального училища я чрезвычайно увлекся чтением доступных мне книг по астрономии. Приезжая в Константиновку на каникулы к родителям, я не только захватывал с собой эти книги, но по вечерам часто допоздна рассматривал звездное небо. Никаких астрономических инструментов у меня, конечно, не было. Не было и астрономических познаний. Но я очень полюбил звездное небо, а в Константиновке в летние месяцы условия для его изучения были прекрасные: не было лесов, парков, деревьев, закрывающих небо, да и темнело оно вече-

рами гораздо быстрее, чем в более северных широтах, в том числе в Киеве. Рано, можно сказать в детстве, возникший во мне интерес к звездному небу, впоследствии перешедший в интерес к астрономии, поддержали во мне два события, испытанные мною начиная с 1910 года. Первым из них было появление в 1910 году кометы Галлея. О приближении кометы заранее оповещали газеты, через перигелий она должна была пройти в мае. Я сгорал от нетерпения и волнения. В предсказанный учеными срок комета, конечно, явилась. Это было действительно великолепное зрелище. Погода стояла прекрасная, и условия для наблюдения были наилучшие. В ночь, когда Земля должна была пройти сквозь состоявшийся из разреженного газа хвост кометы, я не ложился спать и провел эту ночь в саду, его верхней террасе, откуда открывался прекрасный вид и на небо, и на город, лежавший внизу.

Вторым событием, поразившим меня, были знаменитые, описанные впоследствии Андреем Белым в его воспоминаниях, зори. Это случилось летом следующего 1911 года. Я и мой брат были уже в Константиновке, только что наступили школьные каникулы. По вечерам мы с отцом и братом часто сидели на скамейке, стоявшей у входа в небольшой палисадник перед нашим домом. С этой скамейки были видны здания заводской больницы, дорога на стекольный завод и «экономия», давно превращенная в усадьбу директора завода, бельгийского инженера Омона. Неподалеку от нашего дома проходила проселочная дорога, которая вела к железнодорожному переезду мимо заросшей лебедой полянки перед больницей и перед домом — квартирой заводского главного врача. Горизонт с нашей скамейки открывался в сторону запада и северо-запада.

В один из вечеров мы втроем — папа, брат Коля и я — уселись, как обычно, на нашей скамейке и стали глядеть на дорогу. Стоял июнь, был очень прохладный вечер, небо было совершенно безоблачно. Не помню, о чем мы разговаривали; после ужина, с тех пор как мы уселись на скамейке, прошло уже немало времени; вдруг отец обратил наше внимание на поразившее его явление. Ночь не наступала! Небо на западе и северо-западе оставалось чрезвычайно светлым, словно вечерняя заря не потухала! Мы поглядели на часы и очень удивились: во все предыдущие вечера в этот час над землей уже давно сгущались сумерки. А нынче небо оставалось не только

прозрачным, но и неестественно, необычно светлым — как будто Солнце, опустившись за край горизонта, остановилось в своем видимом движении где-то там внизу глубоко под землей и продолжало оттуда «издалека» равномерно освещать небо. Изумленные, мы продолжали сидеть, не спуская глаз с неба и часто поглядывая на циферблат наших ручных часов. Явление продолжалось, хотя час становился все более поздним — он далеко перешел за десять вечера и приближался к одиннадцати. У отца в кармане пиджака лежала газета. Он бросил на нее взгляд: можно было свободно читать! «Это — северное сияние!» — воскликнул вдруг отец. Но я тут же выразил сомнение. Если бы это было северное сияние, то на небе явились бы сполохи, передвигались бы цветные столбы света. Но небо ничуть не изменялось, оставалось «спокойным», без перемен. Мне стало жутко. Впечатление было такое, будто мы присутствуем при каком-то непонятном явлении космического порядка. Оно протекало совершенно беззвучно, с какой-то пугающей непреклонностью.

Только поздно ночью свечение неба стало бледнеть и сливаться со свечением ранней в то время утренней зари. И только тогда мы пошли спать.

Необычная «задержка» вечерней зари была замечена в ту ночь очень многими на большом пространстве страны. Так как в это время года ночи на севере очень короткие, а вечера очень светлые и длинные, то, чем южнее было место, тем лучше наблюдалось явление, тем поразительнее оно казалось.

Впоследствии было найдено и обошло все газеты и журналы объяснение. Над землей на огромную высоту в несколько десятков километров поднялись серебристые облака. Отражение лучей заходившего Солнца от этих облаков и произвело поразительный эффект длящейся далеко сверх положенного ей срока вечерней зари.

Спустя много лет я, встретившись в Москве с Георгием Владимировичем Шелейховским, рассказал ему об этом случае. Собственно говоря, не рассказал, а напомнил, так как он, оказывается, тоже наблюдал свечение неба где-то в средней России, разумеется, в тот же вечер, что и я в Константиновке. По его словам, он едва не сошел при этом с ума, так как ему представилось, будто весь космический порядок расстроился. Для него — физика и астронома — это представилось как нечто непостижимое и наполнило его леденящим ужасом.

Когда Г. В. Шелейховский впервые явился ко мне со своим предложением, я с радостью принял его, но предупредил Георгия Владимировича, что никакой астрономической подготовки, конечно, не имею и, собственно, даже не представляю, чем могу быть ему полезен. Он улыбнулся и сказал: «Мы найдем для вас полезную роль». Вскоре я был посвящен в его планы. Ему и небольшой группе его товарищей предстояло оборудовать наблюдательную площадку во дворе рядом с домом, где мы жили, и произвести некоторые операции: 1) точно проверить предсказанный момент начала затмения, то есть момент первого контакта черного во время затмения диска Луны с ярким солнечным диском; 2) сфотографировать, если позволит погода, солнечную корону во время полной фазы; 3) проследить ход температуры воздуха во время полной фазы.

Главным инструментом для наблюдения Солнца был небольшой, принадлежавший Георгию Владимировичу четырехдюймовый рефрактор. Позади телескопа устанавливался экран, на который во время затмения проецировалось телескопическое изображение Солнца. Задняя наружная стена дома была обращена к южной стороне неба — к той, по которой должно было проходить Солнце во время затмения. К этой стене прикреплялись стенные часы с маятником, а под маятником — чашечка с ртутью, соединявшаяся с лентой расположенного по соседству на столике телеграфного аппарата Морзе. С каждым размахом маятника металлическое острие его касалось ртути, налитой в чашечку, происходил контакт и аппарат Морзе пробивал дырочку на движущейся телеграфной ленте. Промежутки между двумя возникавшими на ленте дырочками были одинаковые и соответствовали интервалу времени в одну секунду (амплитуда качания маятника). Но к ленте вел еще один провод. На одном конце его была «груша» с кнопкой. Нажим кнопки пальцем приводил в действие — на другом конце провода — соединенное с телеграфной лентой острие, которое пробивало на ленте еще одну «внеурочную» дырочку — между двумя соседними на телеграфной ленте, равномерно движущейся синхронно с часовым маятником. Измерив с помощью микролинейки расстояние между дырочкой, пробитой нажатием «груши», и дырочкой, соседней с нею, можно было довольно точно определить момент начала затмения.

Во время наблюдения затмения моя задача или обязанность состояла в том, чтобы точно в момент, когда на увеличенном

изображении Солнца на экране появится на самом краю его диска черная точка или пятнышко, нажать кнопку на «груше» и пробить дырочку между двумя соседними дырочками на ленте, отмечавшими секунду, предшествующую появлению черной точки, и секунду, следующую за вступлением темного пятна на диск Солнца. Вычисление долей секунды должно было быть произведено после затмения в комнатной обстановке.

В процессе подготовки к наблюдению необходимо было — для большей точности измерения времени — определить так называемое «личное уравнение» каждого из его участников, в обязанности которого входило определение времени — начальных и конечных моментов — различных фаз затмения. Мы провели эти определения за полторы недели до самого затмения.

Георгий Владимирович взял на себя задачу фотографирования солнечной короны и приобрел для этого превосходные по оптическим свойствам фотографические принадлежности.

Накануне дня затмения все наши приготовления были закончены. Оставалось ждать наступления события. Погода была очень ненадежна. Над Украиной проходил циклон с частыми и обильными прохладными дождями. В день, предшествовавший затмению, с самого утра лил дождь. Георгий Владимирович все же не падал духом: барометр медленно поднимался. В эти дни мы ежедневно собирались у Шелейховских и, поглядывая на барометр, обсуждали шансы на удачу. Один из его товарищей приносил нам метеорологические прогнозы, в то время крайне несовершенные, от американской экспедиции по наблюдению затмения, расположившейся под Киевом в дачной местности Дарница на левом берегу Днепра. Американцы приехали за два или три месяца до затмения и построили в Дарнице целый городок. Начальником их экспедиции был знаменитый астроном профессор Кэмпбелл. В то время он, кажется, был директором Ликской обсерватории.

Один из товарищей Шелейховского — физик Тимофеев — съездил в Дарницу и познакомился с Кэмпбеллом и другими участниками американской экспедиции. Тимофеев очень хорошо говорил по-английски. Хозяева обсерватории, выстроенной в Дарнице, его любезно приняли и пригласили приехать к ним в день затмения, нагрузив каким-то маленьким поручением, относившимся к будущему наблюдению. Тимофеев часто появлялся и у нас, на нашей «наблюдательной площадке», и рассказывал, как идет грандиозные приготовления

американцев. Их программа была чрезвычайно внушительна, не говоря уже об инструментарии и технике. Но, слушая его рассказы, мы не слишком смущались, так как отдавали себе полный отчет в скромности нашей собственной задачи, в ее полной исполнимости, как нам казалось, и в ее почти нулевом, чтобы не сказать просто нулевом, научном значении.

Вечером накануне дня затмения мы все собрались у Шелееховских. Небо неожиданно расчистилось, и все было усеяно яркими звездами. Звезды сильно мигали. Георгий Владимирович ликовал и предсказывал нашей затее полный успех. Но я не разделял его оптимизма. У меня был небольшой опыт метеорологических наблюдений. Я приобрел его с детских лет в Константиновке, где прогнозами погоды очень интересовался наш отец — страстный рыболов. Да и сам я был в то время страстный рыболов. Особенно по субботам, накануне выходного дня, и по воскресеньям с раннего утра я не спускал глаз с неба, наблюдая приметы погоды: облачность, ее характер, направление и силу ветра, а также наблюдая температуру, барометрическое давление и тому подобные признаки. Из этих наблюдений я уже хорошо знал, что при циклонном состоянии погоды прозрачность неба, его ясность и обилие ярких мигающих звезд на ночном небе отнюдь не гарантировали солнечной погоды на завтра. Я затаил свои сомнения, во-первых, потому, что не хотел огорчать милейшего Георгия Владимировича, вполне уверенного в успехе, и разыгрывать роль какой-то мрачной Кассандры, и, во-вторых, потому, что сам страстно хотел, чтобы погода оказалась завтра милостивой.

Наступило утро рокового дня. В семь часов я уже был на нашей площадке и внимательными глазами оглядывал горизонт. На неопытный глаз могло показаться, что все идет наилучшим образом: небо было безоблачно, воздух чрезвычайно прозрачен. Но я хорошо знал, как обманчива эта видимость. Вскоре я с ужасом заметил, что на юго-западном краю горизонта начинают появляться маленькие, чуть лилового оттенка облачка. Они медленно поднимались по небосводу, число их все увеличивалось. Это был очень дурной признак. Я знал, что к середине дня небо сплошь или почти сплошь покроется облаками.

Мое предвидение оправдалось. К счастью, увеличение облачности нарастало медленно, дождя не было и не предвиделось. К назначенному времени все участники наблюдения заняли свои места у приборов на площадке. Около момен-

та, когда должно было начаться затмение, часть неба вокруг Солнца была еще совершенно свободна от облаков. Я не спускал глаз с экрана, на который отбрасывалось огромное изображение Солнца. В предсказанное вычислителями время в юго-восточной части солнечного диска, все еще не закрытого облаками, показалась на самом краю его черная точка. Я мгновенно нажал кнопку «груши», которую держал в руке, и привел в действие острие маятника, пробившее телеграфную ленту между двумя точками, отмечавшими на ленте секунды до и после начала затмения. Моя миссия была на этом закончена, и я мог спокойно рассматривать все, что затем происходило на площадке. Обстановка все ухудшалась, облачность быстро увеличивалась. За четверть часа до полной фазы было еще светло, но пейзаж приобрел какой-то мрачный, мертвенный вид. Убыль света была громадная и все возрастала. Минут за десять до полной фазы Солнце закрылось огромным темным облаком, и всякая надежда увидеть полную фазу и сфотографировать солнечную корону исчезла. Очень волнующим было наступление полной фазы. В этот момент со двора и с улицы раздался громкий крик. Это восторженно и взволнованно кричали мальчишки, тоже наблюдавшие затмение. Во время полной фазы не наступило совершенной тьмы, слабое освещение исходило от тех мест поверхности земли, которые оставались вне полосы полного затмения и находились в нескольких десятках километров к востоку и к западу от Киева. Поэтому в наступившем густом сумраке можно было все же различить предметы и фигуры людей, находившихся на площадке. Через две с половиной минуты после наступления полной фазы из-за черного диска Луны показался первый луч Солнца, и мгновенно все вокруг стало светло почти как днем. Контраст в освещении был поразительный. Самым досадным было то, что через несколько минут после окончания полной фазы большое темное облако, закрывшее Солнце во все время этой фазы, сошло с него и небо вокруг Солнца совершенно расчистилось. Случись это немногими минутами раньше — и мы могли бы сфотографировать солнечную корону и ее окрестности. А теперь оставалось только собрать все приборы и отнести в квартиру Шелейховских.

Вечером все мы в последний раз собрались у Шелейховских и обменивались невеселыми впечатлениями. Во время чаепития приехал из Дарницы Тимофеев. Он рассказал, что аме-

риканцы встретили затмение в полной готовности. В момент начала затмения все стояли на местах у своих инструментов. Тимофеев стоял около Кэмпбелла и видел, как у него дрожали от волнения руки. Пересечь океан во главе огромной экспедиции, два месяца заниматься строительством и устройством обсерватории, все приготовить, спланировать — и в результате каприза погоды полная и непоправимая неудача!

Через несколько дней после затмения мир был потрясен политическими событиями. В Австро-Венгерской империи, в Сараево, был убит австрийский эрцгерцог. Вскоре был опубликован жесткий ультиматум Австрии, предъявленный ею Сербии. В ответ Россия провела — сначала частичную — мобилизацию и придвинула свои войска к границам Австрии. Австрийская армия напала на Сербию и бомбардировала Белград. Вслед за тем Германия объявила войну России. Началась мировая война.

В первое время, пока шло развертывание мобилизованных армий, газеты ничего не сообщали ни о каких военных действиях — в видах соблюдения военной тайны. Газеты были заполнены известиями о вступлении в войну союзницы России — Франции и о вступлении в войну — на стороне России, Франции и Сербии — также и Великобритании. Подробно описывалось потрясение, озлобление и ужас, охватившие Германию и Австрию после того, как там узнали о вступлении в войну Англии.

В мою личную судьбу разразившаяся война на первых порах не внесла никаких внешних перемен. Я имел отсрочку по отбыванию воинской обязанности как студент и как еще несовершеннолетний. Я зашел в канцелярию университета и узнал, что учебные занятия начнутся, как всегда, первого сентября. Списал я и расписание лекций первого семестра. В нем значились между прочими курсами лекции по введению в философию, по психологии и по истории римской литературы. Первой по календарю была лекция по истории римской литературы профессора Юлиана Андреевича Кулаковского. В коридоре на книжном лотке какой-то студент продавал отпечатанный литографированным способом курс его лекций, очень аккуратный на вид, на хорошей бумаге и довольно объемистый. Я тут же купил его и отнес домой. Впечатление аккуратности было несколько обманчивым, так как, рассмотрев курс дома, я обнаружил в нем довольно много опечаток. Но что было делать?

На следующий день я не нашел в книжных магазинах по истории римской литературы никаких учебников или пособий. Продавцы, к которым я обращался, могли мне предложить только старинный огромный курс Модестова, носивший все приметы библиографической древности. Я купил все же и Модестова и на первую лекцию по истории римской литературы явился, неся в портфеле и Кулаковского, и Модестова.

В годы, когда я учился в университете, русские университеты, по порядку (последовательности) прохождения курсов и сдачи по ним экзаменов, делились на две категории: в одной действовала так называемая «курсовая» система, в другой — «предметная». Большинство университетов перешли на курсовую систему, в том числе Киевский, где предстояло учиться мне. При курсовой системе студент мог записаться на любой из курсов, читавшихся в данном семестре и объявленных в расписании читавшим этот курс профессором. По прослушании курса студент получал право сдать его на экзаменационной сессии и получить отметку о сдаче в матрикуле (зачетной книжке). Последовательность, в какой слушались и сдавались курсы, значения не имела. Можно было, например, прослушать сначала историю философии, а затем введение в философию, или сначала историю римской, а затем историю древнегреческой литературы. Забегать вперед, таким образом, было вполне допустимо. Студент мог, минуя хронологическую последовательность, и «задержаться», дожидаться семестра, на котором будет читаться особо интересовавший его курс, и только тогда записаться на него. Система эта оставляла студентам больше свободы выбора. Это было особенно важно при прохождении и выборе специальных курсов по авторам, прежде всего античным. Каждый семестр в расписании объявлялись два античных автора: один греческий и один латинский, в следующем семестре читались уже другие авторы, так что возможности выбора были большие. Многие, например, предпочитали по римскому автору записаться на курс, который читался по Тациту профессором Кулаковским, так как слава об этом курсе гремела на факультете, или на не менее славившийся курс профессора Адольфа Израилевича Сонни по Катутлу.

В университетах, где была принята предметная система, порядок прохождения и сдачи курсов был твердо регламентирован и учебный план строго придерживался исторической и логической последовательности. Здесь, например в Юрьевском

университете (теперь Тарту), невозможно было «перескочить» через хронологические барьеры, слушать и сдавать, например, историю новой философии до истории античной философии.

Каждая из двух систем имела свои преимущества и свои неудобства и недостатки. Курсовая, более «либеральная», была хороша для студентов, способных разумно распорядиться своим временем. Но она дурно действовала на студентов анархического склада, которые со временем часто обнаруживали, что у них скопилось много не сданных ими трудных предметов. Предметная, более «жесткая», оставляла меньше личной свободы маневрирования с учебным планом, но гарантировала от «анархических эксцессов» и обеспечивала «бездумный», вернее продуманный в самом плане, переход от предмета к предмету, с одного курса на другой, следующий.

Итак, первая лекция, которую я прослушал в университете, была лекция Кулаковского. Он читал в помещении историко-филологического семинара. Это была довольно большая аудитория, все стены которой были уставлены застекленными книжными шкафами. На их полках стояли доверху, теснясь друг к другу, классики литературы, начиная с древних, и ученые монографии по истории литературы и языкознанию на различных языках, главным образом немецкие и французские. В аудитории рассаживались за черными столами студенты. В ожидании начала лекции я с любопытством рассматривал своих будущих коллег и знакомился с теми, которые сели недалеко от меня за первый стол. Некоторые из них впоследствии стали моими товарищами и добрыми знакомыми, и не только в Киеве, но и в других городах, куда меня и их занесла общая судьба и где я встретился впоследствии с ними: в Петербурге и в Москве. Это были, например, известный впоследствии историк западной литературы и истории театра (античного и эпохи Возрождения) профессор Стефан Стефанович Мокульский, историк русской и западноевропейской литературы, исследователь русско-французских и англо-французских литературных отношений, впоследствии профессор и ныне академик Михаил Павлович Алексеев, будущий историк немецкой и украинской литературы Александр Иосифович Дейч, будущий директор Всероссийской книжной палаты в Москве Иосиф Александрович Дандаров и некоторые другие.

Все мы усадились за первым столом, ближайшим к столу, предназначенному для профессора. Вскоре явился и он сам.

Кулаковский был уже старик, но чрезвычайно бодрый, живой и энергичный. На нем был ладно сшитый штатский костюм, нарядные ботинки и изысканные носки. Войдя в аудиторию, он быстро поздоровался, оглядел нас очень строгим взглядом и сразу, без всяких предисловий начал чтение. Читал он энергично, стремительно, и каждая фраза говорила о большой учености, о безупречном владении предметом, о педагогическом мастерстве. Никакими записками, конспектами он не пользовался. Он предупредил нас, чтобы, готовясь к экзамену, мы не вздумали пользоваться Модестовым, и крайне нелестно отозвался о его курсе. Тут же он посоветовал не готовиться и по «ходящим по рукам» его собственным литографированным лекциям. Он рекомендовал вести сначала собственноручные записи и по ним приготовляться к экзамену. Когда лекция уже началась, мы переглянулись и подумали, что он, наверное, преувеличивает наши способности и нашу готовность вести записи по его сложному курсу, который к тому же он читал в быстром темпе и пересыпал латинскими цитатами из самых древних памятников римской литературы. Но вскоре мы нашли выход. Каждый клал перед собой на стол свой экземпляр литографированных лекций Кулаковского и по ходу чтения вносил в него дополнения и исправления. Их было все же не так много, и мы быстро научились довольно хорошо справляться со своей задачей. В результате чистые вначале страницы литографированного курса покрывались каким-то количеством вставок, дополнений и поправок. Некоторые студенты только изредка отмечали что-то в своих тетрадях, были и такие, которые только слушали, ничего не записывали и не отмечали. Однако слушали все чрезвычайно внимательно: лекции были содержательны и интересны, а темперамент Кулаковского делал их живыми, порой драматичными. Мы в полной мере оценили эти качества Кулаковского, когда он дошел до Плавта и начал анализ содержания его комедий. В аудитории часто раздавался дружный хохот. Особенно запомнились пересказы комедий *Aulularia*, *Menecmi*, *Miles gloriosus*. Свои мастерские пересказы Кулаковский вел крайне серьезно, без тени улыбки — в то время как, слушая его, мы часто смеялись безудержно.

После окончания лекции мы обменивались впечатлениями. Я присматривался к товарищам, заполнявшим аудиторию филологического семинария. Среди них было довольно много студентов, пришедших в университет из духовных семинарий.

Мы их называли «семинаристами». Они составляли особую группу, держались как-то обособленно и имели сравнительно с остальными более демократический вид. Среди пришедших в университет из гимназий или таких, как я, из реального училища (последних было очень мало), выделялась группа окончивших не обычную, а так называемую классическую (в Киеве это была вторая) гимназию. В их числе на моем курсе были Мокульский, Гогоцкий (правнук автора «Философского лексикона»), Волкович и другие. В обычных гимназиях была — в восьми классах — латынь, но греческий преподавался только для желающих — за дополнительную плату. Охотников почти не было. В классической гимназии, наряду с латынью, преподавался, начиная с младших классов, и обязательный для всех греческий. Здесь изучали в подлиннике Гомера, Геродота, Ксенофонта, Эсхила, Платона, Софокла. Курсы математики и физики были слегка облегченные сравнительно с обычными гимназическими.

Студенты историко-филологического факультета, попавшие в университет из классической гимназии, могли сразу записываться на прослушание греческого автора. Студенты, явившиеся в университет из обычной гимназии, должны были предварительно, до записи на греческого автора, прослушать курс, который назывался «греческий для начинающих», и сдать по этому курсу через год экзамен. В мое время этот курс читал старый доцент-классик Пахаревский, но мне пришлось сдавать экзамен не ему, так как в начале 1915 года он умер. «Греческий для начинающих» я сдавал закончившему курс и заступившему на место Пахаревского молодому доценту, талантливому филологу-классику Сергею Степановичу Дложевскому, недавно вернувшемуся из Германии, где он занимался в знаменитом лейпцигском семинарии классической филологии. Дложевский был не столько историк греческой литературы, сколько лингвист. В то время, когда я начал учиться в университете, он собирал материалы по синтаксису Еврипида. Когда я сдал ему свой «греческий для начинающих», он сообщил мне, что в будущем семестре будет читать греческого автора. Это будет специальный курс по «Ипполиту» Еврипида. Дложевский пригласил меня записаться на Еврипида. Я внял его совету, но курс этот мне пришлось слушать у него уже не в Киеве, а в Саратове, куда осенью 1915 года был эвакуирован — вместе с Высшими женскими курсами, Коммерческим институтом

и Духовной академией — Киевский университет. Это было время наших больших неудач на фронте. Мы потеряли Варшаву и ряд губерний в Царстве Польском. Настроение было скверное. Всюду говорили о громадных потерях и громадных недостатках в снабжении армии оружием и боевыми припасами. Не хватало винтовок, артиллерийских снарядов. Даже Государственная дума, во главе которой стояли правые и октябристы, требовала привлечения общественных организаций к делу снабжения армии. Вынужденное к этому неудачами на фронте и позорным состоянием боевого снабжения, царское правительство нехотя допустило образование и деятельность промышленных комитетов, и дело боевого снабжения армии начало заметно улучшаться.

Запланированная властями эвакуация из Киева высших учебных заведений продолжалась, хотя неприятельской армии было до города более полтысячи верст. Приготовления к эвакуации шли и в университете. К этому времени я был уже давно знаком с директором научной библиотеки университета Вениамином Александровичем Кордтом. Добродушный, любезный и исполнительный, немец русского подданства, так же как и служившая вместе с ним в той же библиотеке его сестра, Кордт, знавший меня как усердного студента-читателя, пригласил меня помогать ему в эвакуации библиотеки. Я охотно согласился и уже со следующего утра приступил к работе. Работа была не научная, а чисто физическая. С антресолей второго этажа предстояло спускать заранее отобранные штабеля книг, снятых с полок книжных шкафов. На мою долю пришлись книги, попавшие в Киевский университет из Вильны, где они находились ранее в составе виленского иезуитского коллегиума. Книги были 16-го, 17-го и 18-го веков, чрезвычайно ценные, в великолепных переплетах свиной кожи и великолепной сохранности. Я так увлекся чтением титульных листов, что Кордт даже упрекнул меня в излишней, по его словам, «тщательности» моей работы, а сама работа была вовсе не хитрая. Наверху, на краю антресолей были прикреплены огромные полотнища, по которым отобранные и предназначенные к вывозу книги спускали на нижний этаж. Там их подбирали рабочие, наполняли ими ящики, грузили на телеги и отвозили на товарную станцию. Погода, к счастью, стояла очень хорошая, солнечная, и книги при эвакуации совершенно не испортились.

Прощаясь с Кордтом до скорого свидания в Саратове, куда переезжал университет, я пожелал ему как можно более скорого и благополучного возвращения в Киев. Оно действительно оказалось и скорым, и благополучным, так как летом следующего 1916 года на юго-западном фронте началось большое и чрезвычайно удачное для нас наступление Брусилова, австрийцев и немцев отогнали на запад и юго-запад и вскоре был отдан приказ о реэвакуации вывезенных из Киева высших учебных заведений и их имущества.

Философия в Киевском университете в 1914–1920 годах

(Из воспоминаний студента)

Я учился на историко-филологическом факультете Киевского университета. Поступил я в университет в начале 1914–1915 учебного года, после того как сдал экзамен по латыни за восемь классов гимназии. Экзамен этот я должен был сдать, так как учился в Киеве не в гимназии, где латынь была одним из главных предметов, а в частном немецком реальном училище (Екатерининском). В университете я занимался на отделении русской филологии. Философского отделения в то время в Киевском университете еще не существовало, специализация по философии была введена, да и то не сразу, лишь после революции 1917 года по инициативе и по настоянию В. В. Зеньковского, в то время профессора Киевского университета. Он читал обязательные для всех филологов курсы психологии и логики.

Я поступил в университет в начале Первой мировой войны, в сентябре 1914 года. В первые два года войны студентов не призывали на военную службу. До совершеннолетия было еще далеко, и занятия в университете шли по программе мирного времени.

Среди курсов, читавшихся на филологическом факультете в первом году, философские предметы занимали скромное место. Это был — в осеннем семестре — общий курс психологии, во втором семестре — курс логики. Оба курса читал профессор

Василий Васильевич Зеньковский. Кроме того, профессор Алексей Никитич Гиляров, сын известного в Москве славяно-фильского ученого и публициста Никиты Петровича Гилярова-Платонова, читал, начиная со второго семестра, вернее начал читать, обширный курс истории зарубежной философии. История философии народов Востока в него не входила. Начиная курс с философии античной Греции, которая излагалась довольно подробно. История русской философии не читалась вовсе, так же, разумеется, как и история философии других народов России.

Первая философская лекция, прослушанная мною в университете, была лекция В. В. Зеньковского по психологии. В тот год свои чтения Зеньковский начал с большим запозданием. Начало войны захватило его в Германии, где он — будучи в командировке — дописывал свою магистерскую диссертацию «Проблемы психической причинности». С трудом, после ряда приключений и злоключений, во время которых часть рукописи его диссертации была потеряна, Зеньковский пробрался — через Скандинавию — в Россию и вернулся в Киев. В это время ему исполнилось тридцать три года. Сразу по возвращении он начал чтение лекций. Читал он с увлечением, местами вдохновенно. Специальная психологическая эрудиция его была огромна. Для подготовки к экзамену он рекомендовал нам «Очерки психологии, основанной на опыте» Гаральда Гёффдинга, но сам читал курс по собственному плану, сообщая ему собственное содержание, далеко выходящее за рамки учебника Гёффдинга. Особенность его чтений состояла в том, что он читал психологию как философскую науку. Психологические теории и понятия, разбиравшиеся им, он доводил до их философских принципов, основ и источников. Он широко, щедро и искусно пользовался философским материалом, освещал светом философских воззрений учения психологии, которые без такого привлечения философии могли бы показаться узкоспециальными психологическими. В результате все изложение становилось чрезвычайно живым и увлекательно интересным, а психология становилась наукой, все учения которой наполнялись философским содержанием. При таком методе изложения Зеньковский постоянно должен был вводить в ткань своей психологии не только исторический, но и современный, даже «сегодняшний» материал философских и специальных психологических учений. Материала этого мы, ко-

нечно, не знали и из общего курса психологии сколько-нибудь основательно усвоить его никак не могли. Поэтому слушать Зеньковского было хотя и очень интересно, но трудно. Некоторые увлекшиеся предметом и самим лектором студенты слушали курс психологии у того же Зеньковского повторно, в следующем году, и это приносило большую пользу. Такое повторное слушание было возможно, так как в Киевском университете действовала так называемая «предметная» система обучения, пришедшая здесь, как и в некоторых других дореволюционных университетах, на смену системе «курсовой»*. При «курсовой» системе последовательность слушавшихся и сдаваемых предметов и курсов была жестко определена учебным планом. «Перескакивать» во время прохождения учения с одного предмета на другой было невозможно — запрещено. Нельзя было, например, прослушать и сдать историю философии до того, как было сдано введение в философию, или сдать историю древнеримской литературы до сдачи истории литературы древнегреческой. Все студенты каждого года обучения одновременно слушали, а затем сдавали одни и те же предметы. Такой порядок прохождения университетского курса существовал, например, в Юрьевском (Дерптском) университете. Иначе было в университетах (таких в мое время было в России большинство), где была введена «предметная» система. При предметной системе не было строго регламентированной последовательности в слушании и сдаче курсов учебного плана. Все, что полагалось по плану изучить, прослушать и сдать, студент должен был неукоснительно выполнить. Но при этом последовательность выполнения могла в известных пределах варьироваться по желанию и выбору самого студента. «Введение в философию» можно было сдать после сдачи «Истории философии», греческого автора после римского, Фукидида, например, после Тацита.

Конечно, эта свобода выбора была относительна. Она лимитировалась в известной мере случайными обстоятельствами — тем, какие курсы объявлялись и читались в каждом данном семестре. Например, в тот год, когда я запланировал для себя сдачу греческого автора, в осеннем семестре читался

* В предыдущем фрагменте воспоминаний система обучения в Киевском университете была названа, наоборот, «курсовой». — *Примеч. ред.*

Еврипид («Ипполит Венценосец»), а в весеннем — Геродот. И только будучи уже на четвертом курсе, я слушал у Г. И. Якубаниса специальные философские курсы: по Платону («Пир») и по Аристотелю («Метафизика»). Оба эти произведения Якубанис читал в аудитории в греческом подлиннике, тут же переводил на русский и развивал историко-философский комментарий. То же мы обязаны были делать на экзамене: перевести из сдаваемого сочинения отрывок, указанный преподавателем, и прокомментировать его с историко-философской точки зрения. «Пир» Платона мы должны были приготовить целиком, «Метафизику» Аристотеля — в фрагментах, заранее указанных тем же Якубанисом.

Психология была не единственным философским предметом, читавшимся на первом курсе историко-филологического факультета. Параллельно с ней читался также курс «Введения в философию». Этот курс вел уже в течение многих лет А. Н. Гиляров, один из наиболее старых профессоров факультета. Если Зеньковский запоздал с началом своего курса по обстоятельствам военного времени, то Гиляров по другой причине не торопился с началом своего курса. Он не любил читать лекции при начале семестра, старался открыть свой курс как можно позже и первый из профессоров прекращал чтения в конце семестра. Факультетское начальство не препятствовало этому, так как Гиляров пользовался большим уважением на факультете и в Ученом совете университета (заседания совета были общие для всех факультетов).

Мы с нетерпением ждали начала чтений по «Введению в философию». Если большинство студентов, пришедших на факультет из гимназий, изучали психологию как один из средне-школьных предметов (по учебнику Челпанова), то представление о философии было у всех самое смутное и неопределенное. В тот год, когда я слушал «Введение в философию», Гиляров печатал свой труд «Философия в ее существе, истории и значении». Эту объемистую книгу выпускал лист за листом известный в Киеве издатель И. И. Самоненко. Печатал ее он в типографии Кульженко, которая публиковала ученые труды историко-филологического факультета. По мере выхода листы книги продавались в университете на этом же факультете. Такой порядок распространения был заведен для того, чтобы студенты, не дожидаясь окончания печатания всего издания, могли тотчас по получении и по приобретении уже вышедших

листов немедленно начинать подготовку к экзамену по «Введению в философию». К другим пособиям по тому же предмету — к книгам Паульсена, Челпанова, Кюльпе — мы обычно не обращались.

Так как «Психология» и «Введение в философию» читались параллельно и одновременно, то мы, слушатели обоих, получали рельефное впечатление о философском направлении профессоров, читавших эти курсы. Зеньковский поразил нас уже с первых лекций. Он не скрывал ни религиозной направленности, ни идеалистического содержания своих философских идей. Более того. Он был темпераментным пропагандистом этих идей. Уже на первых лекциях он «властителем дум» современной философии назвал Эдмунда Гуссерля. То был ранний Гуссерль, автор «Логических исследований» («Logische Untersuchungen») и «Идей к чистой феноменологии» («Ideen zu einer reinen Phänomenologie»), опубликованных Гуссерлем в 1913 году в первом томе его «Ежегодников». Зеньковский был хорошо знаком с критикой логического психологизма, развитой Гуссерлем в «Логических исследованиях», особенно в первом томе, но, по-видимому, не знал (или почти не знал) феноменологии, как она была изложена Гуссерлем в «Ideen zu einer reinen Phänomenologie». На этот пробел в философской и логической осведомленности Зеньковского язвительно указал Г. Г. Шпет — на диспуте в Москве во время защиты Зеньковским диссертации в Московском университете — в январе 1915 года. Приблизительно в это же время Шпет пропагандировал и интерпретировал идеи феноменологии Гуссерля в своей книге «Явление и смысл», вышедшей в Москве в издательстве Гермес в 1914 году. С полемикой между Зеньковским и Шпетом мы могли познакомиться только позже, когда рецензия Шпета на книгу Зеньковского появилась в московском журнале «Вопросы философии и психологии». Общий тон рецензии Шпета был снисходительно-доброжелательный, диссертацию Зеньковский благополучно защитил и вскоре по возвращении в Киев был утвержден в должности профессора.

В специальных сферах психологии Зеньковский подробно останавливался на вопросе об отношении психических и соматических явлений. Это была знаменитая в то время так называемая психофизическая проблема. Вокруг этой проблемы шла борьба между сторонниками так называемой «теории психофизического параллелизма» и «теории взаимодействия»

души и тела». Теория параллелизма развивалась Вундтом, Эббингаузом и их многочисленными учениками. Теория взаимодействия была в России представлена Г. И. Челпановым и его последователями, в том числе самим В. В. Зеньковским, который был учеником Челпанова, начавшего свою философскую деятельность также в Киевском университете, но затем перешедшего в Москву, где он стал организатором и первым директором Института психологии.

Гиляров был во многих отношениях антипод Зеньковского. Никакой пропаганды религиозного идеализма в его лекциях не было. Он был поклонник и последователь «панпсихизма» — учения крупного психолога, психофизиолога, физика и философа Густава Теодора Фехнера (1801–1887). Впоследствии, когда я стал бывать в доме Гилярова, я видел у него в кабинете огромный портрет Фехнера, висевший позади письменного стола на стене. Гиляров высоко ценил психофизическое учение Фехнера. Он толковал его на идеалистический лад — как учение о всеобщей духовной связи всех элементов действительности — и называл его «синехологическим спиритуализмом». В первой половине своей жизни Гиляров интересовался психологией и занимался некоторое время в Париже у известного в то время психиатра и психолога Шарко. Но больше он занимался историей философии, особенно античной. Обе его диссертации — магистерская и докторская — были посвящены древнегреческой философии. Это были два исследования: «Софисты» и «Платон как исторический свидетель». «Софисты» были написаны на широком фоне культурной истории афинского общества и содержали довольно резкую критику афинской демократии.

Политикой Гиляров не интересовался вовсе, и его философские воззрения, открыто идеалистические в теоретическом отношении, не заключали в себе ничего явно реакционного в смысле практическом. Вскоре после опубликования «Софистов» Гиляров занял вакантную кафедру философии в Киевском университете и остался в Киеве на всю последующую жизнь. Здесь он получил ученую степень доктора философии, здесь же он был впоследствии, после учреждения в Киеве Украинской Академии наук, выбран в число ее действительных членов.

Я познакомился с Гиляровым, когда слушал у него, будучи студентом первого курса, сначала «Введение в философию»,

а затем «Историю философии». Оба курса были отработаны им в многолетней педагогической практике. В то время как Зеньковский читал импульсивно, страстно, порой «взрывчато», Гиляров был в чтении чрезвычайно уравновешен и сдержан в проявлении чувств. Пред нами стоял невысокого роста, плотный, начинающий уже лысеть человек с умными голубыми глазами, в которых иногда проглядывала насмешка. Одетый в легкий темный чесучовый пиджачок, он глядел прямо в аудиторию и непрерывно потирал рукой верхнюю доску большого стола, за которым находился. На кафедру, стоявшую тут же, справа от стола, он не поднимался никогда. Так же, как и Зеньковский, он читал, не пользуясь никакими конспектами, никакими записками. Но, в отличие от быстрой речи Зеньковского, он читал медленно, восхитительно медленно, как нам казалось. Каждая фраза была отточена до полного стилистического совершенства и доставляла ни с чем не сравнимое наслаждение. Впечатление было такое, словно он мыслит вслух на глазах аудитории, в каждый момент находя необходимое для выражения мысли и притом самое нужное, единственно возможное, наилучшее слово. Особенно искусен, неподражаемо искусен он был в определении понятий. Выслушав найденное и сформулированное им в ходе лекции определение, мы часто тут же бросались записывать его, боясь опустить что-нибудь, забыть, потерять из виду. После лекции, во время перерыва, мы сравнивали друг у друга записанное, корректировали, дополняли, исправляли.

Не всем лекции Гилярова одинаково нравились. Аудитория, его слушавшая, делилась на две части или половины. Первую составляли пришедшие в университет из гимназии. Эти обычно становились поклонниками Гилярова. Им нравился строгий стиль его изложения, отменный русский язык, на котором он изъяснялся, отточенная скупость, простота и ясность его формулировок. Он не терпел сложной и усложненной речи, не терпел иностранных слов и выражений и употреблял их очень редко, в случае крайней необходимости. Греческие термины он выписывал на доске по-гречески и точно переводил их на русский, избегая обременять ими свой философский словарь и стиль. Он не терпел, когда этими терминами начинали бойко «сыпать» беседовавшие с ним студенты, и не скрывал своей насмешки над ними.

Другую часть аудитории Гилярова составляли студенты, явившиеся на филологический факультет не из гимназий, но

окончившие духовные семинарии. На первом курсе их было довольно много. Они были как-то «грубее» сравнительно с «гимназистами», им нравилась религиозная ортодоксальность Зеньковского. Напротив, в Гилярове они быстро разгадали нотки религиозного свободомыслия и скептицизма, которого они не одобряли. Это уже не были «семинаристы» шестидесятых или даже семидесятых годов XIX века, отношение к религии у них было более сочувственное и покорное. Философской любознательностью они не блистали. Большинство из них собирались по окончании университетского курса стать преподавателями русского языка и литературы в гимназиях. В аудитории они держались несколько обособленно. Из семинарии они вынесли хорошее знание древних языков — латинского и греческого — и, став студентами университета, сразу записывались на прослушивание древнегреческого автора, которого сдавали обычно с успехом. Напротив, пришедшие в университет из гимназий в своем большинстве оканчивали гимназии без греческого языка, с одним латинским. Эти (к числу их принадлежал и я) допускались к прослушиванию греческого автора только после того, как они прослушивали, уже находясь на первом году университетского обучения, курс, называвшийся «греческий для начинающих». Читался он в течение всего учебного года на осеннем и весеннем семестрах. Он заключал в себе полную морфологию и синтаксис древнегреческого языка и значительную часть какой-нибудь из книг Ксенофонта, обычно «Воспитания Кира». Для тех, кто учился в гимназии без греческого языка, «греческий для начинающих» был самым серьезным, самым трудоемким предметом. Некоторые студенты — из ленивых — плохо посещали лекции по этому предмету, а так как без сдачи экзамена по греческому нельзя было двигаться дальше, то, проучившись в течение года, они переходили на какой-нибудь другой факультет, где предварительная сдача греческого не требовалась. Обычно «дезертиры», покидая филологический, переходили на юридический или на факультет естественных наук. Но таких было меньшинство.

В 1914 году, когда я начал учиться в университете, «греческий для начинающих» читал доцент Пахаревский. Это был по своему уровню типичный преподаватель классической гимназии, впрочем, чрезвычайно знающий и опытный в педагогическом отношении. Он аккуратно выписывал на большой до-

ске, стоявшей в аудитории, все парадигмы (формы склонения и спряжения) и внимательно следил, чтобы мы не ставили точки над греческой «иотой» и чтобы изображали знак «иота субскриптом» согласно всем правилам палеографии.

В начале 1915 года Пахаревский, в то время уже довольно старый, вдруг умер. Закончить его курс было поручено молодому талантливому доценту Сергею Степановичу Дложевскому. Перед началом Первой мировой войны Дложевский был в научной командировке в Германии. Там он занимался в знаменитом лейпцигском семинаре классической филологии и собирал материал, готовясь писать работу о синтаксисе Еврипида. Осенью 1915 года он объявил на историко-филологическом факультете Киевского университета специальный курс по Еврипиду («Ипполит венценосец»). К тому времени я уже успел сдать «греческий для начинающих» и записался на этот курс как на курс по греческому автору. Трагедия Еврипида интересовала Дложевского не столько сама по себе, как явление истории древнегреческой литературы, сколько как материал для собиравшихся им наблюдений по истории древнегреческого синтаксиса. Он был больше лингвист, чем историк литературы.

Дложевский читал превосходно. К каждой лекции он тщательно готовился и просматривал какую-нибудь монографию, относящуюся к ее предмету. К нам — студентам — он относился вполне по-товарищески. Следить за его курсом было интересно и приятно.

Но все это происходило уже на втором курсе и уже не в Киеве. Начало войны на Юго-Западном фронте было для нас удачно. Наша армия наступала, потеснила австрийцев и взяла у них Львов, или Лемберг, как его называли австрийцы. За этими успехами вскоре, однако, начались трудности и неудачи. Обнаружились огромные недостатки технической подготовки и военного снабжения. Не хватало боевых припасов, не доставало винтовок, пулеметов. Правда, после взятия Львова наше наступление вначале продолжалось. Весной 1915 года нами была взята первоклассная австрийская крепость Перемышль. Было взято множество пленных, много орудий. Но на этом наши успехи закончились и начались неудачи. Пришлось отдать Перемышль, а затем и Львов. К концу лета 1915 года обстановка на фронте складывалась уже неблагоприятно для нас. Ввиду этого правительством было вынесено постановление об эвакуации из Киева высших учебных заведений, хотя

фронт был еще очень далек и непосредственная опасность Киеву не угрожала.

Университет, Высшие женские курсы, Духовная академия должны были эвакуироваться в Саратов, Консерватория — в Ростов-на-Дону. Туда же эвакуировался Политехнический институт и, кажется, уже не помню точно, Коммерческий институт.

В начале сентября 1915 года был назначен день отъезда из Киева первой партии студентов университета. В этой партии ехал и я. На перрон были поданы три очень чистых жестких вагона, и в указанный час поезд отошел от станции Киев-1. Переезд в Саратов прошел вполне благополучно, но по мере того как поезд приближался к месту назначения, в вагоне становилось все более прохладно, а последняя — третья — ночь была просто холодная. Со мной в одном отделении ехали филологи С. С. Мокульский и С. Г. Маслюк. Мокульский по окончании факультета был оставлен при университете для подготовки к профессуре Иваном Васильевичем Шаровольским, который был профессор кафедры истории западноевропейской литературы. С. Г. Маслюк, с которым я подружился еще на первом курсе, специализировался по русской филологии. Он был поэт, увлекался Бальмонтом и, в то время как мы были на первом курсе, издал сборник своих лирических стихов под ужасающим по своей безвкусице безобразным названием «Символы — призраки моей души». Он был плохой, очень плохой поэт, но прекрасный человек, добрый товарищ, и во время эвакуации эти его нравственные качества выступили совершенно рельефно.

На втором семестре первого курса Зеньковский читал логику. Так же, как и психологию, логику он читал не столько как формально-логическую дисциплину, сколько как курс философский. Большое внимание уделялось в теории понятия воззрениям Гуссерля. По Гуссерлю излагалась теория «идеирующей абстракции». Вообще в учении о понятии были очень сильны, как и следовало ожидать от гуссерлианца, моменты платонического идеализма. В теории умозаключения и в классификации умозаключений Зеньковский пропагандировал идеи классификации выводов крупнейшего русского логика XIX века М. И. Каринского, которого именно как логика он ставил чрезвычайно высоко, призывая нас к самому вни-

мательному изучению его логических воззрений. Совершенно «по Каринскому» он проводил анализ умозаключения. Эта сторона логического курса Зеньковского была чрезвычайно содержательна, хотя оценить ее во всем ее объеме мы в то время оказались неспособными.

«Технической» стороной теории силлогизма Зеньковский интересовался мало и при изложении соответствующих теорий даже бывал иногда не совсем точен. Когда ему случалось изредка запутываться в изложении соответствующих теорем и правил, он смущался и густо краснел, но мы не обращали на это внимания, так как относились к его курсу хорошо — ввиду его логического содержания, нас увлекавшего и высоко нами ценившегося.

Гиляров на втором курсе продолжал чтение истории философии. Закончив изложение неоплатонизма, он сразу переходил к философии Возрождения. Средневековую философию он полностью опускал. Нас очень удивил этот пробел, но вскоре причина его стала нам известна. Было время, когда Гиляров подробно читал историю философии Средних веков, и лекции его по этому разделу стенографировались и, как обычно, издавались литографированным способом. Но для какой-то справки курс Гилярова понадобился профессору, читавшему на факультете богословие. С крайним неудовольствием теолог обнаружил, что учения христианского богословия излагались Гиляровым в духе недопустимого, как ему показалось, вольнодумства и скептицизма. После внимательного ознакомления с курсом постановлением факультета Гилярову было запрещено на будущее время читать раздел средневековой философии и схоластики. Опущена была философия Средних веков и в первом издании руководства Гилярова «Философия в ее существе, истории и значении» (1916). И только во втором издании руководства (1919) раздел средневековой философии был восстановлен. Но это произошло только в 1919 году.

Чтения по философии Возрождения протекали уже без вмешательства духовной цензуры и были очень интересны своим натурфилософским уклоном. Обстоятельно излагалась борьба за коперниканское мировоззрение, материалистическая философия и физика Бернардино Телезио. Выдвигались неоплатонические идеи и построения, начиная с Николая Кузанского, диалектика бесконечного и конечного, его учение об «ученом неведении».

В лекциях Гилярова по истории философии неотразимое впечатление оставлял безупречно высокий интеллектуальный вкус, эстетическое совершенство мысли и речи, чуждое всякой суетности и бахвальства изящество. Он хорошо знал себе цену, кое-чем в себе даже гордился, например прекрасным знанием языков. Он рассказывал, что, когда ему было шестнадцать лет, он совершенно свободно читал Платона по-гречески, о латинском нечего уже и говорить. Но и новые языки он знал отменно хорошо. Когда в конце XIX века он увлекся изучением современной французской поэзии, историографии, литературы, он перечитал великое множество книг, романов, сборников стихов. В его кабинете за стеклами книжных шкафов стояли тесно уставленные томики издательства «Hachette» в своих дешевеньких желтых бумажных переплетах. Романы и переписка Флобера, рассказы и романы Мопассана, книги Ипполита Тэна по истории Франции, по истории английской литературы и французской литературы, труды Ренана по истории древнееврейской религии, труды Гиббона, Токвиля, книги Маколея переполняли эти полки. Тут же рядом стояли шкафы, туго уставленные книгами по химии, особенно по органической, которую он прилежно изучал в течение ряда лет. Он работал в химической лаборатории университета и даже написал две работы по органической химии. Обе были основаны на экспериментах. Одна из них называлась «Запах фиалки по данным химии». В последние годы жизни он собирал книги по математике. Книги эти он не только коллекционировал, но и усердно изучал.

В жизни его немалую роль играли чудачества, а среди них — страсть к коллекционированию. Ему нравилась мысль Шопенгауэра, который находил, что первый признак высококультурного человека — внимательное отношение к фактору времени, постоянное слежение за временем и точная в нем ориентировка. Поэтому много лет Гиляров собирал коллекцию часов самых различных систем и видов, постоянно на них поглядывал и к ним прислушивался. Его кабинет был наполнен и уставлен часами: стенными, настольными, ручными. Часы стояли, как в часовой лавке, висели, лежали повсюду, и звуки их негромкого тиканья переполняли комнату. Тут были старинные часы — «луковицы», дорогие и очень точные хронометры, часы-кукушки и много других систем. По прошествии часа все эти многоголосые «системы» начинали действовать.

Часы били на разные голоса, из ящиков выскакивали кукушки и принимались мелодично куковать. В течение некоторого времени комната наполнялась разнообразными приятными звуками, затем все вновь смолкало.

Я оказался в числе студентов, которые, пройдя испытание, допускались до встреч и до бесед с учителем. Испытание состояло в том, что профессор задавал множество быстро следующих друг за другом вопросов. Из ответов на них складывалось у него впечатление о философских способностях, сообразительности, степени начитанности вопрошаемого. Строго оценивался литературный вкус, особенно в поэзии. Ответы тут же подвергались обсуждению, одобрялись или осуждались. Не допускались никакие отзывы с чужих слов, никакие повторения чужих, заимствованных из книг и учебников, шаблонных критических суждений. Оценки ответов вопрошаемого были строги и пристрастны. В поэтах выше всего ценилась несомненная и непосредственная поэтическая одаренность, образная выразительность, языковое мастерство, оригинальность, поэтическая самобытность. Множество стихотворений Гиляров знал наизусть, любил их цитировать и ценил меньше это делать в вопрошаемом. Из поэтов XIX века особенно высоко ставились (после Пушкина и Лермонтова, конечно) Баратынский, Тютчев и Фет. Из современных поэтов выше всех ставился Блок. Не жаловался ни Бальмонт, ни — особенно — Валерий Брюсов, хотя в последнем уважались переводы французских поэтов, кроме переводов из Верлена, которым предпочитались переводы Федора Сологуба.

Начавшееся в студенческие годы знакомство с Гиляровым перешло впоследствии в своеобразную дружбу. Когда, спустя пять лет по окончании университета, в конце весны 1924 года я издал свою первую книгу — «Диалектический материализм и логика» (Киев, изд. Сорабкоп, 1924) и подарил ее своему старому профессору, Гиляров, в то время уже действительный член Украинской Академии наук, явился ко мне в Екатериновку — дачное место под Киевом, возле Святошина, где я проводил с семьей лето, и, едва поздоровавшись со встретившей его у ворот моей женой, сразу, не садясь, начал говорить о моей книге. «Ну, я вижу, — сказал он мне, — у Вас голова хорошо устроена». Я с волнением слушал его, а он, улыбаясь, спокойно разбирал достоинства и недостатки работы. Я никак не мог ожидать, что оценка окажется столь обстоятельной, внима-

тельной и благоприятной, а критика столь снисходительной. Он только не одобрил резкий тон некоторых моих возражений и критических замечаний против философского идеализма. Но их-то я и ожидал от него, и им не на шутку обрадовался. Провожая его спустя некоторое время до остановки трамвая, на котором он уезжал в город, я горячо благодарил его.

Но тут я должен вернуться назад и рассказать о том, что предшествовало эвакуации. Первый киевский год учения в университете прошел спокойно. Я постепенно входил в слушание курсов и знакомился с ученостью и искусством читавших эти курсы профессоров. Второй прослушанной мною в семестре лекцией была лекция профессора Адольфа Израилевича Сонни, одного из старейших и заслуженнейших ученых факультета. В этом семестре он читал латинского автора, а этим автором был Гораций. Я записался на Горация. Можно было, конечно, не торопиться и дождаться семестра, на котором Сонни будет читать свой — знаменитый на факультете — курс по Катулле, которого он очень любил и превосходно читал. Я имел представление о Катулле только по томику переводов из него, сделанных Фетом, но в передаче Фета он не увлек меня. Какой это был великолепный поэт, я узнал позже, когда, зашедши в аудиторию (кажется, это было в 1916 году), где Сонни на этот раз вновь читал Катулла, я был поражен лирической мощью этого поэта.

Записываясь на Горация, я хотел сравнить впечатление от лекций Сонни с тем, которое я вынес из изучения од Горация, приготовленных мною, когда я готовился к экзамену за восемь классов гимназии.

Сонни был во многом противоположность Кулаковского. Перед ним на кафедре лежал написанный им подробный конспект курса и латинский томик Горация; впрочем, он редко заглядывал в конспект и читал, в основном опираясь на память, медленно и внятно чеканя фразы. Если Кулаковский был прекрасный, пожалуй, лучший, как я впоследствии убедился, после Зеньковского на факультете лектор, то Сонни был отличный руководитель семинарских занятий, мастер филологического анализа текста на специальных курсах. Кулаковский был историк и историк литературы, в частности византолог. Сонни — не только историк литературы, но и языковед, лингвист. Он читал греческих авторов, а также историческую грамматику не одного латинского, но и итальянского языка. Слу-

шателям курса по Горацию он открывался еще одной сильной стороной своего профессорского дарования. Он мастерски читал латинские стихи. Через даль шестидесяти лет у меня в ушах стоит великолепный тембр его голоса, проникновенная выразительность, безукоризненная ясность дикции, глубокий внутренний захват исполнявшимся текстом и некоторая торжественность, патетичность всего чтения. Еще сильнее все эти качества открылись мне, когда через год я слушал в исполнении Сонни Катулла — автора, уже не обязательного для меня, — после сдачи Горация, который и был зачтен мне как «латинский автор». Но и на первом курсе впечатление было неотразимое. Кулаковский покорял ученостью, блеском эрудиции, громадной памятью. Сонни — не только глубокой филологической ученостью, но и артистизмом, художественным темпераментом.

Темперамент Кулаковского был темперамент политический. Это был профессор, не скрывавший своих «правых» политических убеждений, его чтения были насыщены политической тенденцией. И герои самого историко-литературного процесса, и ученые корифеи — западные и отечественные — истории римской литературы изображались в его курсе как носители доблестных или вредных политических начал, ими олицетворявшихся. Такими были в изображении Кулаковского и Энний и Лукреций, и Цезарь и Цицерон, и Курциус и Моммзен.

Напротив, курс Сонни был совершенно аполитичен. Война была в разгаре, на полях Галиции и во Франции на Марне лилась кровь, шли ожесточенные бои, но Адольф Израилевич переводил из Горация так же, как он это делал и лет пять или десять назад, читая в той же двенадцатой аудитории Горация или какого-либо другого автора другому составу слушателей и когда в Европе было спокойно.

Первые лекции, прослушанные мною на историко-филологическом факультете, были лекциями по античной литературе. По расписанию давно должны были начаться лекции по философским предметам: Гилярова по Введению в философию и Зеньковского — по психологии. Но они долго не появлялись в своих аудиториях. Гиляров не торопился с началом своего курса, и его, как заслуженного и знаменитого на факультете профессора, не принуждали к этому началу, Зеньковский дописывал за границей свою магистерскую диссертацию, он застрял где-то в Германии и с трудом пробирался оттуда

в Россию через нейтральные скандинавские страны, потеряв по дороге из Германии часть своих рукописей. Первый явился в аудитории Алексей Никитич Гиляров. С огромным интересом ожидал я начала его курса. И не я один, разумеется. В день, когда была объявлена его лекция, назначенная для нее аудитория была переполнена. Особенно много пришло «семинаристов», но и «гимназистов» было много.

Гиляров был сын известного во второй половине девятнадцатого века славянофила младшей формации Никиты Гилярова-Платонова. Впоследствии я познакомился со статьей Никиты Гилярова «Онтология Гегеля», опубликованной в одной из первых книжек нового, недавно основанного тогда в России журнала «Вопросы философии и психологии».

В этом месте своих воспоминаний я должен сказать несколько слов о том, как у меня возник интерес к философии, которой было суждено стать моим будущим призванием и профессией. Интерес этот возник рано, еще до университета, осенью того самого года, в котором я пережил в Константиновке ужаснувшее меня описанное выше потрясение*. Пораженный «экзистенциалистским» вопросом о причине возникновения всего сущего и безуспешно ища ответа на него, я стал, вернувшись в Киев, посетителем и читателем Киевской городской публичной библиотеки. Уже не помню, каким образом я узнал о существовании «Этики» Спинозы. Я заказал себе эту книгу, и вскоре передо мной появился на столе для библиотечного чтения довольно объемистый том. Раскрыв его, я удивился. Книга была написана как учебник геометрии. За определениями основных понятий в ней шли аксиомы, за ними — теоремы, которые доказывались *more geometrico*, «геометрическим методом». Уже в четвертом классе реального училища я познакомился с этим методом на уроках геометрии, которые мастерски проводил Левенберг, инспектор и учитель этого предмета, «дед», как мы, реалисты, все его называли. Меня восхищало логическое построение доказательства, результатом которого было нахождение истины, и вскоре я пришел к убеждению, что метод геометрического доказательства всюду, где он применяется, непременно ведет к самой истине. Но на этот раз книга, кото-

* Фрагмент воспоминаний, содержащий это описание, пока не обнаружен. — *Примеч. ред.*

рую я держал в руках, была вовсе не математическая, а философская! Замечательно было оглавление и содержание книги. В ней доказывались истины, касавшиеся вопроса о вечной и бесконечной природе, обнимающей человека, о самом человеке, об обуравующей его зависимости («рабстве») от страстей, о необходимости, которой подчинен человек, и об его свободе от страстей. Вначале я перелистал книгу. Перелистывая ее, я заметил, что в ней имеются теоремы, в которых доказывается существование Бога и даже доказывается, что в душе человека существует часть бессмертная. Мой интерес еще более повысился. Я решил, что наука, в которой доказываются (именно доказываются!) подобные истины, не только самая интересная, но и самая возвышенная, важная, единственно важная и нужная из всех наук. Критически оценить и проверить силу и непреложность всех доказательств Спинозы в то время, на том уровне научного сознания, на котором я тогда находился, конечно, я не мог. Однако на меня неотразимо действовало другое: глубокая величаява убежденность, которой дышала эта книга, переполнявшее ее уважение к силе и к достоинству человеческого разума, вера в то, что давно нашлись и существуют где-то умы, для которых сводившие меня с ума вопросы не только разрешимы, но решаются так, что само их решение непреложно достоверно, вполне доказательно и наполняет душу величайшим успокоением и удовлетворением. Я по несколько раз перечитывал «доказательства» привлекших мое внимание мест этой удивительной книги. Мне не хотелось разрушать впечатление непререкаемой достоверности, неотразимости этих доказательств, и в то же время я очень боялся, что вдруг кто-то мне откроет в них какие-нибудь не замеченные при первом чтении ошибки, пробелы, неточности, и вот все начавшее восстанавливаться во мне с таким трудом знание философской истины, такое, казалось, незыблемое, такое убедительное, такое утешительное, вдруг падет и рухнет под ударами критики. Я боялся, что критика эта окажется непобедимой и неотразимой и что явись она — от моих утешительных и утешающих доводов мало что останется, а может быть, не останется и ничего.

Почти одновременно с «Этикой» Спинозы мне довелось наткнуться на главное сочинение Шопенгауэра — «Мир как воля и представление». Сначала я отыскал его название в каталоге библиотеки Идзиковского. Это была лучшая, самая богатая

по составу книг частная библиотека в Киеве. Она находилась на Крещатике рядом с книжным и нотным магазином Идзиковского, где служил мой дядя, — против Прорезной улицы, шедшей от Крещатика вверх к Золотым воротам. В библиотеке, очень популярной, всегда толпились у столиков для выдачи книг абоненты. Заведовал библиотекой служивший у Идзиковского Иван Иванович Токарев, очень небольшого роста, серьезный человек со смуглым лицом и коричневым пятном на виске. Дядя представил меня ему и попросил, чтобы Токарев разрешил мне и моему брату пользоваться книгами из библиотеки, разумеется, бесплатно. Разрешение было немедленно получено, и с тех пор я и брат постоянно брали книги в абонентном отделе. Отысканные по каталогу и заказанные книги приносились из книгохранилища молодыми людьми или даже мальчиками — теми самыми, которые на концертах Филармонии стояли на контроле у пана Ящевского. Это были славные, серьезные, очень вежливые ребята. Я любил смотреть, как они, нагруженные стопками затребованных абонентами книг, появлялись, возникая из темных глубин книгохранилища, и раскладывали принесенные ими книжные сокровища на прилавках или столах перед посетителями. Абоненты отыскивали названия заказываемых книг в каталогах, разложенных на прилавках. Каталог был огромная в несколько сот страниц книга, отпечатанная в типографии, с рисунком в стиле модерн на обложке. Все экземпляры каталога, как и все книги библиотеки, были переплетены в простые черные матерчатые переплеты и носили следы постоянного частого пользования.

Во время своих библиографических розысков я часто заглядывал в раздел философии. Однажды в алфавитном конце этого раздела мне попался столбик названий книг под фамилией Шопенгауэр. Пробегая его глазами, я прочитал среди прочего: «Мир как воля и представление». Название книги крайне удивило и заинтересовало меня. Что бы оно могло значить? Я затребовал книгу и через полчаса уже нес ее домой — вместе с пьесами каких-то скандинавов и рассказами Бунина. Дома я сразу начал читать Шопенгауэра и не мог оторваться. Мрачный тон книги вполне соответствовал тогдашнему моему настроению, а литературная форма изложения была совершенно пленительна. Я вспомнил, что имя автора было, собственно, мне уже известно: я встретился с ним впервые в письмах Льва Толстого — в переписке с Фетом. Толстой писал о своем восхи-

щении Шопенгауэром: «Шопенгауэр — гениальнейший из людей» — и уговаривал Фета перевести на русский то самое сочинение, которое мне так понравилось с первых его страниц. Фет действительно перевел первый том, но перевод Айхенвальда, с которым я впоследствии познакомился, понравился мне куда больше. Я достал и оригинал — в серии «Reclamsausgabe» — и это было прекрасное упражнение в немецком. И значительно позже я восхищался философской немецкой прозой Шопенгауэра, который остался одним из моих литературных любимцев. Впоследствии я нашел подтверждение своему впечатлению, читая статью Томаса Манна о Шопенгауэре.

Для юноши, каким я был тогда, чтение Спинозы и Шопенгауэра было отнюдь не легким введением в круг философской литературы. Частые восторженные отзывы Шопенгауэра в тексте его книги о Канте и о Платоне заставили меня взять на примету и их, но к чтению обоих я приступил уже значительно позже, да и труда это чтение потребовало от меня значительно большего, чем первое знакомство с Шопенгауэром и даже Спинозой. Особенно труден показался мне Платон, которого я начал читать в добросовестном по учености, но удивительно корявом в литературном отношении, неуклюжем «семинарском» переводе Карпова (перевод ранних диалогов в двухтомнике Владимира Соловьева не сразу попался мне в руки; в 1921 году я уже с восторгом читал его — и «Ион», и «Гиппий Большой», и «Апологию Сократа» и «Протагор» — попеременно вслух вместе с пианистом и большим моим другом Генрихом Густавовичем Нейгаузом).

Таким образом, первоначальное ознакомление с философской литературой началось у меня рано, еще в средней школе, и «застигло» меня, в сущности, совершенно еще к нему не подготовленным и потому часто беспомощным. Но набрасывался я на эту литературу отважно и настойчиво, не пугаясь трудностей и не отступая перед ними. Организационно мне много помог в моем ознакомлении с нею дядя Сева. Как опытный работник книжного прилавка, служивший в лучшем книжном магазине Киева, он любил свое дело и знал книгу. Рано приехавший в Киев из деревни Пески Лохвицкого уезда Полтавской губернии, он еще до поступления на службу к Идзиковскому работал «мальчиком» у книжного прилавка в большом и богатом книжном магазине Иогансона на Крещатике, недалеко от начала Фундуклеевской улицы (теперь улица Ленина).

Когда мои родители переселились в Константиновку, дядя уже служил у Идзиковского и был женат на сестре моей мамы — дочери моей бабушки Евфросинии Петровны Тищенко. Бабушка любила своих обеих замужних дочерей и охотно проживала то у одной, то у другой, особенно во времена, когда у них рождалось потомство. Сперва это были дети тети Муси — Катя и Костя, а затем, позже, моей мамы — Лида и Таня. Поэтому жизнь бабушки попеременно протекала то в Киеве у тети Муси, то в Константиновке, когда у моей мамы появились девочки и помощь бабушки оказалась необходима. Зятя относились к бабушке с большим почтением и не вмешивались ни в какие дела, касавшиеся воспитания и пестования детей. Тетя Муся тоже очень ее уважала. Кроме бабушки у тети Муси проживала тетя Вера, которая после аварии с рукой и потери работоспособности осталась без дел и не вышла замуж. Она была религиозна до ханжества и очень негодовала на меня и брата, подтрунивавших над этой ее религиозностью. Бабушка тоже сердилась на нас, меньше на Колю, но особенно на меня, потому что в вопросах о религии я был агрессивен и часто вступал с бабушкой в идеологические споры. Особенно гневалась она, когда я начинал отрицать миф о сотворении мира Богом. «Вот погоди, — гневно говорила она мне на своем чудесном украинском — полтавском — языке, — будут тебе на том свете черти язык прижигать». (Бабушка была украинка и, родившись крестьянкой в имении помещика, не умела ни читать, ни писать.) Я смеялся в ответ, да и она не слишком сердилась. Как только я прекращал свою антирелигиозную пропаганду, бабушкино ворчанье тоже прекращалось, и между нами восстанавливался, к обоюдной радости, полный мир. Дядя был равнодушен к нашим богословским спорам и оставался на позициях легкого незлобивого скептицизма, приправленного дозой украинского юмора. Тетя Муся вовсе в них не участвовала.

Всерьез дядю занимало совсем другое. Он был украинский патриот, мечтал стать издателем литературы на украинском языке и действительно впоследствии стал им. Уже когда я был в первых классах реального училища, в доме дяди начали появляться некоторые деятели украинской литературы и просвещения. Они вели — на украинском языке, разумеется — беседы с дядей на литературные, издательские и политические темы. Они любили рассматривать личную библиотеку дяди, помещавшуюся в его кабинете, в небольшом книжном

шкафу. Среди этих книг кроме нескольких изданий шевченковского «Кобзаря», кроме «Энеиды» Котляревского, сочинений Квитко-Основьяненко, Коцюбинского, Ивана Франко, Леси Украинки, Нечуя-Левицкого, Бориса Гринченко и других стояли классики русской литературы. Здесь было собрание сочинений Пушкина в томиках очень маленького формата в чрезвычайно изящных переплетах, Кольцов, двухтомник Некрасова, прекрасно переплетенное двенадцатитомное издание Достоевского (приложение к журналу «Нива»), также чудесно переплетенное издание сочинений Чехова и немало книг по истории Украины, в числе их были не одни только исторические труды М. С. Грушевского, но и некоторые книги величайшей редкости и ценности. Дядя прилежно собирал их. Оценить их по достоинству я смог только в студенческие годы, когда стал филологом.

Некоторые из любителей украинской литературы и культуры появлялись в доме дяди как его добрые знакомые или даже товарищи его юношеских лет. В числе их выделялся своей серьезностью, филологической образованностью и принципиальной, сквозившей во всем демократичностью взглядов Леонид Васильевич Раковский, из крестьян пробившийся в студенты, окончивший филологический факультет, уже не помню, не то в Киеве, не то в Нежине — в Нежинском филологическом институте имени князя Безбородько. Он уважал дядю и сочувствовал его издательским планам и замыслам. Впоследствии он уехал учительствовать на Полтавщину, и я потерял его из виду. Изредка появлялся в дядином доме и украинский писатель Борис Гринченко — человек с большой шевелюрой и бородой, с темно-карими глазами. Впоследствии дядя, кажется, издал какие-то его прозаические сочинения.

Обыкновенно эти приятели и знакомые дяди собирались у него по воскресеньям. В эти дни обед завершался яблочным пирогом, который, раскатав тесто тоненькими листами, искусно выпекала в русской печи тетя Муса.

Начавшееся мое знакомство с философской литературой нашло поддержку у дяди Севы. Сам он, не получив никакого, даже среднего образования, но в юности много читавший, не мог, конечно, читать теоретические книги по философии и ограничивался доступными ему моралистами. Это были Григорий Сковорода и особенно Лев Толстой. В представлении дяди Толстой был величайшим мыслителем, хотя толстовцем

в религиозном — сектантском — смысле дядя никогда не был, а Чертков прямо не любил и относился к нему недоверчиво. Может быть, известную роль в этом отношении к Черткову сыграло то, что мой дядя был крестьянин и демократ, а Чертков оставался в его представлении барином-миллионером.

Покровительство дяди моему философскому чтению сказало прежде всего в книжных подарках. Дядя был очень добр и очень щедр. Еще задолго до реального училища он присылал мне и брату в Константиновку к Рождеству на елку прекрасные детские книги. В первый мой приезд в Киев, в месяц, когда, больной scarлатиной, я лежал на Бассейной в квартире тети Веры и бабушки, он очень часто приносил мне в подарок книжные новинки. В это время я впервые прочитал полного, неадаптированного «Робинзона Крузо», «Дети капитана Гранта» Жюль Верна и адаптированное издание пятитомника Фенимора Купера. Все эти книги надолго стали моим любимым чтением.

Во время моего учения в старших классах реального училища я уже давно читал и серьезные философские книги. Давно изменил выбор своих подарков и дядя. В один из рождественских сочельников он подарил мне двухтомную историю новой философии Виндельбанда. Я протудировал очень внимательно и с большим увлечением эту прекрасно написанную книгу. Кажется, я тогда был в шестом классе. Я нашел в ней своего старого знакомца Спинозу, которому предшествовали философы Возрождения и Декарт с картезианцами. Это было поистине блестящее, богатое идеями и сильными характеристиками общество. XVII век отпечатался в моей памяти и воображении как век философских гигантов, как блестящая череда основоположников науки Нового времени. По мере продвижения от эпохи к эпохе и от страны к стране блеск корифеев знания все увеличивался в разнообразии и силе. Когда я закончил курс в реальном училище и стал студентом филологического факультета, мои философские интересы явно уже преобладали во мне над всеми прочими. Но мне еще даже не приходила в голову мысль, что я могу стать когда-нибудь философом в профессиональном смысле. Я восхищался философией, меня увлекали проблемы, которыми занимались Декарт, Гоббс, Спиноза, Мальбранш, Лейбниц, но философия как наука казалась мне стоящей много выше моих знаний и моих способностей. Первые филологические курсы, которые я начал посещать и слу-

шать в университете, были интересны, в чем-то увлекательны, но удивляли и даже пугали меня полным отсутствием в их профессорах всякого, как мне казалось, даже следа интересов к философии. Никакого философского Эроса! Только в конце первого семестра, когда Кулаковский дошел в своем курсе до Лукреция, на нас пахнуло духом античной философии, и притом в мастерском — с филологической стороны — изложении одного из величайших представителей древнеримского материализма. Только на этих — последних в семестре — лекциях мы услышали рассказ Кулаковского об Эпикуре и об его римских последователях — Эпикура и Лукреция Кулаковский знал отменно хорошо и читал о них как выдающийся в то время специалист. Он ездил в Рим, где исследовал недавно в то время найденные в Ватиканской библиотеке новые тексты Эпикура, и написал о них особую работу. Но этот «прорыв» в историю античной философии остался в курсе Кулаковского единственным. Все остальное поглотила история литературы и филология.

Понятен интерес, с каким я и мои товарищи дожидались начала курса Гилярова. Гиляров проводил свои чтения во второй аудитории, в начале длинного коридора первого этажа. Еще до того как он начал чтения, до нас, студентов, доходили слухи о некоторых его чудачествах. Слухи эти оказались сильно преувеличенными. Перед нами стоял невысокого роста, плотный, почти полный человек с жидкими, переходящими спереди в лысину волосами. Курс его назывался «Введением в философию». Не помню, с чего он начал свое чтение. Читал он без записок, на отменном русском языке, с московским, «умеренно акающим» выговором. (Гиляров был москвич по рождению и по обучению — среднешкольному и университетскому.) В лекторском стиле его не было ни малейшего следа какой бы то ни было риторики и ничего заученного, от раза к разу повторяющегося. Мы все время как бы присутствовали при новом рождении каждой фразы, которая была и новой мыслью и, казалось, рождаясь, не без некоторого труда слетала с его уст. У него был небольшой акустический дефект речи, слегка как бы «сдавленной» и невнятной, но безупречной в синтаксисе и стилистике. Впоследствии, когда мы познакомились с его философскими сочинениями — с «Руководством» по философии, с диссертациями о софистах и о Платоне, с замечательной книгой о мировоззрении во французской литературе

и философии конца XIX века («Предсмертные мысли Франци»), — мы увидели, что пишет он совершенно так же, как и говорит. Простой, превосходный русский язык, никаких почти иностранных терминов — ни «модных», ни даже просто технических, ничего вычурного, напыщенного, велеречивого. Он внимательно и сосредоточенно поглядывал на свою аудиторию глазами, выражавшими чувство собственного достоинства, иногда насмешливыми. Во время чтения он «массажировал» правой рукой гладко отполированную крашеную поверхность стола, перед которым находился во время лекции. Во всей его фигуре, в черном чесучовом пиджаке и даже в массировании стола было что-то внушительное, взывавшее к вниманию и серьезности. Курс его начинался своеобразной идеалистической антропологией, за которой следовало краткое изложение — тоже идеалистической — онтологии. Он строил ее исторически, начинал с Античности и близко придерживался учения своего любимца в философии, Фехнера.

Курс Гилярова можно было бы назвать не только «Введением в философию», то есть ознакомлением с ее предметом, с ее проблемами, но не с меньшим правом и «Введением в историю философии». Антропологический очерк начинался с анализа человеческих потребностей и переходил в анализ потребностей, которые порождали философию. В этой — антропологической — части поражало мастерство определений, очевидно, давно продуманных, проверенных, но излагавшихся так, как если бы они были только что найдены. В них логическая точность спорила с точностью и изяществом литературной формы. Впечатления аудитории были неоднородны. Отношение «семинаристов» было сдержанное. Они быстро заметили в чтениях Гилярова признаки «вольнодумства» и скептического отношения к религии, — отношения, которого он не выпячивал, но которого и не скрывал. Некоторым «семинаристам» эта черта чтений чрезвычайно нравилась, другие осуждали ее, и это осуждение усилилось, когда начались лекции по курсу психологии профессора Василия Васильевича Зеньковского.

Зеньковский читал страстно и увлеченно. Чрезвычайно начитанный (Гиляров называл его в насмешку «книгоглот»), Зеньковский превращал курс психологии в курс философской психологии. Он не читал историко-философских курсов, но в курсе психологии искусно извлекал психологические идеи и психологическое содержание из философских учений ве-

ликих мыслителей прошлого. Он умел расшифровать или вскрыть психологическую ценность, психологическое значение теоретико-познавательных построений и учений. В Локке, Лейбнице, Юме, Канте он открывал и демонстрировал не только великих философов, но и великих психологов, задавших психологии темы ее будущих исследований и внушавших или намечавших будущие решения поставленных ею перед наукою проблем. Не теряя специфичности этих проблем, психология в анализах Зеньковского наполнялась философским смыслом, приобретала философское содержание.

Все это придавало лекциям по психологии большую живость и связывало психологию с современными философскими тенденциями. Лекции Зеньковского вводили нас, его слушателей, в то, что происходило в современной зарубежной, а отчасти и русской психологии и философии. Называя Гуссерля «современным властителем дум», Зеньковский эти «думы» делал отражением «дум» самого Гуссерля. Он знакомил нас с последними течениями и увлечениями зарубежной психологии и философии. На лекциях по психологии в 1914 году, на семинарских занятиях в 1915 году Зеньковский вводил нас не только в идеи Гуссерля, Мейнонга, но также знакомил с психоанализом Фрейда, которого он рекомендовал нам изучать как выдающегося и оригинального психолога. Кажется, тогда же на этих лекциях мы впервые услышали имя Юнга. Зеньковский также рекомендовал нам изучать как гениального русского логика труда Михаила Ивановича Каринского и как выдающегося богослова и философа — Павла Флоренского. Это было время, когда издательство «Путь» выпускало, том за томом, свои прекрасные издания русских философов — Киреевского, Чаадаева, а из современных — Бердяева, Булгакова и других. Мы с живым интересом набрасывались на эти новинки.

Поразительно было в университетском преподавании философии того времени полное умолчание о философии марксизма. С ним даже не полемизировали. Его просто «не замечали», замалчивали. Ни в одной лекции Гилярова, Зеньковского, а позже — Спекторского, Якубаниса мы ни разу не слышали даже имен самых выдающихся философов-марксистов — ни Маркса, ни Энгельса, ни Плеханова, ни Ленина, не говоря уже о Лафарге, Каутском и прочих поменьше рангом. Для самых ученых, самых образованных профессоров филологического факультета марксистских философов как будто и вовсе не су-

ществовало. Даже в курсах русской истории было иначе. У профессора М. В. Довнар-Запольского, доцента П. П. Смирнова можно было обнаружить некоторое влияние исторических идей Маркса и Энгельса или, по крайней мере, исторических идей русского «легального» марксизма, — идей П. Б. Струве, Туган-Барановского и других, — но только не философских учений марксизма. Последний понимался и учитывался только как политическое, публицистическое учение и как политико-экономическая теория.

Переезд из Киева в Саратов длился свыше двух дней. Приближалась осень. Дни стояли погожие: солнечные и прохладные. Для эвакуации первой партии студентов, в которой ехал и я, отвели три очень чистых вагона третьего класса. Со мной в моем вагоне ехали некоторые студенты, с которыми я успел познакомиться и даже подружиться на первом курсе. В их числе был С. С. Мокульский, очень красивый молодой человек с черными волосами и удивительно красивыми карими глазами. С ним вместе ехал его товарищ по второй (классической) гимназии Анатолий Волкович, сын профессора Киевского университета, очень добрый, но довольно безалаберный легкомысленный малый и страшный лакомка. Он постоянно жевал сладкие конфеты и уже в то время испортил себе зубы и желудок неумеренным пристрастием к сладостям. Способен он был на удивление, и память у него была завидная. Как окончивший классическую гимназию, он сразу записался на греческого автора и выбрал Гомера, которого слушал и сдавал у Сонни. Он очень хорошо знал греческий уже в гимназии; когда надо было готовиться по греческому автору в университете, он потратил на подготовку всего один вечер, блестяще сдал Гомера и привел Сонни в совершенное восхищение. После Октябрьской революции он с необыкновенной быстротой и с редким успехом изучил украинский язык и стал профессиональным литератором — переводчиком на украинский с французского, который он знал превосходно. Издательства заключали с ним договоры на целые собрания сочинений — Золя, Мопассана, и он переводил их чрезвычайно быстро, том за томом, впрочем, не особенно заботясь о стилистической отделке. В дальнейшем судьба этого способнейшего, но легкомысленного человека сложилась крайне печально: он был репрессирован — неизвестно за что — и погиб в заключении.

Из товарищей, которых я знал лучше других, в том же вагоне, что и я, со мной ехал мой однокурсник, студент отделения русской филологии Семен Георгиевич Маслюк. Еще на первом курсе он понравился мне и нравом, и любовью к русской поэзии. Он сам был поэт — очень слабый. Его издателем был служивший в магазине Идзиковского и заведовавший одним из его отделов Иван Иванович Самоненко. Он совмещал службу у Идзиковского с издательскими делами. Выпускал он книги на русском и на украинском языках. Из русских его изданий имели успех несколько томов «Чтеца-декламатора». В то время на них была мода. Составлял эти томики племянник Ивана Ивановича — Федор Михайлович Самоненко, окончивший историко-филологический факультет Киевского университета.

Федор Михайлович был интересный человек. Он был немолод, так как, поступив на физико-математический факультет и добравшись до государственных экзаменов, не стал сдавать их, а зачислился на филологический и с увлечением стал проходить курс этого факультета, занимаясь лингвистикой и историей литературы. Он был настоящий энтузиаст науки, особенно филологии, преклонялся перед талантом А. А. Потебни и без устали штудировал три тома «Из записок по русской грамматике», а также посмертный труд ученого «Из записок по теории словесности». Это была «мятущаяся» душа, неспособная остановиться и успокоиться в своих исканиях. Бедняк, он держался на поверхности жизни уроками и поддержкой дядюшки, довольно скупой и скудной. Иван Иванович поручал ему составление издававшихся им «Чтецов-декламаторов», но очень мало платил ему, несмотря на добросовестность работы, знания, вкус и несмотря на успех издания. Впрочем, оценить вкус составителя Иван Иванович не был способен. По этой же неспособности он, несмотря на присущую ему издательскую осторожность, иногда неудачно «рисковал», предпринимая некоторые свои издания. Рисковал и ошибался. Таким было, например, и дешево ему обошедшееся издание сборника С. Г. Маслюка «Символы — призраки моей души». Это была тоненькая книжка, отпечатанная на хорошей бумаге. На белой обложке внизу было небольшое черное изображение египетского сфинкса. Книга состояла из лирических стихов, представлявших подражание Бальмонту, очень притом бледное. Сам Маслюк был влюблен в свою книжку, и она казалась ему значительной. Вскоре после того, как состоялось наше знакомство, я подру-

жился с ним, и эта дружба сохранилась у меня на все студенческие годы. У Маслюка было одно неоспоримое достоинство: он не терпел ни малейшей пошлости и непримиримо боролся против каких бы то ни было ее проявлений. Доказательство этой своей черты он явил во время нашего переезда из Киева в Саратов. Случилось так, что один из наших коллег затеял в пути разговор, перешедший на темы, которые Фрейд назвал «анальной эротикой». Разговор происходил в соседнем купе. Маслюк слушал, слушал и не выдержал. «Вы, — обратился он к изощрявшемуся в каком-то непристойном описании студенту, — вы... с головы до ног». И вслед за тем он произнес вдохновенную импровизацию, яростно громившую эту пошлость. Мокульский, сидевший в соседнем купе, перешел в то, где сидел я, и закричал в восторге, указывая мне на Маслюка: «Послушайте, что он говорит и как говорит!» Через некоторое время любитель «анальной эротики» с конфузом замолчал и незаметно удалился в соседнее купе.

Во время нашего переезда произошло событие, взволновавшее весь вагон, в котором я ехал. Это случилось на какой-то (не помню уже на какой именно) большой станции. Поезд стоял на ней очень долго. На перроне, среди заполнявших его пассажиров, нам бросилась в глаза женщина с двумя маленькими детьми. Это была какая-то немка, которую с ее потомством выселяли в какую-то восточную губернию России — выселяли в качестве немки. Она печально сидела на узлах своих вещей на перроне и разговаривала со своими детьми на немецком языке. Это было время, когда администрация издала приказ, воспрещавший вести в публичных местах разговоры на немецком языке. Вдруг из нашей группы — студентов, толпившихся на перроне, — отделился один, подошел к немке и грубо запретил ей говорить по-немецки. Несчастливая немка испугалась и ответила, что она не может разговаривать со своими детьми по-русски, так как они вовсе не знают русского языка. Студент пришел в совершенную ярость и пригрозил, что он позовет полицию — составить протокол и привлечь ее к ответственности за нарушение приказов военного времени.

Не знаю, какая судьба постигла немку: раздался звонок к отправлению поезда, мы все пошли в свой вагон, и вскоре наш поезд проплыл мимо перрона, на котором осталась злосчастная, обливавшаяся слезами немка со своими детьми и наваленными на перрон узлами.

Нашим отъездом инцидент исчерпан не был. Проявивший столь высокую бдительность или патриотизм студент ехал с нами в одном из отделений нашего же вагона. Через несколько минут после того, как наш поезд покинул станцию, где разыгрался конфликт, к его зачинщику подошли три студента — два из нашего вагона и один из соседнего — и сообщили ему, что его вызывают на товарищеский суд, который рассмотрит его поведение на перроне станции и его обращение с немкой.

Суд состоялся тут же, в вагоне, в котором я ехал. Кем-то была кратко изложена суть происшествия, а затем сразу начались прения. Студента — его звали Морозов — обвинили в бессмысленной жестокости действий, в агрессии, которую он проявил в отношении к безвинной, безвредной и вполне безобидной женщине, не представлявшей никакой военной силы и военной опасности. Защитника у обвиняемого не нашлось никакого, обвинителей множество. Некоторые из обвинителей выступали очень темпераментно и в своих речах возвышались до пафоса. Морозов внимательно слушал все речи и в конце не выдержал и зарыдал. Так кончился этот суд, и все участники и зрители его в смущении разошлись.

Кроме только что рассказанного, никаких особых происшествий в нашем пути больше не было. Был только один эпизод, на этот раз комический. На одном из перегонов между двумя станциями поезд наш почему-то пошел крайне медленно и едва не остановился. Точнее, он продолжал идти, но почти шагом. Заметив это, мы мгновенно придумали себе игру. Мы соскакивали со ступенек вагона и шли рядом с вагонами, держась за ступени и делая вид, будто помогаем паровозу тащить поезд. Так продолжалось довольно долго. Но затем машинист дал свисток, мы попрыгали в вагоны, и поезд пошел как обычно.

Мы продвигались на восток. Погода стояла солнечная, но в пути похолодало, особенно в последнюю ночь нашего маршрута. Не хотелось доставать теплые вещи из чемоданов, и мы с Мокульским улеглись на одной скамье, согревая друг друга.

Доехав до Саратова и сдав на хранение вещи, мы отправились в город искать себе комнаты для проживания. Никаких общежитий для нас никто не заготовил. Оказалось, что снять комнату не так-то легко. В Саратове только что построили прекрасно оборудованное здание для открывавшегося в городе университета, но в первую очередь открывался только медицинский факультет. Для остальных были готовы

только помещения. Студенты только еще начинали съезжаться, и в городе никакой традиции сдачи комнат в наем студентам еще не существовало. Обходя улицы, мы нигде не видели на дверях записочек о сдаче помещений. Я с Маслюком решил, что мы попытаемся найти комнату для нас обоих, и мы начали заходить подряд наобум во все дома неподалеку от вокзала и, как оказалось, неподалеку от корпусов университета. Довольно долго поиски наши успеха не имели. В одном доме хозяин его даже выгнал нас с грубой бранью. Но мы с Маслюком не теряли присутствия духа и продолжали свои поиски. Наконец мы попали на Царицынскую улицу. Она состояла из одноэтажных протянувшихся в длинный ряд домиков с небольшими двориками, в которых не росли никакие деревья и не зеленело никакой травы. В одном из таких домиков нас чрезвычайно участливо встретила хозяйка — Ольга Александровна Фролова с сестрой и мужем. Они каким-то образом узнали, что предстоит приезд студентов из Киева, и решили сдать две маленькие комнатки в своем довольно просторном доме. Для меня с Маслюком это была счастливая находка. Особенно удачно было то, что хозяйка согласилась кормить нас обедами, которые оказались недорогими и очень вкусными. Кроме Фроловых, в доме проживала сестра хозяйки — Анна Александровна Чеснокова, художница по профессии. Войдя в комнату, мы увидели на мольберте незаконченный портрет женщины с большими темными глазами, яркими крупными губами, в большой темной шляпе. Анна Александровна тут же объяснила нам, что портрет изображает Викторю из знаменитой повести Кнута Гамсуна.

Мы попали в хорошую и дружную семью. По национальности и антропологическому типу они были мордовцы. Особенно типичен был хозяин — Василий Абрамович, служивший на железной дороге, молчаливый и какой-то незаметный. В доме с ними жила мать Василия Абрамовича — еще крепкая, хорошо сохранившаяся старуха, совсем молоденькая племянница Фроловых Маруся, очень смешливая, и дети Фроловых — Игорь и Галина, еще дошкольного возраста.

В одной из отведенных нам комнат мы обедали и занимались, другая — соседняя — была нашей спальней. Обеды приносила нам сама Ольга Александровна и после обеда быстро выносила из «столовой» всю посуду — так, чтобы мы сразу могли садиться за учебу.

Первая моя забота была подготовка к сдаче «греческого для начинающих»: он — увы — не был сдан мною по окончании первого курса. Большую помощь в подготовке к этому экзамену оказал мне и Маслюку Мокульский. Он окончил в Киеве вторую — классическую — гимназию и великолепно знал древнегреческий. Каждый день вскоре после нашего обеда он появлялся у нас на Царицынской и начинал — очень взыскательно и придирчиво — спрашивать нас накануне заданный урок. Если что-нибудь было недоделано или плохо, небрежно приготовлено, он учинял нам форменный разнос. Мы стыдились огорчать его, и такие случаи происходили нечасто. Учились мы греческому по учебникам Чёрного. Чех по национальности, он был известный автор учебников, чрезвычайно содержательных, богатых материалом и примерами из произведений древнегреческой литературы. Готовиться по учебникам Чёрного было нелегко, но результаты получались очень хорошие и знания основательные. Когда, закончив подготовку, я пошел сдавать предмет Дложевскому, я получил «весьма удовлетворительно» (высший балл в университете) и по-настоящему им гордился.

А. Т. Твардовский — В. Ф. Асмусу

Смоленск, 14/XII 35 г.

Дорогой Валентин Фердинандович!

Сердечно благодарю Вас за Ваше слово обо мне. Мне стыдно и обидно, что я не послал Вам свою книжку, и не знаю, поверите ли Вы мне теперь, что не послал не по небрежности, а сознательно — потому что считал (и считаю) эту книжку очень слабой. Такую рецензию, какую написали Вы¹, можно было написать только при очень большом доверии к автору, так сказать, полагаясь на него, надеясь, что он способен на большее, чем эта его книжка.

Примите же от меня, Валентин Фердинандович, мою горячую благодарность за это доверие ко мне. Я не знаю, как передать Вам то — как много значит для меня этот отзыв. Поверьте, что я этого никогда не забуду.

«Сборник» посылаю, — теперь уже все равно. И думаю послать Вам окончательный экземпляр «Муравии» — все же она лучше «Сборника» и, может быть, я этим хоть немного оправдаю Вашу рецензию.

21-го в Москве мой вечер (по «Муравии»). Я бы очень хотел, чтобы Вы пришли на этот вечер, и совершенно честно оговариваю: приглашаю Вас не затем, чтобы выступали и т.д. Просто так — посидите, сколько будет возможно. Буду Вам очень благодарен. Приехав в Москву, я, конечно, специально позвоню

Вам, чтобы повторить приглашение, и заеду к Вам, если это не будет слишком навязчиво.

Жена шлет Вам привет. Всем этим делом она была обрадована и взволнована не меньше, чем я.

Привет наш Ирине Сергеевне!² Привет Машеньке³.

А. Твардовский

Б. Л. Пастернак — В. Ф. Асмусу

1

8 мая 1952 г.

Дорогой Валентин Фердинандович!

Если для Вас не составит труда и не слишком увеличит количество книг, взятых Вами самими из ун<иверситетской> библиотеки, опять окажите мне, пожалуйста, содействие в моих переводных работах.

Я Шекспира переводил обыкновенно по не особенно ученому и не чрезмерно загроможденному комментарию, но все же очень живо комментированному и в сценической, театральной перспективе разобранному изданию англ. актера Henry Irving'a. Различные тома этого издания я брал из библиотеки В. Т. О. На мое несчастье, там недостает тома, где помещена «Буря».

Если в Ун-те есть это издание, возьмите, пожалуйста, для меня этот том. Мне придется продержать его месяца два, не меньше, но в случае если бы книга потребовалась, я ее, конечно, верну в любую минуту.

Вот название этого издания

The works of William Shakespeare edited by sir Henry Irving, тот том, где находится «Буря», The Tempest.

Прошу Вас об этом в письме, т. к. по телефону сообщать эти иностран. наименования затруднительно.

Простите меня за доставленное беспокойство. Заранее благодарю Вас и обнимаю.

Ваш БЛ.

II

Болшево, 3-го марта 1953 г.

Дорогой Валентин Фердинандович!

Не могу сказать, как Вы меня тронули и какую преисполнили гордостью, коснувшись в письме ко мне некоторых вещей так глубоко, прямо и крупно и взяв их, так сказать, в их натуральную величину. Я в неоплатном долгу перед Вами. Как вознаградить мне Вас и чем мне Вам ответить?

Перед отъездом я дочитал до конца Вашу «Древнегреческую философию»¹. Мне ни разу не приходилось читать о Платоне ничего более раскрытого, понятного, захватывающего и исчерпывающего. Он завидно, небывало удался Вам. Обычно либо ради осязательности и понятности (воспроизводимости мыслью) его модернизовали, как Наторп или некоторые новейшие историки философии; или его подавали как роман из понятий, увлекательный, но за которым логической мысли трудно было следовать, как за нерасчлененной вязью сказки. У Вас так вышло, что телеологическая идея целого так вовремя и кратко и обозримо и с таким искусством предпослана обзору частей, что все объясняет. Я перечту эти страницы еще раз по возвращении в Москву.

Процесс раскрытия стремительного и естественного этой самой сложной, смелой и систематической мысли во всей истории философии доставил мне в Вашем изложении живое, точно запомнившееся наслаждение.

Мне лучше. Я стал работать, засел за окончание Живаго.

Приехав сюда, я вспомнил, как я тут прожил месяц летом в 35 году и что как-то зимой перед Отеч<ественной> войной или во время ее Вы были тут вместе с Ириной Сергеевной². Она замечательно описывала ощущение свежего воздуха при переходе из Вашего корпуса в столовую или на прогулке. Она говорила, что заставляла холодный столб его на крыльце за дверь, где он безотлучно оставался в ожидании от выхода к выходу.

Нас поместили в том же втором корпусе, где я тогда жил, почти в той же комнате. Из моего окна виден однооконный занесенный снегом домик, из которого тогда выходила в белом халате, с папиросой меж пальцев, Зинаида Владимировна Курвиц³. Я хотел ей написать отсюда.

Тогда я был на 18 лет моложе, Маяковский не был еще обожествлен, со мной носились, посылали за границу, не было чепухи и гадости, которую бы я ни сказал или ни написал и которой бы не напечатали, у меня в действительности не было никакой болезни, и я был тогда непоправимо несчастен и погибал, как заколдованный злым духом в сказке. Мне хотелось чистыми средствами и по-настоящему сделать во славу окружения, которое мирволило мне, что-нибудь такое, что выполнимо только путем подлога. Задача была неразрешима, это была квадратура круга, я бился о неразрешимость намерения, которое застилало мне все горизонты и загораживало все пути, я сходил с ума и погибал. Удивительно, как я уцелел, я должен был умереть тогда, как Адик⁴.

А теперь у меня сердечная болезнь, не считающаяся вымыслом, я за флагом, не в чести, все знаки переменялись, все плюсы стали минусами, но я счастлив и свободен, здоров, весел и бодр и с совершенной легкостью сажусь писать никому не нужного и неотделимого от меня Живаго, за то самое окно, которое было мне 18 лет тому назад тупиком и у которого я тогда ничего не мог и не знал, что мне делать.

Это я хотел рассказать Вам в устном разговоре. Но Вы знаете здешний телефон. Всегда — дожидающиеся очереди. А при свидетелях углубление в такие темы было бы смешно и странно. Вот почему и пишу Вам.

Сердечный привет Ариадне Борисовне. Целую Вас.

Ваш Б. Л.

Приписка на полях 1-й страницы:

Я Вас не зову сюда. Повидаемся в Москве. Я потом это объясню Вам.

III

22 дек. 1955 г.

Дорогой Валентин Фердинандович!

Досылаю Вам конец романа (эта доля, в отличие от имеющейся у Вас, мною проверена). Ничуть при этом не думаю, что осчастливливаю Вас посылкой или как-нибудь особенно удружил. Наоборот. Наверное, Вы страшно заняты и Вам

не до того. (Не читаю же я ничего годами.) Но пусть полежат у Вас обе тетради до первых дней января, когда они мне понадобятся назад для дальнейшей переписки, после чего в феврале или марте они вернутся обратно в мое распоряжение и в случае невозможности Вашей прочесть рукопись сейчас, мы все поправим.

Привет Ариадне Борисовне.

Если у нас организуется встреча Нового года, об этом на днях будет особый разговор.

Ваш БП.

IV

20 сент. 1959 г.

Дорогой Валентин Фердинандович, мой долг попросить у Вас прощения. Мне хочется, чтобы Вы простили меня, но, простите ли Вы меня или нет, и независимо от того, как пойдет дальше наше знакомство, остаться спокойным, без признания этой возмутительной моей вины перед Вами, так же точно, как перед Гарриком, если он узнает об этих словах моих и о себе, — я не могу¹. Я не должен был осмеливаться, что бы ни владело мной, и в каком бы отдаленно фигуральном смысле я ни говорил этого, употреблять эти выражения ни о ком, меньше же всего на свете о Гарике и о Вас.

Перед Борисом² же мне виниться не в чем.

Ваш БП.

А. Ф. Лосев — В. Ф. Асмусу

/

Дорогой Валентин Фердинандович! На Ваше поздравление я отвечаю с некоторым опозданием, потому что свой отпуск я провожу на даче, а корреспонденцию из Москвы я получаю не сразу. Когда получают поздравления, то в ответ обычно благодарят и выражают разные пожелания. Вместо этого мне хотелось бы сказать Вам нечто другое.

В течение нашей жизни мы с Вами работали каждый за десятерых. И в ответ на нашу работу каждый из нас тоже получал критику за десятерых. Вы, правда, сумели многих и во многом убедить. Я же, кроме небольшой кучки энтузиастов Античности и античной философии, ровно никого ни в чем не убедил и покидаю земную жизнь с теми же пустыми руками, с какими и родился. Но ведь все эти дела, вероятно, меньше всего зависят от нас. А то, что зависит от нас, любовь к науке, бескорыстная преданность работе мысли и независимость от текучих настроений толпы, это уже, во всяком случае, наше с Вами внутреннее дело, о котором не только ни с кем не хочется говорить, но даже и между собою мы в течение десятков лет тоже не считали нужным говорить. Природа достаточно поиздевалась над нами. Зародивши нас философами и снабдивши всеми необходимыми для философии способностями, природа в то же самое время не дала

развиться этим способностям, при малейшей попытке философствовать крепко била и по лицу и по спине, и вырывала перо из рук и почти всегда ставила на ту работу, которую мы с Вами вовсе и не собирались делать.

Но, во-вторых, не осуществивши того, для чего мы с Вами родились, мы все же жили с Вами в глубине наших душ только одной идеей, которую никто не понимал, которую все извращали, но которая тем самым делала нашу с Вами работу и даже всю нашу жизнь, все наши страдания осмысленными и, по крайней мере для нас самих, нужными и ценными, внутренне свободными и непобедимыми. Мне кажется, что последний наш вздох не будет сопровождаться ни проклятиями, ни равнодушием, а умирать мы с Вами будем с улыбкой на устах. *Fed, quod potui... etc**. Я думаю, что мы с Вами заслужили эту улыбку; и тот, кому она нужна, примет ее с благословением.

И еще хочу сказать вот что. Все совершается как надо. И все имеет свой смысл. Наша с Вами жизнь, что бы в ней ни случилось, тоже имеет свой великий смысл, хотя мы и не сделали того, что хотели, для чего родились и к чему были достаточно подготовлены. Перед этим меркнут наши с Вами печатные труды, хотя их было и много; и перед этим меркнут все безвинные страдания, которые нам с Вами пришлось перенести. Когда кругом меня творится малое зло, я беспокоюсь, хлопочу, бегаю, покрикиваю и даже, как говорится, артачусь. Но когда я чувствую вокруг себя много зла, я вдруг замечаю, что становлюсь спокойнее; и когда замечаю, что все существующее вообще находится во зле, я удивительным образом успокаиваюсь и начинаю понимать правильность трансцендентализма, наличного не только у Канта, но и рассыпанного по всей философии, начиная с древних времен: если есть пространственная вещь, значит сначала должно быть пространство; и если есть временная вещь, значит есть время. Субъективистское толкование этих априорных интуиций и категорий вовсе не обязательно, и великий Кант здесь хромает. Мы с Вами отродясь объективисты. И если существует мировое зло, то иметь право утверждать это мы можем только в том случае, если одновременно с этим мы утверждаем с Вами и наличие мирового добра.

* Я сделал все, что мог; пусть, кто может, сделает лучше (*лат.*). — *Примеч. ред.*

Да, впрочем, все это Вы знаете даже лучше меня. Я только напомнил Вам об этом, потому что сущность Вашего поздравления сводится именно к этому. Поздравление, таким образом, оказывается у нас с Вами взаимным.

Поздравление Ваше подписано в телеграмме фамилией «Асмусы». Но из Асмусов, кроме Вас, я знаю только Ариадну Борисовну и Валю¹. Поэтому прошу мою благодарность за поздравление передать и им.

28/IX 73 г.

Всегда Ваш,
и здесь и в вечности,

А. Лосев

II

Глубокочтимый и дорогой Валентин Фердинандович!

В этот знаменательный день Вашего юбилея мне хочется поздравлять даже не Вас, а, скорее, самого же себя. Я счастлив, что жил и работал в те же самые годы, что и Вы. Я счастлив быть Вашим современником. Я себя поздравляю с тем, что встретил в жизни такого человека, который поднял на своих плечах всю тяжесть борьбы умственных страстей века. Эта ноша потяжелее той оси мира, которую, согласно античным мифам, держали на своих плечах титан Атлант и некоторое время Геракл. В Античности думали, что вся сущность дела заключается здесь только в физической тяжести. Но там не представляли себе, что такое эта тяжесть в области духа и души, в области ежедневных переживаний, в области нудной и бесконечной борьбы с окружающим духовным зверьем. Но Вы бесстрашно вступили в этот бой и стали на путь бесконечных страданий, бесконечных тяжестей, духовных и телесных, и бесконечной скуки доказывать обезумевшим или просто неумным людям, что дважды два четыре. Теперешнее Ваше положение, и общественное, и научное, и служебное, конечно, высоко и крепко, и для многих завидно. Однако я думаю, что оно ни в какой мере не соответствует Вашим подлинным заслугам, Вашей огромной философской и вообще культурной роли, не говоря уже о Вашей внешней деятельности или печатной продукции. И каким же великим, каким же пре-

красным и роскошным победителем Вы на склоне своих лет вышли из этой борьбы и преодолели всю несправедливость своего положения, ни в какой мере не соответствующего Вашим заслугам.

Мне кажется, что эта победа заключается в обретении внутреннего мира и благородного спокойствия, не желающего унижаться до степени жалоб или просьб. Лик мудрого владетеля тайнами науки уже давно запечатлелся в моей душе в результате общения с Вами, в результате всего, чем Вы являетесь в нашем обществе и в результате изучения всего написанного Вами.

В этот знаменательный день Вашего юбилея мое трансцендентальное благодарение и мою трансфинитную признательность примите с тем высоким и мудрым чувством, которое мыслится мне в Вас в минуты размышления о Вашей жизни и Ваших трудах.

29/XII 74 г.

Ваш всегда и здесь и там

Алексей Лосев

Примечания

А. Т. Твардовский — В. Ф. Асмусу

Письмо было впервые опубликовано в книге «Вспоминая В. Ф. Асмуса...» (М., 2001).

¹ Речь идет о рецензии В. Ф. Асмуса на книгу: Твардовский А. Т. Сборник стихов (1930—1935). Смоленск, 1935. Рецензия была опубликована в «Известиях» 12 декабря 1935 г.

² *Ирина Сергеевна* — первая жена В. Ф. Асмуса.

³ *Машенька* — Мария Владимировна, падчерица В. Ф. Асмуса.

Б. Л. Пастернак — В. Ф. Асмусу

I

Письмо публикуется по оригиналу, хранящемуся в архиве В. Ф. Асмуса.

II

Письмо ранее публиковалось в пятитомном собрании сочинений Б. Л. Пастернака (М., 1989—1992), т. 5, с. 509—511, в книге «Борис

Пастернак. Биография в письмах» (сост. Е. В. Пастернак, Е. Б. Пастернак. М., 2000, с. 352–353) и в издании «Вспоминая В. Ф. Асмуса...» (М., 2001, с. 277–278).

- ¹ Вероятно, имеется в виду рукопись книги «Античная философия».
- ² *Ирина Сергеевна* — первая жена В. Ф. Асмуса (скончалась в 1946 г.)
- ³ З. Н. Курвиц — врач в санатории «Болшево».
- ⁴ *Адик* — старший сын З. Н. Пастернак, Адриан Нейгауз (1925–1945).

III

Это и следующее письмо публикуются по оригиналам, хранящимся в архиве В. Ф. Асмуса.

IV

- ¹ Имеется в виду острая реакция Б. Л. Пастернака на весьма сдержанное отношение В. Ф. Асмуса и Г. Г. Нейгауза к роману «Доктор Живаго».
- ² Б. Н. Ливанов — Народный артист СССР, актер МХАТ.

А. Ф. Лосев — В. Ф. Асмусу

Письма публикуются по изданию: «Вспоминая В. Ф. Асмуса...» (М., 2001).

- ¹ *Валя* — Валентин Валентинович Асмус, старший сын В. Ф. Асмуса.

Приложение

В. В. Зеньковский

В историко-филологический факультет университета св. Владимира

По поручению факультета я ознакомился с сочинением, написанным на тему «Зависимость Л. Н. Толстого от Спинозы в его религиозно-философских воззрениях» под девизом «καλὸν γάρ τὸ ἄθλον»^{*}.

Задачей сочинения было выяснить два вопроса — насколько правомерно сближение религиозно-философских воззрений Толстого и Спинозы, высказанное кое-кем и отчасти вызываемое сочинениями Толстого, а с другой стороны — можно ли говорить о зависимости Толстого от Спинозы. Автор рецензируемого сочинения стал на совершенно правильную методологическую точку зрения: он отдельно проанализировал учения Толстого и Спинозы, что дало ему возможность установить эволюцию воззрений обоих мыслителей, затем дал сравнительный анализ обоих учений, а затем поставил вопрос о влиянии Спинозы на Толстого. Первые две задачи выполнены автором очень хорошо: не только воззрения Спинозы, много раз бывшие предметом исторического изучения, но и воззрения Толстого, не до конца изученные, обследованы полно и обстоятельно, причем автор, при полном знании литературы, обнаруживает несомненную

^{*} «Ведь состязание — это прекрасно» (гр.). — *Примеч. ред.*

самостоятельность. Главы, посвященные Толстому, гораздо обстоятельнее глав, посвященных Спинозе, но эта неравномерность внимания автора вполне оправдывается тем, что в своих выводах он идет самостоятельным путем. Привлечение художественных созданий Толстого к анализу его религиозно-философских воззрений должно быть признано очень удачным и по замыслу, и по выполнению.

Сравнительная характеристика учений Толстого и Спинозы может быть признана весьма удачной, я бы даже сказал — исчерпывающей вопрос. Здесь особенно следует отметить не только прекрасное знание, но и тонкое понимание Спинозы.

Что касается последнего — генетического вопроса, то он разобран у автора не так тщательно, как первые два. Большим упущением следует признать отсутствие особой главы, посвященной истории спинозизма. Те немногие (хотя в общем вполне правильные) замечания, которые делает автор по этому вопросу, не возмещают необходимой главы. Особенно приходится пожалеть, что автор, обнаруживающий такое тонкое историческое чутье, не поставил себе целью хотя бы бегло очертить историю спинозизма на Руси. Что касается вопроса о прямой зависимости Толстого от Спинозы, то при наличном состоянии материалов он может считаться разобранным автором исчерпывающе.

В общем я должен сказать, что сочинение под девизом «καλὸν γάρ τὸ ἄθλον» настолько хорошо по своему изложению, настолько полно ставит поднятый в литературе вопрос о зависимости Толстого от Спинозы, настолько удачно почти во всех анализах, что я признаю его достойным не только золотой медали, но и напечатания в университетских Известиях.

*Исполняющий должность экстраординарного
проф. В. Зеньковский*

Н. А. Бердяев

**Рецензия на книгу: В. Ф. Асмус
«Очерки истории диалектики в новой
философии» (1929)***

Книга В. Асмуса есть показатель существования философской мысли в советской России. Автор «Очерков истории диалектики» имеет философскую культуру, он знает историю философии, имеет вкус к философствованию, любит великих немецких идеалистов. Образовался он еще на старой русской культуре. Но книга В. Асмуса, совсем не плохая, обнаруживающая философские способности, производит мучительное впечатление смешением двух стилей, свободно философского и советски казенного. Все время чувствуется, с каким трудом пробивается философская мысль через гнет коммунистической цензуры. Во что бы то ни стало нужно доказать, что все великие философы склонялись, хотя и недостаточно сознательно, к материализму, и Декарт, и Спиноза и даже Кант. И это как-то приклеено к рассмотрению философов по существу. Автор свободно и по существу философствует только тогда, когда он забывает, что он марксист и что советская власть требует от него материализма.

* Впервые опубликовано в: Путь. Париж, 1931. С. 108–112. Рецензия была перепечатана в кн.: Историко-философский ежегодник 2004. М., 2005. С. 356–359.

Но настоящей свободы у него нет. Горько читать, когда он с пафосом говорит о стеснении свободы мысли у Декарта. Ему самому, подобно Декарту, нужно было бы поехать в «Голландию», чтобы обрести свободу мысли. Тема книги определяется основным противоположением метафизики и диалектики. Это условное противоположение всегда делали Маркс и Энгельс и марксисты свято хранят эту традицию. Тут мы сталкиваемся с основной нелепостью марксистской философии, усвоенной г. В. Асмусом. Если уже делать противоположение между метафизикой и диалектикой, то материализм должен быть отнесен к метафизике, а не к диалектике. Материализм по существу не диалектичен, и диалектический материализм есть лишенное смысла словосочетание. Диалектика самого г. Асмуса всегда возвышает его над материализмом. Возможна лишь диалектика мысли, идеи, духа, а не атомов материи и не экономики. Гегель увидел диалектику бытия лишь вследствие своего панлогизма. Для него бытие было самораскрытием мысли, понятия, идеи, мировой процесс был логическим процессом. Маркс перевернул диалектику Гегеля, но в результате этого переворота он перенес панлогизм в материю. В материальном процессе обнаруживается разум и происходит диалектика разума. Хозяйственно-экономический процесс, представляющий субстанцию истории, совершается по схеме диалектики разума и в нем всегда разум торжествует и восторжествует окончательно в социализме. Маркс верил в логос материи и не допускал возможности совершенно иррациональных, алогических материальных процессов. Противоречия капитализма, порожденные анархией капиталистического хозяйства, оказываются лишь необходимым моментом диалектического процесса, который ведет к высшему разумному социальному строю. У самого Маркса не было продуманной до конца гносеологии, его интересы лежали в другой области. Энгельс же, который более всего представлял марксистскую философию, был слабый философский ум, и он опускается до самого вульгарного материализма. Остается загадкой, откуда берется разум и разумная диалектика у материалистических марксистов? Каким образом стихийные бессмысленные материальные процессы могут породить разумное и даже противоречию подсказывать плодотворные результаты? Ясно, что материя и материальный процесс у Маркса и Энгельса заранее рационализированы и логицированы, и потому только и делается возможной диалектика.

Материя наделена высшей активностью. Поэтому пафос актуализма в коммунизме связан с пафосом материализма. Но материя есть начало инертное и пассивное, с ней нельзя перевернуть и перестроить мир. Актуализм можно связывать с философией Фихте, но никак не с материализмом. В. Асмус очень дорожит тем, что познание есть активная сила, переустраивающая мир. На этом основании он дает слишком актуалистическое истолкование философии Спинозы, но именно с точки зрения материализма познание не есть активная сила, а есть пассивное отражение. Беда Маркса была в том, что он не только дитя немецкого идеализма, не только вышел из Фихте и Гегеля, но и усвоил себе буржуазную философию просветительства. Он произошел от явного мезальянса, в котором один из родителей был очень вульгарен и низкого происхождения. Материализм и атеизм есть буржуазная философия и порождена буржуазией. Менее всего можно сказать, как говорит г. Асмус, что буржуазия созерцательна. Наоборот, она очень активно-деловая и созерцательной быть не может, ибо ничего не способна увидеть, кроме своих дел. В. Асмус вслед за Марксом и Энгельсом ставит знак равенства между материализмом и приматом бытия над сознанием. Это совершенно недопустимое отождествление. Таким образом можно утверждать, что св. Фома Аквинат и все схоластики были материалистами. Я сам совершенно убежден, что бытию принадлежит примат над сознанием и что формы сознания определяются формами бытия. Нелепо отождествлять реальное, действительное с материальным. Между тем как г. Асмус это делает и делает против своей философской совести. Как человек обладающий философскими знаниями, г. Асмус принужден признать качественное своеобразие психического. Но эту истину он направляет против грубого материализма, а не материализма вообще. Болезненное впечатление производит, когда г. Асмус вспоминает, что он марксист и обязан защищать материализм, — он в эти тяжкие минуты покидает философию. Марксизм имеет философское происхождение, но совсем не философский конец. В самом Марксе были еще остатки благородства мысли немецкого идеализма, у марксистов уже ничего от этого не остается.

В книге г. Асмуса есть пробелы и искажения. Он совсем, по-видимому, не знает, что корни немецкого идеализма заложены в немецкой мистике и особенно у Я. Беме. Именно у Я. Беме были первородные гениальные интуиции, которые

потом развивались немецкими идеалистами начала XIX в. У Я. Беме, как и у Николая Кузанского, г. Асмус нашел бы гораздо больше диалектики, чем у Декарта и Спинозы. Смешно считать, что главной заслугой Канта является его устаревшая естественная история неба и естественнонаучные труды. Неверно считать неокантианцев дуалистами. Коген совсем не дуалист и приходит к философии, очень родственной гегельянству. В. Асмус недооценивает Фейербаха и его значение для генезиса марксизма. Это объясняется тем, что г. Асмус не видит, что в марксизме самое важное не материализм, а атеизм. Фейербах же был гениальнейшим атеистом XIX в. Глава о Гегеле, которая особенно важна для его цели, сравнительно слабая. Г. Асмус совсем не углубляет диалектики Гегеля о бытии, небытии и становлении. Он не выясняет, что весь динамизм гегелевской философии определяется тем, что Гегель ввел понятие небытия в логику. Совершенно напрасно г. Асмус считает Маркса и Энгельса пролетарскими мыслителями. Маркс и Энгельс — дети буржуазии, вышли из нее и унаследовали навыки ее мысли. Они не выразители мысли самого пролетариата, который никакой особенной мысли не обнаруживает и склонен повторять зады буржуазного радикального просветительства, они создатели мессианской идеи пролетариата, совсем не похожей на пролетариат эмпирический. Это как раз случай, когда не бытие определяло сознание, а сознание определяло бытие. Маркс создал миф о пролетариате и в этом его самая большая оригинальность. Г. Асмус совсем не замечает еще одного глубокого противоречия марксизма. Маркс раскрывает, как капитализм превращает отношения людей в отношения вещей, и в этом есть несомненная правда. Человек не хочет оставаться вещью, предметом, товаром, он хочет быть активным субъектом. Таким образом марксизм хочет видеть всюду субъекты, а не предметы. Но это как раз радикально противоречит материализму, для которого существуют исключительно вещи и предметы и не существует субъектов с их творческой активностью. Капитализму, овеществляющему людей, противопоставить можно только персонализм, а не материализм. Материализм марксистов целиком определился овеществлением людей капитализмом. Материализм есть буржуазно-капиталистическая философия. Пролетария заставляют верить, что он есть вещь и предмет. Книга г. Асмуса наводит на мысль о двойственном результате немецко-

го идеализма. С одной стороны, исход немецкого идеализма в последнем периоде Шеллинга, в его философии откровения, с другой стороны — в Марксе. Это обнаруживает богатство его мотивов и тем и внутренние его противоречия.

В заключение нужно сказать, что книга г. Асмуса есть один из симптомов кризиса советской философии, о которой написал интересную статью г. Прокофьев в «Современных записках». Возврат к гегелевской диалектике есть конец материализма. Впрочем сам г. Асмус производит впечатление случайного человека в коммунизме. У него нет главного, нет пафоса, связанного с идеей пролетариата, т. е. нет коммунистической религии, он любит философию и в светлые свои минуты отдается философскому познанию, забывая о ненависти, к которой обязывает его коммунистическое мирозерцание.

М. Н. Громов, Н. А. Куценко

**«Это скорбное учение...»
(заметки к статье В. Ф. Асмуса*)**

Вынесенное в заглавие выражение В. Ф. Асмуса представляет одну из ярких характеристик марксистского учения, касающуюся в данном случае вульгарно-экономической интерпретации сложного процесса культурного развития, где следует ценить «самобытность и автономную ценность духовного начала», чем пренебрегают апологеты материалистического монизма.

Статья поражает с первых строк своей страстностью, взволнованностью, непримиримостью публициста и вместе с тем глубоким философским анализом происходивших событий. Она написана молодым 24-летним выпускником Киевского университета, выросшим и воспитанным в совершенно иной атмосфере духовного и культурного творчества, нежели та, в которой ему придется жить в последующие годы. Контраст между дореволюционной и советской Россией на примере одной творческой личности резко бросается в глаза. Те, кто знал Валентина Фердинандовича в зрелые годы как уважаемого профессора Московского университета и сотрудника Института филосо-

* Статья опубликована в кн.: Историко-философский ежегодник 2004. М., 2005. С. 345–349. — *Примеч. ред.*

фии РАН, помнят его спокойную, взвешенную, основательную манеру изложения мыслей, где смысл каждого слова был продуман и отредактирован по форме. Остался высокий профессионализм, ушла непосредственность, глубоко укрылась искренность и тщательно скрывалась вера в совсем иные ценности и идеалы, не совместимые с коммунистической идеологией.

Остается гадать, была ли данная статья, где за каждый абзац и даже пару слов можно было подвергнуться жестоким репрессиям, известна компетентным советским органам. Либо они закрыли на нее глаза, поскольку негативное отношение к строившемуся тогда тоталитарному строю, пока он еще не набрал силы, высказывало подавляющее большинство мыслящих людей, а истреблять поголовно специалистов старой школы было просто неразумно, потому и засекретили старые грехи нужного режиму человека. Либо, скорее всего, в условиях тогдашней неразберихи, бросания из одной шумной кампании в другую, поисках очередного крупного врага полуграмотные чекистские функционеры просто проглядели затаившегося оппонента власти, недвусмысленно высказавшегося в ее адрес в бурные годы Гражданской войны.

Во всяком случае, Валентин Фердинандович после окончательной победы большевиков вынужден был вести себя осмотрительнее, а свою первую печатную работу стал датировать 1924 г., когда вышла в Киеве книга «Диалектический материализм и логика. Очерк развития диалектического метода в новейшей философии». Как вспоминал он в предисловии к двухтомнику своих трудов, изданному на склоне лет: «Моя первая печатная работа вышла в 1924 г. в Киеве, где началась моя философская — профессорская и литературная — деятельность»^{*}.

Надо сказать, что он, будучи человеком честным и принципиальным, не лгал, но говорил уклончивую правду. Если под первой печатной работой подразумевать первое монографическое исследование, то дело так и обстояло. Но в иных условиях он бы вспомнил свое сотрудничество с теми, кому было не по пути с советским режимом. Данная же книга, которая стала начальной в официальном списке более чем 200 трудов профессора, закрепила за ним реноме серьезного ученого, лояльного

^{*} Асмус В. Ф. Избранные философские труды. Т. 1. М., 1969. С. 3.

по отношению к власти. Она стала своего рода охранной грамотой, под защитой которой он мог относительно безопасно, подобно профессору Преображенскому из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова, заниматься своей профессиональной деятельностью.

О Валентине Фердинандовиче, его трудах и жизненном пути в последние годы вышло несколько публикаций, в том числе примечательная книга «Вспоминая В. Ф. Асмуса...», где кроме воспоминаний его коллег и учеников содержатся автобиографические материалы ученого*. Поэтому обратимся непосредственно к самой статье.

Статья «О великом пленении русской культуры», подписанная именем Валентина Асмуса, опубликована во втором номере киевского еженедельного издания «Жизнь» в сентябре 1919 г. Это было смутное, тяжкое время, описанное в «Белой гвардии» Михаила Булгакова и других сочинениях современников той эпохи: катастрофа старой России, ожесточенная Гражданская война, где брат восставал на брата, гибнущие люди, ценности, памятники культуры. В Киеве одна власть сменяла другую: белые, красные, петлюровцы, немцы, поляки. Номер со статьей В. Ф. Асмуса вышел, когда после первого полугодового господства советов город ненадолго заняла армия Деникина, целью которой было восстановление старого режима, а точнее — строительство «возрождающейся России» с учетом новых обстоятельств.

Интересен первый программный номер «Жизни», вышедший 1—7 сентября на 16 полосах. В нем издание определялось как еженедельная газета-журнал. Редактор Н. Е. фон Киниц, издатель — С. А. Вайншенкер. Номер дозволен военной цензурой. Объявлено, что газета-журнал (есть и наименование журнал-газета) выходит при участии В. Асмуса, Н. Бернера, М. Вайнтроба, Л. Волтоловского и других, всего более чем 20 профессоров, писателей, журналистов, общественных деятелей, среди которых есть имена О. Мандельштама и И. Эренбурга. Этот номер содержит статьи «Письма из русской интеллигенции» Егора Кострова (вероятно, псевдоним), «Прошлое и настоящее» М. Севена, «Звездная буря и фешенебельные го-

* См.: Вспоминая В. Ф. Асмуса.../Сост. М. А. Абрамов, В. А. Жучков, Л. Н. Любинская. М., 2001.

стиные» И. Эренбурга — в последней, выделяющейся экзальтированностью и разящим стилем, язвительно высмеивается «пролетарское» искусство и отмечается скудоумие идеологов коммунизма. Есть разделы поэзии, литературы, науки, хроники событий. Много покаянных слов, выражается выстраданное желание строить новую, более справедливую жизнь, присутствует надежда на стабильность в измученной стране. Но все эти упования были мимолетны, как власть Главнокомандующего Деникина. Издание вскоре будет прекращено. В Центральной научной библиотеке Киева Т. Д. Суходуб обнаружила на настоящий момент только два первых номера издания.

Публикуемая ныне статья В. Ф. Асмуса вышла во втором номере «Жизни» (8—14 сентября 1919 г.), временем ее написания указан август того же года, когда после большевистского правления вернулись ненадолго времена, столь похожие на старые дореволюционные. Опыт первого потрясения от тотального подавления складывавшейся веками культуры и беспощадный диагноз фанатичного ослепления идеологов новой квазирелигии, когда слепые вожди ведут в пропасть слепые массы, — таков лейтмотив статьи.

Она предваряется тремя эпиграфами, каждый из которых (из Псалтири, Тютчева и Гёте) говорит об идейных устремлениях автора и тех источниках, из которых он питается мудрыми мыслями. Вечные строки богодухновенных псалмов напоминают о нашей бессмертной душе, которая должна избегать сетей лукавых обольстителей мира сего. Краткая провидческая строка Тютчева с горечью свидетельствует о мысли безрассудной, чьи жертвы суть соблазнившиеся ею люди. Классическое четверостишие Гёте предупреждает о тщетности стараний самонадеянных умов разгадать неизреченное таинство Природы.

Далее следует основной текст, прочесть, понять, интерпретировать который может каждый читатель на свой манер. Отметим лишь некоторые ключевые идеи автора, не потерявшие своего значения до сего дня. Одна из них выражена в удачно найденном термине «пленение», ключевом для заглавия. Не обыденное «плен», а церковнославянское «пленение», в семантике которого содержится и напоминание о вавилонском пленении еврейского народа и ордынском русском. В этом сакрализованном, духовно содержательном, историсофски наполненном термине выражена не только скорбь о трагизме происходящего, но и скрытая надежда на грядущее избавление. Включение по-

добных терминов в современный текст делает его семантически более глубинным, содержательным, философичным.

Весьма ценна идея В. Ф. Асмуса о «методологическом самоограничении естествознания», которое способствовало его великим достижениям, и опасности «всеобъемлющего механистического мирозерцания» естественно-научного типа, которое в своей претензии заменить философский универсализм привело сначала к великому соблазну материалистического монизма, а затем к его неминуемому краху (уже тогда предугадываемому), особенно в лице догматического марксизма. Последний в России принял вид странной химеры, где декларируемый рационализм соединился с фанатизмом сектантского типа ослепленных призрачной утопией адептов новой веры, нетерпимой ко всем остальным.

В. Ф. Асмус пишет о колоссальном давлении вождей коммунистического фаланстера на все творческое, самобытное, духовное, что не вписывается в их представления о новом мировом порядке. Шумная агитация, оглушительная пропаганда, дискредитация непокорившихся и подкармливание подчинившихся, осатанелое разрушение традиционных ценностей и наивная вера в то, что новое будет лучше старого, проявили себя уже на самой ранней стадии становления монстра тоталитарного государства, сначала во времена Ленина, мечтавшего зажечь пожар мировой революции, а затем во времена Сталина, стремившегося установить мировое господство.

Статья носит беспощадный разоблачительный характер, формулировки автора глубоки и убедительны, его оценки разящи и опасны для нового режима. Таким был Валентин Фердинандович в начале своей философской и литературной деятельности. Но и сам он попал в «великое пленение». Советская власть не лишила его жизни, но лишила возможности стать ярким, независимым, креативным мыслителем, подобным философам, уехавшим или высланным из страны. Показательна в этом плане рецензия Николая Бердяева на одну из монографий В. Ф. Асмуса, вышедшую десять лет спустя после его ранней статьи*. Высоко отзываясь о профессионализме

* См.: Бердяев Н. В. Ф. Асмус: Очерки истории диалектики в новой философии, 1929//Путь. Париж, 1931. С. 108—112 (см. выше в настоящем издании. — *Примеч. ред.*).

автора, выросшего «на старой русской культуре», Бердяев отмечает, что его книга «производит мучительное впечатление смешения двух стилей, свободно философского и советски казенного», когда горько смотреть, «с каким трудом пробивается философская мысль через гнет коммунистической цензуры».

Бердяев находит немало натяжек и тенденциозных трактовок в пользу марксистской идеологии, за что не может не упрекнуть рецензируемого автора. Но он хорошо понимает обстоятельства его стесненного существования и плененность его духа. Проникнуты сочувствием и симпатией заключительные слова философа русского зарубежья в адрес философа, живущего в Советской России: «Впрочем, сам г. Асмус производит впечатление случайного человека в коммунизме. У него нет главного, нет пафоса, связанного с идеей пролетариата, т. е. нет коммунистической религии, он любит философию и в светлые свои минуты отдается философскому познанию, забывая о ненависти, к которой обязывает его коммунистическое мирозерцание».

Резюмируя, можно сказать, что публикуемая статья вносит существенные коррективы в понимание творческого пути выдающегося русского философа В. Ф. Асмуса, который в условиях коммунистического пленения сумел не только сохранить достоинство честного человека и высокопрофессионального ученого, но и своими трудами, лекциями, беседами, стоическим поведением, своеобразной «философией поступка» доказать, что мысль убить нельзя, что даже в самые тяжелые годы своего бытия русская философия продолжала существовать и доказывать свою состоятельность*.

* При первой публикации данной статьи авторы выразили искреннюю признательность вдове философа Ариадне Борисовне Асмус за возможность познакомиться с его библиотекой в Переделкине и Татьяне Дмитриевне Суходуб, сопредседателю Общества русской философии при Украинском философском фонде, за предоставленные материалы.

В. Ф. Асмус

О великом пленении русской культуры*

*Душа наша яко птица избавися от
сети ловящих: сеть сокрушися, и мы
избавлени быхомъ.*

Псалтырь

О жертвы мысли безрассудной!

Тютчев

*Geheimnisvoll am lichten Tag
Laesst sich Natur des Schleiers nicht berauben,
Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag,
Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.*

Goethe

*Таинственно при свете дня,
С Природы девственной спадает
Скрытый истины покров,
Чей смысл нежен и суров.
Твой слабый дух не в состоянии,
Ни этот скрытый смысл понять,
Ни рычагами, ни винтами,
Завесу тайны приподнять.*

Гёте. Пер. с нем. В. Розенталя

История человеческих оболщений давно уже знает попытки понять все движение и развитие духовной

* Статья опубликована в кн.: Историко-философский ежегодник 2004. М. 2005. С. 350–356. К публикации в настоящем издании текст подготовлен М. Н. Громовым и Н. А. Куценко. — *Примеч. ред.*

культуры как результат слепого, механистического взаимодействия материальных сил. Великие науки современности: физика, механика и химия — охотно распространяют на всю действительность, в виде «рабочей гипотезы», условное допущение, согласно которому все, что происходит в окружающем нас мире, может быть рассматриваемо исключительно с материальной стороны, как будто бы, кроме материальных процессов, ничего более и не существовало. В этом методологическом самоограничении естествознания — источник его великих успехов, а также той точности выводов, которая так неотразимо пленяет человеческий ум, нашу логику твердых вещей, по выражению Бергсона.

Однако механический аспект мироздания очень быстро стал расширяться и далеко вышел из пределов скромного условного самоограничения. Уже физицизм XVII столетия, зачарованный успехами новой науки, стал явственно грезить о всеобъемлющем механистическом мирозерцании, которое должно было, под углом единой идеи, постичь и космос и мир человеческой культуры. Естествознание XIX в. пошло в этом направлении еще дальше. Материалистический монизм новейшей эпохи со всей надменностью догматического самоутверждения предъявил свои права на исчерпывающее истолкование всей мировой действительности, во всем роскошном цветении ее красок, во всем «движении, блеске жизни вольной». Пред ним возник неотразимый соблазн — распространить свою власть на весь космос и весь генезис космоса, понять всю неисследимую драму бытия как пассивное отображение в некой — над миром вещей простертой — плоскости тех же самых слепых механистических движений материальных сил, на которые он различал все видимые физические явления. Когда назрела эта надменная воля к единообразному механистическому истолкованию бытия, пришел великий соблазнитель, который все громадное напряжение мыслительной энергии положил на то, чтобы доказать, будто все, что в человеческой культуре и истории дышит, живет, борется, стремится и развивается, — лишено истинного бытия, существует не само по себе, не от полноты присущей ему силы внутреннего развития, но, напротив, получает эту силу извне, от материальных — экономических — отношений и процессов, которые одни обладают истинным бытием и действительностью. Карл Маркс был этот соблазнитель, и, поистине, вред, причиненный его уче-

нием, был неисчерпаем. Под тусклым стеклом теории экономического материализма живая, трепетная плоть культурного процесса стала обращаться в мертвенный, скованный железными цепями механистического предопределения феномен. Духовная культура, духовное творчество, «сознание» стали не истонным, не главным, но чем-то вторичным, производным, реальностью второго порядка, послушным отпечатком на восковой табличке, цветами, вырастающими над темной целиной, где — во тьме и глубине — идут предопределенные механические синтезы и распады химического взаимодействия.

Метафизическая по существу и догматическая по методу, теория экономического материализма, завладев умами главным образом социал-демократической интеллигенции и полунинтеллигенции, поселившись на развалинах иных идеологий, приняла вскоре все черты своеобразной религиозной догмы или секты, застыла в огненной черте нетерпимости и фанатической уверенности в совершенной своей непогрешимости.

Это скорбное учение о культурном процессе, от которого веет унылым зноем восточного фатализма, вступившего в своеобразное сочетание с рационализмом современного естествознания, вызвало резкий отпор со стороны всех тех умов, для которых существо культурной эволюции заключалось именно в творчестве, т. е. в непредвиденном, непостижимом сплетении данного, определенного, завещанного предыдущим развитием, с новым, нечаянно обретенным в порыве творческого акта и потому неповторимым, своеобразным, индивидуальным. Стремление отстоять самобытность и автономную ценность духовного начала, которое творческим вмешательством своим, творческой активностью организует, пластически претворяет и пересоздает стихию культурного опыта, борьба за индивидуальность, за творчество широко разлилась по Европе на протяжении последних десятилетий. Бергсон, Риккерт, Ласк и многие другие положили начало великому освободительному движению, смысл которого заключался в построении культурного опыта, а также индивидуальной и социальной активности, понятия, основанного на более вдумчивом анализе феноменов культурного творчества.

И вот, в то самое время, когда волны великого философского движения докатились до скромных ступеней русской культуры и вступили в живое взаимодействие с глубоко родственными по существу течениями, шедшими из глубины самобыт-

ных традиций русской религиозной философской мысли, в это время история неумолимым мановением своим явила полный простор для деятельности тех, которые упорно продолжали провозглашать доктрину экономического материализма со всеми следствиями, вытекающими из нее по отношению к духовному творчеству.

Захватив в свои руки государственную власть, большевизм стал употреблять громадные усилия на то, чтобы в пределах коммунистического режима духовная культура не только не была ниже «буржуазной», но чтобы, напротив, далеко оставила ее за собою, как по широте распространения, так и по внутренней значительности. Были отпущены бешеные, умопомрачительные суммы, была развита необычайно шумная и настойчивая культурно-просветительная агитация, были «мобилизованы» или, по крайней мере, намечались к государственной эксплуатации лучшие духовные силы страны (за вычетом, конечно, «неблагонадежных», нежели «пролеткульты» и «коллегии искусств»). Большевистская власть проявила столько своеобразного рвения в деле насаждения духовной культуры, что мы уже давно вправе подвести итоги.

Основной смысл необычайного эксперимента, проведенного коммунистическими эстетиками и kulturtrager'ами, не выходит из рамок механистической доктрины экономического материализма. Было бы наивно думать, будто кипучая на взгляд деятельность «комиссаров науки и искусства» несла в себе залог освобождения от догматически пренебрежительного отношения к духовному творчеству, которым насквозь пронизана теория Маркса.

Так как исходной точкой коммунизма была «девственно-неприкосновенная», ни в чем существенном не измененная механическая теория экономического материализма, то и самое создание новых — «пролетарских» — ценностей было задумано не как организация здоровых и свободных условий для творчества, не как раскрытие творческих, актуальных сил, таившихся в объятых вековой дремой невежества массах народных, не как любовное причащение великого темного народа к великой светлой культуре, созданной его лучшими гениями, но как, хотя и яростное, исполненное жгучей ненависти и узкой классовой нетерпимости, однако в существе своем не-духовное, не-творческое, пассивное, механистическое отображение тех экономических и классовых отношений и противо-

речей, которые в губительной обостренности развернулись и в недрах народной жизни в годы революции.

В катехизисе коммунистических «оглашенных» первый и главный член символа веры возвещает вовсе не о том, что грядет и будет великое творчество, великое рождение и самораскрытие духа, но о том, что пришел час, когда должны по роковому сцеплению материальных сил бытия измениться экономические и классовые отношения, а потому неизбежно, сама собою, механически должна как-то измениться и культура: как грибы на упитанной дождем почве, вырастает новая — «пролетарская» — наука, новое — «пролетарское» — искусство и т. п. Поэтому все напряжение своей разрушительной работы и всю мучительную немощь положительной большевизм направил — как это ни странно — не на самую науку и не на самое искусство, но на нечто иное. Коммунизм, надеясь, что создаваемые им новые экономические отношения совпадают в точности с фатальными предначертаниями исторического процесса, не шел дальше монотонной пропаганды классовых идей, которые должны были «надстройкой» возвыситься над новой экономической базой, над новой экономической структурой государственного тела. «Дайте нам хорошую коммунистическую экономику, хорошую классовую борьбу, т. е. абсолютное, безостановочное расслоение общества на два беспощадно пожирающие друг друга стана, и, сама собою, независимо от воли нашей, вырастет «духовная» культура, в послушном зеркале которой непогрешимо точно отразятся «духовные» (т. е. «классовые», а в конечном счете те же экономические — материальные) ценности пролетариата».

Так сложилась эта беспредельная в своем фаталистическом оптимизме вера — не в чудо (ибо чуда нет в том, что неотвратимо идет из лона материальной данности бытия), не в творчество — ибо нет творчества в том, что механически порождается извне, но в «разумное», отвечающее реальным условиям экономической действительности «устройство» культурного творчества.

Только учитывая момент, можем мы понять то поистине олимпийское спокойствие, с каким вожди коммунистической духовной культуры взирали на ужасающую, еще на Руси невиданную, бездарность всех этих бесчисленных «пролетпоэтов», «пролетхудожников» и «пролетмузыкантов», жадной

саранчей истреблявших серые страницы советской бумаги, [а] также... советские кредитные билеты.

И в самом деле: что было им до того, что вся пресловутая «пролеткультура» в лучшем случае не поднималась выше убогого, детского подражания великим образцам культуры «буржуазной»: ведь для них вся суть дела была не в творчестве как таковом, но в той организации — экономической и классовой, — которая одна должна была механически породить все неизреченное богатство чаемой «пролетарской культуры».

Но тут пред нами вдруг раскрывается одно из поразительнейших противоречий павшего советского режима*. Дело в том, что из строгого смысла материалистической теории Маркса логически вытекала пассивная, фаталистически покорная и терпеливая практика социального, политического и культурного творчества. Ведь, по учению Маркса, даже так называемая классовая психология и классовая идеология должны быть функцией экономических связей, т. е. лишены самостоятельного бытия и недостижимы для волевых усилий человеческой активности. В тиши глухой борьбы за хлеб насущный сами собой зреют в мире неотвратимые грозные силы, которые в один прекрасный день принесут повсеместное торжество нового экономического (коммунистического) строя и новую пролетарскую идеологию. Так гласит исповедание веры. Но не такова была печальной памяти практика коммунизма. В ней не было и следа фаталистической резиньяции** перед великими экономическими силами, которые, по учению Маркса, держат в своих неумолимых руках судьбы мира. Напротив, вся работа коммунистов была пропитана яростным нетерпением, безумным лихорадочным чаянием того, что — по самому смыслу их веры — должно было прийти само по себе, «игрою внешних, чудных сил», независимо от того напряжения воли, любви и

* Во время Гражданской войны в Киеве происходила постоянная смена властей: белогвардейцев сменяли петлюровцы, поляки. Потом приходили немцы, зеленые, вслед за ними — красные... Это тяжелое страшное время блестяще запечатлел в своем романе «Белая гвардия» М. Булгаков. Окончательно советская власть в городе утвердилась осенью 1920 г. Однако до этого, на короткий период (февраль — июль 1919 г.), советская власть в Киеве уже устанавливалась. Именно этот момент времени имеет в виду в своей статье В. Асмус. (Здесь и далее примечания публикаторов.)

** Резиньяция (*лат.*) — покаяние, раскаяние (покаянное размышление).

ненависти — этой слепой игрушки могучих человеческих сил, правящих миром. Распаленным нетерпением большевистской психики объясняется весь пережитый нами, чуждый какого бы то ни было согласования с реальными условиями, политический и социальный максимализм; им же объясняется и максимализм в чаяниях неведомой новой пролетарской культуры.

Но так как чаяния не оправдались, и на нивах, полных кровью разъяренной классово-борьбы, не выросло никаких цветов, кроме кровавых цветов «Красного Евангелия»*, то поневоле большевикам пришлось создавать искусственные теплицы, где под опекой государственной коммунистической идеологии должно было искусственно взойти то, что не могло выйти естественным путем органического развития.

Так, в свете сознания собственной духовной немощи возникла непостижимая и невероятная система государственного протекционизма над творчеством, систем декретизации, искусственного оплодотворения духовной культуры. Постепенно идея механистического предопределения культурного процесса стала вытесняться обратной идеей полной власти человеческого (большевистского, конечно!) разума над всем безграничным морем духовного творчества.

Со времен рационалистических воспитателей человечества эпохи Просвещения мир не видал еще такого фанатического напряжения веры во всемогущество человеческого разумного сознания!

И этот запоздалый рецидив рационализма каким-то непостижимым образом должен был уживаться с центральной монистической идеей марксизма — с идеей механистического «наслоения» ценностей, определяемого вовсе не человеческим разумом, но имманентной логикой бытийственного материального процесса!

Никогда еще симбиоз Гегеля и Маркса не приносил таких чахлах, ужасающе бескровных, лишенных творческого семени плодов. На все искусство, науку легла тяжелая рука изуверства, рассыпавшая сухой дождь из миллионов декретов,

* Богоборческое «Красное Евангелие» в стихах написал народный революционный поэт, сатирик Василий Васильевич Князев (1887–1937), который был репрессирован во время «большого террора».

инструкций и листовок. В мертвой тишине, воцарившейся над некогда полнзвучным миром русской духовной культуры, раздавался тихий шелест бумаги и скрип казенных перьев.

И как неожиданно и необычайно ярко сверкнули в этой удушливой теме лирические откровения Александра Блока, Клюева и Есенина! Живое опровержение «государственного коммунистического рационализма», тесными узами спаянные со всем многовековым прошлым русской поэтической культуры, замечательные творения этих поэтов были, однако, немедленно экспропрированы большевистским государством и использованы для ужасающей идеи государственно-коммунистического разведения культуры. А везде и всюду поспешающие Ивановы-Разумники написали «философские» статьи, из которых русское общество должно было узнать, что синица уже зажгла море и что наступила и прочно вселилась в мир новая — «пролетарская культура».

Но по мере того как туча «декретов о творчестве» все темнее и темнее нависала над руинами русской культуры, а навстречу ей снизу все выше и выше поднималась гора испанной «пролетпоэтами» бумаги, становилось ясно, что вся эта машина огосударствления духовной культуры обречена в самом корне на неудачу, что она находится в самом резком противоречии с тем понятием о творчестве и о культуре, к которому все ближе и ближе подходит испытующая философская мысль современности.

С этой точки зрения мы и произносим свой беспощадный суд над всеми теми явлениями, которые в таком изобилии свершались на наших глазах в роковую годину великого пленения русской культуры.

Интерес к творчеству как таковому, свободное от предрассудков рационалистического и механистического мирозерцания исследование, идущее от поверхности великолепного и таинственного феномена культуры ко внутреннему сокровенному его смыслу, идея органической структурности всего духовного творчества — вот первые основания избранного нами пути.

И первая, неотложнейшая задача — раскрепощение всей духовной культуры из губительного, смертного пленения, в которое ее ввергло безумие современного коммунистического рационализма и механистического марксистского идолослужения.

В. Ф. Асмус

Философские задачи Логики (лекция pro venia legendi)*

Наш век есть век философский. Под этим надо разуть не столько то, что наше столетие обладает философией или что философия играет в нем господствующую роль, сколько то, что оно созрело для философии и поэтому крайне нуждается в ней: это — наша твердая точка на скале культуры веков.

А. Шопенгауэр**

I

Всякая духовная деятельность должна быть оправдана, должна доказать, что она направлена к удовлетворению человечески-значительной и неискоренимой потребности нашего духа. Религия, философия, искусство — на равных началах — подлежат суду оценивающего мировоззрения. Но и теоретическая деятельность, достигающая своего высочайшего завершения в изумительно-сложных и дифференциро-

* Впервые опубликовано: Путь. 1995. № 7. Pro venia legendi — для получения права чтения (лекций в университете) (лат.). — Примеч. ред.

** Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 1. С. 49. Пер. Ю. Айхенвальда. — Примеч. ред.

ванных системах наук, ничуть не вправе уклониться от указанного оправдания. Ни одна наука, как бы прочно ни была она обоснована в своих принципах, как бы тонко ни была она организована в своих методах, как бы далеко ни простиралась осуществленная уже в ней разработка материального содержания, — ни одна наука не вправе отказаться от ответа на вопросы: для чего она, какую ценность представляет она для жизни, какие изменения произошли бы в судьбе человечества, если бы эта наука вдруг перестала быть достоянием культуры.

Вопросы эти никогда не замирали на устах в истории научного и философского развития. Уже Сократ создал иерархию познавательных ценностей: над интуицией космоса, пленившего взоры древних «физиологов», он высоко вознес исследование вещей человеческих. А на закате древности усталая мысль Эпикура предписывает человеку воздержание от слишком высоких исследований и слишком далеких умозрений: человеческое познание должно опираться на верховный положительный принцип человеческого счастья, духовной ясности; то, что лежит вне этого принципа, не должно возбуждать любопытства человека.

Но если греки, создавшие, по верному замечанию Ницше, типы философского мышления, были зачинателями аксиологической критики научных ценностей, то во всей своей силе эта тенденция сказалась только в новейшее время.

Современное миросозерцание живет в могучем обаянии антропологизма. Со второй половины XIX века все сильнее и сильнее начинает пробивать себе дорогу идея о том, что знание само по себе еще не есть доблесть. Всякой познавательной деятельности должно предшествовать уразумение того, какое познание — достойнейшее. Всякое знание истинно, поскольку оно действительно есть знание, но не всякое истинное знание ценно. Существуют ненужные, хотя и истинные знания, и даже целые науки, истинные, но лишенные ценности. Ненасытной алчности познавательного инстинкта, беспрерывно расширяющего сферу своих исследований, следует противопоставить ограничивающую оценку. Аксиологическая критика должна будет расположить все знания как бы в некую пирамиду — сообразно мере их человеческой значительности и жизненной ценности. Царство истины — не двухмерное пространство, в котором все знания на одном плане и все равно желанны; царство истины — пространство трех

измерений, имеющее свою перспективу, рельеф и глубину; в нем одни истины, особенно важные для жизни, как бы выступают на передний план, в полосу яркого света; другие остаются в глубокой тени, как лишенные жизненной ценности и значения.

На исходе прошлого века Ницше и Лев Толстой с неслыханной дотоле силой дерзновения восстали против беспринципной и бесчеловечной объективности современной научной любознательности. Как бы ни были велики ошибки, обильно рассыпанные в суждениях о науке этих великих мыслителей, как бы ни были отуманены они страстью борьбы и противоречия, — в главном они правы: не жизнь должна возлагаться на алтарь науки, но, напротив, наука должна склониться перед верховными ценностями жизни; наука должна быть жизненно оправдана, если только она хочет сохранить за собою тот авторитет, которым она издревле пользуется.

II

Какова бы ни была судьба аксиологической критики научной культуры, мы полагаем, что мы должны и что мы вправе рассмотреть идею Логике в свете указанного воззрения. При этом тотчас открываются своеобразные трудности, которые на первый взгляд кажутся непреодолимыми.

Логика есть одна из философских наук, притом наука основная в системе философии. От исследований Античности — через Бэкона, Лейбница, Канта, Милля — вплоть до глубоких анализов Гуссерля философская традиция — при всей несовместимости принципиальных точек зрения — хранит непоколебимое убеждение в фундаментальном философском значении Логике.

Но если справедливо, что Логика представляет существенный элемент философии, одну из трех вообще возможных философских наук, по выражению Виндельбанда, если она связана с философией глубоким внутренним отношением предмета, проблем и методов исследования, то отсюда следует, что требуемое нами аксиологическое оправдание Логике не может осуществиться в пределах одной этой науки, но должно неизбежно связаться с оправданием всей философии.

В этом смысле совершенно прав Бенедетто Кроче, когда он говорит, что Логика как особенная наука даже немыслима и непонятна, «ибо она может быть продумана и понята только в связи с целым, от которого она неотделима: мышление без бытия непостижимо, так же непостижимо, как познание без воли, Логос без фантазии, конкретное без абстрактного, индивидуальное без всеобщего». Как всякая особенная философская наука, например этика и эстетика, Логика тотчас становится всей философией, как только мы захотим действительно ее продумать и изложить. Оправдать идею Логики — значит оправдать идею философской науки, идею философии вообще.

Это оправдание представляется гораздо более сложным и трудным, чем то, в котором нуждаются точные науки. Чистая математика и точные науки естествознания не требуют *теоретического* оправдания. Ясно отграниченные в своей области, отчетливо характеризованные своим предметом, строго обоснованные в методах, они предстают пред судом оценивающего мировоззрения как подлинные объективные науки, а не как шаткие наукообразные учения. В пределах точных наук, по мере их совершенствования, смолкают шумные споры из-за определения самих этих наук; если же сохраняются известные разногласия, то они не играют существенной роли, не знаменуют собою никаких опасных кризисов или конфликтов.

Правда, несовершенны все науки, даже и вызывающие такой восторг точные науки. По верному указанию Гуссерля, они, с одной стороны, не закончены, перед ними бесконечный горизонт открытых проблем, которые никогда не оставят в покое стремления к познанию; с другой стороны, в уже разработанном их содержании заключаются некоторые недостатки, там и сям обнаруживаются остатки неясности или несовершенства в систематическом распорядке доказательств и теорий. Но, как всегда, некоторое научное содержание есть в них в наличности, постоянно возрастая и все вновь и вновь разветвляясь. В объективной истинности, т. е. в объективно обоснованной правдоподобности удивительных теорий математики и естественных наук не усомнится ни один разумный человек. Здесь, говоря вообще, нет места для частных «мнений», «воззрений», «точек зрения». Поскольку они в отдельных случаях еще встречаются, постольку наука оказывается еще не устано-

вившеюся, только становящеюся, и как такая всеми подвергается обсуждению.

И потому точные науки должны быть оправданы не в том смысле, в каком Кант говорил об оправдании априорной природы математики и естествознания, но лишь в том смысле, в каком Толстой и Ницше требовали от современной культуры отчета в ее человеческой значимости: надо показать, что точные науки неизбежно вытекают из наших потребностей и что по мере их развития повышается ценность и достоинство человеческой жизни. Ни в каком другом оправдании они не нуждаются.

III

Совсем в ином положении философия. Прежде чем говорить о том, для чего нужна она, философия обязана сказать, что она такое. Аксиологическому оправданию философии, обязательному для нее и общему со всеми точными науками, должно предшествовать специальное оправдание ее теоретической достоверности. Между тем задача эта ни разу еще не была выполнена за весь двухтысячелетний период борьбы философских систем и воззрений. Относительно философии доньше не выяснены с полной отчетливостью ни ее предмет, ни ее задача, ни подлежащая ей сфера исследований, ни присущие ей методы. Эта роковая неудача философии, ее «крушение в море бесконечности» не раз служило предметом изумления и испытующего внимания самих философов. В наши дни два таких различных по философскому темпераменту мыслителя, как Дильтей и Гуссерль, чрезвычайно ярко изобразили теоретическую беспомощность философии.

По мысли Гуссерля, даже самый смысл философской проблемы еще не приобрел научной ясности. Философия, по своей исторической задаче высшая и самая строгая из наук, не может выработаться в действительную науку. Признанная учительница вечного дела человечности, философия оказывается вообще не в состоянии учить. Кант любил говорить, что можно научиться только философствованию, а не философии. Что это такое, как не признание ненаучности философии? Насколько простирается наука, действительная наука, настолько можно учить и учиться, и притом повсюду в одинаковом смыс-

ле. Нигде научное изучение не является пассивным восприятием чуждых духу материалов, повсюду оно основывается на самодеятельности, на некотором внутреннем воспроизведении — со всеми основаниями и следствиями — тех идей, которые возникли у творческих умов. Философии нельзя учиться потому, что у нее нет таких объективно обоснованных идей; ей недостает еще логически прочно установленных и, по своему смыслу, вполне ясных проблем, методов и теорий.

Философия не просто несовершенная наука — в том смысле, в каком мы выше охарактеризовали несовершенство точных наук; философия еще вовсе не наука, в качестве науки она еще не начиналась. Все вместе и каждое в отдельности в ней спорно, каждая позиция в определенном вопросе есть дело индивидуального убеждения, школьного понимания, «точки зрения».

Пусть то, что мировая философская литература предлагает нам в старое и новое время, основывается на серьезной, даже необъятной работе духа; более того, пусть все это в высокой мере подготавливает будущее построение научно-строгих систем: но в качестве основы философской науки в настоящее время ничто из этого не может быть признано, и нет никаких надежд с помощью критики выделить тут или там частицу подлинного философского учения.

Эта анархия философских систем является, по наблюдению Дильтея, одной из наиболее действительных причин, не перестающих доставлять все новую и новую пищу скептицизму. Основанное на свидетельствах истории сознание непримиримого противоречия между многообразием философских систем и притязанием каждой из них на общезначимость гораздо сильнее питает дух скептицизма, чем какая бы то ни было систематическая аргументация. На протяжении многих столетий дух человеческий испытал и проверил множество всевозможных попыток научно обосновать, поэтически изобразить или путем религии возвестить взаимную связь между вещами, и методическое, вооруженное ножом критики историческое изыскание исследует каждый обломок, каждый след этой многовековой работы. Одна система исключает другую, одна другую опровергает и ни одна не в состоянии доказать свою непогрешимость. В свидетельствах истории философии нельзя найти и следа той мирной беседы, которая изображена у Рафаэля в его «Школе в Афинах», которая отвечает эклектическому духу той эпохи, но уж никак не критическому радикализму нашего времени.

IV

Логика как философская наука не является — ни в каком отношении — наиболее счастливой, наиболее прочно обоснованной и разработанной частью философии. Однако потребовалось немало времени для того, чтобы философы сознали научное несовершенство Логике. Еще полтора столетия лет назад Кант — в предисловии ко второму изданию «Критики Чистого Разума», а также в лекциях по Логике, изданных Йеше, — указывал на Логике как на образец того, чем должна быть подлинная философская наука. По мысли Канта, разработка Логике с древнейших времен уже направилась по надежному пути науки. Это видно из того, что со времен Аристотеля она не принуждена была сделать ни одного шага назад, если не принимать в расчет исключение некоторых ненужных тонкостей и более ясное изложение. Есть лишь немного наук, достигших столь устойчивого состояния, что они более не изменяются. К их числу принадлежит Логике, которая, по-видимому, имеет совершенно замкнутый, законченный характер.

Немного времени прошло с тех пор, как были сказаны эти слова, — и от всеобщего убеждения в научной завершенности Логике не осталось камня на камне. Уже в плодотворных критических исследованиях самого Канта заключалось множество идей, которые должны были поколебать внушительную твердыню традиционной Логике. В наше время ни один честный и беспристрастный мыслитель не решится утверждать, будто Логике удовлетворяет понятию строгой науки. Если некоторые представители неокантианства, например Введенский, утверждают все же, что Логике — наука точная и тем самым выгодно отличается от психологии, с ее неустановившимся содержанием, с бесконечными спорами по поводу каждого ее положения, то в упорстве, с каким Введенский отстаивает свои утверждения, следует видеть лишь результат весьма узкой и — смеем сказать — недостаточно вдумчивой точки зрения.

Напротив, многие замечательнейшие мыслители, не менее, чем Введенский, проникнутые уважением к точному знанию, согласны между собою в том, что Логике далека еще от идеала подлинной науки. Еще Милль отметил, что авторы сочинений по Логике сильно расходятся между собою как в определении этой науки, так и в изложении ее деталей. По мысли Милля, разнообразие это представляет естественное следствие научно-

го несовершенства Логике. Пока науки не достигли совершенства, их определения должны быть также несовершенны; и если прогрессируют первые, должны прогрессировать и последние.

Но и капитальному труду Милля, пролившему столько света на труднейшие проблемы научного метода, не было суждено положить конец неясности в определении философских задач Логике. Вот почему, когда в наши дни Гуссерль задумал новую методологическую переоценку всех результатов новейшего развития Логике, ему пришлось признать, что и поныне слова Милля являются верным отражением состояния науки Логике. Правда, нельзя сказать, чтобы современная Логика представляла ту же картину, как и в середине XIX столетия. Под влиянием Милля из трех главных направлений, которые мы находим в Логике: психологического, формального и метафизического, — психологическое получает значительный перевес — и по числу, и по значению своих представителей. Но оба другие направления все же продолжают существовать, спорные принципиальные вопросы, отражающиеся в различных определениях Логике, остались спорными, а что касается содержания логических учений, то о нем еще теперь, и, пожалуй, в большей мере, чем прежде, можно сказать, что различные авторы пользуются одинаковыми словами, чтобы выразить разные мысли. И это относится не только к изложениям, исходящим из разных лагерей. В том направлении, в котором царит наибольшее оживление, — в психологической Логике — мы встречаем единство взглядов только по вопросу об отграничении Логике, о ее основных целях и методах; во всем остальном содержании развиваемых учений, особенно же в противоречивом толковании традиционных формул и теорий, нас ждет тот же хаос противоречивых мнений или, говоря словами Гуссерля, та же война всех против всех.

V

При таком состоянии науки, когда нельзя отделить индивидуальных убеждений от общеобязательной истины, приходится постоянно сызнова возвращаться к рассмотрению принципиальных вопросов. Но добытое в таком рассмотрении понимание целей науки находит себе выражение в ее определении. Поэтому определение философских задач Логике получает по

отношению к этой науке особенно важное значение, далеко не исчерпывающееся одними формальными стремлениями научного педантизма.

Как известно, Гегель полагал, что в Логике сильнее, чем в какой бы то ни было другой науке, чувствуется потребность начинать без предварительных рефлексий, с самой сути дела; от всех прочих наук Логика отличается тем, что в ней — и только в ней — дано налицо единство предмета и метода исследования. По мысли Гегеля, Логика не может предполагать заранее никакой из форм рефлексий или правил и законов, так как все они составляют часть самого ее содержания и должны поэтому быть сначала обоснованы в ней самой. Самое понятие науки принадлежит к ее содержанию и притом составляет ее последний результат; она не может поэтому сказать заранее, что она такое, но все ее изложение должно привести к этому знанию о ней самой, как к ее венцу и завершению. Поэтому Гегель отказывается дать определение Логике: все, что он предпосылает в Введении к своему знаменитому сочинению по Логике, имеет целью, по его собственным словам, не обосновать понятие Логике, ни даже предварительно оправдать ее содержание и метод, но путем некоторых пояснений и размышлений в резонирующем и историческом духе сблизить с представлением ту точку зрения, с которой следует смотреть на эту науку.

В деловитом уклонении от предварительных исследований и определений весьма близок к Гегелю столь глубоко чуждый ему во всех других отношениях Джон Стюарт Милль. По Миллю, предварительное определение столь сложного сочетания частных, какое представляет любая наука, редко оказывается вполне подходящим при более обстоятельном изучении предмета. Все, чего можно ожидать от определения, выставляемого в начале Логического трактата, — это чтобы оно отграничивало область предстоящих исследований. Исходя из таких соображений, Милль высказывает пожелание, чтобы определение Логике, предложенное им самим, считали не более как формулировкой вопроса, который он поставил самому себе и который он пытался разрешить в своем сочинении.

Мы не можем, однако, согласиться с таким решением вопроса, ибо оно превратно прежде всего с методологической точки зрения. Следуя за Гуссерлем, мы далеки, правда, от наивной мысли, будто успешной разработке какой-либо науки должно предшествовать безупречно-точное логическое определение

ее сферы. В определениях науки отражаются этапы ее развития; вместе с наукой и следуя за ней развивается познание ее своеобразного предмета, положения и границ ее области.

Однако степень точности определения и выраженного в нем понимания предмета науки со своей стороны оказывает обратное действие на ход самой науки; в зависимости от того, насколько далеко определения отклоняются от истины, действие это может оказывать то небольшое, то весьма значительное влияние на развитие науки. Всякое определение существа науки есть отграничение определенной сферы, подлежащей ведению именно этой науки. Но область всякой науки есть объективно-замкнутое единое целое, и мы не можем произвольно разграничивать области различных истин. Толчок к исследованию должен исходить не от наших мыслей о предмете, а от самих вещей и проблем. Царство истины объективно делится на области, и исследования должны вестись и группироваться в науке сообразно этим объективным единствам. Поскольку науке удастся уловить в определении свой предмет, постольку можно считать обеспеченным и успех дальнейшей разработки.

VI

Таким образом, Логика необходимо должна начать с определения своего понятия или — что то же — своей философской идеи. Мы надеемся показать, что искомое теоретическое оправдание Логике не только мыслимо как регулятивная идея; оно — реально осуществимо.

Исключительно благоприятное положение Логике заключается вовсе не в добытых уже ею результатах, как думал Кант или думает Введенский, но в том, что Логика может и должна быть ориентирована на факте существования точного знания. Только в таком обосновании мы найдем точку опоры для преодоления основной трудности, связанной с проблемой аксиологического оправдания не только Логике, но и философии вообще.

Принципы и нормы мышления, которые Логика открывает или пытается открыть в анализах функции суждения, имеют, разумеется, всеобщее значение для всякого мышления: как теоретического, так и практического. В этом отношении со-

вершено прав Зигварт, когда, определив Логике как «техническое учение», как «технологию мышления», он упрекает гносеологическую Логике в односторонности, в том, «что она забывает о другом мышлении, которое должно руководить нашими поступками». Против насильственного, искусственного отрыва «практики» от «теории», действия от познания, этики от Логике говорит не только Зигварт: о нем вопиет вся жизнь, свидетельствует вся история культуры.

Еще Фихте-старший утверждал, что «сознание действительного мира вытекает из потребности действия, а не наоборот». В наши дни, когда, по словам философа, духовная жажда стала поистине нестерпима, различные течения философской мысли: гуманизм Шелера, прагматизм Джемса, интуитивизм Бергсона и Лосского, гносеологическое учение Франка — согласно стремятся свести отвлеченное знание и понятие теоретической истины к чему-то более глубокому и первичному, что можно было бы назвать, по хорошему определению Франка, живым или цельным знанием, знанием-жизнью.

Как ни понятна психологически эта могучая синтетическая тенденция нашей культуры, она не может оказать решающего влияния на определение предмета Логике. В качестве науки Логике должна быть обращена не к естественной стихии человеческого мышления — в том виде, в каком оно произвольно вырастает и непрерывно осуществляется в теоретическом и практическом опыте жизни, — но лишь к самым организованным и наиболее дифференцированным формам научного знания, притом знания теоретического. Что дело обстоит именно так, станет ясным, когда мы рассмотрим идею философии.

VII

Необычайно плодотворное значение логических и феноменологических исследований Гуссерля состоит, на наш взгляд, в том, что этот великий мыслитель впервые с совершенной ясностью установил двойственную природу философии. По мысли Гуссерля, необходимо различать философию как мудрость и философию как знание, или, иными словами, философию как мирозерцание и философию как строгую науку. Они находятся в известном отношении друг к другу, но не могут быть сведены к одному началу.

Мудрость есть идеал той совершенной искусности, которая достижима при данной форме жизни в сфере всех возможных направлений человеческого отношения к совершающемуся. Говоря иначе, мудрость есть момент относительно совершенного воплощения идеи гуманности. Мудрость является необходимым идеалом культуры, ибо каждый должен стремиться быть возможно более и всесторонне искусной личностью, умелым по всем основным направлениям жизни, в каждом из этих направлений возможно более «испытывать», быть возможно более «мудрым», а потому и возможно более «любить мудрость», т. е. быть «философом» в самом первоначальном смысле этого слова. Усвоение внутренне богатой, но для себя самой еще темной и непостигнутой мудрости, живущей в душе великой философской личности, открывает возможность логической обработки, а на более высокой культурной степени — применения логической методики, выработанной в точных науках. И когда живые, и потому наделенные громадной силой убеждения учения мудрости получают не только отвлеченную формулировку, но и логическое развитие, а добытые результаты приводятся к научному объединению, — тогда из первоначально непостигнутой мудрости вырастает философия мирозерцания. В своих великих построениях философия эта относительно наилучшим способом разрешает и уясняет те теоретические, аксиологические и практические несогласованности жизни, которые лишь несовершенным образом могут быть превзойдены опытом.

Исторические философии, несомненно, все были философиями мирозерцания, поскольку над их творцами господствовало влечение к мудрости. В этом вся их сила, но в этом и их недостаточность. Сила в том, что всякое, хотя бы относительно слаженное, мирозерцание удовлетворяет жгучей потребности, которая должна быть осуществлена каждой личностью в ее отдельной жизни. Философская нужда, как нужда в мирозерцании, подгоняет нас. В потоке жизни, в практической потребности оценки, личность не может ждать тысячелетия, пока наука будет в состоянии дать точный отчет обо всем сбывающемся. Личность должна занять позицию, должна пытаться уничтожить — в разумном, хотя бы и ненаучном, мирозерцании — дисгармонии нашего отношения к действительности. Для личности действительность: темная, непознанная — имеет всю полноту значения, и личность, в свою очередь, желает иметь в ней значение.

Недостаточность мирозерцательной философии в том, что она, по самому существу своему, не есть наука, она всегда будет, самое большее, научным полуфабрикатом, или неясным и недифференцированным смещением мирозерцания и теоретического познания. Мирозерцательная философия представляет сознание отдельной личности. Она учит так, как учит мудрость: личность обращается тут к личности. Только тот имеет право поучать в стиле такой философии, кто призван к тому своей исключительной своеобразностью и мудростью. Но мудрость не сводима к знанию. И потому мирозерцательная философия должна отказаться вполне честно от притязания быть наукой. Она лишена той вневременной объективности и всеобщей значимости, которая отличает содержание подлинной науки. Рожденная из потребностей времени, меняющаяся вместе со временем, мирозерцательная философия ни в какой мере не является даже предварением научной философии, несовершенным ее осуществлением во времени.

Тем не менее представители мирозерцательной философии постоянно пытаются стереть четкую линию, отделяющую мудрость от знания. Что такое, например, «позитивизм», как не типичная форма непоследовательности, с какою современный скепсис останавливается перед положительными науками, приписывая им объективную ценность и общезначимость? Позитивизм стремится выдать себя за подлинную научную философию, строящую свои здания на основе прочных наук. Принимая за устойчивый материал все данности строгих отдельных наук, позитивизм, однако, оказывается вдвойне несостоятельным.

С одной стороны, как философия мирозерцания, он не в силах удовлетворить основную нужду этой философии. Напротив, нужда эта растет все больше и больше, чем далее распространяются границы положительных наук. Неимоверное изобилие научно «объясненных» фактов принципиально создает вместе с науками в их целом как бы новое измерение загадок, разрешение которых является для нас жизненным вопросом. Говоря словами Лотце, «учесть ход мировой жизни не значит понять его». Естественные науки не разгадали для нас — ни в одном отдельном пункте — загадочность актуальной действительности, той действительности, в которой мы живем и действуем. Общая вера в то, что это — их дело, что они принципиально в силах это сделать и что они только еще недостаточно

развились, — есть просто одно из суеверий современной культуры. Философия как наука, если только она вообще возможна, должна быть принципиально построена совсем иначе, чем естествознание, хотя она вступает в существенное отношение с естествознанием в некоторых областях.

С другой стороны, в своем притязании на право почитаться «научной» философией позитивизм исходит из неверного или, вернее, недостаточного понятия о «научности». Научность дисциплины создается целой системой условий, к которой помимо теоретической надежности оснований принадлежит также: научность проблем, указывающих цель исследования, научность методов и особенно некоторая Логическая гармония между главными проблемами, с одной стороны, и как раз этими основами и методами — с другой. Но ни позитивизм, ни какая-либо другая из популярных, якобы научных мирозерцательных философий не удовлетворяют всем этим условиям, образующим идею подлинной науки. Исторический успех позитивизма свидетельствует лишь о том, что идеи мирозерцательной и научной философии недостаточно ясно разграничивались в исторической философии. Наше время призвано исправить эту ошибку. Строго разделенные в современном сознании, отныне и во все времена обе философии эти должны отличаться как не допускающие смешения, хотя и связанные в известном смысле между собой. Здесь не может быть никакого компромисса, как не может его быть ни в какой другой науке.

Что касается идеи строго научной философии, то приходится признать, что до сих пор отсутствует какое-либо ее осуществление, ибо до сих пор не существует никакой философии, действующей в качестве строгой науки. Тем не менее такая философия может и должна существовать. Как это ни странно может показаться после всего сказанного выше, но уже из того обстоятельства, что философская критика разрушила все притязания исторически-данных философских систем на строгую научность, мы можем заключить, что у нас есть идея философии как строгой науки.

Ведь убеждение в научной несостоятельности прошлых построений мы вывели вовсе не из исторического наблюдения непрерывной смены взаимопроверяющих философских систем: в каждом отдельном случае мы опирались на чисто принципиальные соображения. Исторические основания сами по себе в состоянии породить только исторические след-

ствия. Желание обосновать или отвергнуть *идеи* на основании *фактов* — это бессмыслица: *ex pumice aquam*^{*}, как цитировал Кант. История философии, как и всякая история, не может сказать ничего серьезного ни против возможности абсолютно значимого знания, ни против возможности научной философии. Даже утверждение, что *до сих пор* не было научной философии, она не в силах, как история, сколько-нибудь обосновать. Философская критика, поскольку она в состоянии для всех быть объективно убедительной, сама есть философия и как такая включает уже в себе идеальную возможность философии в качестве строгой науки. Безусловное и всеобщее отрицание научной философии на том основании, что мнимые попытки тысячелетий сделали почти очевидной внутреннюю невозможность такой философии, явно нелепо. Оно ложно не только потому, что умозаключение от двух тысячелетий высшей культуры к бесконечному будущему является весьма плохой индукцией. Оно превратно — и это главное — как абсолютная бессмыслица, как дважды два пять. Если философская критика находит перед собою нечто, что надо отвергнуть с объективной необходимостью, если она находит, что известные проблемы поставлены «неверно» в определенном смысле, то необходимо должно существовать возможное их исправление, прямая и верная постановка. Всякая справедливая проникновенная критика сама уже дает средства к дальнейшему исследованию, указывает истинные цели и пути и, стало быть, способствует обоснованию объективно-значимой науки.

В отличие от текущего, меняющегося содержания мирозерцательной философии, философия как строгая наука основывается не на материалах, но на сверхвременной *universitas*, впервые обретенной в понятии точных наук. Такая наука создается не творческим порывом эфемериды-личности, но коллективным преемственным опытом всего научно-исследующего человечества. Поколения за поколениями работают с одушевлением над громадным зданием науки и присоединяют к нему свои скромные произведения, ясно сознавая при этом, что здание науки бесконечно и никогда и нигде не найдет своего завершения. Мирозерцания могут спорить: только наука

* *Ex pumice aquam* [postulare] — букв. [требовать, сделать] из пемзы воду (*лат.*), т. е. требовать невозможного. — *Примеч. ред.*

может решать, и ее решение несет на себе печать вечности. Наука социальна и потому сверхлична. Ее работник нуждается не в мудрости, а в теоретической одаренности. Его вклад обогащает сокровищницу вечных ценностей.

Только тогда, когда в сознании самих философов всецело осуществится разграничение мудрости и знания, можно будет мечтать о том, что философия примет язык и форму истинной науки. Тогда она признает своим несовершенством то, что в ней столько раз превозносили до небес и даже выставляли предметом подражания, а именно глубокомыслие. Глубокомыслие есть знак хаоса, который подлинная наука стремится превратить в космос, в простой безусловно ясный порядок. Подлинная наука не знает глубокомыслия в пределах своего действительного учения. Каждая часть готовой науки есть некоторая связь умственных поступков, из которых каждый в отдельности непосредственно ясен и совсем не глубокомыслен. Глубокомыслие есть дело мудрости; отвлеченная понятность и ясность — дело строгой науки. Наука сказала свое слово, с этого момента мудрость обязана учиться у нее. Превращение чаяний глубокомыслия в ясные рациональные образования — вот в чем заключается существенный процесс новообразования строгих наук.

Мы пришли, таким образом, к искомому аксиологическому оправданию философии. Философия есть двойственная стихия мудрости и знания; ее эволюция есть, говоря словами Бергсона, развитие в образе снопа. Обе эти расходящиеся тенденции имеют совершенно одинаковые права на существование и развитие. Они представляют два вечных идеала человеческой культуры. Принципиальная несводимость мудрости к знанию не должна — ни в какой мере — приводить к умалению ценности миросозерцательной философии. Напротив, мы не должны вводить себя в заблуждение фанатизмом «научности», не должны отвергать все, что не допускает «научно-точного» изложения и обоснования. Наука является только одною среди других одинаково правомерных ценностей.

VIII

Из этого оправдания философии необходимо следует такое же оправдание Логик. Как основная философская наука, Логика обращена не к мудрости, но к знанию. Логика исходит

из идеи науки: чистой математики и точных наук естествознания. В основе всех этих наук, по крайней мере тех из них, которые имеют дело с реальной действительностью, лежит целый ряд весьма существенных, хотя зачастую даже незаметных для самих исследователей предпосылок, которые не могут быть выведены из специального теоретического содержания этих наук и которые все относятся к тому, что Аристотель называл «первой философией». Так, например, все естественные науки покоятся на молчаливом допущении, что существует внешний мир, что он расположен в пространстве и во времени, что пространство представляет математическое многообразие трех измерений, а время — идущее в одном направлении, необратимое многообразие одного измерения, что всякое явление подлежит закону причинности и т. д. Совершенно очевидно, что все эти предпосылки, без которых немислима ни одна эмпирическая наука о природе, носят чисто философский, метафизический характер. Ясно также, что пока мы не зафиксируем и не исследуем всех этих предпосылок, науки не смогут нас удовлетворить в теоретическом отношении — в смысле внутренней ясности и рациональности. Сказанное справедливо даже относительно математики. Стоит только вспомнить старые, но все еще не решенные споры об основах геометрии или о правомерных основаниях метода мнимых величин.

Таким образом, для достижения полного теоретического совершенства все отдельные науки должны быть восполнены метафизикой или первой философией. Исследованиям такого рода посвящена огромная часть современной философской работы, хотя большинство авторов называют эти исследования гносеологическими.

Но этого еще не достаточно. Метафизическое изучение предпосылок научного знания относится только к наукам, имеющим дело с реальной действительностью. Но ведь, кроме этих наук, есть еще математика, имеющая совсем иную задачу. Предметы математических наук — числа, многообразия и т. п. Все они мыслятся нами совершенно независимо от того, существуют они в реальности или нет. Они — носители чисто идеальных определений.

Отсюда видно, что независимо от метафизики должна существовать еще одна особая наука, построенная таким образом, чтобы она могла исследовать последние основания всех наук вообще: математики и естествознания. Такая на-

ука должна будет выяснить самое понятие науки — во всей полноте его конститутивных теоретических моментов. Иначе говоря, она должна исследовать, что делает науки науками, что придает им характерную форму наук, что определяет их взаимные границы, их внутреннее расчленение на области и на относительно замкнутые теории. Наука эта и есть Логика. Ее предмет — не познание вообще, не изучение элементарных познавательных актов мышления. Даже если бы мы обладали полным и систематическим познанием всего присущего нашему мышлению многообразия элементарных познавательных операций, мы еще не имели бы *науки* Логики. В качестве настоящей науки Логика начинается лишь тогда, когда философская рефлексия направит свое внимание на то, как из первоначальных, стихийно возникающих теоретических запросов и опытов вырастает космос науки, с ее идеальной объективной структурой, с присущей ей целесообразной организацией проблем, методов и теорий. Логика есть наука о науках, или Наукоучение.

Но возможна ли Логика в качестве наукоучения? Осуществима ли такая наука, которая имела бы дело с самым понятием науки, которая могла бы определить, каковы условия, делающие науки науками, и которая была бы справедлива для всех без изъятия наук, к какой бы из них мы ни задумали приложить установленный критерий научности? Ведь может же быть и так, что каждая наука, или, по крайней мере, каждая группа связанных между собою наук настолько своеобразна в своей принципиальной и методологической структуре, что отпадет всякая возможность установить общее для всех наук понятие или нормативную идею науки.

Для решения этого вопроса рассмотрим природу научного знания.

Каждая наука направлена на знание. В действительном знании мы обладаем истиной; истина же высказывается в правильном суждении. Однако не всякое правильное, т. е. согласное с истиной суждение есть знание в строгом смысле. Я говорю, что «квадрат, построенный на гипотенузе, равняется сумме квадратов, построенных на катетах». Это мое суждение истинно, ибо то, что в нем утверждается, есть на самом деле. Однако знанием это правильное суждение можно назвать лишь в том случае, когда высказывание его сопровождается очевидностью, светлой уверенностью, что то, что мы в нем признали,

действительно имеет место. Знание основывается не на слепой вере, не на смутном, хотя бы самом решительном мнении, но на очевидности. Между тем в обычном словоупотреблении знанием называют всякое высказывание истинного суждения, хотя бы это высказывание и не сопровождалось очевидностью. Часто ученик говорит: «Я знаю пифагорову теорему, я могу ее доказать» или же: «Я знаю, но я забыл ее доказательство». Такое знание не есть знание. В сущности, оно сводится к ясному воспоминанию о том, что в моем прошлом было время, когда мое высказывание содержания пифагоровой теоремы было соединено с сознанием полной очевидности; в особенности это справедливо, когда воспоминание касается хода доказательства, из которого проистекла эта очевидность. Только очевидность может служить совершеннейшим признаком истинности; в очевидности мы как бы непосредственно овладеваем истиной.

Допустим теперь, что мы имеем уже такое истинное, т. е. основанное на очевидности знание. Пусть даже у нас будут весьма многочисленные отдельные знания. Ясно, однако, что они еще не образуют науки. Правда, все науки стремятся к многообразию знания, но они стремятся не только к одному многообразию. Но, может быть, наука образуется там, где множество отдельных знаний связано реальным внутренним сродством, относится к одному и тому же предмету познания? — И этого недостаточно. Пучок разобщенных химических знаний, как бы истинно ни было каждое из них в отдельности, еще не составляет *науки* химии.

Для науки требуется помимо множества действительных знаний, помимо их реального средства прежде всего *обоснование* знания и надлежащий порядок и связность в ходе обоснования. Наука имеет право почитаться наукой лишь тогда, когда в ней объективно дано, т. е. запечатлено в ее литературе, единство связи обоснований, когда не только отдельные знания, но и сами обоснования, а с ними и высшие комплексы обоснования, называемые теориями, сведены в ней к единству. Цель науки — не знание вообще, но знание в той форме, которая соответствует нашим высшим теоретическим задачам.

Это стремление к стройному порядку доказательств, к систематической форме объясняется не только естественной экономией мышления, принципом наименьшей траты психических сил, как думают представители эмпириокритицизма. Также

нельзя его объяснить и эстетической чертой природы нашего мышления. Наука не должна быть продуктом и поприщем самодовлеющей эстетической или архитектурной игры. Систематика — разумеется, там, где она не есть создание пустой схоластики, — систематика, присущая подлинной науке, не есть наше изобретение; она коренится в самих вещах, и мы ее просто находим и открываем.

Поэтому исследование и изложение истин тоже должно быть систематическим, оно должно отражать в себе природные систематические связи вещей. Достижение такого верного отражения дается не легко. Очевидность всякого знания не есть нечто такое, что само по себе, естественным путем и без каких бы то ни было искусственных и методических приемов возникает вместе с нашим представлением о совершающемся. К чему бы людям создавать науки, исследовать связи оснований и строить доказательства, если бы они могли приобщиться к истине путем непосредственного овладения ею? Природа скрыла от нас истину за тысячью покрывал, и в каждом отдельном случае мы вынуждены как бы хитростью и настойчивостью вырывать у нее отгадку вопроса.

Как известно, Шопенгауер полагал, что доказательствам вообще придали слишком много значения. Хотя доказательства непогрешимы, однако они только подводят нас под высшие положения или аксиомы науки. Но ведь именно в этих высших аксиомах и определениях заключается весь фонд научной истины, а их-то мы и не имеем права подвергнуть дальнейшему доказательству: они опираются на воззрение, на интуицию непосредственной очевидности. В последнем пределе истина дана нам как видение поэта.

С этим воззрением нельзя согласиться, ибо оно явно преувеличивает непосредственность научной очевидности. На самом деле непосредственно очевидность проявляется только в весьма ограниченной группе примитивных фактических отношений. Бесчисленные истинные положения отдельных наук познаются нами как истины лишь тогда, когда мы их методически обосновали. В огромном большинстве случаев процесс приобщения к истине состоит в том, что при первом знакомстве с известным положением у нас возникает решение, быть может, и имеющее форму суждения, но еще далекое от очевидности. К последней нас приводят именно обоснования.

Рассматривая ближе природу обоснований, мы открываем в них два замечательнейших свойства, и именно эти-то свойства и делают возможным существование Логике в качестве наукоучения.

Само по себе, до сравнительного рассмотрения бесчисленных конкретных примеров обоснований, было бы мыслимо, что каждое обоснование по своей форме и содержанию совершенно своеобразно одинаковой мере всех наук и как дополнение к ним особые исследования, посвященные теории и методу частных наук.

Из всего сказанного ясно, что Логика, в качестве Наукоучения, есть наука практическая и нормативная.

Науки, теории, обоснования, вообще все, что мы называем методом, суть творения человеческого ума, направленные к известной цели. В зависимости от того, соответствуют ли они той цели, к которой стремятся, они подлежат *нормативной* оценке. Эта оценка по праву принадлежит Логике, которая исследует, что относится к истинной науке, и которая одна может решить, отвечают ли эмпирические данные науки своей идее, в какой мере они к ней приближаются и в чем от нее уклоняются.

Когда же наукоучение ставит себе более широкую задачу, когда оно не только дает критерий научного знания, но также стремится исследовать те *реальные* условия, которые находятся в нашей власти и от которых зависит осуществление правильных методов, — тогда оно становится техническим учением о науке. Такая общая технология всех наук должна установить, с помощью каких методических ухищрений мы можем добиваться истины, как мы можем верно разграничивать и строить науки, как мы должны изображать или применять полезные для науки методы и как во всех этих случаях мы можем уберечь себя от ошибок.

IX

Сказанным достаточно определяется нормативный, практический характер Логике. Но действительно ли этой нормативной компетенцией исчерпывается весь предмет Логике, действительно ли Логика есть *только* Наукоучение, *только* верховный судья и вожатый в искусстве построения правиль-

ных наук? Не относится ли к существу Логике помимо ее нормативной функции еще и некоторое *чисто теоретическое* содержание?

Об этом в науке существует целый спор, и мы должны в нем разобраться.

Многие исследователи, особенно психологического направления, лишают Логике всякого чисто теоретического содержания. Так Зигварт, исследователь чрезвычайно внимательный к вопросам метода, настаивает на том, что Логика — только «технология», не физика, но этика мышления.

В сущности, весьма недалеко от такого понимания задач Логике и нормативная точка зрения Риккерта, Виндельбанда и их последователей. В освещении этих авторов Логика тоже утрачивает право почитаться теоретической наукой; ее значение сводится к практическому нормированию мышления. Делу не помогает и то различие между абсолютными и условными нормами, которое Кронер, последователь Риккерта, пытался обосновать в полемике с Гуссерлем, отстаивая строго нормативный характер Логике.

Не убеждает нас и учение Виндельбанда о двоякой природе логических принципов мышления. По Виндельбанду, логические законы отмечены двойственностью. Одной своей стороной они обращены к эмпирическому сознанию, для которого они служат правилами в его стремлении к достижению истины. С другой стороны, они сохраняют свое внутреннее идеальное значение — совершенно независимо от реальных процессов эмпирического мышления. В качестве технической науки о правильном мышлении Логика должна — на той стороне своей, которая обращена к эмпирическому сознанию, — открыть нормы мышления. Однако идеальный смысл, обоснование и первичная верность этих норм должны быть раскрыты совершенно независимо от того, существуют ли на деле или нет те эмпирические субъекты, представление которых иной раз подчиняется этим нормам, иногда же — нарушает их.

Как ни ясно намечена здесь мысль об идеальной природе логических принципов, для Виндельбанда все же Логика остается существенно нормативной наукой. Для него, как и для всех исследователей этого направления, Логика есть наука не о бытии, не о сущем, с его непреложными законами, а о должествовании: она изучает, по верному замечанию Лосского, не то, что есть, а то, что должно быть, — правильное мышление.

С таким узким пониманием задач Логике нельзя согласиться. Уже Липпс в своих основах Логике в сжатой, но энергичной формуле противопоставил всем нормативным учениям о Логике следующее основательное соображение: вопрос, что мы обязаны делать, всегда сводится к вопросу, что нужно сделать, чтобы достигнуть какой-либо определенной цели, а этот вопрос, в свою очередь, сводится к вопросу о том, как цель фактически достигается.

Еще сильнее выразился о нормативной Логике Бенедетто Кроче: по его замечанию, ценность как предмет философской Логике есть сама логическая действительность и ее факты — ценность и норма сами в себе, именно поскольку они существуют и действуют.

Возражения Липпса и Кроче весьма существенны: оба они утверждают, что задачи Логике не исчерпываются функцией нормирования мышления; система логических норм — в последнем счете — сама покоится на некотором чисто теоретическом содержании.

Однако замечания Липпса и Кроче слишком кратки. Кроме того, — и это очень важный недостаток — у Липпса и у Кроче решение вопроса о том, существует ли в составе Логике теоретическая часть, сливается и смешивается с решением другого, принципиально отличного вопроса — о том, из какой конкретной области теоретического знания почерпает Логика свое предполагаемое теоретическое содержание.

Совершенно ясно, что, например, в возражении Липпса мысль о том, что Логика есть некоторая чисто теоретическая наука, неразрывно сплетается с характерным для Липпса убеждением, что эта теоретическая наука есть часть психологии, именно психологии мышления. И действительно, в другом сочинении Липпса — «Задача теории познания» — мы читаем следующее: те нормы, которым надо следовать, чтобы мыслить правильно, суть не что иное, как естественные законы самого мышления. Логика есть физика мышления, или же Логика вообще не существует.

То же самое следует сказать и о Кроче. В его определении теоретическая самобытность логических законов неотделима от их реального действия и существования.

А между тем здесь необходима полная ясность и отдельность постановки. Вопрос о том, есть ли Логика принципиально-теоретическая наука или нет, нужно решать совершенно неза-

висимо от того, какая именно теоретическая наука: психология или еще иная — должна будет раскрыть теоретическое содержание Логике.

Заслуга отдельной постановки и обстоятельного решения этого вопроса принадлежит Гуссерлю. Он показал, что не только Логика, но и вообще всякая практическая и всякая нормативная наука необходимо должна основываться на одной или нескольких теоретических науках. Ибо всякая *норма* должна обладать известным теоретическим содержанием, отделимым от идеи должностования. Научное исследование этого содержания является задачей тех теоретических дисциплин, которые лежат в основе данной нормативной науки. Каждое нормативное суждение типа: «А должно быть В» необходимо включает в себя теоретическое суждение: «только А, которое есть В, имеет свойства С». В этом последнем теоретическом суждении С обозначает совокупность всех признаков, образующих момент положительной оценки.

Таким образом, Логика есть не только нормативная наука. По своей задаче Логика двойственна. С одной стороны, она есть нормативная, практическая или техническая наука. С другой же стороны, — и это особенно важно — Логика есть чисто теоретическая наука. Логические нормы мышления опираются на принципы, которые могут быть раскрыты лишь в теоретическом содержании Логике. Логические нормы и теоретические связи, которые мы открываем в идеальной структуре мышления, суть два совершенно различных момента, принципиально несводимые друг к другу. Логическая норма может быть нарушена (и это постоянно бывает), логический закон, отвечающий норме, остается незыблемым, ибо он относится к сверхвременной, надэмпирической идеальной сфере смысла. Между ними не существует никакого отношения причинения, но лишь параллелизм явления и сущности.

Логика не есть ни этика, ни физика мышления, Логика есть феноменология мышления в его высшей форме — научного знания.

Из этого нового определения Логике как науки теоретической следует ряд новых задач, которые при своем полном осуществлении должны привести нас к идее Чистой Логике.

Раскрыть идею Чистой Логике не может войти в задачу этой лекции. Для этого необходимы довольно сложные исследования, и в первую очередь необходимо разрешить спорный во-

прос о природе теоретического содержания Логике. Анализ этой проблемы введет нас в самый центр громадного умственного движения, которое под именем борьбы против психологизма привлекает к себе силы лучших современных мыслителей. Но об этом будет речь в дальнейших лекциях.

7. III. 1922

В. Ф. Асмус

Платон: эйдология, эстетика, учение об искусстве*

I. Деятельность Платона протекала в первой половине IV в. до н. э. Это время, когда город-государство (полис) античного мира, основу которого составляли рабовладение и рабовладельческие отношения, переживал глубокий кризис. Обострились классовые противоречия, Пелопоннесская война разорила земледелие, возник новый класс богачей, затмивший и оттеснивший старинную аристократию. В городах многие рабовладельцы превратились в мелких и средних свободных производителей. В больших городах образовался люмпен-пролетариат («чернь», охлос). Формы классовой борьбы и степень сознательности люмпенов были несовершенны. В своих требованиях и мечтах бедняки не шли дальше передачи и перемещения богатства из одних рук в другие. Кроме пропаганды уравнительного передела другой линией развития общественной мысли была идеализация старины, отеческого и дедовского строя. Социальные противоречия — чрезвычайно острые — проявились в обиходе, в средствах передвижения, в жилище, в обстановке.

* Публикуется по: Асмус В. Ф. Историко-философские этюды. М., 1984. С. 3—44. — *Примеч. ред.*

В V в. до н. э., после победы над персами, Афины достигли вершины процветания, могущества и культурного блеска. Но в первой половине IV в., после неудач Пелопоннесской войны, после тирании Тридцати, знаменитая держава начала клониться к упадку. Рабовладельческая по своей социальной основе демократия не могла преодолеть многочисленных трудностей и противоречий. Исторический опыт выявил многие ее недостатки и несовершенства. Постоянными ссылками на них пользовались как оружием в политической борьбе классов реакционные публицисты. Они критиковали афинский политический строй. Это была критика не античной *рабовладельческой* демократии, а *демократии* как выборной власти, выдвигавшей на государственные должности ремесленников, мелких производителей и торговцев.

Сын родовитого афинского гражданина, Платон был противником демократии, ее политических форм, возникшей при ее господстве духовной культуры, в том числе художественной. Но Платон не был заурядным реакционером. Гениальный ум открыл ему глаза на многие действительные недостатки рабовладельческой демократии. И в наши дни не только профессиональный историк античного мира, но и просто любознательный читатель с интересом прочтет суждения Платона о несовершенстве афинского полиса.

Социальные и политические воззрения Платона неотделимы от его философского мировоззрения, которое оказалось первой в истории философии широко и глубоко разработанной системой объективного идеализма, и притом идеализма в своем существенном характере *диалектического*.

До конца V в. до н. э. основным и преобладающим типом древнегреческих философских учений был *материализм*: идеализма как учения, сложившегося в осознанную систему, еще не существовало. Однако зародыши будущих разногласий и будущей противоположности материализма идеализму возникли задолго до Платона. Они могут быть обнаружены уже в самых ранних учениях о природе и о человеке: в мифологических воззрениях Фалеса («все полно богов»); в учении пифагорейцев о переселении и перевоплощении душ; в учении элейцев о противоположности достоверной истины, открывающейся уму, и недостоверного мнения, возникающего из чувств; в *отдельных* мыслях *материалиста* Гераклита (например, в афоризме о всеуправляющем логосе); в учении

Анаксагора о том, что всеобщей движущей силой является Ум; в субъективизме некоторых софистов; в сократовском отрицании познаваемости природы и во взгляде Сократа на самопознание как на главную задачу философии; в учении мегарской школы о «бестелесных видах» или «родах» и т. д.

Но все это были только *задатки*, только *возможности* развития идеализма, но не идеализм как *система взглядов*. В учении Платона древнегреческий идеализм впервые складывается в *мировоззрение*, *противопоставляет* себя материализму, который как мировоззрение и как система научных положений сложился ранее и ясно осознал собственные основы у Левкиппа и Демокрита, атомистов конца V и начала IV в. до н. э.

С этого времени материализм и идеализм образуют уже вполне оформившуюся противоположность двух основных направлений в развитии древнегреческой философии, и не только древнегреческой, но и всей последующей. В. И. Ленин подчеркнул определяющее значение этой противоположности, впервые так резко выступившей в философии Демокрита и Платона: говоря о «кругах», или «циклах», развития идей в истории философии, таким «кругом» для античной философии он считает «круг» от Демокрита до Платона и диалектики Гераклита*, а в «Материализме и эмпириокритицизме» говорит о двухтысячелетней борьбе идеализма и материализма как о борьбе «тенденций или линий Платона и Демокрита в философии»**.

О жизни Платона достоверно известно немного. Вначале он был учеником Сократа. После казни Сократа (399 г. до н. э.) Платон уехал из Афин в Мегару, а оттуда в Кирену — к математику Феодору — и потом в Египет. В то время и даже позже Египет считался высокоразвитым государством. Платон ознакомился с кастовым общественным строем Египта. Идеализированное изображение этого строя он развил позднее в своей утопии — в «Государстве». По-видимому, важным этапом в жизни Платона оказалось затем его пребывание в Сиракузах на острове Сицилия. В то время это был блестящий политический и культурный греческий центр. При сиракузском тиране

* Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 321.

** Там же. Т. 18. С. 131.

Дионисии Старшем Платон неудачно пытался вмешаться в политическую жизнь Сиракуз и реализовать при его посредстве свой план идеального государственного устройства. В 388 г. Платон вернулся в Афины, а в следующем году основал там школу, получившую в честь героя Академа название «Академии». Впоследствии этим названием стали пользоваться для обозначения содружества философов. В 60-х гг. Платон вновь побывал в Сиракузах и возобновил — при преемнике Дионисия Дионисии Младшем — попытку изменить и преобразовать государственный строй — впрочем, тоже неудачно. Последние десятилетия своей жизни Платон провел в Афинах.

II. Платон — один из великих творческих умов Античности. Его гений многогранен. Его литературное наследство принадлежит не только истории античной философии, но и истории античной науки и античной художественной литературы. И не только потому, что в молодости Платон писал талантливые стихи (его эпиграммы дошли до нас), философ-ученый неотделим в Платоне от философа-поэта. Его философские диалоги, письма принадлежат к лучшим произведениям древнегреческой художественной прозы.

Огромно и влияние, оказанное его искусством на последующую литературу — античную и новую, начиная с эпохи Возрождения — вплоть до Шеллинга.

Причастность Платона к искусству художественной литературы сказалась в создании и доведении до высокого художественного совершенства жанра *диалога*. Зачатки этого жанра появились, по-видимому, еще до Платона. Были высказаны предположения, что в форме диалога Демокрит — тоже великий мастер древнегреческой прозы — представил в не дошедшем до нас произведении спор о первенстве между чувствами и разумом. Однако широкое и интенсивное развитие диалогическая форма получила только у Платона. Ряд его диалогов — настоящие сцены, в которых участники философского спора поставлены в ситуации, чрезвычайно рельефно оттеняющие их характеры. Несмотря на то что содержанием диалога всегда является философская беседа или философский спор, в диалогических сценах нет ничего статичного, составляющего предмет пассивного созерцания. Здесь все в движении, в борьбе, в столкновении умов и характеров. Впечатление от обрисовки характеров усиливается действием их *языка*. Платон мастерски

владеет всеми средствами, какие ему как писателю помогают его богатый, выразительный, гибкий и меткий язык, его огромная литературная эрудиция, его точная и целеустремленная память. И сам он, и его философские «герои» в избытке — легко, непринужденно и вместе с тем с никогда не покидающим их чувством меры — цитируют, всегда как нельзя более кстати, изречения эпических и лирических поэтов, трагиков и комиков, лапидарные изречения философов-стихотворцев.

В языке платоновской прозы отражается другая особенность мышления Платона, которая делает его великим художником античного мира. Платон не только мыслит образами, метафорами, уподоблениями, сопоставлениями. В его мышлении эти образы, метафоры и уподобления разворачиваются порой в поистине грандиозные *мифы, иносказания, символы*. При этом Платон не просто *применяет* общеизвестные мифы, давно ставшие для греков средством осознания и объяснения действительности. Платон сам — выдающийся и вдохновенный *мифотворец*. В «Федре», например, он не просто раскрывает в составе человеческой души высшее и низшее начало: разумное, аффективное (чувственное) и волютивное (вожделирующее). Борьба этих начал представляется его мифотворческой фантазии в образе колесницы, движимой парой крылатых коней и управляемой возничим. Возничий — разум; добрый конь — волевой порыв; дурной конь — аффект (страсть). Душу Платон уподобляет соединенной силе окрыленной пары коней и возничего. Это не простое риторическое сравнение или холодная аллегория. Это развернутая картина мифа, полная движения, блеска, неожиданной и пластически выраженной фантазии. Его действие — одновременно смысловое и языковое, оптическое и музыкальное, интеллектуальное и эмоциональное.

Философской мыслью пронизываются все сочинения Платона, в том числе и наиболее художественные. В «Пире», в «Федре» — шедеврах искусства Платона — запечатлены важные стороны учения Платона об «идеях», об их познании, о прекрасном, о постижении прекрасного, о вдохновенной интеллектуальной любви к прекрасному и т. д. Однако в литературном наследии Платона есть ряд сочинений очень важных для понимания философии Платона, его космологии, его диалектики, но в то же время лишенных достоинств высокохудожественных вещей, таких, как «Федон», «Апология Сократа»,

«Пир» и «Федр». Платон создавал не только блестящие, полные движения и драматической силы картины идейной борьбы, происходившей в Афинах первой половины IV в. до н. э. Одновременно он писал произведения, в которых, несмотря на внешнюю диалогическую форму, следует видеть скорее научные трактаты, чем создания поэзии. Это образцы научной прозы. В них только отдельные редкие блески языка, юмора напоминают автора «Протагора» и «Федона». Организующее начало, движущая сила этих диалогов — не искусство, не лепка и не драматическое столкновение характеров и идей, а строгая логика и диалектика. Это мастерская, где испытываются, отбираются и создаются *определения* понятий, где развиваются дихотомические разделения, исследуются таящиеся в них противоположности, обнаруживается динамика этих противоположностей и их единство. Некоторые из такого рода диалогов принадлежат к важнейшим и глубокомысленнейшим сочинениям Платона. Таковы «Парменид», «Софист» — шедевры диалектики Платона. Есть у Платона и сочинения смешанного рода. В них высокохудожественные части чередуются с сухими прозаическими трактатами. Художественный миф сопутствует или предшествует строго диалектическому построению. Диалоги «Пир», «Апология Сократа», «Федон», «Федр», «Протагор», «Ион», «Критон», в которых представлен Платон-поэт, Платон-художник, многие поколения читателей и ученых-литературоведов давно уже справедливо признали первоклассными произведениями античной *художественной литературы*.

В этих диалогах Платон рисует образ философа Сократа. В «Пире» мастерски изображены чудачества Сократа, самоотверженное и самозабвенное размышление, направленное на отыскание истины, лукавая скромность, отказывающая себе в претензии на обладание истиной, интеллектуальное самообладание и неутомимость в длящейся всю ночь философской беседе. В этом же диалоге — блестящая речь Аристофана и великолепная сцена шумного появления на симпозиуме пьяного Алкивиада.

В «Апологии Сократа» воспроизведена защитительная речь Сократа перед судом афинской рабовладельческой демократии. Сократ обвинен в том, что он отрицает староотеческих богов, признает какие-то новые демонические знамения, предается чрезмерному исследованию и развращает юношество.

В этом небольшом произведении бесстрашный, непоколебимый, полный чувства собственного достоинства Сократ не столько защищается, сколько нападает. Его «апология» — могучее и беспощадное обличение невежества, выдающего себя за знание, бахвальства людей, только воображающих, будто они знают то, о чем так самоуверенно говорят и чему так самонадеянно учат других. По догадке Сократа, дельфийский оракул признал его, Сократа, мудрейшим из всех людей, ныне живущих, вовсе не за то, что он превосходит их своим знанием, а за то, что, будучи таким же незнающим, как все другие, в отличие от них понимает, что он — незнающий, и открыто признается в этом, не самообольщаясь собственной мудростью. В этом произведении с замечательной силой изображена не ослабляемая никакими угрозами, никаким страхом казни и смерти страсть мыслителя к исследованию истины. Таким же предстает Сократ и в «Критоне», где он превыше собственной жизни ставит свой долг гражданина и философа.

В «Федоне» приговоренный к смертной казни Сократ ведет в тюрьме последнюю — предсмертную — беседу со своими учениками. Печали, тревоге, смятению, сожалению учеников, расстающихся с учителем, противопоставлено доброжелательное и ласковое спокойствие философа, его решимость умереть, исполнить долг повиновения законам отечества, даже когда эти законы несправедливо применяются к невиновному в их нарушении. Прощальная беседа превращается в изложение доводов, которыми доказывается бессмертие души; осужденный выпить кубок яда, Сократ утешает учеников, поддерживает в них силу духа и надежду. Диалог заканчивается сценой тихой смерти философа.

В «Федре», одном из шедевров художественной прозы Платона, рисуется философская беседа Сократа с Федром, принесшим Сократу речь модного и блестящего оратора Лисия. Парадоксальная речь Лисия посвящена вопросу о том, кому следует отдавать предпочтение: любящему или нелюбящему. Сократ опровергает ложное красноречие и доказывает, что риторика может быть ценной только при условии, если она опирается на истинную философию. С новой стороны раскрывается значение вдохновенной, захватывающей любви. Изображение любви связывается с рассмотрением природы души.

Одно из лучших произведений Платона — «Протагор». Парадоксальное мнение Вл. Соловьева, будто диалог этот подложный, будто автор его не Платон, а Аристипп, ученик Сократа, основавший киренскую философскую школу, несостоятельно и не получило никакой поддержки в специальной литературе. «Протагор» ценен как великолепное изображение умственной атмосферы в современных Сократу Афинах. Страсть к философскому просвещению, жажда философских новинок, философская любознательность афинского образованного общества, любовь к философским спорам, к философской борьбе, разнообразие сталкивавшихся философских мнений изображены здесь с захватывающим реализмом. Выпукло выделяются образы Сократа, Протагора, Продика, Гиппия. Для Платона все они не носители и авторы отвлеченных идей и теорий, а живые люди со всеми присущими им своеобразными чертами ума и нравственного характера. Философский спор между ними — не чередование деклараций, а подлинная борьба за души молодых людей, которых Сократ и софисты стремятся сделать своими учениками и последователями.

III. Во всех диалогах перед читателем выступают различные грани мировоззрения Платона, его представлений о диалектике, о познании. Поэтому понять каждый диалог в отдельности легче тому, кто представляет себе, что такое учение Платона в целом.

Согласно этому учению, мир вещей, воспринимаемых посредством чувств, не есть мир истинно существующего: чувственные вещи непрерывно возникают и погибают, изменяются и движутся, в них нет ничего прочного, совершенного и истинного. И все же вещи не совершенно отделены от истинно существующего, каким-то образом они «причастны» ему. А именно: всем, что в них есть истинно сущего, утверждает Платон, чувственные вещи обязаны своим причинам. Эти причины — формы вещей, не воспринимаемые чувствами, постигаемые только умом, бестелесные и нечувственные. Платон называет их видами и — гораздо реже — идеями. Виды, идеи — зримые умом формы вещей. Каждому классу предметов чувственного мира, например классу коней, соответствует в бестелесном мире некоторый вид, или идея, — вид коня, идея коня. Этот вид уже не может быть постигаем чувствами, как обычный конь, но может быть лишь созерцаем *умом*, к тому же

умом, хорошо подготовленным к такому постижению. Многие современники Платона не понимали, что, по учению Платона, виды может созерцать только ум, и потому возражали против платоновской гипотезы идей. Например, глава школы киников Антисфен прямо глумился над Платоном. «Этого коня перед собой, — таков был смысл его возражения, — я вижу, а вот “идеи” коня, “конности”, “лошадности”, о которой ты, Платон, твердишь, не вижу». Платон отвечал ему, и смысл его возражений был таков: «Да, “идеи” коня ты не видишь, но это происходит только оттого, что ты хочешь и надеешься увидеть ее обычными глазами. Я же утверждаю, что ее можно увидеть только “глазами ума”, с помощью “интуиции ума”».

Но почему же Платон думал, что идея — бестелесна, что ее нельзя видеть при помощи чувственного зрения? Он думал так потому, что идея — *общее* для всех обнимаемых ею предметов. Коней в чувственном мире множество, а идея коня в умопостигаемом мире — некоторая целостность, и, как такая целостность, она — только одна. Эта идея — то, что *всякого*, чувственно воспринимаемого коня делает именно конем, и ничем иным. Но общее для многих предметов — так думал Платон — не может открыться чувствами. По своей природе оно *бестелесно, запредельно* по отношению ко всему чувственному. Оно доступно только уму.

Так как Платон отделил созерцаемое чувствами от созерцаемого умом, перенес «умопостигаемые» предметы в какую-то «занебесную», по его собственному выражению, область, то впоследствии термин «идея», который первоначально означал лишь созерцаемую умом форму или причину чувственных вещей, стал обозначать бытие *идеальное, нечувственное* и даже *сверхчувственное*. Гипотеза постигаемых умом форм, или идей, стала учением философского *идеализма*.

При этом ход мыслей Платона был таков. По отношению к чувственным вещам их виды (идеи) — одновременно и их *причины* и *образцы*, по которым эти вещи были созданы, и *цели*, к которым стремятся существа чувственного мира, и, наконец, *понятия* об общей основе вещей каждого класса, или разряда. Только *идеи*, по Платону, составляют истинное *бытие*.

Однако для объяснения наблюдаемых явлений и воспринимаемых вещей недостаточно, как думал Платон, предположить существование одних лишь видов, или идей. Ведь чувственные вещи преходящи, изменчивы, лишены истинного существо-

вания. Их качества должны быть обусловлены уже не только бытием, но каким-то образом и небытием. Выходит, что кроме бытия должно существовать также и небытие, и притом существовать «ничуть не меньше», чем бытие. Это небытие Платон отождествляет с материей. В то время как бытие всегда тождественно самому себе, небытие есть *иное* сравнительно с бытием, иначе говоря — область непрекращающегося изменения, возникновения, рождения и гибели, движения. Благодаря существованию материи, или небытия, возникает, согласно объяснению Платона, множество чувственных вещей. Материя, которую Платон уподобляет «матери», «кормилице», принимает в свое лоно вид (идею) и превращает единство и целостность каждого постигаемого умом вида, каждой идеи во множество чувственных вещей, обособленных друг от друга в пространстве.

Учение это противостояло атомистическому материализму Левкиппа и Демокрита, который был старшим современником Платона. Еще до Платона атомисты утверждали, что небытие существует ничуть не меньше, чем бытие. Но при этом они отождествляли свое бытие (формы, идеи) с атомами, считали их телесными (хотя и постигаемыми умом), а под небытием понимали *пустоту*, пустое пространство, в котором движутся атомы.

Напротив, у Платона бытие — *бестелесные, нематериальные*, постигаемые умом виды, а материя — небытие. При этом для Платона виды (идеи) первее материи; понятием небытия уже предполагается — как его условие — бытие: небытие тоже есть бытие, но только бытие иное по отношению к данному.

По воззрению, изложенному в «Федре», местопребывание идей — «занебесная область». «...Эту область занимает бесцветная, бесформенная, неосязаемая сущность, подлинно существующая, зримая лишь кормчему души — разуму...» («Федр» 247 С).

Только несовершенство нашего способа мышления, как думает Платон, внушает нам представление, будто идеи пребывают в каком-то пространстве — наподобие того, как чувственные вещи представляются нам обособленными друг от друга и находящимися в пространстве. Такой взгляд на пространственную локализацию идей — иллюзия, а источник этой иллюзии, по мысли Платона, — материя, под которой Платон

понимает едва вероятный, постигаемый каким-то «незаконным» рассуждением род пространства, или причину обособления, отдаления друг от друга единичных вещей чувственного мира. Взирая на этот род пространства, мы впадаем в иллюзию: мы «точно грезим и полагаем, будто все существующее должно неизбежно находиться в каком-нибудь месте и занимать какое-нибудь пространство, а то, что не находится ни на земле, ни на небе, то будто и не существует» («Тимей» 25 В).

Но взгляд этот, как полагает Платон, ошибочен. Именно вследствие этого ошибочного взгляда мы, говорит Платон, «и по пробуждении не можем определенно выражать правду, отличая все эти и сродные им представления от негрезящей, действительно существующей природы» (там же, 52 С).

Таким образом, только в несобственном, и притом в чрезвычайно неточном, смысле к идеям Платона могут быть прилагемы определения пространства, времени и числа. В строгом значении понятия платоновские идеи совершенно запредельны, не выразимы ни в каких образах чувственного опыта, ни в каких категориях числа, пространства и времени.

Учение это очевидно есть *идеализм*, так как в нем истинной сущностью чувственных вещей объявляются причины, лишённые чувственных свойств, неподвластные чувственным условиям, постигаемые только умом, — словом, идеальные. Вместе с тем это не субъективный, а *объективный* идеализм. Виды (идеи) Платона прежде всего *бытие*, а не *понятия* нашего ума, и существуют они сами по себе, независимо от субъекта, от его сознания и познания.

Платон противопоставляет защищаемый им объективный идеализм современному ему материализму — учению Демокрита, которого Платон, впрочем, не называет нигде по имени, а также учению киников, которые, к негодованию Платона, утверждали, будто существует и может существовать только то, что допускает возможность прикосновения к себе, ощупывания, и которые не отличали тела от его сущности.

Но объективный идеализм Платона не вполне последователен. Учение Платона многосторонне, сложно и противоречиво. Это — целый спектр различных точек зрения и их оттенков. Среди них объективный идеализм — воззрение преобладающее, характернейшее для Платона, но не единственное. В объективно идеалистическую основу системы взглядов Платона вторгается дуализм, учение о противоположности *души*

и *тела*. Тело рассматривается, в согласии с орфиками и с пифагорейцами, как темница души, а душа — как бессмертная сущность небесного происхождения, вселившаяся в телесную оболочку. Этот ярко идеалистический и даже мистический взгляд на природу души Платон запечатлел в двух диалогах — в «Федре» и в «Федоне». В первом из них в форме мифа рисуется потустороннее происхождение души, ее «крылатая» природа, борьба разумного начала души и управляемых этим началом чувств с низменными началами, вселение падших душ в телесную форму, падение их на Землю, обреченность их на искупительные перевоплощения. В «Федоне» излагаются доводы, посредством которых Сократ пытается доказать бессмертную природу души.

С мифом о природе души у Платона связано и его понимание *знания*. Даже под бременем тела на Земле, вдали от за-небесной области, душа хранит истинное знание. Это — воспоминание о нечувственном бытии, которое она созерцала до вселения на Землю и до своего заключения в тело. Область идей представляет, по Платону, систему, подобную пирамиде: на вершине пирамиды, превыше знания и истины, по силе и по достоинству — выше пределов сущности — пребывает идея *блага*. Ум, возвышающийся в познании до идей, едва ли может только коснуться ее. Идея блага по своей природе выходит за пределы одного лишь познания: она сообщает предметам не только способность быть *познаваемыми*, но и способность *существовать* и *получать от нее сущность*.

Учение об идее блага сообщает учению Платона о бытии и о мире характер *телеологического* учения, т. е. учения о целесообразной направленности всех явлений и процессов мира. Благо объявляется не только *верховой причиной* бытия, но вместе и *целью*.

На основе своего учения о бытии и небытии Платон построил свое учение о *чувственном мире*. Мир этот, согласно мысли Платона, есть «среднее» между миром бестелесных видов (идей) и миром небытия, или материи, дробящей единство идей во множество вещей, отделенных друг от друга пространством.

По Платону, вещи чувственного мира не есть небытие. В них есть нечто от бытия. Но всем, что в чувственных вещах есть от бытия, они обязаны не материи, а идеям — как своим причинам и образцам. С другой стороны, не будь материи, или

небытия, чувственные вещи не могли бы существовать, ибо чувственных вещей множество, а условие существования множества — материя. Так как чувственные вещи — порождение не только идей, но и небытия, то они не имеют истинного существования и в этом смысле *противоположны* идеям, или видам. Платон резкими чертами характеризует эту противоположность. Идеи вечны, не возникают и не погибают, неизменны, тождественны самим себе, безотносительны, не зависят от условий пространства и времени. Им принадлежат все признаки, которыми предшественник Платона элеец Парменид определил свое — единое, вечное, неподвижное — истинно существующее бытие.

Напротив, мир чувственных вещей, как его понимает Платон, — это мир Гераклита: это мир вечного возникновения и гибели, мир «бывания», а не бытия, мир не прекращающегося ни на мгновение движения и изменчивости; в нем все вещи и все свойства относительны, преходящи, текучи, зависят от условий пространства и времени.

IV. Таково учение Платона о бытии. Из сказанного видно, что бытие Платон представляет не как однородное. Бытие «иерархично», состоит из различных «слоев», или «областей», неодинаковой ценности и неодинаковой реальности. Различию этих областей *бытия* соответствует и различие родов *знания*. Высший род бытия — идеи — познаются посредством интуиции, т. е. непосредственного усмотрения. Интуиция, которую здесь имеет в виду Платон, — не интуиция *чувств*, а интуиция *ума*. Чувства видят только несовершенные чувственные подобию идей, самые идеи видит только подготовленный к этому созерцанию чистый ум, к которому не примешивается созерцание *чувств*.

Второй, низший сравнительно с идеями род бытия — предметы *математического* знания. Математические предметы родственны и идеям, и чувственным вещам. Как и идеи, они неизменны, не зависят в своей сущности от отдельных предметов, представляющих их в чувственном мире. Они постигаются умом, но не посредством *интуиции* ума, как идеи, а посредством *размышления*. Но вместе с тем математики вынуждены пользоваться при развитии своих доказательств отдельными образами фигур, нарисованными с помощью *воображения*.

Третий род, или, точнее, третья степень, реальности — чувственные вещи, несовершенная область вечного становления, генезиса и гибели. Чувственные вещи не могут быть предметом достоверного знания, а только *мнения*.

Наконец, четвертый — самый низкий — род бытия — *отображения* чувственных вещей, кроме их отражения на поверхности блестящих предметов или на поверхности воды. Постигаются эти отображения, или образы, вещей при посредстве *воображения*.

Согласно утверждению Платона, ни мнение, ни воображение не дают истинного, достоверного знания. Как и сами чувственные предметы, мнения непрерывно изменяются. Чтобы возвыситься до знания, мнения должны быть связаны в единство или тождество. Связь эта производится деятельностью самой души. В душе хранится память об истинах, которые она созерцала в области истинно сущих идей — еще до своего падения на Землю и до своего заключения в телесную оболочку. Знание есть и *припоминание*, и *связь* припоминаемых истин. В силу связи всех знаний, потенциально присущих душе и хранимых ею в глубинах памяти, душа, начав с какого-либо одного звена, может переходить ко всем последующим и охватить таким образом все, лишь бы только она не утомлялась исследованиями.

Размышление, направленное на математические предметы, занимает середину между истинным знанием и мнением. Геометрия принадлежит к наукам, которые «как бы грезят о сущем»: науки эти, по уверению Платона, не могут усматривать сущее «наяву», так как, пользуясь предположениями (гипотезами), они оставляют свои предположения неподвижными и не могут дать им основания.

Но есть наука, которая, идя правильным путем, возводит предположения к самому началу. Наука эта — диалектика. Учение о диалектике Платон изложил всего полнее в диалогах «Парменид» и «Софист». «Федр» также дает представление о платоновском понимании диалектики.

Хотя в учении об идеях Платон вслед за элеатами определил истинно сущее бытие как тождественное и неизменное, в диалогах «Софист» и «Парменид» он доказывает, будто высшие роды сущего, а именно бытие, движение, покой, тождество и изменение, могут мыслиться только таким образом, что каждый из них и есть и не есть, и равен себе самому и не равен,

и тождествен себе и переходит в иное по отношению к самому себе. При этом в «Софисте» развивается учение о пяти высших родах сущего, а в «Пармениде» — учение о едином и многом. Платон доказывает, что бытие, поскольку оно рассматривается само по себе, едино, вечно, тождественно, неизменно, неподвижно, бездейственно и не подвержено страданию. Но то же самое бытие, поскольку оно рассматривается через иное по отношению к себе, содержит в себе различие, изменчиво, подвижно и подвержено страданию. Поэтому, согласно полному определению, бытие необходимо должно характеризоваться противоположными свойствами: оно едино и множественно, вечно и преходяще, неизменно и изменчиво, покоится и не покоится, движется и не движется, действует и не действует, страдает и не страдает.

Однако противоположные характеристики могут, по Платону, совмещаться только для мнения, т. е. для низшего вида познания. Ум различает, в *каком отношении* предмет должен мыслиться как тождественный и в каком — как иной, в каком — как единый и в каком — как множественный и т. д. Поэтому в отличие от мнения ум не усматривает *совмещения* противоположностей в одном и том же отношении.

И все же осознание противоположностей в исследуемых предметах есть, как утверждает Платон, *необходимое* условие для побуждения души к размышлению. Искусство побуждать к исследованию и к размышлению посредством открытия противоречий, таящихся в обычных, слишком поспешно составленных мнениях, и есть то, что Платон называет искусством диалектики. Искусство это, мастером и корифеем которого у Платона изображен Сократ, Платон уподобляет искусству повивальной бабки. Оно не само по себе находит истину, но, обнаруживая противоречия в ходячих мнениях, способствует, содействует ее отысканию. Это, если можно так выразиться, негативное понятие о диалектике, учение о выявлении противоречий как о всего лишь отрицательном условии отыскания истины.

Однако наряду с этим пониманием диалектики Платон различает и другое понятие о диалектике. Это — положительный метод познания, ведущий от осознанных противоречий мнимого и несовершенного знания к верховному постижению истинно сущего. В то время как геометрия, пользуясь гипотезами, не может дать их основания, диалектика дает эти основания,

возводит гипотезы к самому их началу. Понятая в этом — новом — смысле (который, разумеется, очень далек от современного) диалектика характеризуется у Платона как метод движения от данных предположений к их — все более и более высоким — основаниям, пока, наконец, исследующий ум не дойдет до наивысшего основания — уже не предполагаемого и ни к чему более высокому не сводимого. Это восхождение ума есть для Платона движение, совершающееся только в области мышления, отрешенного от всего чувственного.

Впрочем, нечувственное восхождение по ступеням разума до непредполагаемой высшей основы — только первая половина пути. Дойдя от предположения к предположению до непредполагаемого начала всего, лежащего на пределе постижения, «коснувшись» этого начала и придерживаясь того, что с ним соприкасается, ум, по разъяснению Платона, начинает вторую половину своего пути. А именно — он вновь нисходит к начальным — низшим — понятиям. Однако в этом нисхождении он уже не прикасается ни к чему чувственному: он имеет дело только с видами, через виды, для видов и заканчивается видами.

В диалоге «Филеб» метод обратного движения, или нисхождения от понятия, взятого до исследования, к низшим понятиям, связывается у Платона с методом *проверки* предположений, или гипотез. Состоит эта проверка в том, что диалектика рассматривает следствия, вытекающие из принятого начала, и исследует, согласны или не согласны они между собой.

Однако достигнуть высшей цели познания — непосредственного созерцания истинно сущих идей — могут лишь немногие избранные, «лучшие», особым образом воспитанные и подготовленные к этому созерцанию. «Философ» Платона не просто исследователь истины, идущий от незнания к знанию. Это исследователь, принадлежащий к особому общественному разряду, или классу, знающий, к чему направляется его восхождение и чего от него можно ожидать. «Философ» Платона уверен, что цель его усилий достижима, что идеи блага, истины, красоты — истинно сущие реальности. Но эти реальности — лишь вершина действительности. Мир Платона иерархичен. Таково в нем не только бытие — таков он и в социальном смысле. Созерцание истинно сущего — удел только избранных: подготовленных, воспитанных и в этом смысле «лучших». В идеальном обществе, о котором грезит Платон,

эти «лучшие» — правители государства, философы. Они резко противопоставлены «низшему» классу, а вся иерархия трех «высших» классов — «философов» (правителей), «стражей» (воинов) и ремесленников — подразумевает в качестве самой собой разумеющейся основы класс *рабов*, производителей материальных продуктов и исполнителей всех работ, зазорных для «свободнорожденных». В «Государстве» о функции рабов нет речи, но в последнем своем диалоге — в «Законах» — Платон характеризует ее.

Жизненная, общественная и вместе личная основа идеализма Платона — в глубоком несоответствии между современной Платону греческой действительностью и тем, что *желал бы* найти и видеть в ней философ. Существовавшая в греческом обществе иерархия классов и уклад общественно-политической жизни не удовлетворяли Платона. Афинским государством правила рабовладельческая демократия, но отнюдь не «философы» — в платоновском смысле этого понятия. Попытка Платона склонить сиракузского правителя Дионисия Старшего на путь построения государства, приближающегося к платоновскому идеалу, окончилась полной неудачей — как при самом Дионисии, так и при его преемнике. После повторных неудач Платон был вынужден отказаться от политической деятельности и ограничиться идейной борьбой. Продуктом переноса борьбы в область идей и оказалось «Государство», обширный и зрело обдуманый трактат, в котором идеализм философии и теории познания составляет неразрывное целое с социальной утопией. Как всякая утопия, «Государство» Платона есть одновременно и преобразование действительности в *мечтах* в желанном для философа направлении, т. е. критика этой действительности, и — в то же время — *отражение* самой этой действительности, *воспроизведение* существующих в ней действительных отношений. Идеализм Платона есть как бы философский суд над миром, обществом, человеком и его искусством — суд с точки зрения писателя, испытавшего не только крушение своих политических, культурных, эстетических идеалов, но также наблюдающего начало разложения ненавистного ему общественно-политического порядка — афинской демократии. В этом строе Платон разглядел — глазами врага — некоторые действительные его недостатки и подверг их язвительной критике. Платон изображает в своих диалогах (в том числе в «Государстве») не только чаемое, но и суще-

ствующее, отражает исторически реальные общественные отношения.

Однако Платон не просто *воспроизводит их, он их идеализирует*. С этой точки зрения самый идеализм Платона есть отражение известной черты, или грани, действительности. Это мистифицированное, преувеличенное, возведенное в степень категорий и форм самого бытия изображение резкого отделения умственного труда от труда физического. Отделение это вытекало из социальных отношений рабовладельческого общества и было одним из примечательных явлений в жизни античного полиса.

В обществе этом неизбежно должно было появиться учение об идее — если не платоновское, то близкое ему по значению. В обществе, где физический подневольный и наемный труд считался непристойным для «свободнорожденного» и где нормой поведения «свободнорожденного» признавалось не трудолюбие, а «досуг», т. е. добровольное занятие делами, соответствующими его положению, — военными, политическими, хозяйственными, также свободное использование досуга для интеллектуального творчества, наука своей высшей целью имела «теорию» в античном смысле этого слова, т. е. созерцательное и умозрительное постижение действительности. Умозрительный характер в Греции классического периода имели даже те науки, которые согласно современному сознанию по сути своей непосредственно связаны с экспериментом: физика и биология. Древние греки были превосходными по точности, по вниманию и по сообразительности наблюдателями. В области астрономии, физики, сравнительной анатомии они оставили последующим векам ряд ценнейших описаний, измерений и классификаций. Опираясь на наблюдения и на свою интеллектуальную проницательность, они умели также создавать удивительные по глубине, по предчувствию истины и по чутью реальности *гипотезы*. Но греки были гораздо слабее в *эксперименте*. Они еще не умели создавать искусственные технические условия для протекания наблюдаемых явлений — условия, при которых сама физическая обстановка и преднамеренная, запланированная деятельность исследователя обеспечивает однозначный, точный и достоверный ответ на поставленный в исследовании вопрос. Поэтому не только их математика и астрономия, но также и их физика и физиология в значительной мере умозрительны, теоретичны, созер-

цательны. Греки были далеки от воззрения Фрэнсиса Бэкона, требовавшего от науки, чтобы она умела «пытать» природу, чтобы она была способна силой, и притом в особых, создаваемых самим исследователем условиях, вырывать у нее тайны и заставлять ее служить интересам и власти человека.

По той же причине в понятиях древних греков о *знании* — не только у Сократа, каким его изобразил Платон, но и у элейцев, не только у Платона, но впоследствии и в учении Аристотеля о высших аксиомах науки — чрезвычайно сильно стремление сводить основные понятия и аксиомы науки к началам и понятиям, не зависящим от чувственного опыта, имеющим свое последнее основание будто бы в природе самого ума.

Эти тенденции слились в философии Платона в одно русло и образовали единый поток *идеализма*. В учении об идее как об истинно-сущей реальности, в учении о философе как об истинном правителе общества и в учении об уме как о верховном руководителе и правителе души человека доведено до крайнего выражения мировоззрение, созданное не только глубоким разочарованием мыслителя непослушной его разуму современной действительностью, но также отразилось характерное для современного Платону общества отделение умственного труда от физического.

V. То, что было здесь сказано о Платоне, характеризует высшие теоретические основы его философии: учение о бытии и о познании. На этих основах Платон построил все здание своего учения: и учение о мире, и учение о человеке, и учение о государстве. На них же он построил и свою *эстетику*: свое понятие о *прекрасном* и об *искусстве*. Понятие его раскрывается в ряде диалогов Платона. Важные черты его раскрываются в «Пире» и в «Федре».

Различие между явлением и сущностью, между быванием и бытием Платон распространяет на все предметы исследования, в том числе и на *прекрасное*. В диалогах, касающихся проблемы прекрасного, он разъясняет, что речь у него идет не о том, что лишь *кажется* прекрасным, и не о том, что лишь *бывает* прекрасным, но о том, что *поистине есть* прекрасное; здесь предмет исследования прекрасное само по себе, *сущность* прекрасного, не зависящая от временных, относительных, случайных и изменчивых его обнаружений. Постановка вопроса выясняется в диалоге «Гиппий Боль-

ший». В нем изображен спор о прекрасном между Сократом, представляющим точку зрения самого Платона, и софистом Гиппием. Софист изображен как человек, не понимающий самой сути платоновской постановки вопроса. На заданный ему Сократом вопрос: «Что такое прекрасное?» — Гиппий наивно отвечает, называя первый пришедший ему в голову пример прекрасного. Прекрасное — это прекрасная девушка, отвечает Гиппий. Но Сократ без труда заставляет Гиппия признать, что всякий, кто на вопрос о сущности прекрасного отвечает только простым указанием на тот или другой предмет чувственного мира, должен понять, что предмет этот непременно окажется не безусловно прекрасным, даже вовсе не прекрасным в сравнении с каким-либо другим предметом, превосходящим его в том отношении, в каком первый был признан прекрасным.

В ходе диалога выясняется, что вопрос идет не об *относительно* прекрасных вещах, но о том *безусловно* прекрасном, которое одно только и сообщает отдельным вещам качество прекрасного. «Я спрашиваю тебя, — поясняет Сократ Гиппию, — о том прекрасном, которое делает прекрасным все, к чему только прикоснется, — и камень, и дерево, и человека, и божество, и всякое дело, и всякое знание» (Гип. Б. 291 D). Речь идет о таком прекрасном, которое «никогда, нигде и никому не могло бы показаться безобразным», о том, «что бывает прекрасным для всех и всегда» (там же, 291 D; 291 E).

Прекрасное — выясняется из дальнейшего — не может быть ни *полезным*, ни *подходящим*. Полезным прекрасное не может быть, так как полезное всегда полезно в *каком-либо* отношении и, стало быть, не может быть безотносительным.

Но прекрасное не может быть и *подходящим*. Ведь подходящее есть то, что заставляет вещь лишь *казаться* прекрасной. Но прекрасное, которое имеет в виду Платон, не есть всего лишь кажущееся. Платон ищет того, что на самом деле есть прекрасное. Предмет его исследования — прекрасное *бытие*, а не одна лишь прекрасная видимость. Речь идет, поучает платоновский Сократ Гиппия, «о таком прекрасном, которое заставляет что-нибудь *быть* прекрасным — будет ли это таким казаться или нет» (там же, 294 BC). А в диалоге «Федон» Платон прямо заявляет: «Начинаю, полагая за основу, что существует прекрасное само по себе, и благое, и великое, и все прочее» («Федон» 100 B).

Природа этого прекрасного раскрывается в «Филебе» и «Федоне». Но наиболее полную и яркую характеристику «прекрасного в себе» Платон дал в «Пире». В этом произведении определение прекрасного влагаётся в уста мудрой мантифеечки Диотимы, наставляющей Сократа относительно демона Эрота, его происхождения и его свойств.

Уже в «Государстве» Платон разъяснял, что созерцать умом истинно сущие идеи может только тот, кто долгим упражнением постепенно подготовил свой ум к такому созерцанию. Неподготовленного это созерцание ослепило бы. В «Пире» изображается созерцание того, кто уже прошел необходимое воспитание: «Кто, правильно руководимый, достиг такой степени познания любви, тот... увидит вдруг нечто удивительно прекрасное по природе...» («Пир» 210 E). Такой созерцатель прекрасного увидит «нечто, во-первых, вечное, то есть не знающее ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения, а во-вторых, не в чем-то прекрасное, а в чем-то безобразное, не когда-то, где-то, для кого-то и сравнительно с чем-то прекрасное, а в другое время, в другом месте, для другого и сравнительно с другим безобразное» (там же, 211 A). Но этого мало. Прекрасное не только безусловно и безотносительно. Оно — за пределами по отношению ко всему чувственному, ко всему отдельно существующему или зависимому от отдельно существующего. «Красота эта предстанет ему не в виде какого-то лица, рук или иной части тела, не в виде какой-то речи или науки, не в чем-то другом, будь то животное, земля, небо или еще что-нибудь...» (там же, 211 AB).

Разъяснения эти дают ряд важных признаков платоновского понятия о прекрасном: его объективность, безотносительность, безусловность, всеобщность, независимость от всех частных предметов, независимость от всех чувственных свойств. Платоновское прекрасное — это и есть «вид», или «идея», в специфически платоновском философском смысле понятия, т. е. истинно-сущее, сверхчувственное, безотносительное бытие, постигаемое не чувствами, а только одним разумом. Это прекрасное — сверхчувственная причина и образец всех прекрасных чувственных вещей, безусловный источник их реальности и всего, что в этих вещах называют прекрасным.

В этом значении идея прекрасного резко противопоставлена у Платона ее отображениям и подобиям в мире чувственных вещей. Чувственные прекрасные вещи — тела, статуи, зда-

ния — по природе своей необходимо изменчивы и преходящи, их множество, в них нет ничего прочного, устойчивого и тождественного. Неизбежная непрерывная изменчивость прекрасных чувственных вещей, их нетождественность подчеркнута в «Федоне». В этом диалоге Сократ спрашивает Кебета: «Что скажешь о многих прекрасных предметах: о людях, лошадях, платьях и других тому подобных, или о равных, похвальных и всех одноименных им? Одинаково ли они существуют или не согласны ни с самими собой, ни между собой и никогда, ни под каким видом, можно сказать, не остаются теми же?» «Никогда не остаются теми же», — соглашается Кебет («Федон» 78 E).

Напротив, *идея* прекрасного, т. е. истинно-сущее прекрасное, прекрасное само по себе, не подвержена никакому изменению: это и есть вечный вид, всегда тождественный самому себе. «Прекрасное само по себе, сущее само по себе, — спрашивает Сократ, — поскольку оно есть, подлежит ли хоть какому изменению? Или каждая из вещей сущих, сама по себе однородная, продолжает быть тою же и таким же образом, не подлежа никогда, никак и никакой перемене? — Необходимо тою же и таким же образом, Сократ», — отвечает Кебет (там же, 78 D).

В качестве идеи прекрасное есть сущность, не только чувственно невоспринимаемая, но даже лишенная чувственно зримой формы и в этом смысле бесформенная. Таким образом, прекрасное не только понимается как объективно-сущее, но вместе с тем провозглашается лишь *умопостигаемым*, запредельным для чувственного созерцания. Органом эстетического познания провозглашается не восприятие чувств, не чувственное созерцание, но внечувственное интеллектуальное видение прекрасного (интеллектуальная интуиция).

Из этого обоснования эстетики перед Платоном возник ряд трудностей и ряд новых проблем. Чем сильнее настаивал Платон на *идеальной — сверхчувственной* — природе красоты, тем труднее было ему объяснить, каким образом эта сверхчувственная красота должна быть предметом нашего *человеческого* познания.

Обострив противоположность обоих миров — умопостигаемого, сверхчувственного и воспринимаемого чувствами, Платон сам же *смягчает* эту противоположность. Между обоими мирами он видит не только противоположность, но и связь. Глубокое отличие прекрасного как идеи от всех чувственных

вещей, к которым могло быть приложено определение прекрасного, не есть все же совершенная разделенность обоих миров. По Платону, как было уже сказано, мир чувственных вещей все же стоит в каком-то отношении к миру идей. Каждая вещь чувственного мира «причастна» не только к материи, но одновременно и к идее: она есть несовершенное, искаженное отображение или подобие идеи. Чувственный мир Платона есть мир *становления*, в котором вещи занимают «серединное» положение между небытием и бытием.

Но отсюда следовало, что человек, как существо чувственного мира, может быть ближе к бытию или небытию — в зависимости от того, какая сторона души — ум или чувственное желание — в нем берет верх. Причастный к обоим мирам — бытия и небытия, человек может в зависимости от руководства и направления своих действий либо усиливать в себе сторону, причастную бытию, возвышаться до истинно-сущего, усиливать и укреплять в себе разумное начало или опускаться и тяжелеть, уступать чувственным желаниям, подавлять в себе начало ума и истинно разумного познания.

Это возможное для человека возвышение до истинно-сущего опирается, согласно взгляду Платона, на природу человеческой души — на ее бессмертие, на ее причастность к миру идей, а также на природу самого чувственного мира. «... Всякая человеческая душа, — говорит Платон устами Сократа в “Федре”, — по своей природе бывала созерцательницей подлинно сущего» («Федр» 249 E). Когда-то, еще до своего вселения в земную телесную оболочку, душа находилась в «за-небесных» местах, которых, по словам Платона, «никто еще из здешних поэтов не воспевал, да и не воспоеет их никогда как следует» (там же, 247 C). Там, увлекаемая круговым движением неба, душа во время этого круговращения «созерцает самую справедливость, созерцает рассудительность, созерцает знание, не то знание, которому свойственно возникновение, и не то, которое меняется в зависимости от изменений того, что мы теперь называем бытием, но то настоящее знание, что заключается в подлинном бытии».

И вот, оказывается, это однажды — в «за-небесных» местах — приобретенное душой знание, по Платону, *не может погибнуть* или быть совершенно утрачено. Оно не может погибнуть даже после того, как душа опускается на Землю и принимает здесь оболочку, «которую мы теперь называем те-

лом и не можем сбросить, как улитки свой домик» (там же, 247 DE; 250 C). Впечатления, страсти, желания чувственного мира только погребают, словно песком, навсегда приобретенные душой знания, но не могут их искоренить или уничтожить. Душа всегда обладает возможностью восстановить приобретенное в сверхчувственном мире знание истинно сущего. Средством этого восстановления и является платоновское «припоминание».

Но хотя знание присуще душе изначально, это не значит, будто душа во всякое время владеет истиной в *совершенно готовом виде*. Чтобы потенциальное обладание знанием превратилось в действительное обладание, необходим, по Платону, долгий и трудный путь *воспитания* души. Но из всех возможных способов воспитания души, приближения к действительному обладанию присущими ей знаниями один способ представляет особые преимущества. Этот способ — последовательное созерцание *прекрасного*.

Хотя, по Платону, все вещи чувственного мира причастны к миру истинно-сущего, или идей, но не все они причастны к нему *в одинаковой степени*. Из всех существующих в чувственном мире вещей явный отблеск идей несут только *прекрасные* вещи. При всей неистинности чувственных впечатлений существует, однако, один их вид, который, по признанию Платона, больше всех остальных способен побуждать душу стремиться к истинно-сущему. Это класс *прекрасных* чувственных вещей.

В диалоге «Филеб» Платон даже считает возможным допустить, что некоторые из «несмешанных» наслаждений могут быть истинными. «Таковы, — говорит в этом диалоге Сократ, — наслаждения, вызываемые красивыми красками, прекрасными цветами, весьма многими запахами, звуками и всем тем, в чем недостаток не замечен и не связан со страданием» («Филеб» 41 В).

Истинно-сущий мир Платона есть мир зримых умом прекрасных пластических форм. И как ступень, подготовляющая к этому созерцанию, у Платона выступает чувственный мир — мир воспринимаемых чувствами форм.

На тех, кто способен через чувственную форму постигать образ самого сущего, чувственная красота действует неотразимо и могущественно. Говоря в своих диалогах об этом ее действии, Платон как бы забывает о собственном идеализме

и дает изображения могучей впечатляющей силы красоты и искусства — изображения, полные психологического реализма.

В восхищении красотой Платон видит начало роста души. Человек, способный к восхищению прекрасным, «при виде божественного лица, точного подобия той красоты, или совершенного тела сперва трепещет, охваченный страхом... затем он смотрит на него с благоговением, как на бога» («Федр» 251 А).

Действие красоты на душу Платон изображает, развивая миф о крылатой природе души, подобной птице, и о «прорастании» ее крыльев при созерцании прекрасного (там же, 251 А). Философский и — соответственно — эстетический смысл мифа о крыле и о любовном неистовстве души, развитого Платоном в «Федре», раскрывается с новой стороны в «Пире». В этом диалоге, посвященном восхвалению демона любви Эроса, демон этот выступает как мифическое изображение срединного положения человека — между бытием и небытием, а также философа — между знанием и незнанием.

Философский смысл мифа об Эроде в том, что любовь к прекрасному рассматривается уже не просто как состояние томления и неистовства, какой она изображена в «Федре», а как восхождение, как движение познающего от незнания к знанию, от не-сущего к истинно-сущему, от небытия к бытию. В стремлении к прекрасному Платон видит нечто значительно большее, чем простое чувственное тяготение. Если чувственный мир — и в нем человек — колеблется между бытием и небытием и является порождением их обоих, то любовь к прекрасному есть стремление, способное усилить в человеке ту сторону, которой он причастен к бытию. Любовь к прекрасному Платон понимает как рост души, как приближение человека к истинносущему, как восхождение души по ступеням все повышающейся реальности, всевозрастающего бытия, как нарастание творческой производительной силы.

Любовь к прекрасному есть *путь, восхождение*, так как не все прекрасные предметы в равной мере прекрасны и не все заслуживают равной любви. На первоначальной ступени «эротического» восхождения является какое-нибудь единичное прекрасное на вид *тело* — одно из многочисленных тел чувственного мира. Но кто предметом своего стремления избрал такое тело, должен впоследствии увидеть, что красота отдельного человека, какому бы телу она ни принадлежала,

родственна красоте всякого другого. Кто это заметил, тому надлежит стать поклонником всех прекрасных тел вообще.

На следующей ступени «эротического» восхождения предпочтение необходимо отдавать уже не телесной, а *духовной* красоте. Предпочитающий *духовную* красоту созерцает уже не красоту тела, но «красоту насущных дел и обычаев» («Пир» 210 С). Из этого созерцания он убеждается, что «все прекрасное родственно», и «будет считать красоту тела чем-то ничтожным» (там же).

Еще более высокую ступень «эротического» восхождения к прекрасному образует постижение красоты *знания*.

Наконец, укрепившись в этом виде познания, философ, возвышающийся по ступеням «эротического» восхождения, доходит до созерцания *прекрасного в себе*, или вида, идеи прекрасного. На этом пределе «эротического» знания взорам созерцающего открывается красота безусловная и безотносительная, не зависящая от условий пространства и времени, неоскудевающая, себе тождественная, неизменная, невозникающая и негибнущая.

Таким образом, созерцание истинно-сущей красоты, как его понимает Платон, может прийти только как результат долгого и трудного воспитания или восхождения души по ступеням «эротического» посвящения.

Но хотя созерцание истинно-сущего прекрасного может быть только результатом долгой и трудной подготовки, в известный момент и на известной ступени подготовки это созерцание открывается *сразу*, приходит как *внезапное усмотрение* сверхчувственной истинно-сущей красоты. Диотима прямо говорит Сократу, что усмотрение идеи прекрасного, или того, ради чего были совершены все предшествующие труды, является как внезапное озарение ума видом красоты (там же, 210 В).

Все изложенное дано у Платона в образах мифа. Если выразить смысл этого учения в понятиях философии и теории познания, то оно означает, что истинно-сущее прекрасное усматривается интуицией.

Интуиция эта — не интуиция *чувств*, а интуиция ума, иначе — созерцание прекрасного одним лишь умом, без вспомогательных средств чувственности и воображения. И по бытию, и по познанию прекрасное объявляется у Платона сущностью, запредельной *чувственному* миру, — идеальной, постигаемой только умом.

VI. До сих пор речь шла только об идее *прекрасного* и об отношении этой идеи к ее чувственным подобиям в природе и в человеке. Но в ряду вещей, называемых прекрасными, значатся не только прекрасные телом и душой *люди*. Прекрасными называют также и произведения *искусства*. Эстетика не только философия прекрасного, но и философское учение, или теория искусства. Так понимался и понимается предмет эстетики в Новое время. Более того, начиная с Канта и Гегеля, идеалистическая эстетика Нового времени всецело сводила эстетическую проблему к проблеме прекрасного в *искусстве*.

Совершенно иначе ставился вопрос у Платона. Его эстетика менее всего есть «философия искусства». Трансцендентный характер платоновского идеализма, противопоставление идеи явлениям, истинно-сущего (но запредельного относительно всего чувственного) не-сущему, действительного — кажущемуся принципиально исключали возможность высокой оценки искусства, глубоко уходящего своими корнями в мир чувственной природы. Более того, черты эти исключали возможность взгляда, согласно которому предмет эстетики — искусства. Эстетика Платона — мифологизированная *онтология* прекрасного, т. е. учение о бытии прекрасного, а не философия искусства. В силу исходных посылок учения Платона прекрасное вынесено в нем за границы искусства, поставлено высоко *над* искусством — в области запредельного миру бытия едва различимого мыслью человека, откуда он остается чувственным человеком.

Но и в вопросе об искусстве сказалась противоречивость мировоззрения Платона. Причины, коренившиеся в общественной жизни современного ему греческого общества, и многие личные его свойства вызвали внимание Платона к вопросу об искусстве.

В политической и культурной жизни Греции, в системе воспитания свободного класса античного общества роль искусства, его воздействие на формирование мировоззрения людей были настолько велики, настолько ощутимы и очевидны, что ни один публицист, ни один мыслитель, обсуждавший животрепещущие вопросы современности, не мог обойти вниманием проблему искусства, т. е. вопрос о том, *какое* искусство, на *какую часть* общества, с *какой степенью* увлечения, с *какими* результатами действует, формирует строй их чувств и мыслей, влияет на их поведение.

Но у Платона был и особый — личный — повод поставить искусство в поле своего внимания, сделать его одной из важных проблем своей философии. Платон был сам первоклассный художник, блестящий прозаик, мастер диалогической формы, осведомленнейший ценитель всякого художества. Вследствие своей художественной одаренности и эстетической эрудиции Платон, более чем кто-либо другой из современных ему философов, был способен поставить вопрос о социально-политическом значении искусства в таком обществе, как древнегреческое, и в особенности афинское. Пусть с точки зрения идеалистической теории бытия Платона искусство, погруженное корнями в чувственный мир, представлялось чем-то незначущим, а образы его — далекими от истинной реальности и недостойными философского анализа. Зато с точки зрения социальной теории воспитания оно выросло до размеров крупной, и притом злободневной, проблемы. В современном ему искусстве Платон видел одно из средств, при помощи которых афинская демократия воспитала соответствовавший ее понятиям *тип человека*. В типе этом Платон отнюдь не мог признать свой идеал. Вместе с тем мысль о воспитательной роли искусства выдвигала перед Платоном вопрос существенной важности. От учения о прекрасном как об «идее» эстетика Платона должна была перейти к учению об искусстве. Она должна была поставить вопрос о творчестве, о производстве искусства, об отношении образов искусства к действительности и о его социальном — воспитательном — действии на граждан полиса.

Часть этих вопросов Платон рассматривает в одном из наиболее зрелых своих произведений — в «Государстве». Взгляд Платона на образы искусства определяется идеализмом его мировоззрения. Если чувственно воспринимаемые вещи — несовершенные и искаженные отображения истинно-сущих идей, то образы искусства, по Платону, еще менее совершенны. Они отражения отражений, тени теней, подражание подражанию. В искусстве поэтому нет истины. Художники только воображают, будто знают то, что они изображают в своих произведениях: действия героев, военачальников, полководцев, богов. И тем не менее действие искусства могущественно. Произведения искусства не дают и не могут дать истинного познания, но действуют на чувства и поведение. Музыкальные лады могут, например, воспитывать в молодых людях самообладание,

мужество, дисциплинированность или расслаблять эти необходимые для них качества. Поэтому государство должно осуществлять строгий контроль над воспитательным действием искусства: запрещать искусство вредное и допускать только согласное с задачами воспитания. Обсуждая в «Государстве» эти вопросы, Платон набрасывает классификацию жанров поэзии, определяет признаки эпической, лирической и драматической поэзии. Исследования эти проложили путь классификации жанров, которую с иных, чем у Платона, философско-эстетических позиций развил Аристотель.

В «Ионе» речь идет о двух основных видах творчества: о творчестве художника, впервые создающего произведение искусства, и о творчестве *художника-исполнителя*, доносящего замысел до зрителей и слушателей, с тем чтобы в них запечатлелось произведение. Платона занимает, во-первых, вопрос об источнике первичного творчества, порождающего произведение, во-вторых, вопрос о возможности *намеренного* и *сознательного обучения* творчеству. Этот последний вопрос ведет к вопросу о рациональном или иррациональном характере художественного творчества.

Уже софистическое просвещение выдвинуло в качестве одной из центральных проблем проблему *обучения*. Жизненную основу софистики V в. образуют разносторонние потребности, порожденные развивающимися судебными и политическими учреждениями города-государства. Новые формы классовой политической борьбы — широкое развитие имущественных споров и претензий, борьба в судах, постановка волновавших общество политических вопросов в народном собрании, практика постоянных обличений и обвинений, направленных против политических противников и осуществлявшихся через демократические политические учреждения, — вызвали к жизни расцвет судебного и политического красноречия. Одновременно эти явления выдвинули с неизвестной до того остротой вопросы политического образования и обучения. Публичный учитель красноречия, наставник в политических, и не только в одних политических, науках — одна из характернейших и приметнейших фигур демократического греческого города уже в V в. Первоначально это явление возникло в продвинувшихся на пути демократизации греческих городах Сицилии и Южной Италии. Но немного времени протекло с возникновением сицилийских школ риторики, и вот уже Афины становятся местом

деятельности новых учителей. Новое искусство пропагандируется в эффектных состязаниях, в парадоксальных диспутах, путем показательных докладов и лекций, в платных курсах, открываемых новоявленными наставниками политического мастерства и всяческой иной мудрости.

Теоретической и педагогической предпосылкой софистической практики была мысль о том, что обучение новым политическим знаниям и умениям не только *возможно*, но и необходимо. Не только в рекламе, в исполненном бахвальства зазывании учеников, которое практиковали некоторые софисты, — за что на них обрушивались насмешки и негодование консервативных и скептически настроенных современников, — но и в серьезных выступлениях самых даровитых и глубокомысленных из них дышит истинная уверенность в способности научить других, в возможности передать ученикам основы своего мастерства и искусства. В искаженных пристрастием или тенденциозностью образах софистов, начертанных рукой их политических и идейных противников, внимательный взгляд открывает черты серьезного и вполне искреннего воодушевления педагогической деятельностью. Такие люди, как Протагор, Горгий, Продик, Гиппий, не только многое знали и многое умели. Они не могли бы действовать, если бы не были убеждены в том, что составляющее их дар искусство может быть передано другим посредством рациональных, допускающих изучение и освоение методов.

Убеждение софистов в возможности обучения политическому искусству распространилось и на искусство *художников*. В софистике было много элементов артистизма, художественного действия и очарования. Софист покорял слушателей и учеников не только искусством своих логических выводов, но не в меньшей мере и искусством их запечатления — в речи, в слове. Изначальная связь между софистикой и риторикой легко вела к тому, что предпосылка о возможности обучения политическому искусству могла быть обращена в предпосылку о возможности обучения художественному мастерству.

В платоновском «Протагоре» знаменитый софист прямо утверждает, что «для человека хоть сколько-нибудь образованного очень важно знать толк в поэзии — это значит понимать сказанное поэтами, судить, что правильно в их творениях, а что нет, и уметь это разобрать и дать объяснение, если кто спросит» (Прот. 338 E — 339 A). Но и антагонист Протагора

Сократ признает, что доблести военные и политические неразрывно связаны с мастерством в искусстве слова.

Но если искусство красноречия так тесно связано с мастерством художественного слова, то вопрос о возможности *обучения* искусству приобретал большое значение, притом не только теоретическое, но и практическое. В глазах Платона вопрос этот касался самих основ социального и политического устройства общества.

Признание возможности обучения искусству, художественному мастерству означало для Платона низведение искусства до степени *специальности, профессии, ремесла*. Признание это, другими словами, вело к утверждению известного *эстетического демократизма*.

Но вывод этот представлялся Платону неприемлемым и недопустимым в том обществе, какое хотел бы видеть философ вместо общества, существовавшего в действительности. Политические воззрения Платона узаконяли самое резкое, самым тщательным образом регламентированное разделение труда для низших классов, но зато с тем большей силой исключали всякую ремесленную специализацию для принадлежавших к высшему классу «свободнорожденных».

В том же «Протагоре» Сократ, пытаясь выяснить мотивы, по которым Гиппократ хочет учиться у приехавшего в Афины Протагора, оправдывает намерение Гиппократа только одним: Гиппократ предполагает, как догадывается Сократ, что обучение у знаменитого иноземного софиста будет *не профессиональным*. Скорее оно будет похоже на обучение у кифариста, или преподавателя грамоты, или у того, кто учит борьбе. «Ведь каждому из этих дел, — говорит Сократ, — ты учился не как профессии, чтобы стать ремесленником, а в виде упражнения, как подобает самостоятельному обывателю и свободному человеку» (там же, 312 В).

Согласно убеждению Платона, обучать искусству человека «свободнорожденного» возможно и допустимо только в целях просвещенного дилетантизма и в подробностях, не превышающих того, что требуется ценителю, принадлежащему к классу свободных, чтобы высказать компетентное и авторитетное суждение.

Характерно, что при этом Платон вовсе не отрицает ни существования профессионального обучения искусству, ни даже действительной возможности такого обучения для людей низ-

ших классов. Он только отрицает полезность и целесообразность такого обучения для людей *свободных*. Платон стремится подчеркнуть и сохранить грань, отделяющую людей свободных от людей, прикрепленных — в силу своего низшего социального положения — к той или иной профессии. А так как в наслаждении произведениями искусства он склонен видеть преимущество «лучших», то он стремится изгнать профессиональное обучение искусству из системы воспитания этих «лучших», т. е. свободных. Это взгляд общий для теоретиков рабовладельческого класса античной Греции. Впоследствии, вслед за Платоном, его разовьет в VIII книге своей «Политики» Аристотель.

Но Платон не только утопист, педагог и публицист рабовладельческого класса. Он кроме того и прежде всего *философ*. Направленное против софистов и внушенное классовой точкой зрения учение о недопустимости профессионального обучения свободных граждан искусству Платон хочет обосновать и как учение *философское*. Оно должно быть выведено из высших посылок учения о бытии и познании; теория творчества должна оказаться развитой из трансцендентных положений теории идей.

Эта задача философского обоснования теории творчества выполнена Платоном в диалогах «Ион» и «Федр».

Прославленный рапсод, исполнитель поэм Гомера Ион выведен в одноименном диалоге как представитель распространенного в широких кругах понимания художественного творчества. Согласно этому пониманию, творчество — как первичное творчество художника-поэта, так и искусство исполнения его произведений, — есть некий вид *знания*, или *сознательного умения*, передаваемый другим посредством обучения. В «Ионе» речь идет главным образом об искусстве исполнения. Рапсод Ион видит в самом себе не просто исполнителя, но вместе с тем знающего и понимающего *истолкователя* искусства Гомера, знатока всех занятий и искусств, о которых говорит Гомер и которые изображаются наравне с Гомером и другими поэтами.

Против этого личного самомнения, представляющего вместе с тем теоретическое убеждение, Платон выдвигает доводы, почерпнутые из фактов художественной специализации. Под ударами диалектики Сократа рапсод вынужден сознаться, что из всех поэтов он хорошо знает, собственно, одного только

Гомера. Если бы, рассуждает Сократ, творчество художника и исполнителя было тождественно со *знанием* и обуславливалось *обучением*, то тогда, при существенной цельности и единстве всех искусств (цельности, признаваемой вполне и Ионом), способность компетентного суждения художника об искусстве не обуславливалась бы специализацией и не была бы ничем ограничена. «Видел ли ты, — спрашивает Сократ, — хоть кого-нибудь, кто был бы по части Полигнота, сына Аглафонтова, силен показать, что он хорошо пишет и что нет, а относительно других живописцев этого не мог бы» («Ион» 533 А).

Обобщая это рассуждение, Сократ легко принуждает Иона согласиться с тем, что ни в игре на флейте или на кифаре, ни в искусстве рапсодии «никогда не сыскать такого человека, который был бы силен толковать об Олимпе, или о Фамире или об Орфее, или о Фемии, итакийском рапсode, относительно же Иона Эфесского недоумевал бы и не мог бы ничего сказать о том, что он хорошо распевает и что нет» (там же, 533 ВС).

Однако убедительности рассуждения Сократа как будто противоречат факты. Не возражая против довода Сократа по существу, Ион противопоставляет ему данные собственного опыта: лишь о Гомере может он говорить хорошо и с легкостью.

Итак, устами Сократа и Иона Платон формулирует и ставит на разрешение противоречие. Или в основе творчества лежит рациональное знание, понимание, ясность сознательного истолкования — и тогда творчество художественного истолкования не может быть ограничиваемо рамками специализации: тогда художник, легко ориентирующийся в каком-либо одном виде или вопросе своего искусства, должен ориентироваться и во всех других. Или же способность художника в уверенной ориентировке ограничена какой-либо одной специальной сферой — и тогда очевидно, что в основе творчества лежит не общий для всех ясный свет интеллектуального понимания, не знание, не обучение, а нечто иное, не зависящее ни от понимания, ни от знания, ни от обучения.

Совершенно очевидно, что противоречие творчества — в том виде, в каком его сформулировал Платон, — *мнимое*. В основе этого противоречия легко обнаружить смешение понятий. Платон явно подменяет обсуждаемый вопрос другим. Понятие *творчества* он подменяет понятием о способности художника к *критическим суждениям* по поводу искусства.

Платон делает вид, будто он спрашивает о творчестве, однако на деле он спрашивает уже о другом. Он спрашивает, каким образом человек, созревший до способности суждения, оценки и приговора по отношению к одному художнику или одному произведению искусства, может оказаться лишенным этой способности в другом случае, в отношении другого художника или другого произведения искусства. Подставив, таким образом, на место творчества способность суждения о творчестве, Платон уже без особого труда мог представить как нелепую мысль о рациональной и доступной обучению природе творческого акта. Опровергаемому им мнению о рациональном характере творчества он противопоставляет, ссылаясь на повседневное наблюдение, профессиональную ограниченность исполнителя. Тем самым постигаемый и открытый обучению характер художественного творчества оказался отвергнутым. Развивая эту мысль, можно было представить творчество уже в виде какого-то *наития*, выходящего за пределы обычного умения, не основанного на опыте и обучении, а источник этого наития приписать властным высшим силам, внешним по отношению к человеку.

Ко всему этому Платон присоединил аргумент, указывающий на различие между художественным творчеством в собственном смысле и связанными с ним *техническими* знаниями и навыками. Очень часто, как думает Платон, смешивают творчество с известной технической или формальной сноровкой, составляющей *одно* из условий творчества, но еще не образующей самого творчества. Именно на этом смешении основывается, по Платону, ошибочная мысль о возможности *обучения* творчеству. Здесь возможность обучения известным техническим действиям ошибочно принимается за возможность обучения самому искусству — как творчеству.

Различие это Платон устанавливает в «Федре». «Если бы кто пришел к Софоклу и Еврипиду, — рассуждает Платон, — и стал говорить им, что он умеет сочинять очень длинные трагические диалоги на ничтожные сюжеты и очень короткие на сюжеты важные и по своему желанию может писать диалоги в жалостном тоне и, наоборот, в наводящем ужас и грозном тоне, и все в таком же роде, и полагает, обучая этому, передавать другим искусство сочинять трагедии» («Федр» 268 С), то, по уверению Платона, Софокл и Еврипид поступили бы с таким человеком так, как поступил бы музыкант, который встре-

тил бы человека, считающего себя знатоком гармонии только на том основании, что он умеет настроить струну на самый высокий или на самый низкий тон. «Любезнейший, — сказал бы такой мастер музыки, — конечно, и это необходимо знать человеку, собирающемуся стать знатоком гармонии, но вполне возможно, что человек, придерживающийся твоего образа мыслей, ни чуточки не понимает в гармонии; ты обладаешь необходимыми подготовительными сведениями по гармонии; но вовсе не знанием гармонии» (там же, 268 E).

Но не иначе, чем этот музыкант, ответил бы, по Платону, и Софокл: «И Софокл сказал бы, что заявляющий себя знатоком предварительных сведений, касающихся трагедии, обладает именно этими сведениями, но не знает еще искусства сочинять трагедии» (там же, 268 DE; 269 A).

Однако, отвергая мысль о рационально познаваемой основе творческого акта, Платон не хотел удовольствоваться одним лишь *отрицательным* результатом. Если источником творчества не может быть сообщаемое другим знание, понимание и изучение, то что же тогда такое творчество? И каким образом еще не определенная причина творчества может быть основой уже установленного факта художественной специализации, т. е. той особой одаренности, которая, открывая перед художником *одну* область искусства, как будто преграждает ему путь во все остальные?

По-видимому, с целью раз навсегда исключить из художественного воспитания «свободнорожденных» граждан всякое профессиональное обучение искусству Платон развил в «Ионе» *мистическую* теорию художественного творчества. Не смущаясь тем, что его теория творчества вступала в известное противоречие с его же собственным учением о разумном познании идей, Платон провозгласил акт художественного творчества актом *алогическим*. Источником и причиной творчества в искусстве Платон признал *одержимость*, особый вид *вдохновения*, сообщаемого художнику высшими и по природе своей не доступными ни призыву, ни какому-либо сознательному воздействию божественными силами. «Не в силу искусства, — поучает Сократ Иона, — и не в силу знания говоришь ты о Гомере то, что говоришь, а в силу божьей воли и одержимости» («Ион» 536 C). А в другом месте того же диалога Сократ говорит, что все эпические поэты действуют не посредством искусства, но, «будучи боговдохновенными

и одержимыми, производят они все эти прекрасные творения, и песнотворцы хорошие точно так же» (там же, 533 E).

Настоятельно подчеркивает Платон *алогическую* сущность художественного вдохновения, состояние особого умоисступления, повышенной эмоциональной энергии, когда гаснет обычный ум и сознанием человека властно овладевают алогические силы: «Как корибанты пляшут в исступлении, так и они (поэты) в исступлении творят эти свои прекрасные песнопения; когда ими овладевает гармония и ритм, они становятся вакхантами и одержимыми; вакханки в минуту одержимости черпают из рек мед и молоко, а в здравом уме не черпают, и то же бывает с душою мелических поэтов, как они сами свидетельствуют.

Говорят же поэты, что они летают, как пчелы, и приносят нам свои песни, собранные у медоносных источников в садах и рощах Муз. И они говорят правду: поэт — это существо легкое, крылатое и священное; он может творить не ранее, чем сделается вдохновенным и исступленным и не будет в нем более рассудка; а пока у человека есть это достояние, никто не способен творить и вещать» (там же, 534 AB).

Как и в своем опровержении рациональной природы творческого акта, так и при разъяснении учения об одержимости как источнике и условии творчества Платон создает лишь видимость убедительности. Как и в первом случае, он опирается на подмену одного понятия другим. Устами Сократа Платон взялся доказать, будто творчество есть алогический акт одержимости. В действительности же он доказывает совершенно другое: не иррациональную природу творчества, а необходимость *сопереживания* для художника-исполнителя, необходимость «объективации», «соприсутствующей» фантазии, наделяющей образы вымысла жизнью, реальностью. На важный для искусства и для теории творчества вопрос о сущности художественного «перевоплощения» в изображаемое, или «вчувствования», Платон отвечает не имеющим отношения к этому вопросу утверждением, будто творческий акт есть акт алогической «одержимости». Именно в эту сторону направлен вопрос, который Сократ задает Иону: «Всякий раз, как тебе удается исполнение эпоса и ты особенно поражаешь зрителей, когда поешь, как Одиссей вскакивает на порог, открываясь женихам, и высыпает себе под ноги стрелы, или как Ахилл ринулся на Гектора, или что-нибудь жалостное об Андромахе,

о Гекубе или о Приаме, — в уме ли тогда или вне себя, так что твоей душе в порыве вдохновения кажется, что она тоже там, где совершаются события, о которых ты говоришь, — на Итаке, в Трое или где бы то ни было?» («Ион» 535 ВС).

Смешение совершенно различных понятий — художественной правды в изображении и алогической одержимости, «соприсутствующего» воображения и иступленного вдохновения — в одном неясном и неразъясненном понятии — «быть вне себя» — выступает особенно резко в том месте диалога, где Платон пытается доказать, будто увлеченность воображения исполнителя «сопереживаемыми» сценами, которые он воспроизводит своим искусством, с точки зрения здравого реалистического смысла должна представляться чем-то совершенно алогическим и даже не лишенным комизма. «Так что же, Ион, — донимает своего собеседника Сократ, — скажем ли мы, что находится в здравом рассудке тот человек, который, нарядившись в расцветенные одежды и надев золотой венец, станет плакать среди жертвоприношений и празднеств, ничего не потеряв из своего убранства, или будет испытывать страх, находясь среди более чем двадцати тысяч дружественно расположенных людей, когда никто его не грабит и не обижает?» (там же, 535 D).

Таким образом, в способности произведений искусства действовать на людей, «заражать» их теми чувствами и аффектами, которые запечатлены в произведении автором и передаются публике исполнителем, Платон видит основу для утверждения, будто художественный акт иррационален, а его источник — действие потусторонних божественных сил.

Как это обычно бывает, идеалистическое заблуждение философа не просто вздорный вымысел, но имеет свой гносеологический корень. Таким корнем для Платона оказалась действительная двойственность акта исполнительства, совмещение в нем противоположностей. С одной стороны, исполнитель доносит до своего слушателя, зрителя образ и замысел автора. В этом смысле он исполнитель *авторской* воли, передатчик *авторского* видения жизни. Но, с другой стороны, передать это видение, довести до сознания публики авторскую волю исполнитель может только с помощью средств, которые ему вручает *личное* понимание и истолкование, *личная* увлеченность и *личная* взволнованность. Их направление и результат никогда не могут с буквальной точностью совпасть с видением

мира автора, с его эмоциональной настроенностью, с его волевой направленностью. Поэтому всякое исполнение всегда есть *истолкование*, не может не быть интерпретацией. Тождество авторского произведения и исполнительской передачи невозможно.

В этом единстве противоположностей, образующем живую ткань творчества исполнителя, Платон выдвинул и подчеркнул только одну сторону: полную будто бы пассивность исполнителя, его безвольность, отказ от собственной деятельности, погашение собственного ума, самоотдачу художника-исполнителя велениям чужой и высшей воли. Условием верности передачи Платон провозгласил покорность исполнителя алогическому наитию.

Одним из аргументов в пользу своей теории Платон считал то, что теория эта, как ему казалось, объясняла крайне загадочное в глазах большинства людей явление специфической художественной одаренности. Если, как думает Платон, источник творчества *вне* интеллекта художника, а само творчество лишь род алогической одержимости, то причины, по которым один художник оказывается мастером в одном виде искусства, а другой — в другом, менее всего приходится искать в каких-то особых качествах одаренности, фантазии, чувства, ума или в воспитании всех этих качеств. Человека делает художником не обучение, не воля к совершенствованию или к мастерству, но лишь остановившийся на нем непостижимый выбор божественной силы. Выбор этот не изменяет ни ума, ни характера человека, но лишь на время наделяет его художественной силой, и притом всегда лишь в каком-нибудь одном, строго определенном отношении. Именно поэтому представляется понятным, почему художник, замечательный в какой-нибудь одной области искусства, оказывается совершенно незначущим и немощным в другой. «Тобою владеет, — поучает Сократ Иона, — Гомер. Когда кто-нибудь поет творения другого поэта, ты спишь и не находишь, что сказать, а когда запоют песнь этого твоего поэта, ты тотчас пробуждаешься, твоя душа пляшет, и ты несколько не затрудняешься, что сказать. Ведь то, что ты говоришь о Гомере, все это не от умения и знания, а от божественного определения и одержимости; как корибанты чутко внемлют только напеву, исходящему от того бога, которым они одержимы, и для этого напева у них достаточно и телодвижений и слов, о других же они и не помышляют, так

и ты, Ион, когда кто-нибудь вспомнит о Гомере, знаешь, что сказать, а в остальных поэтах затрудняешься. И причина того, о чем ты меня спрашиваешь, — почему ты о Гомере знаешь, а об остальных нет — а причина здесь та, что не выучкой, а божественным определением ты — искусный хвалитель Гомера» («Ион» 536 ВD). Так как поэты творят не в силу искусства, а в силу одержимости, то каждый способен хорошо творить только то, к чему его возбуждает муза: «Один — дифирамбы, иной — хвалебные песни, тот — плясовые, этот — былины, а кто — ямбы, а в прочих родах каждый из них плох» (там же, 534 ВС).

Убедительным подтверждением своей мысли Платон считал поэтическую судьбу Тинниха-халкидийца. По словам Платона, этот поэт «никогда не произвел никакого другого стихотворения, стоящего упоминания, кроме того пеана, который все поют, едва ли не прекраснейшую из всех песен и прямо, как он сам говорит, находку муз. Вот в нем-то, мне кажется, — добавляет Платон, — бог всего более показал нам, чтобы мы не сомневались, что не человеческое имеют свойство и не от людей происходят те прекрасные творения, а божеское и от богов, поэты уже не что иное, как толмачи богов, одержимые тем, в чьей власти кто находится. Чтобы это показать, бог нарочно пропел самую прекрасную песнь через самого плохого поэта» (там же, 534 Е — 535 А).

Одно из важных отличий учения об одержимости, как оно излагается в «Федре», — в том, что теория одержимости ясно связывается здесь с центральным учением платоновского идеализма — с теорией идей. *Эстетическая одержимость* рассматривается здесь как путь, ведущий от несовершенств чувственного мира к совершенству истинно-сущего бытия. Согласно мысли Платона, человек, восприимчивый к прекрасному, принадлежит к тому небольшому числу людей, которые в отличие от большинства, забывшего созерцавший ими некогда мир истинного бытия, хранят о нем воспоминания.

Три мысли, заключающиеся в учении Платона о творчестве как об одержимости, повторялись и воспроизводились эстетиками-идеалистами последующих времен: о сверхчувственном источнике творчества, об алогической природе художественного вдохновения и о том, что основа эстетической одаренности не столько в положительном специфическом даровании, в особенностях интеллектуальной и эмоциональной

организации художника, сколько в чисто отрицательном условии, в его способности выключаться из практического отношения к действительности, в отсутствии практической заинтересованности.

Всего отчетливее эта мысль выступает в «Федре»: диалог этот развивает тезис об алогической одержимости, о вдохновенном неистовстве, даруемом свыше, как об основе творчества. Понятие «одержимости» и «неистовства» распространяется на способности к искусству. «Вдохновение и неистовство, от Муз исходящее, охватив нежную и чистую душу, пробуждает ее и приводит в вакхическое состояние, которое изливается в песнях и во всем прочем творчестве, украшает бесчисленные деяния старины и воспитывает потомство. Кто, — продолжает Платон, — подходит к вратам поэзии без неистовства, Музами посылаемого, будучи убежден, что он станет годным поэтом лишь благодаря ремесленной выучке, тот является поэтом несовершенным, и творчество такого здравомыслящего поэта затмевается творчеством поэта неистовствующего» («Федр» 244 E — 245 A).

Теория творчества, развитая Платоном и несостоятельная в своем алогическом содержании, несомненно, связана с социально-политическим мировоззрением Платона. Деятельность высшего искусства отделяется у Платона от ремесленного искусства, от выучки, от рациональных методов мышления и художественного действия. Искусство тем самым возносится в высшую сферу, а художник становится на социальной лестнице выше профессионального мастера, принадлежащего скорее к классу, или разряду, ремесленников. Способность к художественному наитию превращается в признак, определяющий место художника в социальной иерархии. Искусство ремесленников признается, сохраняется, но оценивается как «несовершенное», как низший род искусства.

Как во всяком крупном построении идеалистической мысли, в теории Платона может быть выделена черточка или грань истины. Только черточка эта безмерно преувеличена Платоном, раздута в некий мистический абсолют. Грань истины состоит в правильно подмеченном «заразительном действии искусства, в его удивительной способности захватывать людей, овладевать их чувствами, мыслями и волей с силой почти неодолимого принудительного внушения. Преувеличение, допущенное Платоном, очевидно. Диалектика художественного восприятия

всегда есть единство *состояния и действия*, не только пассивное и бессознательное *подчинение* художнику, но и *осмысленный акт понимания*, истолкования, суждения, одобрения или недоумения, приятия или отвержения. В этой диалектике Платон односторонне выделил и осветил лишь одну — пассивную — сторону акта восприятия. Но осветил он ее гениально, с присущей ему философской силой и пронизательностью, с удивительной художественной рельефностью. В «Ионе» и в «Федре» даны яркие изображения захватывающей и внушающей («суггестивной») мощи произведений большого искусства. При всех особенностях отдельных видов искусства, при всем различии между творчеством автора, исполнителя и зрителя или слушателя искусство, утверждает Платон, в целом *едино*. Его единство — в силе художественного внушения, в неотразимости запечатления. Сила эта сплачивает всех причастных к искусству людей и все особые виды искусства в целостное и по существу единое явление. В «Ионе» захватывающая сила искусства уподобляется способности магнита сообщать магнитное свойство притяжения не только непосредственно близким к нему железным предметам, но через их посредство и телам отдаленнейшим. «Толковать хорошо о Гомере, — поучает Сократ Иона, — это ведь у тебя не искусство, о чем я сейчас говорил, а божественная сила, которая тебя двигает, как в том камне, что Еврипид назвал магнитом, а народ называет гераклейским. Дело в том, — поясняет далее Сократ, — что этот самый камень не только тянет железные кольца, но и влагает в кольца силу, чтобы они могли делать то же самое, что и камень: тянуть другие кольца, так что иногда висит большая цепь из тянущих друг друга железных колец, так что у них у всех сила зависит от того камня. Так же и Муза — боговдохновенными-то делает людей сама, а через этих боговдохновенных привешивается цепь других восторженных» («Ион» 533 DE).

Сведение творчества к «одержимости» и к гипнотической впечатляемости стирало грани между творчеством художника, творчеством исполнителя (актера, рапсода, музыканта) и творчеством зрителя, слушателя, читателя: и художник, и исполнитель, и зритель одинаково «восхищаются» музой, как это понималось в первоначальном смысле слова «восхищение», означающего «похищение», «захват». При этом оставались без внимания специфические различия между творчеством автора, исполнителя-посредника и воспринимающего произве-

дение. Зато подчеркивалась мысль о существенном единстве творчества, понятого в качестве восприимчивости к художественным внушениям или впечатлениям.

В эстетике Платона мысль о захватывающей силе искусства неразрывно связана с гипотезой о запредельном источнике творчества, с теорией идей. Не все последующие идеалисты считали эту связь обязательной и истинной. Некоторые из них отказались от мысли о надчеловеческом, потустороннем источнике творческого наития. Но, отбрасывая трансцендентную, потустороннюю предпосылку платонизма, они с тем большей охотой воспроизводили мысли Платона о *заразительном*, внушающем действии искусства. В эстетике, например, Льва Толстого мы не найдем платоновской метафизики идей, но мы найдем в ней напоминающую Платона мысль, согласно которой главное свойство и главный признак истинного искусства состоят в способности его произведений захватывать, или, по терминологии Толстого, «заражать», людей вложенными в эти произведения чувствами. И так же в социологической эстетике испытавшего влияние Платона Ж. М. Гюйо платоновское уподобление действия искусства силе магнита превратилось в идею о социальной симпатии, или «нравственной индукции», достигаемой средствами искусства. Как и Платона, как и Толстого, внимание Гюйо в явлениях искусства привлекает прежде всего та сторона, вследствие которой человек, испытывающий действие искусства, заражается этим действием и подчиняется исходящей из него силе эмоционального внушения.

Вторая идея платоновской теории творчества, несомненно отражающая, хотя и с идеалистическим извращением и преувеличением, реальную черту художественной практики, есть идея *вдохновения* как необходимого условия творческого действия. В эстетике самого Платона вдохновение неверно и односторонне характеризуется как состояние безотчетной и алогической эффективности, не сознающей собственных оснований и собственной природы, овладевающей человеком не через ум, а через чувство. Эта алогическая характеристика вдохновения как состояния экстатического, граничащего с исступлением, была усилена и развита неоплатониками.

Однако сама по себе мысль о вдохновении как об одном из условий творчества не связана никакой необходимостью с алогическим истолкованием творческого акта. С освобождением учения о вдохновении от алогических основ, на которых

оно возникло у Платона в изображении влюбленного, в изображении творческого томления и творческой страсти, могло открыться как их истинная реальная основа вполне реальное наблюдение. Это наблюдение, эта «черточка» истины, неправомерно раздутая идеалистом и мистиком Платоном, есть открытая им крайняя сосредоточенность, сведение к одной точке всех сил ума, воображения, памяти, чувства и воли, характеризующих каждый истинный акт большого искусства.

Платон, сам того не подозревая, показал, несмотря на все заблуждения своего учения об идеях и о «демоническом» источнике творчества, что в искусстве никакое действительное свершение невозможно без полной самоотверженности художника, без способности его всем существом отдаваться поставленной им перед собой задаче, без воодушевления своим делом, доходящего до полного самозабвения. В художественном акте Платон раскрыл не только сосредоточенность видения, но и тот крайний накал одушевления, напряжения душевных сил, без которых образы искусства не окажут своего действия, оставят аудиторию зрителей и слушателей равнодушными и холодными. В этом открытии — реальный смысл платоновского учения о вдохновении.

Но взятое в этом смысле понятие «вдохновение» имеет уже очень мало общего с алогической мистикой Платона. Реальное понятие художественного вдохновения оставляет все права за разумом, за интеллектом, за сознанием. Оно исключает мысль о сверхчувственном, потустороннем происхождении столь необходимого художнику воодушевления. Оно есть то «расположение души к живейшему восприятию впечатлений» и к «соображению понятий», в котором А. С. Пушкин видел ясную, рациональную и реальную суть поэтической вдохновенности.

В. Ф. Асмус

Чтение как труд и творчество*

1

«Чтение как труд и творчество...» Для тех читателей, которые никогда не задумывались над вопросом, сформулированным в заглавии, сама его постановка может показаться сомнительной. «Когда я читаю поэму, книгу стихов, рассказ, роман, — так может сказать читатель, — я вовсе не хочу “трудиться”, и я ничего не “творю”. В процессе чтения я прежде всего ищу развлечения. Я понимаю, что автор должен был “трудиться” и “творить” — иначе он не мог бы овладеть моим вниманием, заполнить мой досуг, позабавить меня, взволновать, растрогать. Но в чем может состоять “труд” и тем более “творчество” мое, читателя? Вряд ли этот труд больше того, который требуется для того, чтобы прочитать любой печатный текст. Скорее “труд” этот даже должен быть более легкий, чем всякий другой труд чтения. Чтобы прочитать книгу по квантовой механике, надо, разумеется, потрудиться. Но какой “труд” и тем более какое “творчество” необходимы при чтении, например, “Тихого Дона”, или “Анны Карениной”, или поэм Пушкина?»

* Публикуется по: Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968. С. 55–68. — *Примеч. ред.*

Возражение это вполне понятно. Его основание — в том, что большинство читателей не склонно и не может следить за работой собственной мысли, которая происходит в них, когда они читают произведение художественной литературы. Их, естественно, интересует не эта работа, а тот мир, тот кусок жизни, который проходит в поле их сознания в процессе чтения. Они не догадываются о том, какая работа требуется от самого читателя для того, чтобы жизнь, изображенная автором, возникла «вторично», стала жизнью и для его читателя.

Взгляд таких читателей на процесс чтения напоминает рассказ Гоголя о том, как обедал колдун Пацюк. Колдун при этом не трудился. Перед ним стояла тарелка с варениками и миска со сметаной. Вареники, движимые колдовской силой, сами прыгали в миску, сами переворачивались в сметане и сами летели прямехонько в рот Пацюку.

Но процесс чтения несколько не похож на обед Пацюка. При чтении никакая колдовская сила не переворачивает вареники в сметане и не отправляет их в рот голодному.

Чтобы чтение оказалось плодотворным, читатель должен сам потрудиться, и от этого труда его не может освободить никакое чудо. Кроме труда, необходимого для простого воспроизведения последовательности фраз и слов, из которых состоит произведение, читатель должен затратить особый, сложный и притом действительно творческий труд.

2

Труд этот необходим уже для создания особой установки, делающей чтение чтением именно художественного и никакого другого произведения.

Приступая к чтению художественной вещи, читатель входит в своеобразный мир. О чем бы ни рассказывалось в этой вещи, какой бы она ни была по своему жанру, по художественному направлению — реалистической, натуралистической или романтической, — читатель знает, пусть даже безотчетно, что мир (или «отрезок», «кусок» мира), в который его вводит автор, есть действительно особый мир. Две черты составляют его особенность. Мир этот, во-первых, не есть порождение чистого и сплошного вымысла, не есть полная небылица, не имеющая никакого отношения к действительному миру. У ав-

тора может быть могучая фантазия, автор может быть Аристофаном, Сервантесом, Гофманом, Гоголем, Маяковским, — но как бы ни была велика сила его воображения, то, что изображено в его произведении, должно быть для читателя пусть осой, но все же реальностью.

Поэтому первое условие, необходимое для того, чтобы чтение протекало как чтение именно художественного произведения, состоит в особой установке ума читателя, действующей во все время чтения. В силу этой установки читатель относится к читаемому или к «видимому» посредством чтения не как к сплошному вымыслу или небылице, а как к своеобразной действительности.

Второе условие чтения вещи как вещи художественной может показаться противоположным первому. Чтобы читать произведение как произведение искусства, читатель должен во все время чтения сознавать, что показанный автором посредством искусства кусок жизни не есть все же непосредственная жизнь, а только ее образ. Автор может изобразить жизнь с предельным реализмом и правдивостью. Но и в этом случае читатель не должен принимать изображенный в произведении отрезок жизни за непосредственную жизнь. Веря в то, что нарисованная художником картина есть воспроизведение самой жизни, читатель понимает вместе с тем, что эта картина все же не сама доподлинная жизнь, а только ее изображение.

И первая и вторая установка не пассивное состояние, в которое подвергает читателя автор и его произведение. И первая и вторая установка — особая деятельность сознания читателя, особая работа его воображения, сочувствующего внимания и понимания.

Ум читателя во время чтения активен. Он противостоит и гипнозу, приглашающему его принять образы искусства за непосредственное явление самой жизни, и голосу скептицизма, который нашептывает ему, что изображенная автором жизнь есть вовсе не жизнь, а только вымысел искусства. В результате этой активности читатель осуществляет в процессе чтения своеобразную диалектику. Он одновременно и видит, что движущиеся в поле его зрения образы — образы жизни, и понимает, что это не сама жизнь, а только ее художественное отображение.

Что обе указанные установки не простые и не пассивные «состояния сознания» читателя, что они предполагают особую

деятельность ума, ясно видно в тех случаях, когда одна из обеих установок отсутствует. Как только прекращается деятельность ума, необходимая для указанного двойного осознания образов искусства, восприятие произведения как произведения художественной литературы немедленно рушится, не может состояться, «вырождается».

Большие писатели не раз изображали убийственные для искусства результаты отсутствия обеих установок мыслительной деятельности, необходимой для чтения художественных произведений. У Достоевского в «Братьях Карамазовых» Федор Павлович дает Смердякову прочитать «Вечера на хуторе близ Диканьки». Тот возвращает книгу с явным неудовольствием. На вопрос: почему книга ему не понравилась, он отвечает: «Все про неправду написано». Причина смердяковского приговора — патологическая тупость эстетического и нравственного воображения. Смердяков неспособен понять, что произведение искусства не только «неправда», но вместе с тем и особая «правда», изображенная средствами художественного вымысла.

Противоположный порок в труде читателя — инфантильная доверчивость, утрата понимания, что перед ним вымысел, произведение искусства, иначе говоря, дефект прямого отождествления вымысла с реальностью. Порок этот изображен Сервантесом в «Дон Кихоте». Герой романа посещает спектакль театра марионеток. Помешанный на рыцарских романах, изображающих подвиги, совершаемые рыцарями в защиту обижаемых и преследуемых, Дон Кихот внимательно следит за действием и слушает пояснения. В начале спектакля он еще отдает себе ясный отчет в том, что воспринимаемое им не реальность, а произведение искусства. Он даже поправляет мальчика, ведущего объяснение, уличает его в исторической неточности. Но вот драматическая ситуация усиливается. Попавшая в плен к маврам принцесса бежит со своим возлюбленным из плена. За ними бросается в погоню выследившая побег мавританская стража. Как только Дон Кихот видит, что появившиеся на сцене полчища мавров догоняют влюбленного рыцаря и его принцессу, он вскакивает со скамьи, выхватывает из ножен меч и начинает разить фигурки мавров.

В восприятии и осознании Дон Кихота происходит процесс, противоположный тому, что произошло со Смердяковым. Смердяков ничему не верит, так как в том, что он пытается

читать, он способен видеть только вымысел, «неправду». Дон Кихот, наоборот, неспособен разглядеть в вымысле вымысел и принимает все за чистую монету.

Ни в том, ни в другом случае чтение (или восприятие) не может состояться как чтение и восприятие именно художественного произведения. И в том, и в другом случае отсутствует необходимая для чтения и восприятия диалектика в отношении к вымыслу. Читатель, владеющий этой диалектикой, видит реальный эквивалент художественного вымысла. Относя воспринимаемое к самой жизни, образом которой оно является, он понимает, что образ этот соткан средствами вымысла. В то же время, зная, что изображенное автором есть «только сказка», читатель знает, что за этой «сказкой» стоит отраженная в ней реальность действительной, а не вымышленной только жизни.

3

Характеризованная выше двоякая установка читательского восприятия есть только предварительное условие труда и творчества, которые необходимы, чтобы литературное произведение было прочитано как произведение искусства. Там, где это двоякое условие отсутствует, чтение художественного произведения даже не может начаться. Но и там, где оно налицо, труд и творчество читателя им далеко не исчерпываются.

Чтобы увидеть в литературном произведении изображение жизни, необходима большая и сложная работа мышления. Вот пример. Я снимаю с полки роман и принимаюсь читать его. Что при этом происходит? Роман — вымышленное повествование о жизни нескольких лиц, общества, народа. Приступая к чтению, я еще ничего не знаю ни об одном из героев произведения, не знаю ничего о жизни, часть которой они составляют. Герои последовательно вводятся автором в кадры повествования, а читателем — в ходе чтения — в кадры читательского восприятия. В каждый малый отрезок времени в поле зрения читателя находится или движется один отдельный «кадр» повествования. Но ведь видит читатель не отдельные кадры, а всю проходящую в них жизнь! Как же рождается в сознании читателя это восприятие жизни как чего-то целостного, большого, объемлющего все частности, проходящие в отдельных сценах и кадрах?

Скажут: в произведении настоящего художника даже на отдельной детали лежит печать целого, к которому она принадлежит. Предчувствие трагической судьбы Анны Карениной, может быть, возникает еще в самом начале романа, когда Анна приезжает в Москву мирить Долли со Стивой и когда на перроне петербургского вокзала она узнает о гибели раздавленного поездом на путях железнодорожного сторожа.

Но как бы ни была сильна, властна эта печать целого на деталях произведения, все же изображенная в произведении жизнь (или часть жизни) не дана читателю сразу и независимо от работы, которую он должен затратить на ее воспроизведение. Кадры изображенной жизни проходят в сознании читателя в определенной и необратимой последовательности. В них все движется. Герои действуют, борются, спорят. Одни появляются, другие исчезают — на время или навсегда. Характеры, как бы ни было целостно и определенно впечатление от них уже при первом их появлении, не даны читателю «сразу», «целиком». Они «раскрываются» перед читателем в своих поступках, мыслях, чувствах, письмах, во впечатлениях и суждениях о них других действующих лиц и т. д. Больше того. Характеры эти не только узнаются, раскрываются. Они, кроме того, оцениваются читателем, вызывают в нем чувство любви, восхищения, участия или ненависти, презрения. Однако оценка так же не приходит сама собой, независимо от работы ума читателя, как не приходит сразу познание выведенных в романе характеров и лиц. Она складывается в уме и чувстве читателя в ходе чтения романа.

4

Все сказанное совершенно тривиально. Не требуется быть эстетиком, психологом или критиком, чтобы вывести из собственного опыта, что, например, суждение о романе возникает не до, а после его прочтения.

Однако, зная все это, далеко не всякий читатель отдает себе достаточный отчет в том, что же происходит в нем, в читателе, в процессе чтения литературного произведения. Многие безотчетно думают, будто осознание произведения как картины жизни сполна предрешается творческой работой автора. Все, что необходимо для понимания и для оценки героев, сделано

уже автором, вмонтировано в художественную ткань вещи. «В самом произведении» даны налицо и нарисованные автором характеры и выраженное или по крайней мере внушаемое автором отношение к ним, сочувственная или разоблачающая их, осуждающая оценка. Читателю остается только «прочитать» произведение.

Взгляд этот приравнивает автора к гипнотизеру, произведение — к действиям гипнотизера, а читателя — к загипнотизированному.

Распространенность этого взгляда обусловлена тем, что в нем, несомненно, отражается какая-то — и притом важная — грань истины. Взгляд этот — первое, еще несовершенное понимание объективности художественного произведения. Объективность эта существует. Состоит она в том, что текст произведения, или партитура, или пластические формы, или холст с нанесенными на него красками и линиями, бесспорно, намечают или указывают всем воспринимающим направление для работы их собственной мысли, для возникновения чувства, впечатления. В произведении даны не только границы или рамки, внутри которых будет разворачиваться собственная работа воспринимающего, но — хотя бы приблизительно, «пунктиром» — и те «силовые линии», по которым направится его фантазия, память, комбинирующая сила воображения, эстетическая, нравственная и политическая оценка.

Эта объективная «ткань» или «строение» произведения кладет предел субъективизму восприятия и понимания. Два человека, прослушавшие похоронный марш из Героической симфонии Бетховена, могут очень по-разному, своеобразно прочувствовать, осознать прослушанную музыку. Но, вероятно, ни одному из них не придет, не может прийти в голову принять эту часть симфонии, например, за свадебную пляску или за военный марш.

Однако как бы властно ни намечалось в самом составе произведения направление, в котором автор склоняет читателя, слушателя, зрителя воспринимать произведение, воображать ему показанное, связывать воспринятое, разделять с автором его чувство и его отношение к изображаемому, — властность эта не может освободить воспринимающего от собственного труда в процессе самого восприятия.

Даже гипноз — в прямом психологическом смысле этого понятия — не подавляет активности гипнотизируемого. Однажды

я видел, как врач-гипнотизер внушил загипнотизированному, будто в глухом лесу он один на один встретился с волком. Загипнотизированный не только «увидел» волка. Он не бежал, он вступил с ним в яростную борьбу. Это был храбрый человек. Даже в состоянии гипноза он проявил активность, характер, силу мужественного сопротивления.

Если даже клинический гипноз не погашает активности гипнотизируемого, то «гипноз» произведения искусства — тем более. Даже повторяя в какой-то мере путь воображения, чувства, мысли, пройденный при создании произведения автором и «запечатленный» в его жизни, читатель вновь пройдет этот путь в своем восприятии не в точности по авторскому маршруту, а по своему и — что всего важнее — с несколько иным результатом.

Чем сложнее образ (или группа образов), чем многообразнее раскрывается характер героев в длинной серии их поступков и положений, через которые их провел автор, тем неизбежнее и значительнее должны возникать вариации осознания, понимания и оценки у читателя.

Не будем делать отсюда ложных выводов. Явление это доказывает вовсе не то, будто чтение художественного произведения есть процесс, в котором господствуют субъективность и произвол. Явление это доказывает только, что к осознанию содержания, данного объективно в самом художественном произведении и в этом смысле независимого от воспринимающего, нет и не может быть никакого другого пути, кроме активности самого читателя, зрителя, слушателя. Содержание художественного произведения не переходит — как вода, переливающаяся из кувшина в другой, — из произведения в голову читателя. Оно воспроизводится, воссоздается самим читателем — по ориентирам, данным в самом произведении, но с конечным результатом, определяемым умственной, душевной, духовной деятельностью читателя.

Деятельность эта есть творчество. Никакое произведение не может быть понято, как бы оно ни было ярко, как бы велика ни была наличная в нем сила внушения или запечатления, если читатель сам, самостоятельно, на свой страх и риск не пройдет в собственном сознании по пути, намеченному в произведении автором. Начиная идти по этому пути, читатель еще не знает, куда его приведет проделанная работа. В конце пути оказывается, что воспринятое, воссозданное, осмыс-

ленное у каждого читателя будет в сравнении с воссозданным и осмысленным другими, вообще говоря, несколько иным, своеобразным. Иногда разность результата становится резко ощутимой, даже поразительной. Частью эта разность может быть обусловлена многообразием путей воспроизведения и осознания, порожденным и порождаемым самим произведением — его богатством, содержательностью, глубиной. Существуют произведения многогранные, как мир, и, как он, неисчерпаемые.

Частью разность результатов чтения может быть обусловлена и множеством уровней способности воспроизведения, доступных различным читателям. Наконец, эта разность может определяться и развитием одного и того же читателя. Между двумя прочтениями одной и той же вещи одним и тем же лицом — в лице этом происходит процесс перемены. Часто эта перемена одновременно есть рост читателя, обогащение емкости, дифференцированности, проницательности его восприимчивости. Бывают не только неисчерпаемые произведения, но и читатели, неиссякающие в творческой силе воспроизведения и понимания.

Отсюда следует, что творческий результат чтения в каждом отдельном случае зависит не только от состояния и достоинства читателя в тот момент, когда он приступает к чтению вещи, но и от всей духовной биографии меня, читателя. Он зависит от всего моего читательского прошлого: от того, какие произведения, каких авторов, в каком контексте событий личной и общественной жизни я читал в прошлом. Он зависит не только от того, какие литературные произведения я читал, но и от того, какие музыкальные произведения я знаю, какие я видел картины, статуи, здания, а также от того, с какой степенью внимания, интереса и понимания я их слушал и рассматривал. Поэтому два читателя перед одним и тем же произведением — все равно что два моряка, забрасывающие каждый свой лот в море. Каждый достигнет глубины не дальше длины лота.

5

Сказанным доказываается относительность того, что в искусстве, в частности в чтении произведений художественной

литературы, называется «трудностью понимания». Трудность эта не абсолютное понятие. Моя способность понять «трудное» произведение зависит не только от барьера, который поставил передо мной в этом произведении автор, но и от меня самого, от уровня моей читательской культуры, от степени моего уважения к автору, потрудившемуся над произведением, от уважения к искусству, в котором этому произведению, может быть, суждено сиять в веках, как сияет алмаз.

В молодости я не пропускал выступлений Маяковского. Я не помню ни одного вечера, на котором не нашлась бы кучка людей, жаловавшихся — кто в записках, кто посредством выкриков: «Почему ваших стихов мы не понимаем, а вот Пушкина понимаем?» Постоянный посетитель концертов, я не раз в юности слушал Скрябина. Он играл не как концертный виртуоз, но совершенно гениально. Поражала ни с чем не сравнимая своеобразная красота звука и, если так можно сказать, предельная содержательность самой игры. И что же? Часть публики выходила до окончания концерта, сердясь и негодуя на непонятность скрябинской музыки. В свое время, вероятно, такие слушатели отвергали как непонятные им стихи Тютчева, позднего Баратынского, музыку Брамса и Шумана.

Случай с «непонятностью» Скрябина и Маяковского разъяснил мне многое в работе художественного восприятия. Я понял, что то, что зовут «непонятностью» в искусстве, может быть просто неточным названием читательской лени, беспомощности, девственности художественной биографии читателя, отсутствия в нем скромности и желания трудиться. Как часто «критика» литературного произведения есть критика Пацюка, которому «вареники» не хотят сами лететь в рот! Как часто прав Гёте, который пояснял, что, когда кто-нибудь жалуется на «непонятность», «туманность» вещи, следует еще посмотреть, в чьей голове туман: у автора или читателя.

6

Заканчивая эти заметки о творческом характере чтения, хочу сказать несколько слов о требовании, какое труду читателя предъявляет развертывание процесса чтения во времени.

Литературное произведение не дано читателю в один неделимый момент времени, сразу, мгновенно*.

Сохранилось сообщение, будто Моцарт обладал поистине сверхчеловеческой способностью: он «слышал» все произведение от начала до конца, сразу «видел» все его построение от первого до последнего такта. Способность эта сверхобычна. Подавляющее большинство людей воспринимают целое в произведениях, длящихся во времени, лишь «ретроспективно», лишь после того как они прослушали последовательное исполнение всех его частей. Даже у Моцарта «единовременному» восприятию произведения, конечно, предшествовало прослушивание произведения во времени (или просмотр по партитуре).

Длительность чтения во времени и «мгновенность» каждого отдельного кадра восприятия необычно повышает требования к творческому труду читателя. До тех пор пока не прочитана последняя страница или строка произведения, в читателе не прекращается сложная работа, обусловленная необходимостью воспринимать вещь во времени. Это работа воображения, памяти и связывания, благодаря которой читаемое не рассыпается в сознании на механическую кучу отдельных независимых, тут же забываемых кадров и впечатлений, но прочно спаивается, сплавляется в органическую и длящуюся целостную картину жизни.

До прочтения последней страницы не прекращается также работа соотношения каждой отдельной детали произведения с его целым. То впечатление целого, точнее говоря, «предчув-

* То же справедливо не только относительно литературы и музыки, но и относительно произведений изобразительных искусств. Гносеологи донельзя преувеличили эстетические различия между искусствами, восприятие которых протекает во времени, и искусствами, произведения которых (живопись, скульптура) доступны «единовременному» обозрению в пространстве. «Единовременность» эта очень относительна. Мое созерцание картины не только есть процесс, так же длящийся во времени, как и чтение поэмы или романа. Время участвует и в эстетическом результате восприятия живописного, скульптурного, архитектурного произведения. Время необходимо для сплавления всех деталей рассматриваемого зримого целого в единство — для понимания, даже для простого восприятия отношений между целым и частями и т. п. Входить в подробности этого вопроса здесь нет места.

ствие» целого, которое в подлинном произведении искусства внушается автором уже с первой строфы поэмы, с первой сцены драмы, с первых четырех тактов симфонии и т. д., останется только предчувствием — до тех пор, пока оно не достигнет степени подлинного «видения», «зримой» связи. Но достигается эта зримость только непрерывной работой восприимчивости и углубляющегося мышления. Работа эта идет во весь процесс чтения. Пока в читателе не проделана им самим эта важная работа, произведение, можно сказать, еще «не прочитано» как произведение искусства.

Предуказание направления этой работы, данное автором в самом произведении, может быть — повторим это — неотразимо повелительным. Но никакая повелительность этих предуказаний не может освободить читателя от работы, которую он должен проделать сам. Только в процессе его собственного творческого труда и только в меру качества этого труда читатель может слышать властный голос автора, предуказывающий направление самой работы.

Поэтому, не рискуя впасть в парадоксальность; скажем, что, строго говоря, подлинным первым прочтением произведения, подлинным первым прослушиванием симфонии может быть только вторичное их прослушивание. Именно вторичное прочтение может быть таким прочтением, в ходе которого восприятие каждого отдельного кадра уверенно относится читателем и слушателем к целому. Только в этом случае целое уже известно из предшествующего — первого — чтения или слушания.

По той же причине наиболее творческий читатель всегда склонен перечитывать выдающееся художественное произведение. Ему кажется, что он еще не прочитал его ни разу.

7

Во всем, что было сказано выше о чтении, имелись в виду два случая: первый, когда чтение действительно протекает как труд и творчество, и второй, когда условия труда и творчества, необходимые для чтения, не соблюдаются. В рассмотренном виде и тот и другой случаи — крайние. Обычно процесс чтения только приближается к тому или другому полюсу: в труде «хорошего» читателя возможны недостатки — вя-

лость памяти, бедность воображения, но и ум самого ленивого, самого косного и малоподготовленного читателя — не одна лишь пассивность и не полностью лишен деятельности воображения и соображения. Гоголевский Петрушка — скорее доведенный до предела гротеск, чем образ рядового посредственного читателя.

И все же незадачливый читатель существует. Он не только существует, — он не так уж редко встречается. Больше того. Он, что вполне естественно и правомерно, заявляет о своих требованиях, вкусах и впечатлениях. Порой он сам пытается влиять на общественную оценку произведений художественной литературы. Как со всем этим быть?

В нашем обществе отрицательные явления культурной жизни не только регистрируются и не только изучаются в академическом стиле. На них оказывают воздействие, с ними ведут борьбу, их ослабляют и даже, если возможно, их искореняют.

Читатель, изображенный выше как отрицательное явление, — не злодей и не безнадежный тупица. Он не дорос до творческой читательской зрелости, его ум не питался вовремя и в должной мере корнями художественной литературы. Он губка, высохшая на безводье, но способная жадно всасывать и выпитывать в себя воду, как только эта вода начнет на нее проливаться.

Возможные источники этой живительной воды многочисленны и разнообразны. Это прежде всего воспитание навыков чтения художественной литературы в школе, начиная с начальной. Хороший учитель родного языка и родной литературы — не только тот, кто проверяет, прочитаны ли указанные в программе произведения и способны ли ученики грамотно сформулировать идеи этих произведений в тезисах. Развивая эту способность, он одновременно показывает, как надо читать, понимать, осмысливать стихотворение, рассказ, повесть, поэму в качестве фактов искусства.

Велика также и помощь, которую должны принести в воспитании читателя наша критика и наше литературоведение. Хороший критик — это писатель, который, если позволено так выразиться, «на людях», «вслух» читает и разбирает художественное произведение не как простую сумму только прикрытых «формой» отвлеченных мыслей и положений, а как сложный организм. В этом организме осознание его смысла возникает впервые и одновременно с осознанием

произведения именно как художественного литературного произведения.

О том, какой должна быть конкретная помощь школы, печати, критики, литературоведения в воспитании высококультурного читателя, надо писать — специально и обстоятельно — в специальных работах.

1962 год

Хроника основных событий жизни и творчества

1894—18/30 декабря родился в Киеве. Отец — Фердинанд Генрих Вильгельмович Асмус, мать — Пелагея Ивановна, урожд. Тищенко.

1903—1914 — учился в немецком реальном училище Св. Екатерины в Киеве.

1914—1919 — учился на историко-филологическом факультете Университета Св. Владимира в Киеве.

1917 (18) — награжден премией за конкурсное сочинение «Зависимость Л. Н. Толстого от Спинозы в его религиозно-философских воззрениях». Впервые опубликовано (вместе с положительным отзывом В. В. Зеньковского) в журнале «Вопросы философии». 1996. № 3.

1919 — опубликовал статью о марксизме: «О великом пленении русской культуры». Киев, газета-журнал «Жизнь». 8—14 сентября 1919 г.

1919 (20) — 1925 (27) — преподавал философию и эстетику в Киевском университете.

1924 — опубликовал монографию «Диалектический материализм и логика (Очерк развития диалектического метода в новейшей философии от Канта до Ленина)». Киев, 1924.

1927 — переехал в Москву.

1927–1935 — преподавал философию в Московском институте красной профессуры и Академии коммунистического воспитания.

1929 — опубликовал монографию «Диалектика Канта». М., 1929 (изд. 2-е. М. — Л., 1930).

1929(30) — опубликовал книгу «Очерки истории диалектики в новой философии». М. — Л., 1929 (30).

1933 — издал монографию «Маркс и буржуазный историзм». М., 1933 (пер. на чешск. яз. 1973).

1934 — опубликовал статью «Гёте в “Разговорах” Эккермана» — предисловие в кн.: Эккерман И. П. Разговоры с Гёте. М. — Л., 1934.

1935 — избран членом Союза советских писателей.

1935–1941 — преподавал философию и эстетику на философском факультете Московского института истории, философии и литературы (МИФЛИ).

1935–1956 — профессор Литературного института им. М. Горького.

1937(39) — 1975 — преподавал логику и историю философии на филологическом и философском факультетах МГУ.

1940 — защитил докторскую диссертацию «Эстетика классической Греции» на философском факультете МГУ.

1942 — издал монографию «Фашистская фальсификация классической немецкой философии». М., 1942.

1943 — награжден Сталинской премией I ст. за участие в подготовке трехтомной «Истории философии» (Т. 1–3. М., 1941–1943).

1947 — опубликовал монографию «Логика» (Учебник для вузов). М., 1947 (изд. 2-е, 2001).

1956 — издал монографию «Декарт». М., 1956 (изд. 2-е, 2006); (пер. на рум. и венг. яз. 1968, на польск. яз. 1980).

1956 — старший научный сотрудник Института мировой литературы им. М. Горького.

1957 — опубликовал монографию «Философия Иммануила Канта». М., 1957 (пер. на рум. яз. 1958, на кит. яз. 1959, на нем. яз. 1960).

1958 — избран действительным членом Международного института философии в Париже.

1959–1975 — член редколлегии и авторского коллектива «Философской энциклопедии» в пяти томах.

1960 — издал монографию «Демокрит». М., 1960 (пер. на польск. яз.).

1960 — произнес речь на похоронах поэта и близкого друга Б. Л. Пастернака.

1961 — опубликовал статью «Чтение как труд и как творчество» (Вопросы литературы. 1961. № 2).

1962 — издал монографии «Немецкая эстетика XVIII века» и «Жан-Жак Руссо» (обе — М., 1962).

1963 — опубликовал монографию «Проблема интуиции в философии и математике». М., 1963 (изд. 2-е, 1965; изд. 3-е, 2004).

1964 — удостоен звания заслуженного деятеля науки РСФСР.

1965 — издал монографию «История античной философии», М., 1965 (изд. 2-е: «Античная философия», 1976; последующие издания — 1998, 2001, 2003, 2005; пер. на чеш. яз. 1986, на нем. яз. 1989).

1968 — опубликовал монографию «Вопросы теории и истории эстетики». М., 1968 (пер. на чеш. яз. 1977).

1968–1973 — старший научный сотрудник Института философии АН СССР (по совместительству).

1969 — издал монографию «Платон». М., 1969 (изд. 2-е, 1975; изд. 3-е, 2004, пер. на фин. яз. 1978).

1969 — вышли в свет «Избранные философские труды». Т. 1–2. М., 1969–1971.

1973 — опубликовал монографию «Иммануил Кант». М., 1973 (изд. 2-е, 2005, пер. на венг. яз. 1982).

1975 — скончался на даче в пос. Переделкино под Москвой (4 июня), похоронен на кладбище в пос. Переделкино.

1984 — издан сборник «Историко-философские этюды». М., 1984.

1990 — Философия в Киевском университете в 1914–1920 годах. (Из воспоминаний студента)//Вопросы философии. 1990. № 8 (изд. 2-е в кн.: «Вспоминая В. Ф. Асмуса...» М., 2001).

1994 — опубликована монография «Владимир Соловьев». М., 1994.

Библиография*

Книги и брошюры

1. Очерк развития диалектического метода в новейшей философии от Канта до Ленина. Киев, 1924.

Данная работа включена в кн.: Асмус В. Ф. Избранные философские труды. М., 1971. Т. 2.

2. Диалектика Канта. М., 1929 (Коммунистическая Академия. Филос. секция). Изд. 2-е. М., 1930.

3. Очерки истории диалектики в новой философии. М.—Л., 1929.

Изд. 2-е. М.—Л., 1930.

4. Маркс и буржуазный историзм. М.—Л., 1933.

Работа перепечатана в кн.: Асмус В. Ф. Избранные философские труды. М., 1971. Т. 2.

Рец.: Вестник Коммунистической Академии. 1934. № 1; Грекова А. // Литературная газета. 1934. № 49; Митин М. Б. // Правда. 1934. № 165.

5. Маркс и Энгельс о технике: Сб. материалов / сост. В. Ф. Асмус. М.—Л., 1933.

6. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин о технике: Сб. материалов / сост. В. Ф. Асмус. М.—Л., 1934.

Рец.: Каплун // Гигиена труда и техника безопасности. 1934. № 4; Чудаков А. // За большевистскую книгу. 1934. № 9; Искаков // Книга и пролетарская

* Сост. Е. С. Муравлёв.

революция. 1934. № 12; Габрилович // Организация управления. 1934. № 1; Рабочая Москва. 1934. № 122; Ленинградская правда. 1934. № 119.

7. Фашистская фальсификация классической немецкой философии. М., 1942.

8. Эстетика Гоголя: Стенография лекции, прочитанной 29 декабря 1945 г. М., 1946 (Всесоюз. об-во по распространению полит. и науч. знаний. Лектории 1945—1946 гг. Курс лекций по истории СССР. Лекция 88).

9. Логика. М., 1947.

Рец.: Войшвилло Е. К. // Вопросы философии. 1947. № 2; Вышинский П. Е. Об одном из недостатков в преподавании логики // Вопросы философии. 1947. № 2; Вопросы философии. 1948. № 2; Таванец П. В. // Сов. книга. 1947. № 6; Учен. записки Новосиб. гос. пед. ин-та. 1949. Вып. 9; Андреев И. Против идеалистического извращения вопроса об истинности понятия // Известия АН СССР. Сер. «История и философия». 1951. Т. 8. № 5; Journal of Philosophy. N.Y. 1949. Vol. 46. № 4.

10. Учение логики о доказательстве и опровержении. М., 1954.

Рец.: Анисимов С.Ф., Смолян Г.Я. Полезное пособие для изучающих логику // Вопросы философии. 1955. № 3.

Книга в 1954 и 1955 г. была переведена на кит. яз.

11. Декарт. М., 1956.

Рец.: Цебенко М. Величайший мыслитель Франции // Новый мир. 1957. № 12; Соколов В. В. Образ великого мыслителя // Вопросы философии. 1958. № 1.

Книга переведена на рум. и венгер. яз. в 1958 г., на польский яз. в 1980 г.

12. Философия Иммануила Канта. М., 1957 (Всесоюз. об-во по распространению полит. и науч. знаний).

Книга переведена на рум. яз. в 1958 г., на кит. яз. в 1959 г., на нем. яз. в 1960 г.

13. Демокрит. М., 1960.

Рец.: Studia filozoficzne. War-wa, 1961. № 3.

14. Жан-Жак Руссо: К 250-летию со дня рождения. М., 1962 (Новое в жизни науки и технике. Сер. 2. Философия).

Брошюра перепечатана в кн.: Асмус В. Ф. Историко-философские этюды. М., 1984.

15. Немецкая эстетика XVIII века. М., 1962.

Рец.: Фридендер Г. М. Ценная работа // Вопросы философии. 1964. № 9.

16. Проблема интуиции в философии и математике: Очерк истории: XVII — начало XX века. М., 1963.

Рец.: Бородай Ю. М. Роль интуиции в достижении нового знания // Вопросы философии. 1965. № 2.

17. История античной философии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных вузов и фак-тов. М., 1965.

Рец.: Поварков Я. Я. В мире античной философии // Вопросы философии. 1967. № 5.

18. Проблема интуиции в философии и математике: Очерк истории: XVII — начало XX в. Изд. 2-е. М., 1965.

19. Вопросы теории и истории эстетики: Сб. статей. М., 1968.

20. Избранные философские труды: В 2-х тт. М., 1969. Т. 1.

Рец.: Вопросы философии. 1970. № 2; Гулыга А. В., Субботин А. Л. // Вопросы философии. 1970. № 6.

21. Платон. М., 1969.

Рец.: Вопросы философии. 1969. № 12.

22. Избранные философские труды: В 2-х тт. М., 1971. Т. 2.

23. Платон. Изд. 2-е. М., 1975.

24. Античная философия: Учеб. пособие для студентов и аспирантов филос. фак-тов. Изд. 2-е. М., 1976.

Рец.: Заиченко Г. А., Зимина Л. А., Шашков Н. И. Фундаментальная история западноевропейской философии // Философские науки. 1981. № 4.

25. Историко-философские этюды. М., 1984.

Рец.: Богуславский В. М. // Вопросы философии. 1985. № 8; Кандаков Н. // Новый мир. 1985. № 2.

26. /Платон/ Государство // Платон. Собрание сочинений: В 4-х тт. / общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. М., 1994. Т. 3.

27. Владимир Соловьев. М., 1994.
28. Античная философия. М., 1999.
Книга переиздана в 2003 г.
29. Логика. Изд. 2-е. М., 2001.
30. Лекции по истории логики: Авиценна, Бэкон, Гоббс, Декарт, Паскаль. М., 2007.
31. Эстетическое самосознание русской культуры 20-е годы XX века. Антология. М., 2003.

Главы и статьи в монографиях и сборниках

32. Эстетика Гегеля // Литература и марксизм. М., 1931. Кн. 5.
33. Классики античной эстетики // Античные мыслители об искусстве: Сб. высказываний древнегреческих философов и писателей об искусстве / сост. В. Ф. Асмус; вводная ст., комм. и общ. ред. В. Ф. Асмуса. М., 1937. Изд. 2-е. М., 1938.
34. Гёте в разговорах Эккермана // Эккерман И. П. Разговоры с Гёте. М.—Л., 1934.
Статья перепечатана в кн.: Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968; Асмус В. Ф. Избранные философские труды. М., 1969. Т. 1.
35. Поэма Лукреция «О природе вещей» // Тит Лукреций Кар. О природе вещей / вступ. ст. В. Ф. Асмуса. М., 1936.
36. Скептицизм. Эклектизм. Ранняя схоластика // История философии. М., 1941. Т. 1.
37. Кант // История философии. М., 1943. Т. 3.
38. Критика буржуазных идеалистических учений логики эпохи империализма // Вопросы логики. М., 1955.
Статья переведена на рум. яз. в 1957 г.
Рец.: Рузавин Г. И., Уёмов А. И. // Вопросы философии. 1957. № 4.
39. Понятие. Аналогия. Гипотеза. Доказательство. Ошибки в доказательствах // Логика. М., 1956.
Статьи перепечатаны в кн.: Асмус В. Ф. Избранные философские труды. М., 1969. Т. 1.
Статьи переведены на кит. яз. в 1957 г.

40. Шиллер как философ и эстетик // Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7 тт. М., 1957. Т. 6.

Статья перепечатана в кн.: Асмус В. Ф. Немецкая эстетика XVIII века. М., 1962; Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968; Асмус В. Ф. Историко-философские этюды. М., 1984.

41. «Логико-философский трактат» Л. Витгенштейна // Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / общ. ред. и предисл. В. Ф. Асмуса. М., 1958.

42. И. Кант о «гении» в художественном творчестве // Из истории эстетической мысли Нового времени. М., 1959.

43. Об исторических пределах понятия «реализм» // Проблемы реализма. М., 1959.

44. «История западной философии»: Послесловие // Рассел Б. История западной философии / общ. ред. и послесл. В. Ф. Асмуса. М., 1959.

45. Причина и цель в истории по роману Л. Н. Толстого «Война и мир» // Из истории русских литературных отношений XVIII—XIX веков. М.—Л., 1959.

46. «Критическая философия» И. Канта. Субъективный идеализм И. Фихте. Объективный идеализм Шеллинга // Краткий очерк истории философии. М., 1960.

47. Начало разложения буржуазной философии // Краткий очерк истории философии. М., 1960.

48. Развитие буржуазной философии в Западной Европе с конца XVI до конца XVIII вв. // Краткий очерк истории философии. М., 1960.

49. Философия в рабовладельческом обществе древней Индии // Краткий очерк истории философии. М., 1960.

50. Философия рабовладельческого общества Греции и Рима // Краткий очерк истории философии. М., 1960.

51. Философская мысль в странах Западной Европы // Краткий очерк истории философии. М., 1960.

52. Искусство и действительность в эстетике Аристотеля // Из истории эстетической мысли древности и средневековья. М., 1961.

53. Предисловие // Адамян А. А. Статьи об искусстве. М., 1961.

54. Мирозрение Толстого // Литературное наследство. 1961. Т. 69. Кн. 1.

Статья перепечатана в кн.: Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968; Асмус В. Ф. Избранные философские труды. М., 1969. Т. 1.

Статья переведена на польск. яз. в 1964 г.

55. Вступ. статья // Платон. Избранные диалоги. Пер. с древнегр. /сост., вступ. ст. и коммент. В. Ф. Асмуса. М., 1965.

Статья перепечатана в кн.: Асмус В. Ф. Историко-философские этюды. М., 1984.

56. А. Н. Скрябин в письмах // Скрябин А. Письма. М., 1965.

57. Этика Канта // Кант Им. Сочинения: В 6-ти тт. М., 1965. Т. 4. Ч. 1.

58. Проблема целесообразности в учении Канта об органической природе и в эстетике // Кант Им. Сочинения: В 6-ти тт. М., 1966. Т. 5.

59. Вступ. статья // Кант Им. Сочинения: В 6 тт. / под общ. ред. В. Ф. Асмуса. М., 1963. Т. 4. Ч. 1; Т. 5.

60. Толстой в дневнике Маковицкого. Эпоха. Мирозрение. Быт // Литературное наследство. 1979. Т. 90. Кн. 1.

61. Классический немецкий идеализм // Антология мировой философии: В 4-х тт. / редкол.: В. Ф. Асмус и др. М., 1971. Т. 3.

62. /Платон/. Государство // Платон. Сочинения: В 3-х тт. М., 1971. Т. 3. Ч.1.

63. Сократ // История античной философии. М., 1972.

64. Неокантианство // Современная буржуазная философия. М., 1972.

65. Антиинтеллектуалистический интуитивизм Анри Бергсона // Современная буржуазная философия. М., 1972 [в соавторстве].

66. Иммануил Кант /1724—1794/: К 250-летию со дня рождения. М., 1973.

Рец.: Жучков В. А. //Философские науки. 1974. № 3; Лекторский В. А. Новые труды о философии Канта // Полит. самообразование. 1974. № 4.

67. Учение Гегеля о правах и пределах формального мышления // Философия Гегеля и современность. М., 1973.

68. Консервативное гегельянство второй половины XIX в. // Гегель и философия в России. М., 1974.

69. Трансцендентальный идеализм и трансцендентальный метод Канта // Философия Канта и современность. М., 1974.

70. Философия рабовладельческого общества Греции и Рима // Краткий очерк истории философии. Изд. 3-е. М., 1975.

71. Философская мысль в странах Западной Европы // Краткий очерк истории философии. Изд. 3-е. М., 1975.

72. Развитие западноевропейской философии в период буржуазных революций: С конца XVI до конца XVIII в. // Краткий очерк истории философии. Изд. 3-е. М., 1975.

73. «Критическая философия» И. Канта. Субъективный идеализм И. Фихте. Объективный идеализм Шеллинга // Краткий очерк истории философии. Изд. 3-е. М., 1975.

74. Начало разложения буржуазной философии // Краткий очерк истории философии. Изд. 3-е. М., 1975.

75. Метафизика Аристотеля. Трактат о душе // Аристотель. Сочинения: В 4-х тт. М., 1975. Т. 1.

76. Неокантианство // Буржуазная философия кануна и начала империализма. М., 1977 [в соавторстве].

77. «Философия жизни» во Франции // Буржуазная философия кануна и начала империализма. М., 1977 [в соавторстве].

78. Философия истории в романе «Война и мир» // Яснополянский сборник, 1976. Тула, 1976.

79. Экзистенциальная философия: ее замыслы и результаты: Лев Шестов как ее адепт и критик // Человек и его бытие как проблема современной философии. М., 1978.

80. Маркс и идея единства научного знания // Единство научного знания. М., 1988.

Статья впервые опубликована в журнале «Философские науки». 1968. № 4.

81. Творческая эстетика Б. Пастернака // Борис Пастернак об искусстве. М., 1990.

Статьи в энциклопедиях

82. Большая советская энциклопедия. Т. 21. М., 1931 (Декарт) [в соавторстве].

83. Большая советская энциклопедия. Т. 65. М., 1931 (Юм Давид; Якоби Фридрих Гейнрих).

84. Большая советская энциклопедия. Т. 62. М., 1933 (Шлейермахер, Шопенгауэр).

85. Большая советская энциклопедия. Т. 61. М., 1934 (Чернышевский — философ).

86. Большая советская энциклопедия. Т. 60. М., 1934 (Цель и целесообразность).

87. Большая советская энциклопедия. Т. 64. М., 1934 (Эпос).

88. Большая советская энциклопедия. Т. 29. М., 1935 (Искусство).

89. Большая советская энциклопедия. Т. 57. М., 1936 (Фихте).

90. Большая советская энциклопедия. Т. 45. М., 1940 (Платон).

91. Большая советская энциклопедия. Т. 52. М., 1947 (Сократ).

92. Большая советская энциклопедия. Изд. 2-е. Т. 33. М., 1955 (Платон, Философские взгляды).

93. Большая советская энциклопедия. Изд. 2-е. Т. 11. М., 1952 (Гипотеза).

94. Большая советская энциклопедия. Изд. 2-е. Т. 27. М., 1954 (Метафизика).

95. Большая советская энциклопедия. Изд. 2-е. Т. 41. М., 1956 (Стойцизм).

96. Большая советская энциклопедия. Изд. 2-е. Т. 45. М., 1956 (Фихте И. Г.).

97. Большая советская энциклопедия. Изд. 2-е. Т. 47. М., 1957 (Шеллинг Ф.).

98. Большая советская энциклопедия. Изд. 2-е. Т. 49. М., 1957 (Юм Д.).

99. Малая советская энциклопедия. Изд. 3-е. Т. 3. М., 1959 (Декарт).

100. Малая советская энциклопедия. Изд. 2-е. Т. 11. М., 1947 (Фихте Иоганн Готлиб).

101. Литературная энциклопедия. Т. 1. М., 1930 (Аристотель).

102. Философская энциклопедия. Т. 1. М., 1960 (Аристотель).

103. Философская энциклопедия. Т. 1. М., 1960 (Беркли Дж.).

104. Философская энциклопедия. Т. 1. М., 1960 (Декарт).

105. Философская энциклопедия. Т. 2. М., 1962 (Древнегреческая философия).

106. Философская энциклопедия. Т. 2. М., 1962 (Кант Им.).

Статьи в периодических изданиях

107. О великом пленении русской культуры // Жизнь. 1919. № 2 (8–14 сентября).

108. Адвокат философской интуиции (Бергсон и его критика интеллектуализма) // Под знаменем марксизма. М. 1926. № 3.

Статья включена в кн.: Асмус В. Ф. Историко-философские этюды. М., 1984.

109. Противоречия специализации в буржуазном сознании: Из истории идеологий // Под знаменем марксизма. 1926. № 9–10.

110. Спорные вопросы истории философии // Под знаменем марксизма. 1926. № 7–8.

111. К спорным вопросам истории философии: Ответ Варьяша // Под знаменем марксизма. 1927. № 1.

112. Диалектика необходимости и свободы в «Этике» Спинозы // Под знаменем марксизма. 1927. №2—3.

113. Алогизм Уильяма Джемса // Под знаменем марксизма. 1927. №7—8.

Статья перепечатана в кн.: Асмус В. Ф. Историко-философские этюды. М., 1984.

114. Логическая реформа А. Богданова: По поводу доклада А. Богданова «Пределы научности рассуждения» // Вестник Коммунистической Академии. 1927. Кн. 22.

115. Философия языка Вильгельма Гумбольдта в интерпретации проф. Г. Г. Шпета // Вестник Коммунистической Академии. 1927. Кн. 23.

116. Л. И. Аксельрод и философия // Под знаменем марксизма. 1928. № 9—10.

117. Диалектика в системе Декарта // Вестник Коммунистической Академии. М., 1928. Кн. 25.

118. Диалектика и антиномии Канта // Вестник Коммунистической Академии. 1928. Кн. 29.

119. Общая и трансцендентальная логика Канта // Под знаменем марксизма. 1928. № 11.

120. Памяти А. Я. Троицкого // Под знаменем марксизма. 1928. № 4.

121. Поэтика Аристотеля // На литературном посту. 1928. № 24.

122. В защиту вымысла («Литература факта и факты литературы») // Печать и революция. 1929. № XI.

Статья перепечатана в кн.: Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.

123. Формальная логика и диалектика: По поводу книги А. Варьяша «Логика и диалектика» // Под знаменем марксизма. 1929. № 4.

124. Эстетика Бергсона // На литературном посту. 1929. № 2.

125. К вопросу о логике естественных и исторических наук // Научное слово. 1930. № 6.

126. Философия фашизирующей Германии. Освальд Шпенглер и его философия истории // Социалистическая реконструкция и наука. 1932. № 5—7.

127. Вопросы синтеза наук у Маркса // Социалистическая реконструкция и наука. 1933. Кн. 4.

128. Гёте и вопросы реализма // Известия. 1934. 6 мая.

129. Лейбниц — мастер научного труда // Известия. 1934. 18 октября.

130. Музыкальная эстетика философского романтизма // Советская музыка. 1934. № 1.

131. О нормативной эстетике // Литературный критик. 1934. № 1; № 3.

Статья перепечатана в кн.: Социалистический реализм и проблемы эстетики. Вып. 2. М., 1970.

132. Труд в этических идеалах веков // Известия. 1935. 10 декабря.

133. Что такое эстетика // Молодая гвардия. 1935. № 6.

134. Эстетика Чернышевского // Знамя. 1935. № 2.

135. О новых «Философических письмах» П. Я. Чаадаева / Вступ. статья к пяти неизданным письмам 1829—1831 гг. // Литературное наследство. 1935. № 22—24.

136. Натурализм как теория и как искусство // Советское искусство. 1936. № 41.

137. Рождение эстетической критики в комедиях Аристофана // Советский театр. 1936. № 10.

Статья перепечатана в кн.: Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.

138. Теоретические корни формализма // Советское искусство. 1936. 17 марта.

139. Философская культура под сапогом фашизма // Знамя. 1936. № 3.

140. Философия и эстетика русского символизма // Литературное наследство. 1937. № 27—28.

Статья перепечатана в кн.: Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968; Асмус В. Ф. Избранные философские труды. М., 1969. Т. 1.

141. К трехсотлетию издания книги «Рассуждение о методе» Р. Декарта // Книга и пролетарская революция. 1937. № 6.

142. Космогония и космология Декарта // Под знаменем марксизма. 1937. № 8.

143. О художественной культуре социалистического общества // Знамя. 1937. № 11.

144. Эстетика классической Греции // Советский театр. 1937. № 10.

Рецензии: Егоров М. // Под знаменем марксизма. 1938. № 1; Литературное обозрение. 1937. № 17.

145. Эстетика Пушкина // Знамя. 1937. № 2.

146. Война в романе Льва Толстого «Война и мир» // Знамя. 1938. № 9.

147. Реализм в эстетике Аристотеля // Театр. 1938. № 1.

Статья перепечатана в кн.: Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.

148. О книге: Николай Кузанский. Избранные философские сочинения // Фронт науки и техники. 1938. № 2.

149. Вопросы войны в работах В. И. Ленина // Знамя. 1939. № 1.

150. Томмазо Кампанелла // Под знаменем марксизма. 1939. № 7.

Статья перепечатана в кн.: Асмус В. Ф. Историко-философские этюды. М., 1984.

151. Чернышевский как диалектик // Под знаменем марксизма. 1939. № 5.

152. Музыкальная эстетика Шумана // Советская музыка. 1940. № 2.

153. Эстетические принципы системы Станиславского // Театр. 1940. № 6.

Статья перепечатана в кн.: Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.

154. Круг идей Лермонтова // Литературное наследство. 1941. № 43–44.

Статья перепечатана в кн.: Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968; Асмус В. Ф. Избранные философские труды. М., 1969. Т. 1.

155. Фихте действительный и фашистский миф о Фихте // Под знаменем марксизма. 1942. № 7.

156. Вопросы реализма в эстетике Льва Толстого // Под знаменем марксизма. 1943. № 1–2.

Рецензии: Проводники антиленинских взглядов на творчество Льва Толстого // Литературная газета. 1948. 10 января; Гусев Н. Вопросы реализма в эстетике Льва Толстого // Новый мир. 1943. № 7–8.

157. Вопросы эстетики в работах Г. В. Плеханова // Под знаменем марксизма. 1943. № 6.

158. Основные черты классической русской эстетики // Под знаменем марксизма. 1943. № 9–10.

159. Для чего нужно изучать логику? (Метод. материалы для пропагандиста) // Агитатор. 1944. № 17–18.

160. Логические законы мышления // Под знаменем марксизма. 1944. № 4–5.

161. О традициях и новаторстве // Советское искусство. 1945. 5 апреля; 12 апреля.

162. Чайка. Премьера в театре им. Моссовета // Советское искусство. 1945. 25 мая.

163. «Горе от ума» как эстетическая проблема // Литературное наследство. 1946. № 46–47.

Статья перепечатана в кн.: Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.

164. Борьба философских течений в Московском университете в 70-х годах 19 века // Вопросы истории. 1946. № 1.

Статья перепечатана в кн.: Асмус В. Ф. Избранные философские труды. М., 1969. Т. 1.

165. Логика отношений в работах Шарля Серрюса // Известия АН Арм. ССР. Сер. «Общественные науки». 1947. № 8.

Статья перепечатана в кн.: Асмус В. Ф. Избранные философские труды. М., 1969. Т. 1.

166. Выступление на Всесоюз. совещании зав. кафедрами марксизма-ленинизма и философии вузов // Вопросы философии. 1949. № 1; Вестник высшей школы. 1949. № 8.

167. Выступление на дискуссии по вопросу соотношения формальной логики и диалектики // Вестник МГУ. Сер. «Обществ. науки». 1951. Вып. 2. № 4.

168. Абу Али Ибн-Сина // Новый мир. 1952. № 6.

169. Речь на дискуссии по книге Г. Ф. Александра «История западноевропейской философии» 16–25 июня 1947 г. // Вопросы философии. 1947. № 1.

170. Вольтер // Смена. 1953. № 10.

171. Образ как отражение действительности и проблема типического // Новый мир. 1953. № 8.

Рецензия: Озеров В. // Литературная газета. 1953. 19 сентября.

172. Иммануил Кант // Вопросы философии. 1954. № 5.
Пер. на франц. яз. в 1956 г.

173. Мироззрение Льва Толстого в анализе Ленина // Учен. зап. Белорус. гос. ун-та. Сер. филологическая. 1954. Вып. 18.

174. Вопросы музыкальной эстетики и книга В. Ванслова // Советская музыка. 1955. № 7.

175. По поводу ответа В. Ванслова // Советская музыка. 1955. № 11.

176. Космогоническая гипотеза Канта и ее место в истории естествознания // Вопросы истории естествознания и техники. 1956. № 1.

177. Произвол редакторов. Письмо в редакцию // Литературная газета. 1955. 17 мая.

178. Учение о непосредственном знании в истории философии Нового времени. Ст. 3 // Вопросы философии. 1955. № 5; 1957. № 6; 1959. № 11.

Рецензия: Strada V. Revista critica di storia della filosofia. Roma, 1956. An. 11. № 1.

179. Теория непосредственного знания в философии XVIII века // Вестн. Моск. ун-та. Сер. «Экономика, философия и право». 1956. № 1.

180. Рациональное и эмоциональное // Московский литератор. 1956. 3 ноября.

181. Огюст Конт // Вестник АН СССР. 1957. № 9.

Статья перепечатана в кн.: Асмус В. Ф. Историко-философские этюды. М., 1984.

182. К столетию со дня смерти Огюста Конта // Культура и жизнь. 1957. № 12.

183. Некоторые вопросы эстетики Шиллера // Вопросы литературы. 1957. № 3.

184. Учение о непосредственном знании в истории философии Нового времени: Ст. 2. // Вопросы философии. 1957. № 6.

185. Пушкин и теория реализма // Русская литература. 1958. № 3.

186. Философия в Московском университете во второй половине XIX века // Учен. записки философского факультета МГУ. 1958. Вып. 190.

187. Проблема классификации искусств в эстетике Канта // Научные доклады высшей школы. Сер. «Филос. науки». 1959. № 2.

188. Учение о непосредственном знании в истории философии Нового времени // Вопросы философии. 1959. № 11.

189. Человек и Космос // Новое время. 1960. № 1.

190. Некоторые вопросы диалектики историко-философского процесса и его познания // Вопросы философии. 1961. № 4.

191. Связь теории с практикой в понимании Бэкона: Доклад на сессии, посвящ. 400-летию со дня рождения Ф. Бэкона // Вестн. Моск. ун-та. Сер. VIII. Экономика, философия. 1961. № 3.

192. Соотношение практики и теории в философии Френсиса Бэкона // Науч. доклады высш. школы. Сер. «Филос. науки». 1961. № 4.

193. Чтение как труд и творчество // Вопросы литературы. 1961. № 2.

Статья перепечатана в кн.: Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.

194. Вопрос о непосредственном знании в философии Гегеля // Вопросы философии. 1962. № 9.

195. Выступление на дискуссии о «Природе эстетического» // Науч. докл. высш. школы. Сер. «Филос. науки». 1962. № 1.

196. Диалектика свободы и необходимости в философии Фихте // Науч. докл. высш. школы. Сер. «Филос. науки». 1963. № 5.

197. Почему я стал любителем астрономии // Наука и жизнь. 1963. № 10.

198. Советское издание сочинений Джона Локка: О кн. Локк Д. Избранные философские произведения в 2-х томах // Вопросы философии. 1963. № 4.

199. Спор идет: О рецензии А. Дымшица в «Литературной газете» «Монологи и диалоги» на кн.: Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского // Литературная газета. 1964. 13 августа.

200. Ценное пособие по истории эстетики: О кн. «История эстетики»: В 5-ти тт. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 1 // Вопросы философии. 1964. № 1.

201. Избранные произведения польского ученого: О кн. Т. Котарбиньского. Избранные произведения // Вопросы философии. 1965. № 6.

202. Оригинальный труд о философии Спинозы: Рецензия на кн.: Соколов В. В. Философия Спинозы и современность // Науч. докл. высшей школы. Сер. «Филос. науки». 1965. № 1.

203. О доступности недоступного: О доступности искусства народу // Советская культура. 1967. 20 апреля.

204. Маркс и идея единства научного знания // Философские науки. 1968. № 4.

205. Проблема свободы и необходимости у предшественников Гегеля // Вестник Ерев. ун-та. 1969. № 1.

206. В. И. Ленин о вопросах культурной традиции // Вопросы философии. 1970. № 4.

207. Диалектика необходимости и свободы в философии Гегеля // Философские науки. 1970. № 5.

208. Соль диалектики: Посвящается 200-летию Гегеля // Комсомольская правда. 1970. 28 августа.

209. Учение Гегеля о правах и пределах формального мышления // Вопросы философии. 1970. № 8.

Статья перепечатана в журнале «Вестник МГУ». Сер. «Философия». 1970. № 4. См. также кн.: Асмус В. Ф. Историко-философские этюды. М., 1984.

210. Диалектика Сократа // Философские науки. 1971. № 3.

211. Лев Шестов и Кьеркегор // Философские науки. 1972. № 4.

212. Теоретическая философия Соловьева: Из неопубликованных материалов // Филос. науки. 1982. № 2.

213. В. С. Соловьев: Опыт философской биографии // Вопросы философии. 1988. № 6.

214. Философия в Киевском университете в 1914—1920 годах: Из воспоминаний студента // Вопросы философии. 1990. № 8.

215. Диалектика необходимости и свободы в философии истории Гегеля // Вопросы философии. 1995. № 1.

216. Философские задачи Логике. О творчестве Мусоргского // Путь. 1995. № 7.

Рецензии

217. Гений эпохи Возрождения [рец. на кн.: Леонардо да Винчи. Избранные произведения] // Книга и пролетарская революция. 1936. № 4.

218. Об издании классиков эстетической мысли [рец. на кн.: Шиллер Ф. Статьи по эстетике; Лессинг Г. Гамбургская драматургия] // Книга и пролетарская революция. 1936. № 5.

219. Рец. на кн.: Бруно Дж. О бесконечности вселенной и мирах // Известия ЦИК. 1936. 8 июня.

220. О новом издании Платоновского «Теэтета» [рецензия на кн.: Платон. Теэтет] // Книга и пролетарская революция. 1936. № 12.

221. Рец. на кн.: Гомер. Илиада // Литературное обозрение. 1936. № 7.

222. Гениальный предшественник немецкого классического идеализма [рец. на кн.: Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разуме] // Книга и пролетарская революция. 1937. № 4.

223. Дидро о театре и драматургии [рец. на кн.: Дидро Д. Собрание сочинений. Т. 5] // Книга и пролетарская революция. 1937. № 3.

224. Рец. на кн.: Фихте И. Г. О назначении ученого // Под знаменем марксизма. 1937. № 6.

225. Классический представитель субъективного идеализма XVIII в. [рец. на кн.: Беркли Д. Три разговора между Гиласом и Филонусом] // Книга и пролетарская революция. 1938. № 3.

226. Натурфилософские и научные идеи Николая Кузанского [рец. на кн.: Кузанский Н. Избранные философские сочинения] // Фронт науки и техники. 1938. № 2.

227. Философский трактат Фихте [рец. на кн.: Фихте И. Г. Ясное, как солнце, сообщение широкой публике о подлинной сущности новейшей философии] // Книга и пролетарская революция. 1938. № 1.

228. Эстетика Гегеля и русские переводы [рец. на кн.: Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. 12. Лекции по эстетике] // Книга и пролетарская революция. 1938. № 10–11.

229. Классик немецкой философии [рец. на кн.: Шеллинг Г. В. Ф. Система трансцендентального идеализма] // Книга и пролетарская революция. 1939. № 4.

230. Труд Аристотеля в русском переводе [рец. на кн.: Аристотель. Аналитика первая и вторая] // Новый мир. 1952. № 12.

231. Исследование по теории вывода [рец. на кн.: Зиновьев А. А. Логика высказываний и теория вывода] // Вопросы философии. 1964. № 5.

Переводы

232. Шарль Серрюс и логика отношений // Серрюс Ш. Опыт изучения значения логики / пер. с франц. М., 1948. Изд. 2-е. М., 2002.

Публикации о В. Ф. Асмусе

1. Владимиров К. В. Ф. Асмус и его иллюзии // Литературная газета. 1937. 10 января.

2. Кафтанов С. В. / В. Ф. Асмус избегал изучения живого мышления советских людей / Из выступления С. В. Кафтanova на Всесоюз. совещании зав. кафедрами марксизма-ленинизма и философии. 9.VII.1949 г. // Вестник высшей школы. 1949. № 8.

3. Остроух Ф. Я. Против искажения марксизма в вопросах логики // Вопросы философии. 1951. № 3.

4. Чухина Л. Формальная логика и диалектика // Большевик Сов. Латвии. 1952. № 17.

5. Войшвилло Е. К. Критика логики отношений как релятивистского направления в логике. По вопросу о сущности суждения (О логике отношений в оценке В. Ф. Асмуса) // Философские записки / МГУ. 1953. Т. 6; Юбилей видного советского философа // Философские науки. 1965. № 3.

6. Каменский З. А. Из истории изучения советскими философами методологии историко-философского исследования // История общественной мысли. М., 1972.

7. К 80-летию со дня рождения Валентина Фердинандовича Асмуса // Философские науки. 1975. № 3.

8. Гулыга А. В. Валентин Фердинандович Асмус // Историко-философские этюды. М., 1984.

9. Мотрошилова Н. В. Памяти профессора // Вопросы философии. 1988. № 6.

10. Алексеев А. П. Асмус Валентин Фердинандович // Философия России XIX–XX столетия. М., 1995.

11. Уёмов А. И. В. Ф. Асмус глазами его аспиранта // Филос. науки. 1999. № 3/4.

12. В. Ф. Асмус — педагог и мыслитель: К 100-летию со дня рождения // Вопросы философии. 1995. № 1.

13. Блауберг И. Асмус Валентин Фердинандович // Русская философия. Малый энциклопедический словарь. М., 1995.

14. Зеньковский В. В. В историко-филологический факультет университета Св. Владимира (1917 г.) // Вопросы философии. 1996. № 3.

15. Абрамов А. И. Асмус Валентин Фердинандович // Новая философская энциклопедия. М., 2000. Т. 1.

16. Андреева И. С. «По плодам их ...» // Русская философия во второй половине XX века: Сб. обзоров и рефератов. М., 2000. Ч. 3.

17. Уёмов А. И. Я был аспирантом Асмуса // Человек. М., 2000. Вып. 2.

18. Шуранов Б. М. В. Ф. Асмус и проблема противоречия в философских дискуссиях 20-х годов XX века // Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке: Материалы VI Междунар. науч. конф. 22–24 июня 2000 г. СПб., 2000.

19. Вспоминая В. Ф. Асмуса... М., 2001.

Именной указатель

- Абрамов А. И. — 466
Абрамов М. А. — 152, 200, 349
Авиценна — 25, 450
Адамян А. А. — 452
Айер А. — 60
Айхенвальд Ю. — 316
Аккерман В. — 40, 43, 162
Аксельрод Л. И. — 456
Аксельрод-Ортодокс Л. — 55
Александров Г. Ф. — 16, 26, 29, 72, 95, 214, 460
Алексеев А. П. — 21, 81, 465
Алексеев М. Е. — 43
Алексеев М. Н. — 75, 78, 293
Алексеев П. В. — 21
Анаксагор — 388
Анаксимандр — 237, 238
Англес М. Ф. — 241
Англес Н. Ф. — 241
Андерсен Х. К. — 249
Андреев И. — 448
Андреева И. С. — 466
Андромаха — 421
Анисимов С. Ф. — 448
Антисфен — 394
Апт С. К. — 216
Ардов В. Е. — 161
Арефьева Г. С. — 192
Аристипп — 393
Аристотель — 33, 38, 80, 124, 125, 128–130, 133–140, 150, 152, 201, 202, 301, 367, 377, 404, 414, 417, 451, 453, 455, 456, 458, 464
Аристофан — 128, 391, 431, 457
Арним Г. — 139, 162
Асмус А. Б. — 91, 152, 188, 204, 205, 210, 333, 334, 337, 352
Асмус Вал. Вал. — 19, 49, 174, 218, 270, 337, 339
Асмус Вас. Вал. — 49
Асмус Вильг. Вильг. — 257
Асмус Вильг. Иуст. — 240
Асмус И. С. — 19, 330, 332, 338, 339
Асмус М. В. — 330, 338
Асмус Ник. Вал. — 232
Асмус Ник. Ф. — 270
Асмус С. А. — 257
Асмус Ф. Г. В. — 230, 443
Асмус, германский генерал — 49
Атлант — 337
Афанасьев А. Н. — 249
Ахилл — 421
Ахманов А. С. — 39, 71, 78, 154, 156
Ахматова А. А. — 201, 215
Байрон Дж. Г. — 262
Бакрадзе К. С. — 178
Баллод Э. И. — 255, 277
Бальзак О. — 249
Бальмонт К. Н. — 307, 310, 324
Баратынский Е. А. — 310, 438
Бардиан А. М. — 185
Баскин М. П. — 57, 119
Батищев Г. С. — 104
Баум В. А. — 78
Бах И. С. — 143
Бахтин М. М. — 62, 462
Белецкий З. Я. — 24, 36, 119
Белинский В. Г. — 72

- Белый А. — 285
 Бёме Я. — 344
 Бенеке Ф. — 148
 Бергсон А. — 12, 46, 208, 354, 355, 371, 376, 452, 455, 456
 Бердяев Н. А. — 4, 13, 14, 171, 172, 214, 322, 342, 351, 352
 Беркли Дж. — 455, 464
 Бернер Н. — 349
 Бетховен Л. ван — 435
 Библер В. С. — 104
 Бизе Ж. — 214, 235
 Бирюков Б. В. — 20, 25, 31, 37, 40, 44, 51
 Бирюкова Е. З. — 49
 Бирюкова Л. Г. — 44
 Бичер-Стоун Г. — 258
 Блауберг И. И. — 8, 203, 466
 Блок А. М. — 192
 Блок А. А. — 310, 360
 Богданов А. — 456
 Богомолов А. С. — 110
 Богуславский В. М. — 152, 175, 449
 Болотов А. Е. — 31
 Больцано Б. — 148
 Борман, учитель — 277
 Бородай Ю. М. — 449
 Бохеньский Ю. — 41, 53
 Брамс И. — 199, 438
 Бреев В. В. — 279–282
 Бруно Дж. — 463
 Брусилов А. А. — 297
 Брюсов В. Я. — 310
 Булгаков М. А. — 45, 154, 349, 358
 Булгаков С. Н. — 322
 Бунин И. А. — 315
 Бухарин Н. И. — 15, 214
 Быков Г. В. — 219
 Быховский Б. Э. — 16, 149
 Бэкон Ф. — 15, 25, 54, 109, 155, 363, 404, 450, 461
 Бэкхерст Д. — 103, 104

Вайнтроб М. — 349
 Вайншенкер С. А. — 349
 Ванслов В. В. — 206, 460
 Ваншенкин К. Г. — 225
 Варьяш А. — 12, 24, 151, 456
 Васильев Н. А. — 29, 158
 Введенский А. И. — 158, 367, 370
 Вейль Э. — 60
 Венгеров С. А. — 278
 Верди Дж. — 214, 235
 Верлен П. — 310
 Верн Ж. — 258, 319
 Визгин В. П. — 164
 Виламовиц-Мёллендорф У. фон — 139
 Виндельбанд В. — 319, 363, 382
 Виноградов С. Н. — 26
 Витгенштейн Л. — 43, 44, 60, 181, 451
 Владимиров К. В. — 465
 Войшвилло Е. К. — 30–34, 50, 70, 155, 213, 448, 465
 Волкович А. — 295, 323
 Волтоловский Л. — 349
 Вольтер — 228, 460
 Вонский Е. — 220
 Воробьёв Н. В. — 155
 Воронов Н. — 223
 Вундт В. — 161, 303
 Вышеславцев Б. П. — 172
 Вышинский П. Е. — 30, 448

Габрилович — 448
 Гагарин А. П. — 187
 Гайденок П. П. — 169
 Галилей Г. — 155
 Гамсун К. — 327
 Гарт Б. — 249
 Гартман Н. — 60
 Гегель Г. В. Ф. — 13–15, 39, 59, 70, 73, 99–101, 118, 139, 151, 157, 165, 166, 173, 190, 201, 211, 313, 343–345, 359, 369, 412, 450, 453, 462–464
 Гейне Г. — 262
 Гекуба — 422
 Гельвеций К. А. — 68, 210
 Георгиев Ф. И. — 79
 Геракл — 337
 Гераклит — 119, 124, 164, 387, 388, 398
 Гербарт И. — 148
 Гердер И. Г. — 15
 Герман Ш. М. — 111
 Геродот — 295, 301
 Герцен А. И. — 72
 Гёте И. В. — 15, 22, 214, 215, 245, 262, 350, 353, 438, 444, 450, 457
 Гёффдинг Г. — 162, 299
 Гиббон Э. — 309
 Гигон О. — 128
 Гильберт Д. — 40, 43, 162

- Гиляров А. Н. — 10, 44, 45, 48, 139,
 162, 299, 301, 303–305, 308–310,
 312, 313, 320–322
 Гиляров-Платонов Н. П. — 299, 313
 Гиппий — 393, 405, 415
 Гиппократ — 416
 Гитлер А. — 76
 Глинка М. И. — 214, 235
 Гоббс Т. — 25, 54, 319, 450
 Гоголь Н. В. — 249, 254, 430–432, 441,
 448
 Гогоцкий С. С. — 295
 Годер Н. М. — 72, 76, 77
 Голосовкер Я. Э. — 173
 Гомер — 295, 323, 417, 418, 420, 423,
 424, 426, 464
 Гораций — 311, 312
 Горгий — 415
 Гофман Э. Т. А. — 431
 Грекова А. — 447
 Грибоедов А. С. — 459
 Гримм, братья — 249
 Гринберг М. И. — 199
 Гринченко Б. — 267, 318
 Громаков В. В. — 111
 Громов М. Н. — 46, 48, 347, 353
 Грушевский М. С. — 318
 Грушин Б. А. — 96, 104, 105
 Гулыга А. В. — 5, 142, 449, 465
 Гумбольдт В. — 456
 Гуно Ш. — 214, 235
 Гусев Н. — 459
 Гуссерль Э. — 65, 156, 171, 302, 307, 322,
 363–365, 368, 369, 371, 382, 384
 Гуйо Ж. М. — 162, 427

 Дандаров И. А. — 293
 Даниэль Ю. М. — 41
 Дарвин Ч. — 156, 165
 Даргомьжский А. С. — 235
 Деборин А. М. — 13, 14, 35, 36, 55
 Дейч А. И. — 293
 Декарт Р. — 7, 13, 17, 22, 25, 54, 79,
 152, 155, 186, 194, 214, 228, 268,
 319, 342, 343, 345, 444, 448, 450,
 454–456, 458
 Делоне-старший, профессор — 251
 Демокрит — 79, 123, 125–127, 129,
 388, 389, 395, 396, 445, 448
 Деникин А. И. — 10, 45, 48, 350
 Детуш Ж. Л. — 159

 Дефо Д. — 258, 319
 Джемс У. — 13, 371, 456
 Дидро Д. — 464
 Дильтей В. — 365, 366
 Димов В. А. — 212
 Диодор Сицилийский — 126
 Дионисий Младший — 389
 Дионисий Старший — 389, 402
 Дложевский С. С. — 295, 306, 328
 Дмитриева М. С. — 184
 Добронравов И. — 43
 Довнар-Запольский М. В. — 323
 Достоевский Ф. М. — 127, 173, 267,
 318, 432, 462
 Дымшиц А. — 462
 Дынник М. А. — 57, 164, 179, 189, 192
 Дюма А. — 68

 Еврипид — 295, 301, 306, 419
 Евтушенко Е. А. — 9, 223
 Егоров М. — 458
 Елисеева Ю. П. — 238, 248, 262
 Епонешников М. В. — 272, 273
 Епонешникова В. — 272
 Ермаков, профессор — 251
 Есенин С. А. — 360

 Жданов А. А. — 95, 215
 Железнов В. Я. — 139
 Жуковский В. А. — 234
 Жучков В. А. — 4, 7, 8, 82, 84, 86, 88,
 90, 92, 152, 200, 349, 453

 Заиченко Г. А. — 5, 34, 108, 111, 114,
 449
 Зайцев Д. В. — 31
 Заратустра — 268
 Звягинцева В. К. — 227
 Зенон — 125
 Зеньковский В. В. — 4, 10, 44, 45, 48,
 108, 298–305, 307, 308, 311, 312,
 321, 322, 340, 341, 443, 466
 Зигварт Х. фон — 371
 Зимица Л. А. — 449
 Зиновьев А. А. — 80, 81, 113, 114, 464
 Золя Э. — 323
 Зотов А. Ф. — 110
 Зошенко М. М. — 214

 Ибн-Сина Абу Али — 460
 Иванов Вяч. И. — 262

- Иванов, историк — 276
Иванов-Разумник — 360
Идзиковский Л. — 249, 267, 268, 274,
276, 314–316, 324
Иловайский Д. И. — 276
Ильенков Э. В. — 110, 192
Ильин И. А. — 172
Ильичёв — 18
Ильф И. — 95
Иоанн Мельниковский, отец — 255
Ион — 417, 418, 420, 421, 423, 424, 426
Ипполит Ж. — 60
Искаков — 447
- Й**
Йеше — 367
- Каменский З. А. — 5, 24, 25, 34, 35, 37,
95, 147–149, 465
Кампанелла Т. — 458
Кандаков Н. — 449
Кант И. — 7, 13–15, 19, 22, 24, 39,
58–60, 66, 74, 79, 82, 84, 90,
91, 97, 101, 114–116, 118, 145,
147, 148, 150, 152, 155, 157, 162,
166, 170, 173, 180, 186, 192, 194,
198–201, 203, 204, 213–215, 223,
268, 316, 336, 342, 345, 363, 365,
367, 370, 412, 443–445, 447, 448,
450–453, 455, 456, 460, 461
Капица П. Л. — 154
Каплун — 447
Карев Н. А. — 15, 36
Каринский М. И. — 158, 307, 308, 322
Карнап Р. — 60
Карпов В. А. — 316
Кассандра — 289
Кассирер Э. — 101, 156, 170, 198, 199
Катаев В. П. — 219, 221
Катулл — 292, 311, 312
Каутский К. — 322
Кафтанов С. В. — 465
Квитка-Основьяненко Г. Ф. — 318
Кедров Б. М. — 80, 191
Кеменов В. С. — 15
Кёнигсфельд, пастор — 255
Кессиди Ф. Х. — 119
Киниц Н. Е. фон — 349
Киреевский И. В. — 322
Кириин С. — 212, 213
Кирпичёв М. В. — 78
Кирхгейм В. — 230
Киселёв А. П. — 276
Клюев Н. А. — 360
Князев В. В. — 359
Ковальский С. И. — 255, 272, 276, 277
Коген Г. — 143, 170, 345
Козлов В. А. — 155
Козловский Д. Е. — 270, 271
Козловский Я. — 142
Коломогоров А. Н. — 154, 159
Коломыйцева Е. А. — 265
Кольман Э. — 26
Кольцов А. В. — 318
Кондратьев Н. Д. — 36
Константинов Ф. В. — 34, 150
Конт О. — 111, 461
Коперник Н. — 308
Копнин П. В. — 81, 90, 158, 209
Кордт В. А. — 296
Косичев А. Д. — 35
Костров Е. — 349
Котарбинский Т. — 462
Котляревский И. П. — 318
Коцюбинский М. М. — 267, 318
Кравченко А. А. — 198
Крейцман, директор училища — 252
Кронер Р. — 382
Кроче Б. — 364, 383
Ксенофонт — 128, 295, 305
Кубацкие, братья — 265, 269
Кузнецов И. В. — 71
Кулаковский Ю. А. — 291–294, 311,
312, 320
Кульженко С. В. — 301
Купер Ф. — 249, 258, 319
Куприн А. И. — 263
Курвиц З. В. — 332
Куропаткин А. Н. — 264
Курциус Э. Р. — 312
Кустова Н. — 220
Кутасов Д. А. — 23, 69
Кутасов Д. И. — 57, 58
Куценко Н. А. — 46, 48, 347, 353
Кьеркегор С. — 463
Кьяпелли — 139
Кэмпбелл, астроном — 288, 291
Кюльпе О. — 302
- Лапин Г. И. — 269, 270
Лапшин И. И. — 158
Ласк Э. — 355
Лафарг П. — 322

- Лахути Д. — 43
 Левенберг, инспектор — 313
 Левкипп — 125, 388, 395
 Лейбниц Г. В. — 104–106, 155, 319, 322, 363, 457, 464
 Лекторский В. А. — 104, 453
 Ленин В. И. — 6, 11, 14, 23, 26, 31, 39, 48, 50, 52, 54, 79, 85, 87, 94, 95, 99, 130, 156, 164, 180, 322, 351, 388, 443, 447, 458, 460, 463, 465
 Леонардо да Винчи — 463
 Леонтьев А. Н. — 187
 Лермонтов М. Ю. — 15, 310, 459
 Леся Украинка — 267, 318
 Лессинг Г. Э. — 463
 Ливанов Б. Н. — 334, 339
 Липпс Т. — 383
 Лисий — 392
 Лифшиц М. А. — 89
 Лобода А. М. — 278
 Ловчева М. М. — 152
 Локк Дж. — 104–106, 109, 110, 113–116, 155, 268, 322, 462
 Ломоносов М. В. — 72
 Лосев А. Ф. — 4, 26, 37, 62, 63, 126, 139, 170, 171, 194, 214, 335, 337, 339, 449
 Лосский Н. О. — 158, 161, 172, 371, 382
 Лотце Г. — 148, 373
 Лукач Д. — 89
 Лукреций — 312, 320, 450
 Луппол И. К. — 13
 Лучина В. — 174
 Лысенко Т. Д. — 99, 265
 Любинская Л. Н. — 349
- М**
 Майдель Г. Х. — 49
 Майоров Г. Г. — 110
 Макаров С. О. — 263
 Макашин С. А. — 19
 Маковицкий Д. П. — 452
 Маколей Т. Б. — 309
 Мак-Таггарт Дж. — 73
 Мальбранш Н. — 319
 Мальцев В. И. — 186, 187
 Мамардашвили М. К. — 95, 110
 Мандельштам О. Э. — 349
 Манн Т. — 316
 Мансилья — 192
 Марков А. А. — 154
 Маркс К. — 11–16, 18, 22, 24, 26, 30, 31, 35, 36, 43–48, 51, 52, 54–57, 70, 79, 85–87, 95, 100, 110, 120, 123, 130, 151, 166, 180, 181, 187, 192, 214, 322, 323, 342–347, 351, 352, 354, 356, 358–360, 443, 444, 447, 450, 453, 455–460, 462, 464, 465
- Марр Н. Я. — 43
 Маслюк С. Г. — 307, 324, 325, 327, 328
 Мах Э. — 156
 Маяковский В. В. — 431, 438
 Мейербер Дж. — 235
 Мейнонг А. фон — 322
 Мельвилл Ю. К. — 152
 Мелюхин С. Т. — 19, 174
 Микулинский С. Р. — 219, 220
 Милль Дж. С. — 184, 363, 367–369
 Милютин П. П. — 35
 Митин М. Б. — 15, 22, 80, 447
 Митрохин Л. Н. — 155, 209, 210
 Михайлов Ф. Т. — 93, 94, 96, 98–100, 102, 104–106, 155
 Михайлова И. Б. — 104, 105, 155
 Модестов В. И. — 292, 294
 Мокульский С. С. — 293, 295, 307, 323, 325, 328
 Молодцов В. С. — 35
 Молотов В. М. — 49, 74, 75, 143, 214
 Мольер — 262
 Момджян Ф. Н. — 207, 210
 Моммзен Т. — 312
 Мопассан Ги де — 309, 323
 Морозов, студент — 326
 Мостовенко Н. — 220
 Мотрошилова Н. В. — 61, 205, 465
 Моцарт В. А. — 214, 235, 439
 Муравлёв Е. С. — 447
 Мусоргский М. П. — 463
- Н**
 Надсон С. Я. — 234
 Наппельбаум М. С. — 214
 Нарский И. С. — 116
 Наторп П. — 170, 332
 Небогатов Н. И. — 264
 Нейгауз А. Г. — 333, 339
 Нейгауз Г. Г. — 65, 199, 214, 229, 316, 334, 339
 Некрасов Н. А. — 318
 Нечуй-Левицкий И. С. — 267, 318
 Николай Кузанский — 308, 345, 458, 464
 Ницше Ф. — 94, 156, 268, 362, 363, 365

- Новиков П. С. — 29
 Ньютон И. — 77
- Овчинников Н. Ф.** — 81, 189, 190
 Оглоблин, книготорговец — 275
 Ожешко Э. — 267
 Озеров В. — 460
 Ойзерман Т. И. — 23, 24, 55, 56, 58, 60,
 80, 109, 110, 171
 Оккам У. — 182
 Омон, инженер — 285
 Онкен А. — 139
 Орфей — 418
 Остроух Ф. Я. — 465
- Пантелеева, аспирантка** — 76
 Парменид — 124, 125, 133, 391,
 398–400
 Паскаль Б. — 25, 54, 450
 Пастернак Б. Л. — 4, 9, 17, 34, 35, 51,
 65, 66, 89, 111, 143, 150, 154, 158,
 161, 173, 175, 194, 199, 213–215,
 218, 221, 225, 229, 331, 333, 338,
 339, 445, 454
 Пастернак З. Н. — 339
 Паульсен Ф. — 302
 Пахаревский — 295, 305
 Перро Ш. — 249
 Петерсон М. Н. — 216, 217
 Петровский А. С. — 274–276
 Петроний — 144
 Петросян М. И. — 207, 209, 210
 Пикус — 192
 Пилсудский Ю. — 47
 Писарев Д. И. — 267
 Пифагор — 379, 387, 397
 Пихно Д. — 262
 Плавт — 294
 Платон — 7, 17, 38, 79, 94, 104, 123,
 126, 128–137, 152, 167, 170, 201,
 202, 213, 214, 217, 295, 299, 301,
 303, 307, 309, 313, 316, 320, 332,
 386–428, 445, 449, 452, 454, 464
 Плеханов Г. В. — 322, 459
 Поварков Я. Я. — 449
 Поварнин С. И. — 158
 Полигнот — 418
 Попов П. С. — 26, 39, 42, 43, 52, 69,
 71, 72, 75, 78, 79, 81, 154, 158, 163,
 184–187
 Поппер К. — 157
- Потебня А. А. — 324
 Приам — 422
 Продик — 393, 415
 Прокофьев — 346
 Протагор — 127, 129, 316, 391, 393,
 415, 416
 Прус Б. — 267
 Пуанкаре А. — 156
 Пушкин А. С. — 201, 234, 267, 277,
 278, 310, 318, 428, 429, 458, 461
 Пятницкий В. И. — 256, 272
- Раббот Б.** — 155
 Рабинович В. Л. — 219–221
 Раковский Л. В. — 318
 Раммат К. Д. — 252, 281
 Рассел Б. — 34, 60, 74, 197
 Рафаэль — 202, 366
 Ренан Э. — 309
 Реформатский А. А. — 228, 229
 Рид Т. — 200, 201
 Рикёр П. — 60
 Риккерт Г. — 15, 46, 101, 156, 355, 382
 Риттер К. — 139
 Рожанский И. Д. — 128
 Рождественский З. П. — 264
 Розенталь В. — 353
 Рубинштейн А. Г. — 235
 Рубинштейн С. Л. — 25
 Рузавин Г. И. — 450
 Руссо Ж.-Ж. — 445, 448
 Рутковский — 79
- Садовский В. Н.** — 37
 Самоненко И. И. — 301, 324
 Самоненко М. С. — 251
 Самоненко Ф. М. — 324
 Сантаяна Дж. — 94
 Светлов В. И. — 57, 119
 Севен М. — 349
 Сеземан В. Э. — 171
 Семёнов Ю. Н. — 210
 Семенчёв В. М. — 195
 Сёмушкин А. В. — 110
 Сенкевич Г. — 143
 Сервантес М. — 431, 432
 Серрюс Ш. — 32, 70, 118, 159, 162,
 181, 459, 465
 Сеченов И. М. — 165
 Снявский А. Д. — 41
 Ситковский Е. П. — 14

- Сковорода Гр. — 318
 Скоропадский, гетман — 45
 Скрябин А. Н. — 194, 438, 452
 Смирнов В. А. — 5, 34, 37, 40, 49, 95, 96, 104, 106, 154, 203
 Смирнов П. П. — 323
 Смирнова Е. Д. — 96, 104, 105, 155
 Смирнова З. В. — 95
 Смолян Г. Я. — 448
 Соколов В. В. — 5, 10, 12, 14, 16, 18, 37, 89, 110, 116, 118, 152, 448, 462
 Сократ — 127–129, 134, 213, 316, 362, 388, 390–393, 397, 400, 404–409, 411, 416–418, 420–423, 426, 452, 454, 463
 Соловьев В. С. — 149, 205, 316, 446, 450, 463
 Соловьев Э. Ю. — 66, 173, 208
 Сологуб Ф. — 310
 Сонни А. И. — 292, 311, 312, 323
 Сорока К. Я. — 275
 Софокл — 295, 419, 420
 Спекторский Е. В. — 10, 44, 45, 48, 322
 Спиноза Б. — 13, 21, 22, 94, 108–110, 161, 193, 268, 313, 314, 316, 319, 340–342, 344, 345, 443, 456, 462
 Сталин И. В. — 7, 23, 25, 26, 36, 42, 43, 49, 50, 70, 74, 75, 77, 79, 102, 156, 157, 158, 214, 220, 447
 Станиславский К. С. — 458
 Стендаль — 249
 Строгович М. С. — 70, 178
 Струве П. Б. — 323
 Стэн Я. — 14, 15
 Субботин А. Л. — 161, 449
 Суслов М. А. — 35, 150, 215
 Суходуб Т. Д. — 350, 352
- Таванец П. В. — 33, 41, 448
 Тавризян Г. М. — 207
 Таннери П. — 162, 238
 Тарский А. — 43, 162, 181
 Тахо-Годи А. А. — 449
 Тацит — 292, 300
 Твардовский А. Т. — 15, 329, 338
 Твен М. — 204
 Телезио Б. — 308
 Тимофеев, физик — 288, 290, 291
 Тимошенко, профессор — 251
 Тинних — 424
- Тищенко В. И. — 251, 264, 273, 275, 276, 319
 Тищенко Е. П. — 232, 240, 317
 Тищенко М. И. — 234
 Тищенко П. И. — 230, 255, 443
 Токарев И. И. — 268, 315
 Токвиль А. — 309
 Толстая С. А. — 193
 Толстой Л. Н. — 15, 21, 98, 108, 109, 144, 148, 193, 218, 315, 318, 340, 341, 365, 427, 429, 434, 443, 451–453, 458–460
 Трахтенберг О. В. — 57, 189, 192
 Троицкий А. Я. — 456
 Трофимов А. — 212
 Троцкий Л. — 47
 Трубецкой С. П. — 162
 Туган-Барановский М. И. — 323
 Туроверов, доктор — 257, 258
 Тэн И. — 309
 Тютчев Ф. И. — 310, 350, 353, 438
- Уёмов А. И. — 34, 49, 68, 76–79, 450, 465, 466
 Утченко — 192
 Ушаков Н. Н. — 233
 Ушинский К. Д. — 186
- Фалес — 94, 387
 Фамира — 418
 Феврие-Дегуш П. — 159
 Федоров В. — 212
 Федосова А. П. — 192
 Фейербах Л. — 94, 228, 345
 Фемий — 418
 Феодор, математик — 388
 Фердинанд, эрцгерцог — 291
 Фет А. А. — 310, 311, 315
 Фехнер Г. Т. — 45, 148, 303, 321
 Фигуровский Н. А. — 219
 Филатов В. П. — 205
 Филатова А. Н. — 177, 186
 Фихте И. Г. — 13, 15, 58, 150, 166, 344, 371, 451, 453–455, 459, 462, 464
 Флобер Г. — 309
 Флоренский П. — 322
 Фома Аквинский — 344
 Франк С. Л. — 172, 371
 Франко И. — 267, 318
 Фреге Г. — 34, 41
 Фрезе Э. — 49

- Фрейд З. — 322, 325
Фридлиндер Г. М. — 449
Фриз Я. — 148
Фролов В. А. — 327
Фролова О. А. — 327
Фукидид — 300
- Хайдеггер М. — 170, 171
Хемингуэй Э. — 105, 157
Хрущёв Н. С. — 79
- Ц**
Цебенко М. — 448
Цезарь Гай Юлий — 312
Целлер Э. — 139
Цицерон — 312
- Ч**
Чаадаев П. Я. — 148, 178, 322, 457
Чайковский П. И. — 214, 235
Чалоян В. К. — 208
Чалоян Ц. В. — 208
Чанышев А. Н. — 110, 134
Челпанов Г. И. — 70, 162, 184, 301–303
Череповская М. И. — 232, 235, 249, 258, 264–267, 317, 318
Череповский Е. П. — 249, 258, 267, 272, 274, 318
Черкесов В. И. — 39, 40, 43, 75, 76, 78, 193
Чёрный, автор учебника — 328
Чернышёв Б. С. — 16, 38
Чернышевский Н. Г. — 72, 454, 457, 458
Чертков В. Г. — 319
Чеснокова А. А. — 327
Чехов А. П. — 106, 233, 267, 459
Чигорин М. — 280
Чудаков А. — 447
Чухина Л. — 465
- Ш**
Шамин А. Н. — 219
Шарко Ж. М. — 303
Шаровольский И. В. — 307
Шаумян Л. — 220
Шаховской Д. И. — 148
Шашков Н. И. — 449
Шевелёва Е. — 224
Шевченко Т. Г. — 267, 318
Шекспир У. — 262, 267, 331
Шеллейковский Г. В. — 284, 286–290
Шелер М. — 371
Шеллинг Ф. В. — 13, 15, 100, 101, 150, 166, 173, 346, 389, 451, 453, 455, 464
Шестов Л. И. — 157, 158, 172, 453, 463
Шиллер Ф. — 15, 22, 144, 145, 217, 245, 262, 451, 461, 463
Шишкин А. Ф. — 80
Шлейермахер Ф. — 454
Шолохов М. А. — 429
Шопенгауэр (Шопенгауер) А. — 15, 94, 148, 150, 268, 309, 314–316, 361, 380, 454
Шпенглер О. — 15, 208, 457
Шпет Г. Г. — 157, 158, 302, 456
Шульгин В. — 262
Шулятиков В. — 12
Шуман Р. — 438, 458
Шуранов Б. М. — 466
- Щ**
Щедровицкий Г. П. — 96, 104, 105, 155
Щербатской Ф. И. — 158
Щипачёв С. П. — 226
- Э**
Эббингауз Г. — 303
Эйлер Л. — 188
Эккарт Л. А. — 256, 272, 276–278
Эккерман И. — 15, 22, 444, 450
Энгельс Ф. — 13, 94, 322, 323, 343–345, 447
Энний — 312
Эпикур — 162, 320, 362
Эразм Роттердамский — 68, 228
Эренбург И. Г. — 48, 221, 349, 350
Эсхил — 295
- Ю**
Юдина М. В. — 214, 215
Юм Д. — 115, 155, 200, 201, 322, 454, 455
Юнг К. — 322
Юркевич П. Д. — 165
- Я**
Якоби Ф. Г. — 454
Яковлев А. А. — 205
Якубанис Г. И. — 301, 322
Яновская С. А. — 22, 29, 39–41, 43, 44, 50, 162, 189
- Irving H. — 331
Strada V. — 460

Сведения об авторах

Соколов Василий Васильевич — доктор философских наук, профессор философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Бирюков Борис Владимирович — доктор философских наук, руководитель межвузовского центра изучения проблем чтения и информационной культуры.

Ойзерман Теодор Ильич — академик РАН, член редколлегии журнала «Вопросы философии».

Мотрошилова Неля Васильевна — доктор философских наук, профессор, зав. отделом Института философии РАН.

Уёмов Авенир Иванович — доктор философских наук, профессор.

Жучков Владимир Александрович — доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН.

Михайлов Феликс Трофимович (1930–2006) — философ, специалист в области философии сознания, психологии, философских проблем образования и культуры.

Заиченко Георгий Антонович (1921–2001) — философ, автор трудов по истории философии и современной зарубежной философии.

Кессиди Феохарий Харлампиевич — доктор философских наук, профессор.

Гулыга Арсений Владимирович (1921–1996) — философ, писатель, литературовед, автор работ по истории и теории культуры, истории философии.

Каменский Захар Абрамович (1915–1999) — философ, специалист в области истории русской философии, теории и методологии историко-философского исследования.

Смирнов Владимир Александрович (1931–1996) — философ, логик, автор работ по символической логике, когнитологии, методологии науки.

Субботин Александр Леонидович — доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН.

Визгин Виктор Павлович — доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН.

Гайденок Пиамы Павловна — член-корреспондент РАН, зав. сектором Института философии РАН.

Богуславский Вениамин Моисеевич (1908–2003) — философ, автор работ по истории философии.

Филатова Алла Николаевна — кандидат философских наук, доцент Московского государственного горного университета.

Дмитриева Маргарита Степановна — доктор философских наук, профессор Южноукраинского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского.

Овчинников Николай Федорович — доктор философских наук, главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники РАН им. С. И. Вавилова.

Блок Алла Михайловна — кандидат философских наук, доцент Российского государственного медицинского университета.

Федосова Алиса Петровна — кандидат философских наук, доцент Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана.

Семенчѳ Владимир Михайлович — доктор философских наук, профессор Московского государственного горного университета.

Кравченко Адели Анатольевна — доктор философских наук, научный сотрудник Института философии РАН.

Абрамов Михаил Александрович (1933–2006) — философ, автор работ по истории политической мысли.

Блауберг Ирина Игоревна — доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН.

Тавризян Гаянэ Михайловна — доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН.

Димов Владимир Александрович — кандидат экономических наук, писатель.

Апт Соломон Константинович — литературовед, переводчик.

Рабинович Вадим Львович — доктор философских наук, профессор, зав. сектором Института культурологии.

Содержание

От редакторов	5
І. Друзья и коллеги о В. Ф. Асмусе	10
<i>В. В. Соколов</i> В. Ф. Асмус: драматические моменты его философского творчества и философской жизни	10
<i>Б. В. Бирюков</i> Валентин Фердинандович Асмус. Творческий путь выдающегося русского философа и логика	20
<i>Т. И. Ойзерман</i> Наставник и творец	55
<i>Н. В. Мотрошилова</i> Памяти Профессора	61
<i>А. И. Уёмов</i> Я был аспирантом Асмуса	68
<i>В. А. Жучков</i> Уроки Асмуса	82
<i>Ф. Т. Михайлов</i> Он был... «просто» философом	93
<i>Г. А. Заиченко</i> «Философами не назначают...»	108
<i>Ф. Х. Кессиди</i> В. Ф. Асмус как историк античной философии	119
<i>А. В. Пулыга</i> Светлой памяти наставника и учителя	142
<i>З. А. Каменский</i> Мужество человека и исследователя	147
<i>В. А. Смирнов</i> Я горжусь, что был его учеником	154

<i>А. Л. Субботин</i> Мои встречи с В. Ф. Асмусом	161
<i>В. П. Визгин</i> На пути в храм философии	164
<i>П. П. Гайденко</i> В. Ф. Асмус — хранитель культурной традиции	169
<i>В. М. Богуславский</i> Многогранный талант ученого	175
<i>А. Н. Филатова</i> Обаяние яркой личности	177
<i>М. С. Дмитриева</i> Мы все выросли из Асмуса	184
<i>Н. Ф. Овчинников</i> Несколько слов об учителе	189
<i>А. М. Блок, А. П. Федосова</i> Верность «нравственному закону в душе»	192
<i>В. М. Семенчѳв</i> Подлинный ученый и педагог	195
<i>А. А. Кравченко</i> «Экзамен» в Переделкине	198
<i>М. А. Абрамов</i> Без него мы были бы другими	200
<i>И. И. Блауберг</i> Последний спецкурс В. Ф. Асмуса	203
<i>Г. М. Тавризян</i> Мое знакомство с В. Ф. Асмусом	207
<i>В. А. Димов</i> Философия как призвание	212
<i>С. К. Ант</i> Классическая филология	216
<i>В. Л. Рабинович</i> Своевременная поддержка	219
II. Поэтические посвящения В. Ф. Асмусу	223
<i>Екатерина Шевелѳва</i> Луна профессора Асмуса	223
<i>Константин Ваншенкин</i> Приглашение	225
<i>Степан Щипачѳв</i> На даче ученого	226

<i>Вера Звягинцева</i>	
В. Ф. Асмусу	227
<i>А. А. Реформатский</i>	
Мысль	228
<i>А. А. Реформатский</i>	
Трио	229
III. Воспоминания. Письма	230
<Детские годы>	230
Университетские годы	283
Философия в Киевском университете в 1914–1920 годах (Из воспоминаний студента)	298
А. Т. Твардовский — В. Ф. Асмусу	329
Б. Л. Пастернак — В. Ф. Асмусу	331
А. Ф. Лосев — В. Ф. Асмусу	335
Приложение	340
<i>В. В. Зеньковский</i>	
В историко-филологический факультет университета св. Владимира	340
<i>Н. А. Бердяев</i>	
Рецензия на книгу: В. Ф. Асмус. «Очерки истории диалектики в новой философии» (1929)	342
<i>М. Н. Громов, Н. А. Куценко</i>	
«Это скорбное учение...» (заметки к статье В. Ф. Асмуса)	347
<i>В. Ф. Асмус</i>	
О великом пленении русской культуры	353
<i>В. Ф. Асмус</i>	
Философские задачи Логики (лекция pro venia legendi)	361
<i>В. Ф. Асмус</i>	
Платон: эйдология, эстетика, учение об искусстве	386
<i>В. Ф. Асмус</i>	
Чтение как труд и творчество	429
Хроника основных событий жизни и творчества	443
Библиография	447
Именной указатель	467
Сведения об авторах	475

Научное издание

Философия России второй половины XX века

Валентин Фердинандович Асмус

Редактор *Л. Ю. Крылова*
Художественный редактор *А. К. Сорокин*
Художественное оформление *А. Ю. Никулин*
Технический редактор *М. М. Ветрова*
Выпускающий редактор *И. В. Киселева*
Компьютерная верстка *Т. В. Хромцева*
Корректор *Н. В. Филиппова*

ЛР № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 22.10.2009
Формат 60×90/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,0.
Тираж 1000 экз. Заказ 8305

Издательство «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН)

117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82.
Тел.: 334-81-87 (дирекция), 334-82-42 (отдел реализации)

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Интерес к творчеству как таковому, свободное от предрассудков рационалистического и механистического мирозерцания исследование, идущее от поверхности великолепного и таинственного феномена культуры ко внутреннему сокровенному его смыслу, идея органической структурности всего духовного творчества – вот первые основания избранного нами пути.

В. Ф. Асмус



Институт философии РАН



Некоммерческий научный фонд
«Институт развития им. Г.П. Щедровицкого»



Издательство «РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»